Серия «ДОСЬЕ»

Святослав Рыбас

# СТОЛЫПИН. ГЕНЕРАЛ САМСОНОВ

Москва
«ОЛМА-ПРЕСС»
2000

ББК 63.3-8
Р93

Исключительное право публикации книги Святослава Рыбаса «Столыпин. Генерал Самсонов» принадлежит издательству «ОЛМА-ПРЕСС». Выпуск произведения или его части без разрешения издательства считается противоправным и преследуется по закону.

**Рыбас С. Ю.**

Р93 Столыпин. Генерал Самсонов. — М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2000. — 447 с., ил. — (Досье).
ISBN 5-224-01246-5

Книга известного русского писателя С. Рыбаса повествует о жизни и трагической судьбе выдающихся людей Отечества — Петра Аркадьевича Столыпина, председателя Совета министров Российской империи, и генерала Александра Васильевича Самсонова, погибшего в начале Первой мировой войны.

**ББК 63.3-8**

ISBN 5-224-01246-5

© Издательство «ОЛМА-ПРЕСС», 2000

# СТОЛЫПИН

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Из конца двадцатого века, из ощущения катастрофы, пронизывающего наше общество, в дни, когда пишутся эти строки, перенесемся в начало века.

Что там? Поражение в войне, отдача Японии Курильских островов и половины Сахалина. И еще: нетерпимость всех либеральных движений, требований *всего сразу*, крестьянские мятежи, эсеровский террор, военно-полевые суды, кризис власти. И, наконец, — Столыпин, его реформы, одиннадцать покушений на него, ненависть справа и слева, первые результаты реформ. Затем — гибель.

Фигура крупнейшего деятеля предреволюционной поры Петра Аркадьевича Столыпина в нашей истории на протяжении десятилетий была окрашена только черной краской как фигура политического противника, как будто политическая борьба 10-х годов продолжалась доныне. Конечно, и в таком освещении можно было разглядеть значительность российского премьера, но мало что можно было понять.

«Столыпин — враг революции» — этот тезис всех партийных идеологий от кадетской до эсеровской благополучно дожил до нынешних времен. Правда, сегодня подобная однозначность мало кого устраивает, интерес к личности Столыпина растет и растет.

Слова «столыпинская реформа» звучат вечной памятью человеку, который перед лицом катастрофы принял на себя ответственность за судьбу России.

Не будем забывать, что Столыпин был сыном своего времени, дворянином, руководствуясь только понятиями «российской пользы», «российского величия», и всю его жизнь надо рассматривать с учетом исторических реалий ушедшей эпохи.

Что знает широкая публика о его реформах?

Весьма немного. Советский энциклопедический словарь, в частности, отмечает: «Буржуазная реформа крестьянского надельного землевладения в России,

ознаменовавшая поворот аграрно-политического курса самодержавия (названная по имени П.А. Столыпина). Разрешение выходить из крестьянской общины на хутора и отруба... и переселенческая политика имели целью ликвидацию малоземелья при сохранении помещичьего землевладения, ускорение расслоения деревни, создание в лице кулачества дополнительной опоры самодержавия. Реформа потерпела неудачу». (Столыпин был убит в 1911 г.).

И ни слова о трагедии России. Ни слова о крестьянской трагедии, которая через двадцать с небольшим лет раздавила русское крестьянство. Ни слова, что крупнейший экспортер зерна нынче присутствует на мировом хлебном рынке в роли самого крупного в истории покупателя.

Заканчивается двадцатый век. Снова перед Россией старая проблема, снова мы уповаем не на революционные преобразования, а на реформы. И вглядываемся, вглядываемся в недавнее прошлое. Что там?

## ГЛАВА 1

Двенадцатого августа 1906 года в субботу к подъезду дачи председателя Совета министров на Аптекарском острове подъехало ландо с тремя мужчинами. Двое — в форме жандармских офицеров, один — в штатском платье. Столыпин принимал в своем кабинете посетителей, в приемной ожидало несколько десятков человек, среди них были женщины с детьми. На балконе, прямо над крыльцом, сидели двое детей Столыпина (дочь Наташа и малыш Аркадий) вместе с няней — молоденькой воспитанницей Красностокского монастыря Людмилой Останькович.

Через несколько минут взрывом бомбы дача будет разрушена, Останькович погибнет, малыш — легко ранен, а Наташа с раздробленными ногами окажется под копытами взбесившихся от боли раненых лошадей.

Пока же двое в жандармской форме остановлены швейцаром. Первый из них — с портфелем. Они настаивают на встрече с министром, ссылаются на очень важное дело. Швейцар-служака: «Запись к приему лиц, имеющих отношение к министру, прекращена, министру понадобится не менее двух часов для приема лиц, уже находящихся в приемной». Так передает суть речей швейцара полицейский документ. Но посетители спе-



шат, рвутся к двери, ведущей в коридор, откуда вход в столыпинский кабинет. На их пути встает агент охраны Горбатенков. Короткая схватка. На помощь Горбатенкову устремляется его помощник, агент Мерзликин, из приемной на шум выходит генерал Замятин.

И все они мгновенно исчезают в страшном взрыве.

В Центральном Государственном архиве Октябрьской революции в делах охранного отделения — списки погибших и раненых от того взрыва. Есть там и маленькие, в ладонь, альбомы с фотографиями и словесными портретами боевиков-эсеров. Есть и фотокарточка молодой двадцатитрехлетней сероглазой девушки с косой — Климовой, участницы покушения. Сегодня, в конце века, видишь, как жестоко разделалась история не только с нею, не только со Столыпиным, но даже и с дочерьми Климовой, отбывшими свой срок в сталинских лагерях. Молчит архивный альбом. Истлели кости жертв и героев. Молча глядит с выцветшего снимка террористка, еще не ведая ни боли, ни страха.

В этот день старшая дочь Столыпина Маша, закончив с младшей сестрой Олечкой урок, пошла с ней из нижней гостиной наверх. Взрыв застал Машу в коридоре. Она собиралась открыть дверь, но никакой двери не было. Вместо двери — пустота, внизу — набережная, блеск Невки, деревья. Взрыв ошеломил девочку. Она подумала об отце: что с ним?

Несколькими днями раньше в Варшаве бросали бомбу в генерал-губернатора Скалона. В Саратове был разорван бомбой губернатор Блок. От взрывов сотрясалась жизнь. И дочь боялась за отца, не понимая, что случилось в России.

Маша Столыпина кинулась к окну, чтобы прыгнуть на крышу нижнего балкона и перебраться в кабинет Петра Аркадьевича. Ее остановил Казимир, слуга, взял обеими руками за талию и отодвинул в сторону.

Тут она увидела мать с белой от известки головой.

— Ты жива, — сказала мать. — Где Наташа и Адя?

Не было двух ее детей. Как каждая мать, супруга Столыпина думала прежде всего о родных детях.

Они вошли в верхнюю гостиную. Здесь лежала на кушетке выздоравливающая от тифа Елена. На полу

среди осколков — горка. Стены и пол целы. Зато из соседней комнаты вся мебель вылетела в приемную и даже на набережную Невки.

Откуда-то снизу, с улицы, раздался голос Столыпина:

— Оля, где ты?

Мать вышла на балкон.

— Все дети с тобой? — спросил он.

— Нет Наташи и Ади, — с ужасом и тоской вымолвила Ольга Борисовна.

В эту минуту Столыпин, наверное, отдал бы посты министра внутренних дел и премьера, все честолюбивые упования, все патриотические планы ради одного слова о Наташе и Аркадии.

Маша хотела сбежать вниз по лестнице, но от лестницы осталось ступенек десять. Надо было прыгать на кучи щебня или ждать пожарных. Она спрыгнула, упала, вскочила на ноги и бросилась на шею отцу. Какое счастье было видеть его живым и невредимым!

Но что творилось кругом?! Кричали и стонали раненые, стлался дым, метались обезумевшие женщины. Шелестели липы, по дорожке ползли две Наташины черепахи, на газонах лежали мертвые и разорванные тела, тут нога, тут чья-то кисть, там челюсть.

Наташа и Аркадий были найдены под обломками дачи тяжело раненными.

«Наташа была ранена очень серьезно, — вспоминала потом Мария Столыпина (по мужу — фон Бок), — и странно было видеть, когда ее переносили, это безжизненно лежащее тело с совершенно раздробленными ногами и спокойное, будто даже довольное лицо. Не издавала она ни одного звука: ни крика, ни стона, пока не переложили ее на кровать. Но тогда она закричала и кричала уже все время — так ее в больницу и увезли, — кричала так жалобно и безнадежно, что мороз по коже проходил от крика этой четырнадцатилетней девочки...

А у Ади были раны на голове и перелом ноги, и все последующее время бедный ребенок очень страдал больше от нервного потрясения, чем от ран. Он несколько дней совершенно не мог спать: только заснет, как снова вскакивает, с ужасом озирается и кричит: «Падаю, падаю».

К вечеру увезли пострадавших. Кого в покойницкие, кого в лечебницы. Наташе предстояла ампутация обеих ног, немедленно, иначе не спасут. Это была цена,



которую Столыпин должен уплатить за твердый курс, спасающий страну от трагедии революции?

Он умоляет докторов отложить операцию до утра. Они с трудом соглашаются. Наступает утро. Ампутацию снова откладывают. Потом сообщают, что попробуют сохранить обе ноги, а что дальше, останется калекой или поправится, — это как Бог даст.

Надо думать, прошедшая ночь была для Столыпина мучительной. На нем лежала кровь его детей. Он не мог не знать, что и в дальнейшем ничто не убережет их, никакая охрана, никакие жандармы. Уберечь детей может только отец. При одном условии...

«Список лицам, убитым при взрыве бомбы на даче Господина Министра Внутренних Дел Столыпина 12-го августа 1906 г.

1. Непременный член Ярославского губернского по земским и городским делам представителя Коллежский Асессор Николай Юльевич Слефогт — 32 лет.

2. Отставной Статский Советник Михаил Тимофеевич Вербицкий — 60.

3. Потомственный почетный гражданин Леонтий Клементьевич Клементьев — 59.

4. Запасный унтер-офицер Кавалергардского полка из крестьян Смоленской губернии Духовщинского уезда, Жиловичской волости деревни Новоселок Василий Прокофьев Солдатенков — 32.

5. Запасный боцман Гвардейского экипажа из крестьян Курской губернии Дмитриевского уезда, Михайловской волости, слободы Жидневки Александр Иванов Проценков — 28.

6. Гражданской инженер Иероним Иулианович Терлецкий — 25.

7. Унтер-офицер Санкт-Петербургского Жандармского дивизиона Иван Павлов Слепов — 27.

8. Коллежский регистратор Афанасий Ларионов Горбатенков — 45.

9. Крестьянин Нижегородской губернии, Лукояновского уезда, Крюковской волости, села Крюкова Петр Григорьев Синятин — 47.

10. Сотенный медицинский фельдшер Области Войска Донского Захар Семенов Мерзликин — 29.

11. Крестьянин Ковенской губернии и уезда, Сурзинокской волости, Свентаброкского общества Франц Казимиров Станюлис — 22.

12. Член Совета Министерства Внутренних Дел сенатор Действительный Статский Советник Сергей Алексеевич Хвостов — 60.

13. Харьковский мещанин Александр Леонтьев Вольфович — 54.

14. Жена прапорщика запаса Ольга Истомина — 32.

15. Вдова Действительного Статского Советника Княгиня Евдокия Артемьевна Кантакузена — 56.

16. Князь Иван Александрович Некашидзе — 55.

17. Церемонимейстер Высочайшего Двора Действительный Статский Советник Александр Александрович Воронин — 43.

18. Генерал-майор Александр Замятин — 54.

19. Отставной канцелярский служитель Николай Григорьев Воронин — 59.

20. Крестьянка Анна Петровна Долгушина.

21. Неизвестный.

22. Неизвестный.

23. Ноги с частью живота бывши в жандармских брюках.

24. Неизвестный. Первоначально был доставлен в лазарет Лейб-гвардии Московского полка».

Вслед за этим списком идет список раненых и умерших от ран. В нем двадцать пять имен. Крестьяне, мещане, офицеры, чиновники, женщины, дети. Я бы мог привести их, чтобы подчеркнуть мысль о том, что платят за политику, за нетерпение террористов, за нашу революционность, всегда платят они. Надеюсь, никто со мною не станет спорить.

**«Начальник отделения по охране порядка и общественной безопасности в Санкт-Петербурге.**

...Жена Губернского Секретаря Ольга Евгеньевна Истомина, 40 лет, проживала в доме № 26, по Гусевой ул., по бессрочному свидетельству Валдайского Полицейского Управления от 8 УП 1904 г. за № 160, при ней находился малолетний сын около 5 лет.

Истомина занимала в этом доме угол и, так как ее муж находился в безвестной отлучке, сильно нуждалась в средствах к жизни.

12 августа 1906 г. Истомина со своим ребенком пошла подавать Господину Министру Внутренних Дел прошение о пособии, где и была убита вместе с ребенком во время взрыва, по доставлении трупов в Петровскую больницу она была опознана домовладелицей



дома, где проживала, Марией Берлиной и женщиной того же дома, Идой Шеберт.

Истомина вместе с ребенком погребена за счет казны на Смоленском кладбище.

Приметы ее: 40 лет, рост средний, худощавая, волосы и глаза черные.

*И. д. Делопроизводителя М. Красовский».*

Вот так, дорогой читатель!

Не сливается ли в нашем представлении этот убитый ребенок с кричащей, изувеченной Наташей Столыпиной. А вот пожертвовавшие собой террористы «бывши в жандармских брюках» не сливаются с ними. Разные жертвы.

Посмотрим, кем были террористы.

**«Доклад отделения по охранению общественной безопасности и порядка в столице 24 сентября 1906 г.**

**Его Высокопревосходительству Господину Министру Внутренних Дел.**

*Секретно.*

Произведенным агентурным розыском по делу взрыва 12-го Августа дачи господина Министра Внутренних Дел удалось получить следующие сведения о погибших участниках этого преступления.

1. Преступник в жандармской форме атлетического сложения — Уроженец города Смоленска Никита Иванов. В начале Марта с. г. содержался под стражей в Брянской тюрьме по делу ограбления артельщика Брянских заводов. Мать Иванова живет в Смоленске на Московской улице, где содержит чайную;

2. второй жандармский офицер (разорванный) — еврей, уроженец г. Минска, до середины 1905 г. проживал во Франции, откуда вернулся в Россию. В последнее время проживал по паспорту бельгийского подданного;

3. преступник во фраке — уроженец г. Брянска и рабочий бежецких заводов, имя его — Иван. Известен хорошо местным жандармским властям, т. к. неоднократно привлекался к дознанию.

Все эти лица принадлежат к Московской организации «максималистов».

Полковник *Герасимов».*

Розыск действовал быстро и результативно. Война между террористами и правительством началась не вчера. Интеллигентное просвещенное общество с не-

скрываемым сочувствием следило за ней, ожидая, когда твердокаменная власть изнеможет под ударами.

**«3 декабря 1907. Доклад отделения по охранению общественной безопасности и порядка в столице.**

*Совершенно секретно.*

13 августа прошлого, 1906 г. на перроне станции Новый Петергоф был убит выстрелом из «браунинга» командир Лейб-гвардии Семеновского полка Свиты Его Величества генерал-майор Мин. Задержанный убийца, домашняя учительница Зинаида Конопляникова, как на предварительном следствии, так и на суде заявила, что она член летучей боевой дружины Северной области партии социалистов-революционеров и убила генерал-майора Мина по приговору этой партии.

Областные летучие боевые дружины организованы при каждом областном комитете, и согласно постановлению последнего съезда партии социалистов-революционеров на них возложено приведение в исполнение смертных приговоров, постановленных областными комитетами по отношению лиц, проживающих в районе областного комитета...

Принятыми мерами установлено, что организаторами всех политических убийств, выполненных летучей боевой дружиной Северной области, является некто Карл, он же конспиративную кличку носит Иван или Иван Иванович.

Проживая почти постоянно в пределах Финляндии, Карл организовал, кроме убийства свиты Его Величества генерал-майора Мина, следующие политические убийства, выполненные находящимися в его подчинении членами боевой дружины Северной области:

1) 2 декабря 1906 г. было совершено покушение на убийство генерал-адъютанта Дубасова. Покушавшиеся на убийство Воробьев и Березин были задержаны и по приговору санкт-петербургского военного трибунала, военно-окружного суда казнены.

2) 26 декабря 1906 года был убит главный военный прокурор генерал-лейтенант Павлов. Убийца, член боевой дружины, матрос, дезертир Егоров, по приговору СПБ военно-окружного суда казнен.

3) 17 января сего года был убит начальник временной тюрьмы Гудима неизвестным, также боевиком боевой дружины. Убийца не был задержан.

4) 16 июля сего года предполагалось убийство военного министра генерал-лейтенанта Редигера. Убийство было предотвращено арестом лиц намеченного предполагаемого покушения. Были арестованы назвавшиеся: Файнбергом, Гольцом, Гуминским, Руссаком и Фабрикантом, которые по приговору СПБ военно-окружного суда приговорены к каторжным работам.



5) 13 августа сего года был убит начальник Санкт-Петербургской тюрьмы полковник Иванов. Задержанный неизвестный убийца, член боевой дружины, по приговору СПБ суда казнен.

6) 15 октября был убит начальник главного тюремного управления Максимовский. Убийца Евстолия Рагозникова, член той же дружины, была казнена по приговору СПБ военно-полевого суда.

7) 19 октября при похоронах Максимовского на Волковом кладбище был задержан неизвестный, с двумя «браунингами». При допросе он заявил, что состоит членом летучей боевой дружины и командирован Карлом для убийства министра юстиции Щегловитова, и в настоящее время Карлом подготовлялось покушение на жизнь господина премьер-министра П. А. Столыпина во время пребывания его на заседании Государственного совета...

В декабре Карл вместе с двумя неизвестными женщинами был арестован на даче в Колломяках...

Полковник *Герасимов*».

Снова жизнь Столыпина под угрозой. Даже можно сказать — он обречен стать жертвой.

В его портфеле — стальной лист, чтобы можно было заградиться от пули, как щитом.

Он знает, что обречен и что единственное спасение — уйти, исчезнуть с петербургского горизонта, уехать в Колноберже, где он только отец, только муж, только помещик.

Он, ненавидимый либерально-революционной интеллигенцией, был любим, уважаем, счастлив в Колноберже, неподалеку от Ковно.

И все-таки обречен.

Со всеми своими мечтами вывести Россию к благоденствию — обречен.

Большинство не хочет терпеть, долго трудиться. Легче убить.

Выписка из полученного агентурным путем письма с подписью «Сова»: *«Почему не написали об убийстве С. А.? (великий князь Сергей Александрович, убитый*

*эсером Каляевым. — Авт.). У нас слышны по этому поводу, преимущественно среди рабочих, такие речи: «Собаке собачья смерть». Я лично так этому обрадовалась, что вы и представить себе не можете. Как хорошо, что одним подлецом стало меньше. Молодцы С.-Р. — как удачно они действуют».*

Радоваться убийству было в обычае общества.

Террор стал божеством.

Старейший кадет И. Петрункевич заявляет о невозможности для партии осудить террор, ибо это явилось бы «моральной гибелью партии».

Александр Солженицын, приводя эти слова Петрункевича («Март семнадцатого»), не ужасается, нет. Он свидетельствует об обреченности Реформатора.

Дух убийства, жажда немедленного переворота, романтизация всякого насилия и всяких террористов — вот воздух времени. Им дышат, опьяняясь все сильнее, рабочие, гимназисты, студенты, чиновники. Опьяняется интеллигенция, великая русская интеллигенция (и не великие, рядовые интеллигенты), погружается в завораживающие сны.

Отсюда — шаг до бездны, которая поглотит их всех и превратит Россию в «бездыханный труп» (Н.Бердяев).

И маленький стальной щит в портфеле премьера!

А рядом со сталью — проекты аграрной реформы, разрушающей русскую крестьянскую общину, эту великую народную крепость и великую темницу.

Столыпин должен был успеть, прежде чем погибнет, наверстать упущенное за пятьдесят лет, дать то, что должно было быть дано крестьянину на следующий день после Освобождения, то есть 20 февраля 1861 года, — личную свободу и право распоряжаться своей землей.

Сколько ему отпущено времени? Кто в России его поддержит?

Александр Васильевич Кривошеин, правая рука Столыпина, завершивший политическую карьеру премьер-министром правительства Юга России в Крыму, говорил на встрече с журналистами в июне 1920 года:

— Трагедия России в том, что к землеустройству не приступили сразу после Освобождения. Русская революция потому и приняла анархический характер, что крестьяне жили земельным укладом царя Берендея. Если Западная Европа, треща и разваливаясь, еще обошлась без большевизма (и обойдется), то потому,



что земельный быт французского, немецкого, английского, итальянского фермера давно устроен.

Кривошеин пережил Столыпина на десять лет, увидел весь оборот исторического колеса и даже у Врангеля в условиях гражданской войны пытался проводить реформы. Увы, время давно было упущено. Однако прощальные кривошеинские реформы мы еще вспомним в заключительных главах этой книги.

## ГЛАВА 2

Теперь вернемся к началу жизни Столыпина. Кто он, наш герой? Кто его отец и мать? Какие молитвы твердили его предки, за что умирали?

Один из самых знаменитых родственников Реформатора — русский поэт, чьи стихи знают с детства: «...умереть мы обещали, и клятву верности сдержали мы в Бородинский бой».

Да, Лермонтов.

Петр Аркадьевич родился в 1862 г. 2 апреля в Дрездене, где гостила его мать, затем был перевезен в подмосковное имение Середниково, которое сегодня является лермонтовским мемориалом.

Дед премьер-министра, Дмитрий Алексеевич Столыпин, и бабушка поэта, Елизавета Алексеевна Столыпина, — родные брат и сестра. Значит, Реформатор и Поэт — троюродные братья.

Генеалогия Столыпиных прослеживается с XVI в., с Григория Столыпина. Его сын Афанасий — муромский дворянин. Сильвестр Афанасьевич Столыпин участвует в войне с Польшей в 1654—1656 гг., заканчивает жизнь московским дворянином. Затем идут служилые дворяне Семен Сильвестрович, Емельян Семенович, Алексей Емельянович. Они ничем особым не выделяются из массы русских дворян, были воинами и земледельцами, представляя собой типичных патриархальных помещиков.

Впрочем, Алексей Емельянович, прадед премьер-министра, вышел в отставку поручиком (родился в 1744 г.), был предводителем пензенского дворянства. То есть его выделили из общей массы. У него шестеро детей: Александр — адъютант Суворова; Аркадий — друг реформатора Сперанского, тайный советник, обер-прокурор и сенатор; Николай — генерал-лейтенант, разорванный толпой во время бунта в Сева-

стополе. Дмитрий — дед Петра Аркадьевича — генерал-майор; Афанасий — штабс-капитан, Саратовский предводитель дворянства; и Елизавета, бабушка М. Ю. Лермонтова, вышедшая замуж за М. В. Арсеньева.

Величественное родовое древо, выросшее из глубины российской истории. Какие фигуры соприкасались с ним? Какие потрясения, трагедии, победы России воплощались в судьбах Столыпиных? Даже если бы весь род здесь пресекся, он, должно быть, остался бы во втором или третьем ряду истории.

Лев Толстой, который считал премьер-министра Столыпина идейным противником, дружил с его отцом Аркадием Дмитриевичем, был с ним на «ты». Они принадлежали к одному поколению. Оба участвовали в Крымской войне, пережили унижение России, пережили подъем патриотизма, эпоху Великих реформ. Аркадий Дмитриевич дослужился до чина генерала от артиллерии, участвовал в освобождении Болгарии от турецкого ига. Побывала на той войне и его жена Наталия Михайловна, ей пришлось под огнем ухаживать за ранеными, она была награждена медалью. Наверное, когда генерал гостил в Ясной Поляне, беседовал с Толстым о судьбе России, они не подозревали о том, что оба — прошлое, невозвратное прошлое и что любимая ими великая дворянская Россия — на краю пропасти. Не подозревали, что младший Столыпин почти спасет Россию от надвигавшейся катастрофы.

Аркадий Дмитриевич писал книги, был скульптором, играл на скрипке. Известна его «История России» для народного и солдатского чтения. На академической выставке 1869 г. экспонировались его работы — «Голова Спасителя» и «Медаль статуи Спасителя».

То, что отец передал сыну, не выразить никаким исследованием. Понимание долга? Культура? Родовые традиции? Любовь к родине? Безусловно, да.

Однако больше всего выразил свое отношение к отцу сам Столыпин. Когда умер Аркадий Дмитриевич, он обнял дочь Машу и сказал со слезами на глазах:

— Как ты счастлива, что у тебя есть отец!

К долгу, культуре, традициям надо прибавить счастье следовать им.

И вижу я себя ребенком; и кругом
Родные все места...

Это — Лермонтов.



А вот работы другого Столыпина, Дмитрия Аркадьевича, двоюродного брата нашего героя: «Арендные хутора», «Земледельческий порядок до и после упразднения крепостного права». Главный вывод этих работ: корень экономических бед российского хозяйства таится в крестьянской общине, она сдерживает развитие сильных, ее необходимо разрушить.

Что можно добавить к этим удивительным связям внутри рода?

Воевали, вели хозяйство, сочиняли стихи, погибали, становились предтечами для потомков. Это было бессмертие, как мы понимаем его. Было в этом и Божественное выражение человеческой истории.

Вначале ничто не говорило о предназначении Петра Столыпина. Он закончил физико-математический факультет Санкт-Петербургского университета, рано женился, стал служить в статистическом отделении министерства земледелия. В его доме часто бывал поэт Алексей Апухтин. Помните? «Пара гнедых, запряженных с зарею...», «Ночи безумные, ночи бессонные...»?

Семья, служба, петербургские романсы, старая нянька Аграфена, обращавшаяся к Петру Аркадьевичу на «ты»... И ничего такого, что могло бы указать на предназначение.

Но оно близко. Столыпины переезжают в свое имение Колноберже неподалеку от Ковно, молодой помещик избирается уездным предводителем дворянства, начинается совсем иная жизнь.

При всей условности обращений к литературным героям не будет чрезмерным сравнить Петра Столыпина с Константином Левиным из толстовского романа «Анна Каренина». Хотя это разные характеры, но тип — один.

Самая любимая работа для Столыпина — создание сельскохозяйственного общества (одной из форм крестьянской кооперации), постройка и организация склада сельскохозяйственных орудий, народного дома с ночлежным отделением, библиотекой. В народном доме делались театрализованные представления, устраивались народные балы, был и кинематограф с первыми наивными картинами. Как пишет старшая дочь П. А. Столыпина Мария фон Бок в книге «Воспоминания о моем отце П. А. Столыпине», ей запомнилась забавная лента, изображавшая, как маленькие дети дерутся подушками.

Зимой семья живет в Ковно, после Пасхи переезжает в деревню, причем выезд на карете с четверкой цугом, кучер сидит в цилиндре, за каретой — телеги, по-местному — «курдянки» и «нытычанки». Помещик перебирается в имение. Патриархальная старина. Похоже на гоголевские времена. Да они не так уж и далеки, эти гоголевские времена. Кинематограф и четверка цугом, кооперация и помещичье землевладение, огромная лужа перед ковенским домом и театр, и большая библиотека, вывезенная из Середникова, в которой есть книги, читанные Лермонтовым, — все переплетено неразрывно.

Старое и новое. Одно — отмирает, другое — отбрасывает привычное, родное, вечное и вырастает... Старятся родители, взрослеют дети. Петр Аркадьевич и Ольга Борисовна читают по вечерам вслух романы Толстого «Воскресение», «Анну Каренину», исторические романы Валишевского, а дочерям — Жюля Верна, стихи Пушкина, Лермонтова. Они еще молоды, полны сил, впереди — целая жизнь. Наверное, они счастливы.

Возможно, Столыпин так бы и прожил долгие годы, служа своему делу и воспитывая детей, если бы не изменения в глубине всей российской жизни.

Чтобы понять ее, перечитаем несколько страниц описаний деятельности русского сельского хозяина-дворянина Константина Левина.

«За чаем Левин узнал всю историю старикова хозяйства. Старик снял десять лет тому назад у помещика сто двадцать десятин, а в прошлом году купил их и снимал еще триста у соседнего помещика. Малую часть земли, самую плохую, он раздавал внаймы, а десятин сорок в поле пахал сам своею семьею и двумя наемными рабочими. Старик жаловался, что дело шло плохо. Но Левин понимал, что он жаловался только из приличия, а что хозяйство его процветало. Если бы было плохо, он не купил бы по ста пяти рублей землю, не женил бы трех сыновей и племянника, не построился бы два раза после пожаров, и все лучше и лучше. Несмотря на жалобы старика, видно было, что он справедливо горд своим благосостоянием, горд своими сыновьями, племянниками, невестками, лошадьми, коровами и в особенности тем, что держится все это хозяйство. Из разговора со стариком Левин узнал, что он был и не прочь от нововведений. Он сеял много картофелю, и картофель его, который Левин видел, подъезжая, уже отцветал и завязывался, тогда как



у Левина только зацветал. Он пахал под картофель плугою, как он называл плуг, взятый у помещика. Он сеял пшеницу. Маленькая подробность о том, что, пропалывая рожь, старик прополонною рожью кормил лошадей, особенно поразила Левина. Сколько раз Левин, видя этот пропадающий прекрасный корм, хотел собирать его, но всегда это оказывалось невозможным. У мужика же это делалось, и он не мог нахвалиться этим кормом».

Вот так, дорогой читатель, мог смотреть на жизнь не только Лев Толстой, но и Петр Столыпин. Результат свободного крестьянского труда поражал. Невольно появлялась мысль: а что, если все мужики выйдут из общины, станут независимыми?

Крестьянская община? Великая русская народная крепость, которая спасла страну от всех завоевателей, которая непоколебимо держала крестьянский мир как самоуправляющуюся и самообеспечивавшуюся систему и которая регулярными уравнительными земельными переделами, следя за справедливостью, не позволяла никакому отдельному хозяину возвыситься над остальными. Эта крепость была одновременно силой и тормозом России. За общину стояли и либералы, и консерваторы. Они видели в ней каждый свое: опору социалистических идей, хранительницу традиций.

Мужик из «Анны Карениной», правда, уже не вписывается в споры об общине. Он сам по себе, он свободен. Но таких — единицы, а большинство подчинено миру. О твердости, даже жестокости по отношению к инакомыслящим крестьянского мира написано много. Другим он и не мог быть, если вспомнить историю. «Крестьяне чрезвычайно косны...» «Зависть, недоверие друг к другу, подкапывание одного под другого, унижение слабого перед сильным, высокомерие сильного, поклонение богатству — все это сильно развито в крестьянской среде. Кулацкие идеалы царят в ней, каждый гордится быть щукой и стремится пожирать карася. Каждый крестьянин, если обстоятельства тому благоприятствуют, будет самым отличнейшим образом эксплуатировать всякого другого, все равно — крестьянина или барина, будет выжимать из него сок, эксплуатировать его нужду». Это свидетельство принадлежит А. Н. Энгельгардту, автору известных писем «Из деревни». Сомневаться в точности его оценки вряд ли можно. Продолжим цитату и увидим, как делается рельефней портрет мужика. «Все это,

однако, не мешает крестьянину быть чрезвычайно добрым, терпеливым, по-своему необыкновенно гуманным, своеобразно, истинно гуманным, как редко бывает гуманен человек интеллигентного класса. Вследствие этого интеллигентному и бывает так трудно сойтись с мужиком. Посмотрите, как гуманно относится мужик к ребенку, к идиоту, к сумасшедшему, к иноверцу, к пленному, к нищему, к преступнику — от тюрьмы да от сумы не отказывайся, — вообще ко всякому несчастному человеку. Но при всем том нажать кого при случае — нажмет. Если скот из соседней деревни, в которой нет общности в выгонах, будет взят крестьянами в потраве, то они его не отдадут даром. Если крестьяне поймают в своем лесу порубщика, то вздуют его так, что он и детям своим закажет ходить в этот лес — потому-то в крестьянском лесу не бывает порубок, хотя там нет сторожей и полесовщиков. Как бьют воров и конокрадов — всем известно...»

Кажется, портрет достаточно полон. Но зачем он нам? Мы-то с вами, дорогой читатель, по себе знаем свой национальный характер, сохраняющий многие черты русского мужика. Пусть этот характер кому-то не нравится, да и не все в нем впрямь безукоризненно, но переделывать его пока никому и ничему не удавалось.

Спокойный, вдумчивый взгляд Энгельгардта, старшего современника нашего героя, проникает еще дальше, возвращает нас к образу толстовского мужика.

«Каждый мужик при случае кулак, эксплуататор, но, пока он земельный мужик, пока он трудится, работает, занимается сам землей, это еще не настоящий кулак, он не думает все захватить себе, не думает, как бы хорошо было, чтобы все были бедны, нуждались, не действует в этом направлении. Конечно, он воспользуется нуждой другого, заставит его поработать на себя, но не зиждет свое благосостояние на нужде других, а зиждет его на своем труде. От такого земельного мужика вы услышите: «Я люблю землю, люблю работу, если я ложусь спать и не чувствую боли в руках и ногах от работы, то мне совестно, кажется, будто я чего-то не сделал, даром прожил день». У такого земельного мужика есть и любимый непродажный конь. Такой мужик радуется на свои постройки, на свой скот, свой конопляник, свой хлеб. И вовсе не потому только, что это доставляет ему столько-то рублей. Он расширяет свое хозяйство не с целью наживы только, работает до устали, недосыпает, недоедает.



У такого земельного мужика никогда не бывает большого брюха, как у настоящего кулака».

Пожалуй, Столыпин мог бы подписаться под этими словами. В них, впрочем, нет никакой загадки.

Загадка была в другом. По соседству с Российской империей, в Пруссии.

Почему в Пруссии? Потому что в Ковенской губернии, неподалеку от Колноберже, было еще одно имение, принадлежавшее Столыпиным. Кратчайший путь к нему лежал по железной дороге через Пруссию. Петр Аркадьевич наблюдал ухоженные богатые хутора немцев и поляков, наблюдал и, наверняка, сравнивал.

Мария Петровна утверждает, что именно эти поездки породили у отца мысли о необходимости скорейшего разрушения общины и перехода к хуторской системе.

Дочь упрощает. В истории невозможно отыскать никакой вехи, с которой мы могли бы повести отсчет, — когда Столыпин стал Реформатором... когда аграрные проблемы зажгли поместья... когда языком общественных споров сделались взрывы и выстрелы.

Да к тому же хуторское землеустройство было частично проведено в царстве Польском и Прибалтийском крае — устроены тысячи хуторов. Хотя это никак не коснулось собственно России, однако Столыпину не обязательно было восхищаться одними прусскими хуторами. Просто история медленно двигалась, разрушая земельную общину повсеместно. Еще по прусскому закону 1821 года считалось: «Принимается без доказательств, что всякий раздел общих угодий служит благу земельной культуры».

Отчасти, значит, влиял прусский опыт и вообще опыт всей Европы.

Попутно обратимся к мемуарам Бисмарка, к той их части, которая проливает свет на тему нашего разговора.

«С другой русской особенностью я столкнулся во время моего первого пребывания в Петербурге в 1859 г. В первые весенние дни принадлежавшее ко двору общество гуляло по Летнему саду, между Павловским дворцом и Невой. Императору бросилось в глаза, что посреди одной из лужаек стоит часовой. На вопрос, почему он тут стоит, солдат мог ответить лишь, что «так приказано»; император поручил своему адъютанту осведомиться на гауптвахте, но и там не могли дать другого ответа, кроме того, что в этот

караул зимой и летом отряжают часового, а по чьему первоначальному приказу — установить нельзя. Тема эта стала при дворе злободневной, и разговоры о ней дошли до слуг. Среди них оказался старик-лакей, состоявший уже на пенсии, который сообщил, что его отец, проходя с ним как-то по Летнему саду мимо караульного, сказал: «А часовой все стоит и караулит цветок. Императрица Екатерина увидела как-то на этом месте гораздо раньше, чем обычно, первый подснежник и приказала следить, чтобы его не сорвали». Исполняя приказ, тут поставили часового, и с тех пор он стоит из года в год. Подобные факты вызывают у нас порицание и насмешку, но в них находит свое выражение примитивная мощь, устойчивость и постоянство, на которых зиждется сила того, что составляет сущность России в противовес остальной Европе». (*О. Бисмарк. Мысли и воспоминания*).

Вывод, сделанный «железным» канцлером из петербургского анекдота, имеет, думается, отношение и к русской земельной общине. Насколько прав Бисмарк в своем решительном выводе, не будем спорить. В чем-то, конечно, прав.

Впрочем, вспомним другое его знаменитое высказывание: «Национальные вопросы решаются железом и кровью». И вспомним ответ Тютчева:

«Единство, — возвестил оракул наших дней, —
Быть может спаяно железом лишь и кровью...
Но мы попробуем спаять его любовью, —
А там увидим, что прочней».

Прав ли Бисмарк? Большинство, наверное, ответит утвердительно.

А Тютчев разве не прав?

Имя Тютчева почиталось в семье Столыпиных не только потому, что Петр Аркадьевич разделял философские и политические взгляды поэта на судьбу России, но и по иной причине. Мать Столыпина, Наталья Михайловна, приходилась племянницей канцлеру Горчакову, ближайшим сотрудником которого был Тютчев. А Горчаков и Бисмарк являлись политическими противниками.

Поэтому для Столыпина, бесспорно, был прав Тютчев. Тем более что, как свидетельствует министр иностранных дел столыпинского кабинета А.П. Извольский, премьер был привязан «ко многим славянофильским теориям».

Вот тут-то и парадокс. Именно Столыпину, не «западнику», а человеку, любящему и понимающему Россию, было суждено проводить разрушительную для общины реформу.



«Умом Россию не понять, аршином общим не измерить», — эти тютчевские слова известны всем со школьных лет. Но насколько они истинны, каждый решает сам.

Представим, что история столыпинского рода могла бы предстать перед нами, как лента фантастического кино и мы бы увидели собравшихся вместе боярских детей с бердышами, служак-офицеров, помещиков, экономистов, медицинских сестер, писателей, политиков, — поняли бы они друг друга? Приняли бы закономерность исторической драмы? Или, как не способные видеть дальше очерченного судьбой круга, ужаснулись бы? Такой ленты нет. Нет у нас той России.

## ГЛАВА 3

Наступил двадцатый век. В 1902 году Столыпин становится гродненским губернатором. Ему сорок лет. У него четыре дочери, сын родится через год.

Мало кому известно это имя. Да и что такое — гродненский губернатор? Губерния незначительная, в углу. Разве что болот много, а в самой Гродне много евреев и поляков. История Гродны пестрая. От киевских князей до шведов. Отсюда Стефан Баторий целился в сердце Руси, но не угадал. Теперь от его замка одни развалины.

Чем занимается новый губернатор? Земельными делами: внедрением искусственных удобрений, улучшенных орудий, многопольных севооборотов, а еще больше — устройством хуторов. Это ему знакомо.

Через год Столыпина назначают губернатором Саратовской губернии. Саратовская — в центре страны, большая, русская. Здесь у Столыпина родовые земли, здесь Столыпины известны, двоюродный дед губернатора, Афанасий Алексеевич, был саратовским предводителем дворянства.

В июне рождается сын Аркадий, который через три года будет ранен при первом покушении. Шестеро детей у губернатора. Он не только любящий отец, но и «хозяин», как определял положение губернатора один из указов девятнадцатого века.

А новый, двадцатый, век — новые песни. Прогремели войны: англо-бурская, на которой побывали и русские добровольцы (в том числе прославившийся потом в Государственной Думе А. И. Гучков), и другая, тоже далекая, американо-испанская. Россия же еще раньше ввела войска в Маньчжурию. Казалось, продолжалась традиционная политика империи — защищаться на западе, наступать на востоке. А что внутри страны? Министр финансов С. Ю. Витте в 1900 году представил Николаю II доклад «О положении нашей промышленности», в котором подчеркивал необходимость индустриального развития России.

Роль Витте в истории России велика, это был выдающийся финансист и политик. Многое из начатого им пришлось продолжать Столыпину. Но пока до столыпинских реформ, кажется, невообразимо далеко.

В докладе говорилось о богатых потенциальных возможностях России и обращалось внимание на отсталость отечественной промышленности в сравнении с Европой и Северной Америкой.

Витте подчеркивал, что Россия остается страной по преимуществу земледельческой, в то время как политическое, да и военное могущество всех государств зиждется теперь на их промышленном развитии. России с ее огромным разноплеменным населением и сложными задачами в мировой политике прочный экономический фундамент необходим больше, чем какой-либо другой стране. «Международное соперничество не ждет. Если ныне же не будет принято энергичных и решительных мер к тому, чтобы в течение ближайших десятилетий наша промышленность оказалась в состоянии своими продуктами покрывать потребности России и Азиатских стран, которые находятся или должны находиться под нашим влиянием, то быстро растущая иноземная промышленность сумеет прорваться через наши таможенные преграды и водвориться как в нашем отечестве, так и в сказанных Азиатских странах, а укоренившись в глубинах народного потребления, она может постепенно расчистить пути и для более тревожных иноземных политических влияний». Он предупреждал царя, что «медленный рост промышленности может затруднить выполнение великих международных задач России, ослабить ее могущество, повлечь за собой политическую и культурную отсталость». *(А. В. Игнатьев. С. Ю. Витте — дипломат).*



Эта мысль российского министра, пожалуй, актуальна и доныне. Витте доказывал: быстрое развитие нашей промышленности возможно, есть природные богатства, дешевая рабочая сила, защита правительством отечественных предпринимателей от иностранных соперников. Вывод Витте категоричен: необходимо привлечь средства из-за границы.

Сегодня споры о зарубежных займах весьма горячи. Тем необходимее аргументы министра. «Русская промышленность, — считал Витте, — выиграет не только от притока денег, но и от более опытной, искусной и смелой иностранной предприимчивости. Кроме того, зарубежные капиталисты будут заинтересованы в судьбе своих инвестиций в периоды политических осложнений в России».

Министр отмечал, что перспектива широкого наплыва чужестранных капиталов по-прежнему вызывает у многих некоторую тревогу. Он, однако, считал ее беспочвенной. Подобный путь развития прошли все современные богатые страны, не утратив при этом своей независимости. Витте признавал некоторую обоснованность подобных опасений лишь в области государственного кредита: безопаснее удовлетворить его потребности внутренними средствами, чем полагаться при выпуске займов целиком на иностранные биржи. Заграничные же инвестиции никакой опасностью для России не грозят, а потому желательно снять существующие ограничения к открытию здесь иностранных компаний, участию зарубежного капитала в русских акционерных обществах и к предпринимательской деятельности подданных других государств.

Идеи Витте отвечали требованиям времени и соответствовали социально-политическим условиям России, где финансирование дворянско-помещичьего землевладения отвлекало огромные средства. Другой путь к быстрому экономическому развитию могла открыть лишь революция.

Как видим, аргументы нам знакомые. Правда, это только попутное замечание, подобных аналогий мы еще встретим немало.

Итак, Витте — в Петербурге, а Столыпин — в Саратове. Пока еще это несоизмеримые величины. Сергей Юльевич создал «Государство Витте» (В. Плеве), за Петром же Аркадьевичем ничего, кроме незаметной провинциальной деятельности, не наблюдается.

Разве саратовское земледелие, хлебную торговлю,

сто пятьдесят фабрик и заводов, одиннадцать банков, шестнадцать тысяч домов, почти семьсот магазинов и свыше двух тысяч лавок можно сравнить с государством Сергея Юльевича? Нет и еще раз нет!

Всем хорош Саратов, даже восемь периодических изданий имеет, но нечего и сравнивать серьезного, волевого саратовского губернатора с великим министром финансов. Не сравнимы!

Справедливо будет вспомнить, что в Саратовской губернии при реке Алае лежит село Столыпино, а при нем — опытный хутор А.Д. Столыпина, родственника губернатора, и там культурное хозяйство. Заведено производство семян, возможные для данной местности полевые культуры, садоводство, огородничество, сушка плодов и овощей, плодово-ягодное виноделие, улучшение рабочего, мясного и молочного рогатого скота, производство масла и сыроварение, шерстяное тонкорунное овцеводство, конный завод, свиноводство беркширской, йоркширской и польско-китайской пород. Хорошо, должно быть, на хуторе.

Вот это — столыпинское. Он помещик, пусть и просвещенный, с университетским, как и Витте, образованием, но ведь феодал. Революция машин теснит помещиков, и мало кому из них удастся спастись на прекрасных культурных хуторах.

С одной стороны, вперед рвутся промышленники, с другой — крестьянское море все сильнее обламывает льдину помещичьего землевладения, несмотря на все усилия Дворянского банка помешать этому.

И неизвестно, как долго бы находился в тени молодой саратовский губернатор и вообще смог ли бы он когда-нибудь выйти в первый ряд исторических деятелей. Для выдвижения требовался случай. Какое потрясение должно было произойти?

Пока что в Россию входил с запада иностранный капитал, из России русские торговля и предпринимательство устремлялись в соседние азиатские страны. Завершалось строительство Сибирской железной дороги, больше половины проектируемой протяженности КВЖД и ЮМЖД было закончено. Скорость строительства была огромна. По уровню прокладки железных дорог Россия вышла на третье место в мире после США и Великобритании.

Промышленники и купцы проталкивали на Востоке самые различные товары, от керосина до текстиля. Банкиры врывались на новые финансовые рынки.



Учетно-ссудный банк Персии, Монгольский, Русско-Китайский, Русско-Азиатский, Русско-Корейский — сами названия этих финансовых объединений указывали направление. На Восток, в Азию?

Автор этих строк работал в Военно-историческом архиве, собирая материалы о генерале Самсонове, одной из самых трагических фигур первой мировой войны. Александр Васильевич Самсонов участвовал восемнадцатилетним корнетом в войне с Турцией 1877 — 1878 годов, затем в русско-японской и германской. Накануне германской он был генерал-губернатором Туркестана, участвовал в обеспечении продвижения России. Архивные документы обладают некоей самостоятельной субстанцией, дополняющей наши исторические клише. Например, как можно оценить следующий пункт политической инструкции начальнику Керкинского гарнизона: **«Не подвергать обаяние русского имени среди афганцев ненужному риску»?**

Или другой пример. Глава племени хезаре, правитель персидской провинции Бехар Шудж уль Мульк обратился в Ташкент к губернатору с просьбой устроить его сына на учебу в русский кадетский корпус. Одновременно английский консул в Мешеде, желая привлечь Шуджа на свою сторону, предлагал устроить мальчика в Индии. Шудж отказался. И мальчик поехал в Ташкент. Почему выбор склонился в сторону России? Разве англичане были слабее? По одному случаю, конечно, не надо оценивать противостояние двух держав, однако по донесению русского консула Михайлова из персидского города Турбеги-Хейдари можно понять, почему Шудж направил сына на Север. Он был дружен с чинами русской противочумной стражи. А больше никаких сведений.

Бесспорно, проникновение купцов и промышленников — это не только дружеские знакомства, но и соперничество, борьба. Поэтому, когда читаешь сводку о том, как в бухарском кишлаке Юрчи местные торговцы приставали к купцу Головащенко, чтобы тот принял мусульманство, грозя в противном случае перебить семью, то видишь новые краски движения на Восток. Правда, в данном столкновении все закончилось почти мирно: армянские торговцы пожаловались бухарскому беку, а тот распорядился ретивым сторонникам религиозной борьбы с конкурентами дать по двадцать пять палок, после чего они стали относиться к христианам мирно.

Нелишне процитировать несколько строк из книги Дж. Керзона «Россия в Средней Азии в 1889 г. и англо-русский вопрос»: «Каждый англичанин приезжает в Россию русофобом и уезжает русофилом». Да, тот самый Керзон, будущий министр иностранных дел Великобритании, которого мы знаем по «ультиматуму Керзона» и «линии Керзона». Но ему принадлежит и определение одной из самых симпатичных черт нашего характера: «добродушная любезность всего народа, от высшего чиновника до простого мужика».

Впрочем, в центре англо-прусского вопроса, подчеркивал молодой Керзон, — Афганистан, Иран, Китай, Индия.

К началу века экономическая деятельность России сделалась настолько активной, что она заметно потеснила из Персии соперника.

Современный читатель, наверняка, будет поражен, узнав, что это соперничество выражалось даже в том, что русский Ссудный банк получил право чеканить персидскую монету. А как мы отнесемся к намерению проложить трубопровод от Баку до Персидского залива для керосиновой торговли не только в самой Персии, но и в Индии и на Дальнем Востоке? Витте дерзко и решительно боролся с англичанами, имевшими монопольное право вести трубопроводы в Персии. Он нашел юридическую лазейку: английские трубопроводы — для персидской нефти, а русский — для бакинской, это ведь совсем иное дело.

От серьезного столкновения двух стран предотвратило только их совместное противодействие германскому продвижению в этом районе.

Германский проект строительства Багдадской железной дороги встревожил Лондон, Петербург и Париж. Англичан беспокоил выход нового могучего конкурента к Индии. Русских — приближение немцев к Босфору и Дарданеллам.

В одной из статей Витте писал, что Багдадская линия откроет доступ в Европу малоазиатскому зерну, потеснит на немецком рынке русский хлебный экспорт.

И почти всюду, куда бы мы ни посмотрели, — Витте, Витте и снова Витте.

Нам тоже без Сергея Юльевича не обойтись, ведь Витте и Столыпин — две стороны российской медали. Оба служили идее Великой России, стремились избежать революционных потрясений, были противниками военных конфронтаций. Витте мог бы подписаться под



политической формулой Столыпина: «Вам нужны великие потрясения, нам нужна Великая Россия!»

Историческое совпадение: дед Витте по матери, А.М. Фадеев, был в прошлом саратовским губернатором. Семья будущего графа и Председателя Совета министров была ультрарусской и ультрадворянской. Новороссийский университет, служба в управлении Одесской железной дороги, работа по обеспечению военных перевозок в 1877—1878 годах, увлечение идеями панславизма, разработка принципов железнодорожно-тарифного дела в империи — так начиналась его карьера.

Главным Витте считал интересы «национальной экономии», независимость российской хозяйственной системы. Эти взгляды он выразил в книге «Национальная экономия и Фридрих Лист», в которой рассматривал работы немецкого экономиста и политику Бисмарка.

Далеко заглядывал молодой Витте! Вся его будущая политика была сформулирована в той небольшой книжке. Индустриальное развитие, внешняя и внутренняя торговля, мореплавание, усовершенствование земледелия, защита исторических достижений империи — вот это направление. Оно должно было обеспечиваться таможенным протекционизмом, железнодорожным строительством, созданием сильного флота, расширением рынков. И еще — Витте не ограничивался хозяйственными вопросами. От чего зависит роль народа в мире? — спрашивал он. Да от материальных обстоятельств. Но еще и от нравственных его начал, государственных традиций, идеалов, религии.

Витте не предлагал особого «русского пути», но интересы России и величие русского народа были для него опорными понятиями.

В сорок два года он становится управляющим Министерством путей сообщения, затем — министром финансов. Взлет поразительный! У Столыпина, впрочем, тоже был взлет не менее поразительный. Только с другой взлетной полосы.

За Витте должен был прийти не новый Витте, а другой реформатор или даже диктатор.

Почему диктатор?

Потому что другая сторона, земледельческая, крестьянская, к которой относилось четыре пятых российского населения, жила (вспомним слова А. В. Кривошеина) по законам царя Берендея. И вот эта земляная

Русь, питая своими соками «виттевское государство», рано или поздно должна была загореться на огне промышленного прогресса. Налоговый пресс давил именно ее. Прогресс оплачивало крестьянство.

Общинный Атлант в лаптях держал все более непосильное индустриальное небо. Надолго ли у него должно было хватить сил?

Витте повышал прямые и косвенные налоги, получал заграничные займы, но он не был слепцом — положение крестьянства весьма тревожило его.

Надо быть справедливым. Именно Витте сыграл огромную роль в подготовке столыпинской реформы. Именно Витте стал раскачивать этот реформаторский колокол. Но нет ничего удивительного в том, что Реформатором Сергей Юльевич не стал. Он не хотел рисковать.

Перед нами книга «А. В. Кривошеин. Его значение в истории России начала XX века». Автор — К. А. Кривошеин, сын Александра Васильевича. Издана в Париже в 1973 г. Одна из серьезных книг по столыпинской реформе, если учесть, что А. В. Кривошеин был правой рукой Столыпина.

Из нее следует, что Витте был в начале карьеры убежденным сторонником общины и всецело поддержал закон от 14 декабря 1893 г., запрещавший выход из общины без согласия двух третей домохозяев даже после погашения выкупного долга, как и залог выделенных в собственность земельных наделов и их продажу лицам «несельского состояния». Этот закон, по словам председателя Комитета министров Н. Х. Бунге, погашал навсегда у крестьян иное представление о личной собственности и уважение к собственности помещиков.

Признание Бунге проливает свет на многие наши неурядицы.

Прошло пять лет. Витте понял, что причина низкой платежеспособности крестьян — в правовых условиях их быта, то есть национальные традиции вступили в противоречие с историческим процессом.

Предоставим слово самому Витте.

«С административно-полицейской точки зрения она (община. — *Авт.*) также представляла более удобства — легче пасти стадо, нежели каждого члена стада в отдельности. Такое техническое удобство, кстати, получило довольно мощную поддержку в весьма почтенных любителях старины, славянофилах и иных старь-



евщиках исторического бытия русского народа, что посягать на общину, значит, посягать на своеобразный русский дух. Общество, мол, существовало с древности, это цемент русской народной жизни...

Чувство любви старины очень похвально и понятно: это чувство является непременным элементом патриотизма, без него патриотизм не может быть жизненным. Но нельзя жить одним чувством — нужен еще разум... Общинное владение есть стадия только известного момента жития народов, с развитием культуры и государственности оно неизбежно должно переходить в индивидуализм — в индивидуальную собственность, если же этот процесс задерживается, и в особенности искусственно, как это было у нас, то народ и государство хиреют...

Одна и может быть главная причина нашей революции, это — запоздание в развитии принципа индивидуальности, а следовательно, и сознания собственности и потребности гражданственности, а в том числе и гражданской свободы. Всему этому не давали развиваться естественно, а так как жизнь шла своим чередом, то народу пришлось или давиться, или силою растопыривать оболочку: так пар взрывает дурно устроенный котел — или не увеличивай пара, значит, отставай, или совершенствуй машину по мере развития движения.

Чувство «я» — чувство эгоизма в хорошем и дурном смысле — есть одно из чувств, наиболее сильных в человеке...

Единственный серьезный теоретический обоснователь экономического социализма, Маркс, более заслуживает внимания своею теоретическою логичностью и последовательностью, нежели убедительностью и жизненной ясностью. Математически можно строить всякие фигуры и движения, но не так легко устраивать на нашей планете при данном физическом и моральном состоянии людей. Вообще социализм для настоящего времени очень метко и сильно указал на все слабые стороны и даже язвы общественного устройства, основанного на индивидуализме, но сколько бы то ни было разумно-жизненного иного устройства не предложил. Он силен отрицанием, но ужасно слаб созиданием. Между тем духом социализма-коллективизма заразились у нас многие, даже очень почтенные люди. Они, уже не говоря о натурах, поклоняющихся всякому государственному разрушению, также яви-

лись сторонниками «общины». Первые потому, что видели в ней применение принципа мирного социализма, а вторые потому, что в применении этого принципа в жизни народа не без основания усматривали зыбкую почву, на которой легко произвести колебания в общеэкономической, а следовательно, и в государственной жизни. Таким образом, защитниками общины явились благонамеренные, почтенные «старьевщики», поклонники старых форм, потому что они стары, полицейские администраторы, полицейские пастухи, потому что считали более удобным возиться со стадами, нежели с отдельными единицами; разрушители, поддерживающие все то, что легко привести в колебание, и, наконец, благонамеренные теоретики, усмотревшие в общине практическое применение последнего слова экономической доктрины — теории социализма. Последние меня больше всего удивляли, так как если когда-либо и восторжествует «коллективизм», то, конечно, он восторжествует совершенно в других формах, нежели он имел место при диком или полудиком состоянии общественности». *(С. Ю. Витте. Воспоминания).*

Как далеко в конце жизни Сергей Юльевич отошел от своих ранних взглядов и как прямо утверждал совсем иные. Казалось, надо сделать всего один шаг, и тогда столыпинская реформа называлась бы виттевской, а сам Столыпин остался бы второстепенным провинциальным деятелем.

Но мог ли сделать этот шаг Сергей Юльевич?

Об окостенелости крестьянского бытия знал не только министр финансов. Было в начале 1902 г. учреждено Особое совещание о нуждах сельскохозяйственной промышленности, опиравшееся на местные дворянство и земства. В декабре 1903 г. «Вестник финансов» напечатал сводку работ местных комитетов о правовой закрепощенности крестьянских хозяйств, из-за него невозможно никакое экономическое движение. Одна из главных помех — община. Надо содействовать переходу к подворному и хуторскому владению, предоставить отдельным крестьянам право выделять свой земельный надел, помимо согласия общины.

Кому принадлежали эти выводы? Социалистам, демократам или хлебопромышленникам? Нет, конечно. Прежде всего это было мнение группы дворян и чиновников, подобных Витте, выросших внутри российского хозяйственного дома. Они стремились к переменам, с надеждой глядя на Николая II, полагая, что тот



сможет продолжить реформы своего деда Александра Освободителя.

«Связь между 1861 годом и событиями, разыгравшимися 44 года спустя, несомненна и очевидна». (*В. И. Ленин. По поводу юбилея*).

А что думали сами крестьяне?

У нас есть возможность обратиться к уникальному свидетельству той поры — литературному наследию крестьянина Сергея Терентьевича Семенова, самого настоящего русского хлебопашца, бывшего и прекрасным писателем. В очерках «Двадцать пять лет в деревне» Семенов рассказал многое, что осталось в стороне от внимания профессиональной литературы. Хотя он выпустил шеститомное собрание сочинений и за него был удостоен премии Российской академии наук, хотя его высоко ценил Лев Толстой, он остался неизвестным нынешнему так называемому «широкому читателю». Почему? Потому что не укладывался в привычное клише. Объяснять этот феномен — не задача нашей работы, здесь речь о достоверности свидетельства. Л. Н. Толстой: «Искренность — главное достоинство Семенова. Но кроме нее у него и содержание всегда значительно: значительно и потому, что оно касается самого значительного сословия России — крестьянства, которое Семенов знает, как может знать его только крестьянин, живущий сам деревенской тягловой жизнью».

Так вот, поразительно следующее автобиографическое свидетельство хлебопашца-писателя. В один из майских страдных дней, когда дорог каждый час, сельский сход постановил не работать, а праздновать храмовый праздник. Лишь один Сергей Терентьевич пренебрег общественным решением и вышел пахать свой надел. Это нарушение недешево ему обошлось. Однодеревенцы подали на него в суд за кощунство, он был осужден!

Жестокость и нетерпимость общины к новому выражены ярче яркого.

Пока виттевское Особое совещание искало приемлемый способ убедить Николая II в необходимости перемен, внизу, в деревенской обыденности, тормозилось все, что могло способствовать сельскохозяйственному прогрессу.

Мы еще обратимся к творчеству Семенова, чтобы взглянуть его глазами на подлинные трагедии, происходившие при проведении столыпинской земельной

реформы. Увы, новое должно было пробиваться с кровью и муками.

Но еще «внизу» тихо, еще «наверху» неторопливо изучают проблему, ищут, как безболезненно проскочить между молотом нужды и наковальней помещичьих интересов.

Одни утверждают: временное владение общинным наделом — неодолимое препятствие к улучшению культур, оно порождает хищническую эксплуатацию земли.

Другие: община будет способствовать развитию кооперации.

Третьи: она не является национальной особенностью русских, она была и у иных народов в эпоху примитивного земледелия.

Четвертые: надо сохранить общину, но не препятствовать тем, кто хочет выйти из нее.

В итоге запоздавшее на несколько десятилетий решение так и не получило своевременного устройства.

Работа Н. Бердяева «Духи русской революции», перекликающаяся в чем-то с ленинской «Лев Толстой как зеркало русской революции», проливает свет на эту проблему с неожиданной стороны. «Возвышенность толстовской морали есть великий обман, который должен быть изобличен. Толстой мешал нарождению и развитию в России нравственно ответственной личности, мешал подбору личных качеств и потому был злым гением России, соблазнителем ее... В нем русское народничество, столь роковое для судьбы России, получило религиозное выражение и нравственное оправдание... В то время как принятие этого толстовского морального сознания влечет за собой погром и истребление величайших святынь и ценностей, величайших духовных реальностей, смерть личности и смерть Бога, ввергнутых в безличную божественность среднего рода... Исторический мир — иерархичен, он весь состоит из ступеней, он сложен и многообразен, в нем — различия и дистанция, в нем — разнокачественность и дифференцированность. Все это так же ненавистно русской революции, как и Толстому. Она хотела бы сделать исторический мир серым, однородным, упрощенным, лишенным всех качеств и всех красок. И этому учил Толстой как высшей правде. Исторический мир разлагается на атомы, и атомы принудительно соединяются в безличном коллективе».



«Не высовывайся!» — кажется, сей вечный девиз реет над земледельческой страной.

По-видимому, большинство читателей согласится с такой картиной.

И попадут впросак!

Да, община порабощала. Но община имела такие корни, что в иной ситуации, на земельных просторах Сибири, куда текла переселенческая река из малоземельного центра, изрезанного чересполосицей, она возрождалась совершенно в цветущем виде.

Немного забежим вперед, быстро перемахнем весь период реформ и очутимся на Алтае, где перед нами развернется волшебная картина.

Итак, перед нами «Всеобщий Русский Календарь 1918 г.»

«А для тех, кто не верит в быстрое возрождение деревни, достаточно вспомнить о сибирской деревне Старой Барде Бийского уезда Томской губернии. Больше 20 лет тому назад устроили там жители маслодельную артель, через два года выросла артельная лавка, а потом явился и целый ряд кооперативных начинаний: ссудно-сберегательное товарищество, маслобойный завод, наконец, артельная мельница, а при ней электростанция для освещения мельницы, а заодно и деревни. И вот 28 декабря 1912 г. двести пятьдесят изб деревни осветились электричеством, причем за освещение брали три рубля в год. Потом провели в избы и телефон, устроили примерный опытный скотный двор, опытные посевы кормовой свеклы и кормовых трав. А скоро заговорили о постройке в селе народного дома, о собственном кинематографе. И жители со всей округи стали приезжать в Старую Барду поучиться, как дельные люди сумели сами себе построить новую свободную и разумную жизнь. Пусть же тот почин и та кипучая работа, которые преобразили жизнь далекой сибирской деревни, вспыхнут ярким пламенем и по лицу всей деревенской Руси».

Ну разве не волшебна эта картина? Как объяснить результат общинной работы крестьян-сибиряков? Ведь нет привычного объяснения. Как только с них сняли удавку малоземелья и чересполосицы, как только устранили многолетние выкупные платежи, лежавшие на всех круговой порукой и не позволявшие отпускать никого, так сразу же община показывает свою мощь. Вот где исток знаменитой сибирской кооперации: свобода и коллективность.

Но где свобода в начале века?

Крестьянское электричество не в состоянии осветить родимых углов. Там нет и тени свободы. Наоборот, давление выкупных платежей за землю, полученную в 1861 г., малоземелье, растущая бедность — разве это свобода? Да к тому же растет долг общины банкирам за ростовщические ссуды.

В деревню врывалась новая сила. И никто — ни община, ни дворянин-помещик не мог противопоставить ей что-либо серьезное.

Современный исследователь отмечает, что вплоть до столыпинской реформы особенно прибыльным для финансовых дельцов было ипотечное дело, связанное с выдачей ссуд под заклад земли. Частным земельным банкам и мелким ростовщикам было выгодно сохранение общины с ее круговой порукой (Ю. М. Бородай).

Так где же свобода?

Свободы не видно.

Даже Витте, по его собственному выражению, всего лишь щупал почву и встречал явное нерасположение Государя и государственных сил. Тут надо было либо рисковать своим положением и доказывать необходимость срочных мер, либо уметь ставить вопрос, лавировать, иметь всегда под рукой довод: «Я ведь предупреждал?»

Сергей Юльевич был реалистом и отступил.

## ГЛАВА 4

Нужен другой герой. И он появляется.

«Делопроизводство о дворянине, студенте Санкт-Петербургского Университета Борисе Викторовиче Савинкове.

Приметы Бориса Савинкова.

Рост средний, не больше 2 аршин, 7 вершков, телосложения слабого, наружностью производит впечатление подвижного нервного человека, сутуловат. Плечи, гнутые вперед.

Глаза карие, беспокойно бегающие, близорук. Взгляд суровый, часто прищуривается.

Цвет волос — на голове и усах каштановый.

Голова — лысая, коротко острижена, круглая. Немного нагибает вперед.

Лицо — овальное, худощавое, в веснушках.

Лоб — несколько покатый.



Нос — продолговатый, тонкий, ровный, с малозаметной горбинкой.

Губы — тонкие, верхняя губа немного вздернута и с небольшим утолщением.

Усы — небольшие, редкие и под носом на верхней губе маленький пробел, т.е. очень редкие волосы усов.

Веки — верхние — немного утолщенные и морщинистые. Походка — руки при походке обыкновенно держит прямыми, опущенными вперед и при походке наклоняет весь корпус вперед. Тонкую палочку, которую он большей частью носит, вешает на левую руку ниже локтя... походка тихая и при ходьбе слегка приседает, в особенности на левую ногу, поэтому вся часть тела, совместно с головою раскачивается вперед, благодаря такой походке сутулость его становится более заметной.

Особые приметы: на наружной стороне левого предплечья черного цвета родимое пятно, величиною с двугривенный, покрытое черными длинными волосами.

На правой руке выше кисти наподобие шрама».

Это портрет, извлеченный из фондов Особого отделения департамента полиции, дает только внешнее представление о крупнейшей фигуре эсеровского террора. Внутренний огонь не виден. А внешний? Что ж, неприятный портрет, в чем-то отталкивающий.

И все-таки — это портрет героя того времени. Страстного, мужественного, самозабвенного революционера, готового погибнуть.

Снова и снова вспоминается Владимир Соловьев с его универсальным определением отношений личности и государства в России. Через жертву!

Савинков был жертвой. Да, этот обезьяноподобный, с суровым взглядом дворянин. И жертвой, и ускорителем прогресса.

Эсер, убийца, организатор убийства министра внутренних дел В. К. Плеве и московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича, осужденный на смертную казнь, бежавший — это Савинков.

Его брат, сосланный в Сибирь, кончает с собой. Отец сходит с ума.

Эсер Егор Сазанов, взорвавший Плеве, пишет Савинкову с каторги: «Сознание греха никогда не покидало меня».

К повести «Конь вороной» Савинков уже ставит

эпиграф «...Кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, ибо тьма ослепила ему глаза».

Раскаяние тоже настигает Савинкова, но это будет потом. А пока — он герой, жертва, ускоритель кровавый.

Столыпин — в Саратове.
Витте — в Петербурге.
Семенов — в Волоколамском уезде.
Толстой — в Ясной Поляне.

Все на своих местах. Но вот-вот все сдвинется. Уже сдвигается. Еще никто не слышит подземного гула, а гранитная плита российской жизни вздрогнула.

27 января 1904 года началась несчастная война с Японией, против которой решительно выступал Сергей Юльевич и которая так логично вытекала из его азиатской политики.

«Когда мы ввели наши войска в Маньчжурию, то мы тоже громогласно объявили, что мы вводим в Маньчжурию войска только для того, чтобы поддержать пекинское правительство и прекратить боксерскую смуту, которую не может прекратить законное Китайское правительство, и что, коль скоро эта смута будет прекращена, мы сейчас же уйдем из Маньчжурии.

Между тем смута была прекращена, но мы... не уходили...

Затем, если бы мы исполнили в точности наше соглашение с Японией и не начали в Корее тайных махинаций, имея в виду там доминировать, Япония, наверное, успокоилась бы и не начала довольно решительно действовать против нас». (*С. Ю. Витте. Воспоминания*).

Война, начавшаяся, как всегда, с народной уверенности в победе, быстро сделалась непопулярной и тяжелой. Мог ли солдат легко идти в бой, защищать какую-то неведомую землю в каких-то неведомых краях? Что ему Корея, лесные концессии на реке Ялу?

Все новые круги дружно желали победы Японии.

Через Саратов шли воинские эшелоны на восток, губернатор Столыпин выходил встречать их, играл оркестр, весело и дружно отзывались нижние чины.

Войска были сильны.

Впрочем, управляющий саратовским отделением Крестьянского банка Зерен убеждал крестьян, клиентов банка, не покупать земли у помещиков, ибо в скором времени вся земля бесплатно перейдет народу.



Крестьяне только улыбались, не зная, что отвечать.

«Когда Куропаткин покинул пост военного министра, и поручение ему командования армией еще не было решено, он упрекал Плеве, что он, Плеве, был только одним из министров, который эту войну желал и примкнул к банде политических аферистов. Плеве, уходя, сказал ему:

— Алексей Николаевич, вы внутреннего положения России не знаете. Чтобы удержать революцию, нам нужна маленькая победоносная война». (*С. Ю. Витте. Воспоминания*).

Результат войны известен, нет смысла описывать военные действия. Она настолько далека от «сегодня», что подобна древнегреческим мифам. Ляоян, Мукден, Сандепу... Вы слышали эти названия? Они задевают ваши чувства? Вряд ли. Ну разве что когда-нибудь услышите печальный вальс «На сопках Маньчжурии» и сожмется сердце:

Плачет, плачет мать родная,
Плачет молодая жена...
Мертвые спят...

Однако назовем несколько имен: героев не героев, а просто участников тех битв. Корнилов Деникин, Врангель, Марков, Улагай, Крымов — это деятели будущей гражданской войны. Самсонов, Жилинский, Эверт, Марушевский — будущей мировой войны.

Внутри русско-японской был мощный человеческий потенциал. Он разновелик, даже разнонаправлен. В нем прошлое сплетено с грядущим, смешное с трагическим.

Но уже сформировался тип русского героя, готового к героическим деяниям в героическую эпоху.

Может быть, автор оговорился и имеет в виду не героя, а кого-то другого?

Нет, не ошибся. Война выявила все, что было в обществе. Одно должно было отмереть, другое — выжить. Например, Корнилов Лавр Георгиевич, тридцатипятилетний начальник штаба стрелковой бригады. Сын казака и киргизки, закончил с золотой медалью Академию Генерального штаба, знает восточные языки, участник «командировок» в Восточную Персию, автор ряда журнальных статей и книги «Кашгария и Восточный Туркестан». За храбрость получает в Маньчжурии орден св. Георгия 4-й степени.

Или — Самсонов Александр Васильевич. Его Уссурийская казачья дивизия, вопреки приказу об отступлении, удерживает двое суток позиции у Янтай-копей и обеспечивает отход армии под Мукденом.

И так далее...

Но рядом патриархальный генерал Н. П. Линевич, «папашка», старый туркестанец, имевший за Туркестан Св. Георгия 4-й степени, а за командование русским отрядом в Китае в 1900 г. и взятие Пекина — Св. Георгия 3-й степени. Он был тверд, обладал здравым смыслом, военным чутьем и понимал солдатскую душу. Образование у него было самое простое. На войне его сопровождали зять и сын, оба офицеры. Он был постоянным источником анекдотов.

Однажды вечером Линевич, собираясь идти спать, потянулся и объявил сыну:

— Ну теперь пора в объятия Нептуна!

— Не Нептуна, а Морфея, — поправил сын.

— Это все равно! Из одной минералогии!

Забавно, конечно. Но, возможно, дело не в мифологической путанице, а в том, что действительно эти старики были подобны каменным глыбам.

Пал Порт-Артур, погибла эскадра Рожественского в Цусимском сражении. Война была проиграна.

Генерал Драгомиров съязвил: «Япошки-макаки, а мы — кое-каки».

А негенералы выражались гораздо резче. Гимназисты и курсистки слали поздравительные телеграммы микадо. Русские поздравляли японцев с победой. Все были озлоблены, искали, на ком сорвать злость.

Министр внутренних дел В. К. Плеве был убит еще летом, 15 июля, Егором Сазоновым.

Летом же были совершены покушения и на саратовского губернатора. Но ему еще рано, еще не судьба.

Убит в доме Столыпина генерал-адъютант Сахаров, направленный императором для укрепления порядка в губернии. Его застрелила молодая женщина. Она вошла в дом, сказала, что у нее просьба к петербургскому гостю, и беспрепятственно дошла до Сахарова.

Сахаров — что? Случаен в этом повествовании, но гибель его не случайна. Да и не он один, — сколько сотен, тысяч под пулями, под бомбами погибло от гнева обозленных мужиков... Сдвинулась русская плита.

И еще покушались на Столыпина — прямо на театральной площади бомбу метнули. И снова обошлось. А у сотен, у тысяч не обошлось.



Бунтовала крестьянская община. Жгли родовые дворянские гнезда, пылали от «иллюминаций» усадьбы, библиотеки, картины, мебель...

Петербург настаивал на использовании войск. Столыпин — против войск. Считал — должны управиться губернские власти.

Пожалуй, он был романтик. Кто как не романтик мог распахнуть пальто и подставить грудь револьверу террориста? Столыпин распахнул:

— Стреляй!

По-видимому, только так можно было поразить взбунтовавшуюся толпу. Через несколько минут она опустилась на колени, требовала священника, чтобы отслужить молебен.

Легенда? В том-то и дело, что не легенда. Он ездил без охраны, веря в свое знание крестьянской натуры, в то, что он неразрывно, кровно связан с мужиками, и ему ничего не будет.

А ведь и не было. Они чувствовали, что он с в о й.

Были еще подобные случаи. Столыпин покорял и оставался невредим.

Если оставить в стороне силу характера, то Столыпин брал пониманием крестьянских интересов.

— Не в крупном землевладении сила России, — говорил он.

Мужики, должно быть, были с ним согласны.

По иронии судьбы первой из разгромленных усадеб была усадьба либерала, который субсидировал левые газеты. Он запросил войска, забыв весь либерализм.

Теперь взглянем из Саратова на Петербург. Кто там? Витте? Витте все понимал не хуже Столыпина, но покорялся обстоятельствам.

«Витте умный и достаточно сильный, чтобы спасти Россию, которую, думаю, еще можно удержать на краю пропасти. Но боюсь, он этого не сделает, так как, насколько я его понял, думает больше всего о себе, а потом уж о Родине. Родина же требует себе служения настолько жертвенно-чистого, что малейшая мысль о личной выгоде омрачает душу и парализует работу», — так отвечал Столыпин старшей дочери. *(М. П. Бок. Воспоминания...)*.

Кроме Витте, в столице были и другие силы. Столыпин обратился к царю с предложениями перемен в крестьянском быте.

Но почему он должен быть услышан? Чем он лучше Витте?

В ответ — молчание. Как будто Россия неподвижно застыла.

Горят усадьбы. Там нет табличек: «Памятник истории и культуры. Охраняется государством». Горят и образцовые хозяйства, и обреченные на разорение. Огонь не разбирает.

Витте тоже видит пожары, видит больше Столыпина.

«Вся пресса обратилась в революционную в том или другом направлении, но с тождественным мотивом — «долой подлое и бездарное правительство, или бюрократию, или существующий режим, доведший Россию до такого позора»... В последний год образовался ряд союзов — союз инженеров, адвокатов, учителей, академии (профессоров), фармацевтов, крестьянский, железнодорожных служащих, техников, фабрикантов, рабочих и проч. и, наконец, союз союзов, объединивших многие из этих частных союзов... В этих союзах принимали живое участие Гучков, Львов, князь Голицын, Красовский, Шипов, Стаховичи, граф Гейден... К этому союзу присоединились и тайные республиканцы, люди большого таланта, пера и слова и наивные политики: Гессен, Милюков, Гредескул, Набоков, академик Шахматов... Все эти союзы различных оттенков, различных стремлений были единодушны в поставленной задаче — свалить существующий режим во что бы то ни стало, а для сего многие из этих союзов признали в своей тактике, что цель оправдывает средства, а потому для достижения поставленной цели не брезгали никакими приемами, в особенности же заведомой ложью, распускаемой в прессе. Пресса совсем изолгалась, и левая так же, как правая...

В балтийских губерниях революция выскочила несколько ранее.

На Кавказе целые уезды и города находились в полном восстании, происходили ежедневные убийства...

Царство Польское находилось почти в открытом восстании, но революция держалась внутри...

Вся Сибирь находилась в полной смуте...» *(С. Ю. Витте. Воспоминания...)*.

Вообще об этих записках Сергея Юльевича сын Кривошеина заметил, что они «уксусом написаны». Но ведь не сказать, что они необъективны!



Бесстрастные дела архивов свидетельствуют о том же.

«С февраля 1905 года по май 1906-го совершено 15 покушений на губернаторов и градоначальников, 267 — на строевых офицеров, 12 — на священников, 29 — на торговцев. Среди жертв террора — и дети».

Из отдельных сообщений возьмем донесение военного губернатора Сырдарьинской области: «Брошена бомба в полицмейстера русской части Ташкента капитана Колушева (оглушила его на левое ухо), пристава Лундина ударили камнем в голову, помощника пристава — кистенем в лицо, у постового городового Овчарова пытались отобрать оружие».

Еще одно сообщение из Одессы: «В магазине Бомзе на углу Александровского проспекта и Европейской улицы от взрыва брошенной бомбы получили ранения частей тела: Григорий Промыслов, Вольф, Нисензон, Исаак Бекар, Яков Леймар».

Из Таврической губернии подполковник Вельсовский доносит: «Терроризованная полиция совершенно бездействует».

В России и в столице наступил хаос. Печать вышла из подчинения власти, остановились железные дороги, фабрики забастовали. Даже армия заколебалась. Броненосец «Потемкин» поднял флаг восстания.

И никто, ни один человек не мог сказать, что он защищает или оправдывает правительство. Все жаждали покаяния властей в совершенных грехах. Все жаждали перемен.

В Москве в доме возле церкви Святого Николы на Пыжах произошел случайный взрыв, при обыске полиция нашла оторванный палец женской руки и следы изготовления самодельных бомб. Через несколько дней охранное отделение обнаружило в больнице Бахрушина женщину, у которой ампутировали кисть левой руки и два пальца правой. Она назвалась мещанкой Надеждой Яковлевой и не стала давать какие-либо показания.

Наверное, она готовила покушение на московского генерал-губернатора Дубасова, была готова к убийству человека, к самопожертвованию, но судьба распорядилась по-иному.

Впрочем, террор не мог остановиться, и другой человек готовился к жертве.

«Сегодня около часу дня в городе Москве было сделано покушение на жизнь московского генерал-гу-

бернатора посредством брошенной в него бомбы. При взрыве генерал-адъютанту Дубасову причинен ушиб глаза и опалены ноги. Как таковые, повреждения не представляют опасности для жизни. Сидевший в коляске рядом с генерал-губернатором адъютант его граф Коновницын убит на месте, а кучер тяжело ранен. Этим же взрывом убит и бросивший снаряд неизвестный злоумышленник, принадлежавший к летучему боевому отряду партии социалистов-революционеров и одетый в форму лейтенанта флота. Описанное выше преступление совершено на Тверской улице поблизости от Чернышева переулка, когда генерал-адъютант Дубасов возвращался из Успенского собора не тем маршрутом, который был рекомендован местным охранным отделением. Экипаж генерал-губернатора оказался сильно поврежденным». *(23 апреля 1906 г.)*.

Эсеры неустрашимо шли на смерть, их не смущали ничьи страдания. Это была чарующая игра, которой было увлечено российское общество, добивающее неугодное правительство.

Противостояние дошло до высшего градуса. Ни о каком компромиссе, по-видимому, уже не могло быть речи. Общественность с ненавистью смотрела на власть и жила одним объединяющим ее лозунгом: «Долой самодержавие!». А то, что общественность делилась на различные партии и группы, среди которых были непреодолимые разногласия, сейчас как будто никому не было заметно. Либералы и социалисты, сторонники конституционной монархии, постепенных реформ, радикалы, сторонники революционных перемен — все они еще объединены.

А власть тоже едина только внешне. Власть в России, по сути, принадлежит бюрократам, они больше всего не желают новых идей, перемен, реформ, их методы — уклонение от кардинальных решений, затяжка, перенесение ответственности на верха. Конечно, и Витте, и Столыпин — тоже бюрократы, стоящие слева, настроенные конструктивно. Они понимают, что исторические реалии меняются и спасение — в реформах.

Выходит, в разорванной противоречиями стране были с двух сторон объединяющие тенденции?

Были. Надо было им только сделать шаг навстречу друг другу. Преодолеть многолетнюю непримиримость. Что и пытались сделать все: Витте, Столыпин, Кривошеин — и чему препятствовали тоже все.



Лев Толстой пишет в дневнике: «Народы... хотят свободы, полной свободы. С тяжелого воза надо сначала скидать столько, чтобы можно было опрокинуть его. Настало время уже не скидывать понемногу, а опрокинуть».

Можно ли было пройти по центру, по единственно возможному третьему пути?

Никто этого не знал. Наверняка, этот путь, даже если был возможен, был связан с огнем с обеих сторон.

Витте направлял царю всеподданнейшее письмо с предложением срочно заключить мир с Японией, направлял еще в феврале 1905 г., еще до Цусимского боя.

Витте выходил на срединную линию. Он стоял подобно богатырю и против крайне правых, и против революции. Противостояние в конце концов дошло до своего пика — манифеста «Об усовершенствовании государственного порядка» от 17 октября 1905 года; послужило основанием для парламентаризма, то есть породило Думу.

Столыпин вышел из этого манифеста.

Но еще летом, во время цусимской трагедии, столыпинский отчет на высочайшее имя о положении губернии за 1904 г. ярко выразил требование жизни: «дать выход энергии и инициативе лучших сил деревни».

Только вот в чем различие, незаметное на первый взгляд: для Витте проблема была экономической и правовой, для Столыпина — политической и экономической. Витте мог терпеть, лавировать, избегать личного риска, Столыпин готов был на самопожертвование. Это различие вскоре обнаружится. Огонь вскоре опалил Столыпина.

Российский гранит сотрясается, надо что-то предпринимать. Но что? Земельная реформа? Ведь именно земельный голод — одна из первых причин сотрясения. Впрочем, этого уже мало, требуют политических свобод и участия общественности в управлении государством.

Витте вернулся из Америки, заключив Портсмутский мир с Японией, и считал себя в силах решить эти проблемы. Для начала — успокоить крестьян. Успокоить постепенно, чтобы пока не очень ослаблять общину. Власти колеблются: в результате немедленная реформа отклоняется, а принимается манифест об отмене с 1 января 1907 г. выкупных платежей.

Снова пошли проекты, сомнения, иносказания. В результате проект главноуправляющего землеустройством и земледелием Кутлера, за которым стоял Витте, был свергнут всеми министрами как нарушающий принцип неприкосновенности частной собственности.

Сталкивались взгляды, велась борьба не только проектов, но и живых людей, желающих удержать свое положение, поставить на нужную карту. Неподвижный консерватизм был еще крепок. Даже А. В. Кривошеин еще неподвижен, хотя вскоре он полностью переменит взгляды.

Восемнадцатого октября 1905 года Александр Блок пишет такие строки:

Еще прекрасно серое небо,
Еще безнадежна серая даль.
Еще несчастных, просящих хлеба,
Никому не жаль, никому не жаль!

И над заливами голос черни
Пропал, развеялся в невском сне.
И дикие вопли: «Свергни! О, свергни!»
Не будят жалости в сонной волне...

И в небе сером холодные светы
Одели Зимний дворец царя,
И латник в черном не даст ответа,
Пока не застигнет его заря.

Тогда, алея над водной бездной,
Пусть он угрюмей опустит меч,
Чтоб с дикой чернью в борьбе бесполезной
За древнюю сказку мертвым лечь...

Эти стихи отражают страсти Пятого года. Черный латник — статуя на крыше Зимнего.

Правда, через два месяца Кривошеин в записке царю скажет: «Укрепление в сознании крестьянства понятия о неприкосновенности частной собственности здесь может быть достигнуто... посредством облегчения каждому члену общины выделиться из ее состава с участком надельной земли... Достаточно сделать крестьянина собственником, чтобы он осознал всю чудовищность экспроприации чужой собственности».

Столыпин еще губернаторствует, не ведает ничего о том, что его мысли выражаются другими людьми. До Николая II наконец доходит возможность иной аграрной политики, он начинает понимать, что община



ограничена. Теперь и Витте приходит к осознанию необходимости крестьянской единоличной собственности. Он выступает перед Государственным Советом, доказывает политические и экономические преимущества выхода из общины, торопит принять решение.

Госсовет — против, «против общей ломки крестьянского быта накануне созыва Думы».

Витте нажимает, доказывает, что в Думе крестьяне будут увлечены авантюристами и за обещания прибавки земли пойдут на что угодно, поэтому нужно еще до Думы открыть им иную перспективу: независимую, отдельную, личную.

Вот-вот крестьянин станет из «полуперсоны» (Победоносцев) личностью?

Нет, проголосовали. Витте проиграл. Это было 10 марта 1906 г.

В конце апреля Столыпина вызвали в Царское Село и предложили пост министра внутренних дел. Сперва он отказался, но после слов Николая: «Прошу принять этот пост, я вам приказываю», — согласился.

Мог ли он не согласиться?

Отныне он становится под огонь со всех сторон.

До покушения на Аптекарском — три месяца.

Девятнадцатого августа, буквально под грохот бомб и треск браунингов, Блок напишет стихотворение «Деве — Революции»:

О, Дева, иду за тобой —
И страшно ль идти за тобой
Влюбленному в душу свою,
Влюбленному в тело свое?

Наверное, всем было страшно и трудно.

Уже в мае Столыпин представил Совету министров ранее отвергнутый Государственным Советом проект перемен в общинном законодательстве В. И. Гурко. На этом отрезке Столыпин присматривается, изучает опыт предшественников. Председатель Совета министров И. Л. Горемыкин не пропустил проект. Что ж, Столыпин промолчал.

## ГЛАВА 5

Первая Дума была враждебной правительству с первого до последнего дня. Она поставила себе целью прорваться дальше прав манифеста 17 октября, хотя внешне, казалось, должна была быть вполне послушной.

10 мая депутаты собрались в Зимнем. Впервые в этом роскошном дворце, где в течение ста пятидесяти лет с екатерининских времен властвовала аристократия, появились люди совсем иного облика. Двести мужиков в крестьянских кафтанах, сельские священники, рабочие, адвокаты, профессора. Офицеры и камергеры в шитых золотом мундирах с любопытством наблюдали за этими представителями неведомой силы. Одни — с надеждой, ожидая радикального обновления в судьбе родины, другие — с презрением и озлоблением.

Депутаты тоже разглядывали обитателей Зимнего с противоречивыми чувствами. Сошлись две силы. Что будет завтра? Благоденствие или кровавые потрясения?

Речь Николая II выслушали в полной тишине и с одобрением. Ведь накануне многие с опасением ожидали, что такая речь еще раз подчеркнет самодержавную суть власти и ограниченность прав депутатов. Однако император подчеркнул другое:

«Со своей стороны, я буду неуклонно покровительствовать учреждениям, которые я даровал, будучи заранее уверенным в том, что вы приложите все силы, чтобы служить родине, удовлетворить нужды столь близких моему сердцу крестьян и обеспечить народу развитие его благосостояния, всегда памятуя, что действительное благосостояние государства заключается не только в свободе, но также и в порядке, основанном на принципах конституции».

Кто мог возразить против этих слов?

Они объединяли надеждой; раздраженность, вызов, жажда борьбы — все это отступало на второй план.

Новая Россия должна была родиться на свет Божий. Старая Россия должна была протянуть ей руку и встретить ответ.

Из манифеста от 17 октября следовало: «Даровать населению незыблемые основы гражданской свободы на началах действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний, союзов».

Казалось, остается совсем немного — и за военным поражением, злобой, революцией, террором, «иллюминациями» наступит наконец гражданский мир.

Правительство возглавлял уже не Витте, а Горемыкин — старый, консервативный, умный бюрократ. И все правительство было консервативным, что, наверное, было правильно для уравновешивания чересчур левой Думы.



В ней наиболее организованной силой была партия конституционных демократов. К кадетам примыкали партия демократических реформ и партия мирного обновления. Были и другие — октябристы, социалисты, национально-автономистские группы — польская, латвийская, эстонская, литовская и западных губерний. В общем, к оппозиции принадлежало больше половины думцев.

Были и двести депутатов-крестьян. Может быть, некоторые из них раньше пострадали за сотрудничество с властями. Еще в 1902 г. Витте собирал особое совещание о нуждах сельскохозяйственной промышленности, а на местах собирались крестьяне и земские деятели, и вот чины Министерства внутренних дел видели в этом угрозу либерализма и отбивали охоту к самостоятельности. Мужики-думцы ждали теперь от Думы одного — земельного закона. Введенные в состав Думы в таком количестве, чтобы, по мысли правительства, укреплять там консервативные настроения, они колебались, не зная, к кому пристать.

Да, они были проникнуты консервативным духом, были верны царю-батюшке, послушны церкви. Но тем не менее правительство Витте ошиблось, издав закон, давший преимущество крестьянам. Они были равнодушны к политическим свободам, к парламентаризму, и только возможность передачи земли была для них путеводной звездой. Здесь они были готовы поддержать любого, кто помог бы им скорее достичь желанного.

Конечно, эта молчаливая сила должна была пойти не за правительством, а за кадетами. В кадетской программе — перераспределение казенных и монастырских земель, а также принудительная экспроприация земель крупных и даже мелких собственников.

На что же могло надеяться правительство?

Оно попробовало организовать правую крестьянскую партию под руководством депутата Ерогина, — и ничего не вышло.

Не на что было надеяться правительству.

Однако при всей оппозиционности почти все думцы были настроены заниматься мирной законодательной деятельностью по переустройству русской жизни и верили, что правительство не в силах помешать им, а тем паче распустить Думу.

Правительство не сразу поняло свое положение. Оно рассчитывало после первых формальных заседа-

ний распустить Думу до осени, а уж там обстановка должна была показать, что дальше. Повели переговоры с председателем Думы кадетом С. А. Муромцевым. И Дума воспротивилась!

Власти были обескуражены. Чем же занять депутатов? Нечем занять. Серьезные вопросы предлагать нежелательно, несерьезные — неудобно. Думали, тянули время и, наконец, предложили на рассмотрение Думы вопрос о постройке прачечной и оранжереи в Юрьевском университете. Вот это был вопрос из вопросов, без которого Россия и жить не могла!

Увидев такое пренебрежение, думцы зашевелились и сами стали выдергивать из окружающей действительности жгучие вопросы для обсуждения. Первым заявлением, раздавшимся в Таврическом дворце, было требование об амнистии по революционным, аграрным и политическим преступлениям.

В ответ — молчание.

Начало конфликта было положено. Дума в ответ на тронную речь изложила свою программу реформ. Этот документ включал в себя все пункты кадетской программы: упразднить Государственный Совет, установить ответственность министров перед Думой, ввести всеобщее голосование, права собраний, свободу печати, полную свободу совести, отмену сословных привилегий. Аграрный вопрос тоже решался в духе кадетской программы.

Этот ответ Думы, несомненно, показывал, что депутаты стремятся присвоить себе права, подобные правам Учредительного собрания Франции либо парламентов конституционной монархии.

Властям надо было что-то делать.

Совет министров долго спорит о тексте декларации. Одни требуют решительных мер, другие предупреждают, что не следует вмешиваться в диалог Думы и царя, не следует провоцировать опасный и бесплодный конфликт с Думой, а нужно представить на рассмотрение как можно больше законопроектов, чтобы занять ее делом. За мирный разговор были только двое — Столыпин и Извольский, министр иностранных дел. Остальные — за грозную декларацию.

В результате Горемыкин высокомерным и презрительным тоном огласил в Таврическом дворце ответ:

Высказанные Думой пожелания частью выходят за пределы ее компетенции, частью не разделяются правительством, а аграрная реформа, основанная на принудительном отчуждении частновладельческих земель, является безусловно недопустимой.



Все яснее ясного.

Дума не стала терпеть. Ее охватило негодование, вылившееся в *«полное недоверие»* министерству и пожелание *«немедленного выхода его в отставку и замены министерством, пользующимся доверием народных представителей»*.

Если бы дело было во Франции, правительство ушло бы. Но министры выслушали чуть ли не единогласно принятую резолюцию и остались на месте.

Однако кто-то из них должен был уйти. В свое время Бисмарк разрубил подобный узел, отправив по домам непокорных депутатов. Правда, Горемыкину пришлось бы отправить в отставку почти полный состав Думы.

Председатель Совета министров не отправлял депутатов в отставку, не распускал Думы, не искал пути к взаимопониманию. Он отвернулся от Таврического дворца, как будто там никого не было. Этот шаг был необычен. Глава правительства решил игнорировать Думу и публично заявил, что рассматривает ее как собрание беспокойных людей, действия которых не имеют никакого значения, и даже не будет разговаривать с ними.

Это был бойкот.

Твердокаменный Иван Логгинович Горемыкин так больше и не почтил Думу посещением. Министры посещали, но не выступали, а то посылали своих заместителей.

Ход русской государственной жизни замер. Дума чувствовала свое бессилие. К ней обращались с жалобами, она обращалась к министрам, министры не обращали внимания.

Тогда Дума попыталась действовать по-иному, возбудила вопрос об отмене смертной казни. Правительство выждало ровно месячный срок, даваемый ему на ответ, и отвергло инициативу.

Противостояние становилось все более тяжелым, бесплодным.

Рано или поздно оно должно было разрешиться кризисом и роспуском Думы. Почвой для этого должен был, бесспорно, послужить аграрный вопрос.

Споры о земле шли в Думе непрерывно. Результата не было. Крестьянская Россия с возрастающим недовольством наблюдала за Таврическим дворцом.

А правительство по-прежнему тянуло время. Дума выдвинула несколько аграрных законопроектов, все — на принципе принудительной экспроприации земель у крупных собственников.

Один из проектов, названный проектом 104-х, провозглашал национализацию всех земель государства, с тем, чтобы распоряжение ими находилось в ведении местного самоуправления. Не кажется ли это нам знакомым?

Или такое предложение: уничтожить всякую частную собственность на землю и объявить ее общественным достоянием, которым имеет право пользоваться каждый гражданин в размере, который он может обработать личным трудом. И это знакомо.

А что правительство? Надо отвечать. Отвечал министр земледелия Стишинский и обещал расширить операции Крестьянского банка и развить переселение в Сибирь. Достаточно туманно обещал.

В итоге — новое раздражение общества.

Успокоить общество взялся председатель Совета министров, и поскольку Думу он игнорировал, то напечатал в петербургской газете официальное сообщение по аграрному вопросу: правительство не принимало принудительное отчуждение земли. Такое обращение, минуя Думу, конечно, было вызовом депутатам. И тогда Дума решает принять вызов: выпустить свое обращение к стране по земельному вопросу.

В мемуарах Витте есть одно любопытное замечание: «Думу эту, кажется, прозвали «Думою народного возмездия». Мне кажется, было бы правильнее ее прозвать «Думою общего увлечения и государственной неопытности». Может быть, этот вывод универсален вообще для всех первых учреждений подобного рода: чувства переполняют, сердце колотится, и хочется сразу торжества прогресса... И еще: «Само назначение министерства Горемыкина перед самым созывом Думы (крайние реакционеры и поклонники полицейского режима) не могло служить успокоением первой Государственной Думы, Думы левого направления, да еще такого тревожного направления, какое было в то время, когда, можно сказать, громадное большинство россиян как бы сошло с ума».

Сергей Юльевич вольно или невольно ставит на одну доску «сошедшее с ума» общество и «увлеченную» Думу.



Итак, думское постановление опубликовать свое разъяснение по аграрному вопросу вынудило правительство принять давно назревшее решение.

Шестидесятисемилетний Горемыкин, многоопытный петербургский чиновник, издавший еще в 1891 г. обширный «Свод узаконений и распоряжений правительства об устройстве сельского состояния», должен был сделать то, ради чего он, собственно, и был выдвинут на авансцену, сменив Витте.

Министр внутренних дел Столыпин стал связываться с местными властями: как на местах отнесутся к роспуску Думы, не произойдет ли общественного возмущения?

Интерес правительства был оправдан. В самой Думе ходили упорные слухи, что ее закрытие вызовет революцию. К тому же, как мы помним, недавно было покушение на московского генерал-губернатора Дубасова, а в Батуме убит американский консул Стюарт, в Полтаве и Тамбове — открытое вооруженное возмущение Елецкого и запасного кавалерийских полков.

Вообще, надо отметить, положение Столыпина было явно двусмысленным. То, что делалось в Совете министров по крестьянскому вопросу (вернее, не делалось) и как бесплодно тратились силы в противостоянии, не могло его удовлетворять. Он подчинялся ходу событий только как законопослушный чиновник. Слушая Стишинского, Столыпин в душе был гораздо ближе кадетам, чем правительству.

«Галантный, обмазанный с головы до ног русским либерализмом, оратор школы русских губернских и земских собраний» — эта виттевская характеристика не какого-нибудь думского радикала, а самого Петра Аркадьевича.

Так, будто застывший в движении, в полушаге, с одной ногой, оторванной от земли и выдвинутой в будущее, и с другой, прочно опирающейся на государственную крепость, предстает нам Столыпин летом решающего для него 1906 года.

Межеумочная политика Горемыкина, не сотрудничавшего с депутатами и не распускавшего Думу, показывала всем, левым и правым, слабость правительства. Доверия к нему не было. Вот-вот оно должно было сойти со сцены. А с ним — Столыпин.

К концу июня общее напряжение разразилось наконец грозовым разрядом. Правительство, как свиде-

тельствует А. П. Извольский, решилось впервые представить Думе законопроект, предусматривающий открытие кредита в пятьсот миллионов рублей для помощи населению, пострадавшему от неурожая.

Дума фактически отказала, сократив его до пятнадцати миллионов и предоставив всего на один месяц. Что делать Горемыкину? Он обратился в Государственный Совет и не нашел поддержки. Государственный Совет согласился с решением Думы!

Даже консерваторы не желали такого правительства. Как бы ни было трудно им смириться с необходимостью перемен, но безучастно наблюдать за горемыкинской окаменелостью они не хотели.

А что наш герой? Уйдет вслед за премьером, так ничего и не успев? Вполне возможно, история безжалостно сократила бы бывшего саратовского губернатора, если бы у него не оказалось одного важного качества. Он был правым, охранителем естественного хода жизни — и одновременно тянулся к либералам.

Все качалось над бездной. Одни были бессильны, другие — в параличе.

Спешно, нервно ищут вокруг: где тот человек, который может?

Старики не годятся, молодых нет или же молодые ушли к либералам.

Среди министров, пожалуй, только один Александр Петрович Извольский (репутация либерала) мог помочь Столыпину. Ранее Извольский, имевший дружеские связи с влиятельными оппозиционерами, участвовал в переговорах с ними, приглашал их войти в первое конституционное правительство, возглавляемое Витте. Тогда либералы отказались поддержать Витте и не позволили ему создать устойчивый кабинет накануне выборов в Думу. По сути, упорство либералов вызвало «из нафталина» Горемыкина, предопределило противостояние Думы и власти.

Теперь Извольский делает новую попытку выйти из замкнутого круга. Его переговоры тайны, зато не ограничены никакими условностями. Это заговор против прошлых принципов. Но Извольского это не смущает. В его жилах течет кровь одного из заговорщиков против Павла I — князя Яшвиля. («Наше отечество управляется самодержавной властью — самой опасной из всех видов власти, так как она ставит судьбу миллионов людей в зависимость от воли одного человека», — когда-то писал Яшвиль Александру I).



«Ясно видя невозможное положение, в котором находится правительство, я взял на себя смелость использовать мои личные отношения с некоторыми из членов умеренно-либеральной партии в Думе и в Государственном Совете, чтобы посоветоваться с ними в надежде найти какой-нибудь выход из затруднения», — признается Извольский.

Безусловно, правительство уже не спасешь. И никому его не жаль. Но жалко Россию, больно за родину. Кто спасет Россию? Извольский оглядывается вокруг, видит достойных людей в кадетском стане — Муромцева, Головина, Родичева, Набокова, Ванавера, князя Шаховского, Петрункевича, Кокошкина, Герценштейна, среди умеренных либералов — Стаховича и Львова, среди октябристов — Гучкова и Шипова... Разве он не в состоянии найти с ними общий язык? Разве такой аристократ, как Столыпин, еще будучи в Саратове, не пытался объединить противостоящие силы, собирая вместе дворянство и земство, фраки и поддевки? Еще ничего не потеряно, еще можно найти согласие, преодолеть раздвоение.

Столыпин был привлечен к тайным переговорам Извольского. Он оказался единственной в те дни реальной фигурой, представляющей сразу две силы — губернскую помещичью Россию и Россию земскую. Он не успел вцементироваться в стену бюрократизма, отгораживавшую двор от общества.

Итак, начиналась для Петра Аркадьевича новая жизнь, в которой он должен был многим пожертвовать. Вряд ли он догадывался, что и жизнью.

Пока Извольский действует, пока другие фигуры ткут невидимую сеть совещаний и переговоров, еще никто не может сказать, чем это кончится. Попробуют ли покрепче придавить крышку парового котла или сменят машиниста на более умелого?

Но если оставлять Горемыкина и ничего не менять — это поощрять революцию.

(В книге последнего председателя Государственной Думы М.В.Родзянко «Крушение империи» приводятся слова Талейрана: **«Никто не устраивает революцию и никто в ней не повинен. Виновны все»**).

На Извольского выпала задача наперекор всем дворцовым обычаям сообщить государю об опасности положения и о переговорах с представителями оппозиции. Другого выхода уже не было. Согласится Николай II с доводами, не согласится — колебаться больше нельзя.

И министр иностранных дел на аудиенции в Петергофском дворце подает записку, все содержание которой антиправительственно.

«Отношения между Думой и правительством, которое представлено Советом министров, совершенно ненормальны и создают действительную угрозу установлению порядка в империи.

Всякие сношения между Думой и правительством прерваны, и между ними легла пропасть, созданная взаимным недоверием и враждебностью.

Ясно, что такое положение вещей устраняет всякую возможность какой бы то ни было творческой работы. Эта разобщенность проистекает прежде всего из состава министерства, который совершенно не отвечает требованиям современного политического положения. Личный состав министерства выбран из среды бюрократии, и это вызывает к нему глубокое недоверие со стороны широких общественных кругов.

Это та самая бюрократия, которая повинна во всех бедах, постигших Россию, — в беспорядке и разрушении, царящих дома, точно так же как в неудачах японской войны, и нельзя отрицать, что эти упреки — правильны они или нет — будут всегда направляться против всякого бюрократического министерства.

Настоящий кабинет не только не стремится рассеять это неизбежное недоброжелательство, но увеличивает его целым рядом ошибок.

Более того, всякое министерство, составленное исключительно из представителей бюрократии, неизбежно обречено на отсутствие доверия со стороны представительных учреждений, без которого невозможно приобрести необходимый авторитет в их глазах.

Не личные качества того или иного руководителя ведомства, не его опыт или добрые намерения способны обеспечить ему необходимый авторитет в политической жизни. Очень часто случается, что одного добросовестного исполнения бюрократических обязанностей оказывается недостаточно для успешного разрешения новых проблем в сложной и весьма разнообразной обстановке. А так как симпатии народа остаются с Думой, вся враждебность направляется против министерства, и это не может не вызывать роковых последствий для управления государством и для спокойствия страны.

Дума, занявшая враждебную позицию по отношению к исполнительной власти, игнорируется этой властью и, встречая с ее стороны такое к себе отношение, вынуждена оставаться в оппозиции, не уделяя внимания практической плодотворной работе. Дума такого состава перестает представлять из себя мирный законодательный орган и все более превращается в горнило революционных страстей.



Настоящий состав Думы, будучи плохо подготовленным — нужно признать это — к законодательной работе ввиду недостаточной подготовленности большинства ее членов, не может быть, однако, охарактеризован как исключительно революционный. Совершенно верно, что он включает крайние элементы, но они не играют руководящей роли. Большинство Думы состоит из сторонников мирной законодательной работы, враждебных революции. Только ненормальное положение и необходимость применять свои поступки к этому положению склоняют Думу к протестам и недовольству по адресу правительства. Законы, внесенные Думой, заранее осуждены на отклонение.

Поставленная в такое положение, Дума теряет мало-помалу доверие к правительственной власти и привыкает рассматривать правительство как враждебную силу. Несомненно, что Дума из-за неудачной избирательной системы не дает полного представительства всех слоев русского населения, напротив, имеются значительные и влиятельные круги общества, которые совершенно лишены представительства. Крестьяне далеки от того, чтобы отражать истинное настроение земледельческого класса. В Думе господствуют так называемые городская интеллигенция и полуинтеллигентные представители земледельческих кругов. По мнению невежественных крестьянских масс, Дума настолько всемогуща, что может передать землю всему населению и избавить его от безработицы и голода.

Одно это обстоятельство делает не только нежелательным, но и весьма опасным разрыв между правительством и Думой. Единственный путь, способный помешать этому, состоит в восстановлении нормальных отношений между обоими учреждениями, что невозможно без замещения нынешнего кабинета новыми министрами.

Необходимо призвать к власти людей, способных добиться понимания у Думы.

Новое министерство одно только способно спасти авторитет правительства и вполне восстановить к нему доверие и уважение народа.

Нежелательно, однако, составлять новое министерство из представителей какой-либо одной политической группы. Только образование министерства смешанного характера будет наилучшим образом отвечать требованиям момента. Это совершенно очевидно, так как в настоящее время правительство должно быть свободно от партийного влияния и от всякой зависимости от узких взглядов и теорий. Действительно, различные группы в Думе не имеют настоящих признаков политических партий в собственном значении этого слова, поскольку они не приняли еще законченных форм и не являются правильным представительством слагающихся различных социальных группировок в стране.

Министерство, составленное из членов одной партии, было бы парализовано в своей деятельности теми обстоятельствами, которые были приняты ею в прошлом. Необходимо, чтобы перемены в направлении внутренней политики определялись инициативой монарха и не вынуждались бы у него влияниями той или иной партии.

Император свободен в замещении одного министра другим и, делая это, должен руководствоваться соображениями об общем благе, а не требованиями партий, участвующих в политических конфликтах.

Это не должно, однако, обозначать, что какой-либо отдельный член Думы не может быть призван для работы в новом министерстве; наоборот, таким путем правительство дало бы доказательство своего решения порвать с прежней бюрократической системой. Настоящее министерство бессильно, продолжает совершать ошибки и придерживаться традиций, которые уже получили всеобщее осуждение.

Новое положение требует новых людей. Образование министерства с участием членов Думы, помимо того что произведет благоприятное влияние на общественное мнение, в то же самое время внесет замешательство в ряды оппозиции. Все умеренные элементы объединятся для защиты министерства против нападок крайних элементов, которые будут таким образом дезорганизованы, и недоверие, существующее между народом и правительственной властью, будет уничтожено. Наконец, самый факт участия членов Думы в органе исполнительной власти увеличит интенсивность работы самой Думы. Она осознает сложность проблем, стоящих перед государством, и почувствует тя-



жесть власти. Это успокоит крайние элементы и создаст тенденцию к умеренности, которая неизбежно появится вместе с чувством ответственности за совершаемые действия. На пост председателя Совета министров нельзя найти лучшего кандидата, чем настоящий председатель Думы Муромцев, который пользуется громадным авторитетом среди членов этого учреждения. Выбор Муромцева, человека холодной рассудительности и положительности ума, предпочтительнее перед выбором какого-нибудь другого общественного деятеля, так как он не принадлежит ни к одной партии, которая пыталась бы контролировать его политические поступки. Его замечательное самообладание и хладнокровие быстро снискали бы ему авторитет в административных кругах.

То, что Дума теряет в лице Муромцева образцового председателя, если он станет председателем Совета министров, не должно рассматриваться как препятствие, так как в результате этого центр влияния переместится от Думы к правительству и влияние Думы соответственно уменьшится. Правительство — а не Дума — примет на себя, таким образом, руководство в деле преобразования России.

Наиболее трудным представляется выбор министра внутренних дел. Ясно, что употребление военной силы и полиции для подавления революционного движения может быть доверено только человеку, который решался бы на энергичные действия только в случае крайней необходимости и в то же время восстановил бы в своем министерстве порядок и дисциплину, которые столь необходимы.

Человек, пригодный для этого дела, должен быть беззаветно предан своему долгу перед государством, так как эта служба требует в настоящий момент величайшей самоотверженности. Таким министром мог бы быть член настоящего кабинета Столыпин или Муромцев, который мог бы совмещать обязанности председателя Совета министров с обязанностями министра внутренних дел при условии, что в этом случае он имел бы в качестве своих сотрудников Муханова или князя Львова.

Менее затруднительно было бы распределить другие портфели.

Очень важно было бы включить в министерство Шипова, так как он пользуется большим влиянием среди известных социальных кругов, которые весьма

разнообразны по своим политическим симпатиям, и так как он олицетворяет собою движение, имеющее только немногих представителей в Думе, но чрезвычайно влиятельное среди членов земства. Кузьмин-Караваев может быть назначен министром юстиции. Участие в министерстве Милюкова было бы особенно желательно, так как, хотя он и не является членом Думы, его влияние в общественных кругах и в Думе чрезвычайно значительно. Несмотря на все его недостатки — громадное самолюбие и известную склонность к интригам, — он обладает острым умом и чрезвычайно редким политическим чутьем. Его вхождение в министерство являлось бы даже незаменимым, так как он мог бы стать наиболее сильным защитником министерства от нападок на правительство крайне левых.

Участие членов Думы в министерстве не только выразится в замене настоящих министров новыми людьми, но передаст инициативу реформ из рук Думы в руки правительства. Только те мероприятия, целью которых будет парирование ударов революции, будут исходить от исполнительной власти. Этот порядок должен быть принят со всем мужеством и решительностью».

После этой записки все должно было решиться. Удастся ли вторая попытка объединиться власти и обществу?

Извольский: «Через несколько дней после представления докладной записки я был призван императором, который сказал мне, что он прочел ее с интересом и был поражен силой и справедливостью аргументов, содержащихся в ней...» Единственной целью, которую я и мои политические друзья имеют в виду, — сказал я, — является укрепление исполнительной власти, угрожающе потрясенной революционным движением и ошибками, совершенными кабинетом. Не бойтесь доверять нам, даже если мы покажемся вам сторонниками слишком либеральных идей. Ничто так не умеряет радикализм, как ответственность, связанная с властью...»

Николай II слушал, не перебивая.

Министр продолжал: «...за границей единодушно осуждается политика кабинета Горемыкина, и никто не ожидает восстановления нормального положения в России помимо призвания к власти новых людей и изменения политики. Это мешает нам предпринимать различные шаги во внешних делах и, как несомненно подтвердит министр финансов, подрывает наш финансовый кредит».



Николай II, безусловно, помнил страшное финансовое давление со стороны Франции во время октябрьской стачки 1905 г., когда России грозило банкротство и когда министр финансов предложил прекратить размен бумажных денег. Тогда рухнула дипломатическая идея Витте о посредничестве во франко-германском споре по поводу Марокко. Витте надеялся заключить финансовый заем при помощи международного финансового консорциума, чтобы не зависеть от Антанты и не обострять отношений с Германией. В разгар стачки в Петербург прибыли представители консорциума, увидали смуту и отказались вести дело. Заем был получен от Франции позже, уже в апреле, ценой обострения отношений с Германией.

Поэтому Николай II прекрасно понимал, что стоит за замечанием Извольского об осуждении горемыкинского кабинета за границей. Как ни оскорбительно слушать такое, а надо прислушаться, ибо ни хозяйственных, ни военных сил у России в запасе не было. Тем не менее государь возражал. По его мнению, «в Думе господствовали наиболее крайние элементы, и она больше походила на революционный митинг, чем на парламентское собрание... Не могла ли подобная уступка быть расценена как доказательство слабости со стороны монархической власти и не вынудило ли бы это в самое короткое время приступить к энергичным мерам?»

Извольский стоял на своем. Последний его довод звучал так: пусть даже попытка будет неудачной, но тогда ответственность за это несла бы Дума.

Они разговаривали час. Николай II, не принимая окончательного решения, уполномочил Извольского вести переговоры о создании коалиционного правительства. Отдельно было названо имя Столыпина. Царь написал ему записку, приглашая его помочь Извольскому.

Казалось бы, зачем приглашать того, кто и так уже действует?

Но Извольский явно не стал обнаруживать участия Петра Аркадьевича в переговорах, чтобы не создавать у царя мысли о широком тайном заговоре. Или, возможно, чтобы не засвечивать раньше времени Столыпина.

Теперь у Столыпина развязаны руки. Он живо включается в подготовку небывалого явления, каким может стать многопартийное правительство. Извольский секретно встречается с влиятельными думцами, затем с ними встречается Столыпин, составляются варианты кабинета, куда должны войти Муромцев, Милюков, Шипов.

Дальше события разворачиваются по двум направлениям.

В них вмешивается и генерал Трепов, дворцовый комендант, человек правых взглядов, как говорилось в левой печати, реакционер. Трепов тоже намеревается организовать чисто кадетское правительство и ведет с ними переговоры. Зачем убежденному монархисту, храброму до самозабвения, сотрудничать с партией, которая стремилась к конституционным свободам? Нет, он не изменил своим взглядам, не стал сторонником оппозиции. Его план был прост, как двухходовая комбинация. Для того чтобы помешать Извольскому и Столыпину в составлении жизнеспособной коалиции, он собирался составить однопартийный кадетский кабинет, который с первых же шагов должен был вступить в борьбу с верховной властью. Вместо гражданского мира — война. Это был бы конец всяким демократическим попыткам. И для установления порядка Трепов с помощью столичного гарнизона установил бы военную диктатуру.

Николай II, надо признать, тоже знал о переговорах своего дворцового коменданта с кадетскими лидерами. Он выбирал, что лучше.

Выбирали и кадеты.

Выбирала и история.

Как чаще всего бывает в таких случаях, ни одно, ни другое направление не получило развития, а случилось нечто третье.

Дума приступила к обсуждению обращения к народу по земельному вопросу. Что должно было делать правительство? Допустить обращение? Запретить его? Но как запретить депутатам?

Пока же напряжение нарастало.

Столыпин встречался с Милюковым, обсуждал план создания думского кабинета на следующих условиях: назначение министров двора, военного, морского, иностранных и внутренних дел должно остаться за царем. Милюков соглашался на всех, кроме последнего. Столыпин доказывал, что кадеты не справятся с удержанием порядка и революционным движением. Милюков возражал: «Этого мы не боимся. Если надо будет, мы поставим гильотины на площадях и будем беспощадно расправляться со всеми, кто ведет борьбу против опирающегося на народное доверие правительства».

Напряжение делалось нестерпимым.



Сейчас, в последнее десятилетие двадцатого века, мы знаем, чем закончились те попытки объединить противоборствующие силы. Ничего не вышло. Ничего. Сейчас мы тоже уповаем на консолидацию, на согласие *во имя спасения многострадальной родины* — и что же? Сильно ли мы продвинулись с начала века? Мы вглядываемся, вглядываемся вдаль, ожидая ответа...

Наконец противостояние правительства и Думы завершилось указом царя о роспуске Думы и об отставке правительства! Ни один из возможных вариантов не был осуществлен.

Николай II пошел по пути полумер, который в конце концов привел империю к катастрофе, а миллионы людей, в том числе его самого и Столыпина, — к гибели.

Что означало распустить Думу? Первый шаг к отмене манифеста 17 октября? Возврат к феодальному правлению?

Все оппозиционные партии, вся интеллигенция, либеральная печать — были поражены.

Накануне указа Извольский и Столыпин решили, что в случае роспуска Думы они подают в отставку. Они не предполагали, что правительство уйдет вместе с депутатами.

Утром 9 июля указ был опубликован, а Таврический дворец занят войсками, не пропускавшими депутатов.

И что же? Вспыхнула революция? Народ возмутился? Нет, все спокойно. Несколько попыток демонстраций полиция легко пресекла. Государство показало свою силу.

Этим же указом Столыпин назначался председателем Совета министров.

Только что наш герой был готов работать в коалиции и под началом оппозиционного деятеля; консерваторы видели в нем либерала, а отныне его судьба складывалась так, что он оказывался под огнем справа

и слева. Для оппозиции Столыпин становился гонителем Думы, для правых — гонителем правоверного Горемыкина. Словом, с первого же дня новый глава правительства оказался в тяжелом положении. Но от должности он не отказался, принял ее при условии, что два министра, Стишинский и Ширинский-Шихматов, известные крайне консервативными взглядами, будут уволены. Конечно, условия были приняты.

Столыпин вошел в круг, откуда уже не было выхода.

Месяц назад, будучи министром внутренних дел, он говорил: «Мне рисуется волшебный круг, из которого выход, по-моему, такой: применять существующие законы до создания новых, ограждая всеми способами и по мере сил права и интересы отдельных лиц. Нельзя сказать часовому: у тебя старое кремневое ружье, употребляя его, ты можешь ранить себя и посторонних; брось ружье. На это честный часовой ответит: покуда я на посту, я буду стараться умело действовать старым».

И еще: «Власть не может считаться целью. Власть — это средство для охранения жизни, спокойствия и порядка».

Итак, вооруженный этой простой, «кремневой» истиной, Петр Аркадьевич Столыпин встал на пост.

Задумывался ли он в те дни, чем закончится его смена? «Все наблюдатели единогласно отмечают редкое личное мужество П. А. Столыпина, спокойно входившего в середину бушующей толпы, не принимавшего никаких мер для охраны своей личности в то время, когда террор был в разгаре».

Он вышел не из губернской или земской России, как можно было бы предположить, судя по его послужному списку. Он вышел из катастрофы, он деятель чрезвычайного положения: или спаси, или погибни. Сперва он верил, что спасет, с ростом сопротивления справа и слева, с ростом числа покушений на его жизнь, он понял, что ему не суждено увидеть результата своих действий.

Однако в июле 1906 года Столыпин был полностью уверен в успехе.

Его нисколько не смутил протест кадетов, собравших в Выборге всех своих думских депутатов во главе с Муромцевым и обратившихся к народу с воззванием.

По Петербургу ходила шутка: «Поехали в Выборг крендели печь».



В воззвании правительство обвинялось в том, что оно преследовало Думу за ее требование принудительной экспроприации земли в пользу крестьян. Народ призывался не платить налоги, не давать новобранцев в армию. Это можно было рассматривать как призыв к революции.

Столыпин смеялся: «Детская игра!»

Он не стал всерьез преследовать авторов Выборгского воззвания, ограничился только формальным судебным разбирательством, в результате которого главные кадетские лидеры были лишены права участвовать в будущей Думе. (Правда, ни Милюков, ни Родичев по разным причинам не были в Выборге и этого права не лишились).

Впрочем, кадетская акция на фоне последующих горячих событий выглядела действительно весьма скромной. Социалисты попытались организовать всеобщую стачку, вспыхнули восстания в Кронштадте, Ревеле и Свеаборге, — правда, и эти события не поколебали уверенности правительства. Никто не сомневался, что мятежи будут подавлены, а стачка провалится. «Аппарат власти функционировал точно», — пишет в своих мемуарах «На лезвии с террористами» А. В. Герасимов, начальник Петербургского охранного отделения.

Столыпин был осведомлен не хуже своего подчиненного. В те трудные дни его больше всего занимало формирование нового правительства и попытки все же ввести в его состав умеренную оппозицию. Несмотря ни на что! Он встречается с А. И. Гучковым и Н. Н. Львовым, которому хочет предложить портфель министра землеустройства, излагает им свои аграрные проекты, основанные на свободном выходе крестьян из общины.

Затем следует встреча Извольского с Милюковым. Но кругом отказ. Две недели переговоров, а коалиционный кабинет так и не создан. Вместо политических расчетов оппозиция руководствуется чувствами обиды, раздражением, боязнью потерять престиж, войдя в правительство.

У Столыпина остается последний небольшой шанс — создать полностью кадетское правительство. Однако если вспомнить, как намеревался Трепов путем создания кадетского кабинета привести страну к диктатуре, то станет ясно: этот шанс не мог быть использован.

В правительство вошли два человека, даже не связанные с бюрократией, — князь Васильчиков, новгородский предводитель дворянства, и профессор Извольский, брат министра иностранных дел. Оба пользовались репутацией умеренных либералов, и Николай II с трудом согласился на их назначение.

Столыпину не раз пришлось сталкиваться с государем, обаятельным, упрямым, нерешительным человеком. Будучи монархистом, Столыпин должен был подчиняться. Будучи реформатором, он должен был спорить. Никогда между ними не было полного понимания.

И оба сознавали это.

В конце концов правительство худо-бедно было создано, огромная российская скрипучая телега двинулась дальше.

Куда? С какой скоростью? Это еще никому не известно. В том числе и Столыпину. Пока что — в воздухе только носится предчувствие перемен. Столыпин всего три месяца в Петербурге. Он зеленый новичок. Им должны манипулировать, использовать его волю, мужество, способность вести разговор с оппозицией. Все еще неопределенно. Даже в главном. Что такое Российская империя — конституционная или абсолютная монархия? Согласно манифесту от 17 октября — конституционная, однако Дума распущена, новые выборы не назначены. Правда, вскоре оплошность была исправлена, срок выборов второй Думы определен.

Столыпину предстояло сделать самый решительный шаг. Его, помещика и дворянина, история подвела к буржуазным реформам, которые должны были разрушить его родной мир. Вспомним страшную тоску бунинских рассказов о разоренном помещичьем быте. Вспомним стук топора в чеховским вишневом саду...

«Запах антоновских яблок исчезает из помещичьих усадеб» *(И. Бунин. «Антоновские яблоки»)*.

«**Раневская.** О мой милый, мой нежный, прекрасный сад!..

Моя жизнь, моя молодость, счастье мое, прощай... Прощай!.. *(А. Чехов. «Вишневый сад»)*.

Горько прощаться с родным. Сколько твердости духа требуется Реформатору! По сути, он уничтожает, в его руках тоже топор. Конечно, можно сказать не «топор», а «скальпель», да только предстоявшая операция тяжела и мучительна. И чеховское пророчество скоро сбудется:



«**Раневская.** Вам понадобились великаны. Они только в сказках хороши, а так они пугают».

Требовались великаны. И спустя месяц (9 августа) после назначения Столыпин форсирует разработку земельной реформы, которая сосредоточивается в межведомственной комиссии при Министерстве внутренних дел под председательством В. И. Гурко. (Имя Гурко известно только узкому кругу историков, но он сделал очень много для подготовки столыпинской реформы).

Первый шаг был сделан.

12 августа произошел взрыв на Аптекарском острове. Уцелевший Столыпин на следующий день приобрел сочувствие почти всей России.

С августа начинается самое напряженное и плодотворное время его управления. Он как будто понял, что начинается бешеная гонка, в которой он может просто не успеть, ему не дадут успеть...

## ГЛАВА 6

Еще в июне ЦК партии социалистов-революционеров, поняв, что горемыкинское правительство не пойдет на уступки Думе, решил возобновить террор и поставил на очередь подготовку убийства министра внутренних дел. Столыпин еще не был значительной фигурой, он был символом.

С первых же дней завязавшейся игры охранного отделения, руководимого полковником Герасимовым, и Боевой Организации эсеров, руководителем которой был агент Герасимова знаменитый Евно Азеф, Столыпин согласился быть под прицелом, арестов не производить, чтобы не выдать Азефа, и довольствоваться только разрушением замыслов своих преследователей.

Герасимов гарантировал министру безопасность. Столыпин не побоялся. У него не было другого выхода, он не забыл, как еще в Саратове к нему обращались два начальника охранных отделений, просивших, когда их убьют, позаботиться об их семьях. И они погибли. Мог ли Столыпин отступить?

План Герасимова заключался в том, чтобы изнурить эсеровских боевиков неудачами и заставить признать невозможность террора. Был ли он опасен? Об этом излишне говорить.

В перлюстрированной полицией почте попадались яркие свидетельства гибкости, непредсказуемости дей-

ствий боевиков. «Относительно террора я думаю: Дума для нас трибуна, одна из тех «частностей» партийной работы, как всякий митинг, всякое общественное учреждение. Мы идем не с надеждой творить, заниматься органической работой. Мы идем, чтобы разрушить Думу, а потому нет смысла нам идти по этической стороне террора. Если признаём этичность активных действий в прошлом, необходимо признать их и теперь». Так писал неведомый нам «Седой» в феврале 1907 г., подтверждая страшную истину гражданской войны: здесь не может быть никаких правил.

Столыпин знал это. Герасимов — тоже. (В конце 1909 года Герасимов только чудом уцелел от взрыва бомбы, более мелкого разряда, подстроенного Азефом, а погиб полковник Карпов).

Взрыв на Аптекарском острове тоже был непредсказуем. Эсеры, по данным охраны, не могли, они были под контролем; и максималисты, более горячие, чем эсеры, тоже были под наблюдением: видный максималист Соломон Рысс, арестованный в Киеве при попытке ограбления артельщика, стал секретным агентом. Для организации «побега» Рысса из тюрьмы пожертвовано двумя невинными полицейскими, приговоренными к каторге. Зато максималисты, считалось, в кармане департамента полиции.

Тем не менее 12 августа отличились именно максималисты. Они не скрывали этого, выпустили листовку.

А что же Рысс? Оказалось, он вел по ложному следу, напрасно на него надеялись.

Да, Столыпин еще до покушения на Аптекарском знал, что никто не может гарантировать ему безопасность. После покушения он просто перестал думать об этом, с холодным равнодушием идя навстречу неизбежному.

На приеме у Николая II в ответ на предложение денег на лечение дочери Столыпин сказал:

— Ваше величество, я не продаю кровь своих детей.

Некоторая чрезмерность звучит в этих словах. Он словно говорит, что не приемлет такого уровня взаимоотношений. Дома у него — мучения четырнадцатилетней Наташи, на сердце — угрызения совести, впереди — неизвестность. И чувство долга. Положение трагическое.

Трудно сравнивать отцовские чувства двух мужчин, видевших страдания своих детей, — Столыпина и Николая. Николай не смог стать выше личного горя,



болезни сына, которую мог приостанавливать Распутин. Последствия царского уравнения государственного и личного были катастрофическими. Перед Столыпиным стоял подобный же выбор, и он был готов к жертве. Разве можно было «продать кровь своих детей», когда он совершал жертву? Тут вспоминается формула Н.В.Соловьева: в России взаимоотношения личности и государства проходили через жертву. Жестоко? Как согласиться с такой правдой?

Но в ответе: « Я не торгую...» звучит именно этот железный звук.

Через два года бывшему директору департамента полиции А. А. Лопухину предстоит пройти через ужасное испытание — эсеры, поняв, что в их рядах агент охранки, похитили дочь А. А. Лопухина, чтобы шантажом вырвать у него нужное имя. Невозможно гадать, как поступил бы на месте Лопухина тот или иной человек, это лежит за пределами нашего разговора. То, что случилось, никогда широко не обсуждалось. Сам Лопухин об этом умалчивал, несмотря на суровые испытания, обрушившиеся на него впоследствии. Революционным идеологам тоже было невыгодно обнародовать столь циничные методы борьбы. И только двоюродный брат Лопухина, умерший в 1966 году, оставил записки, где ссылается на рассказ А. А. Дело было так. Лопухин в Париже получил письмо из Лондона, что его дочь похищена. Он едет в Англию, в его купе входит З. Л. Бурцев (издатель «Былого», в прошлом террорист), предлагает сделку. Лопухин называет имя и назавтра встречается с живой и невредимой дочерью в Лондоне. Двухходовая комбинация эсеров успешно сыграна!

Страшная борьба шла в России, ее семена еще прорастут в гражданской войне.

В инструкциях эсеровских охранных дружин записано наказание для нарушителей дисциплины — смерть. Это — своим. А противникам?

5 августа в пятом часу вечера 1906 г. варшавский генерал-губернатор Скалон выехал к германскому вице-консулу, проживавшему на Наталинской улице, № 9, и, не застав последнего, отправился обратно. Когда проезжал мимо дома № 12, то со второго этажа было сброшено четыре бомбы, две разорвались и ранили трех казаков конвоя. Генерал Скалон был контужен. Расследование быстро установило, кто снимал квартиру в злополучном доме. Оказалось, молодые

женщины 20—23 лет. Хозяйства не вели, плитой не пользовались. Бомбы бросали молодые женщины и мужчины. Их не удалось арестовать. Зато установили, как готовилось покушение, как вычислялся маршрут Скалона, как загоняли его в этот маршрут.

Генерал-губернатор ездил к германскому вице-консулу неспроста. Накануне на того напал мужчина в офицерском мундире и дал пощечину. «Оскорбление это было нанесено преднамеренно, в надежде вызвать поездку генерал-губернатора к вице-консулу, как и случилось», — отмечено в донесении варшавского охранного отделения.

Одновременно с оскорблением барона Лерхенфельда к дворнику дома напротив консульства явилось несколько человек, потребовали его оставить место, а вместо него поставить своего человека и нанять в этом доме свободную квартиру. Однако дворник «не внял угрозе революционеров и остался на своем месте».

Вице-консул, конечно, мог не оглашать происшествия, но его вынудили к этому, и Скалон обязан был ехать с извинениями.

12 августа Столыпин получает письмо от Скалона с описанием случившегося. Через несколько часов на Аптекарском тоже рвутся бомбы.

«Солдат не может быть обвинен в убийстве», — так год спустя, когда австро-венгерский суд присяжных оправдал организатора варшавского покушения Добродзинскую, писали австрийские газеты.

Председатель суда спросил ее:

— Были ли вы уверены, что погибнете?

Она ответила:

— Да. От взрыва бомбы или при аресте жандармами.

— Разве вы не испытывали при этом никаких нравственных угрызений или мук совести?

— Нет.

— Но ведь католическая религия говорит: не убивай.

— Христос сказал: придет время, когда нужно будет продать плащ и купить меч.

— От бомбы могли погибнуть невинные.

— При великой войне бывают невинные жертвы.

Сейчас, в конце двадцатого века, этот безжалостный человеческий тип нам слишком хорошо знаком. Тогда он вызывал сочувствие. Суд присяжных единогласно оправдал Добродзинскую.



В полицейском деле хранится ее фотокарточка: молодая, высокий лоб, чуть вьющиеся волосы, твердый округлый подбородок, большой рот, усмешка, глаза глубоко посажены, черные, изогнутые брови, выражение упорства, иронии, чего-то недоброго.

Полицейское описание результата еще одного покушения — на самарского губернатора Блока: «Труп обезображен. Оторваны руки, нога, туловище представляет окровавленную массу». Тоже — взрыв бомбы. Согласно донесению начальника губернского жандармского управления генерал-майора Короткова Блок бравировал опасностью, ездил без охраны, уповал на провидение Божье.

Они все уповали на провидение, жертвы и убийцы. Но кроме охоты, преследования, мести, требовалось обеспечивать жизнь страны.

Начиналось столыпинское пятилетие.

Для защиты от террористов он с семьей переезжает в Зимний дворец. Всюду расставлены часовые. Осада. Столыпин не может появиться на улицах города. Для прогулок охрана назначает ему недоступные революционерам места — крышу и залы дворца.

Вечером по пустынным громадным залам, освещенным одной дежурной лампочкой, шагал Реформатор, глядя на темные портреты Петра Великого, Екатерины Великой, Павла, Александра... Что думал он? Надолго ли эта осада? Удастся ли остановить разрушение страны?

Его старшую дочь, Машу, тоже начинают преследовать. Кто-то подложил рядом с ее чашкой письмо, звали сбросить нравственные цепи, отдаться счастью партийной работы.

Девочка не стала рассказывать отцу, но через несколько дней — новое письмо, тон развязный. Это она уже показала, но только адрес тщательно замарала, чтобы не быть доносчицей.

Вот какое было воспитание: даже после покушения 12 августа, искалечившего родную сестру, убившего десятки людей, Маша Столыпина не могла переступить нравственный барьер.

Но Петр Аркадьевич должен был начинать борьбу. 24 августа в «Правительственном вестнике» появилось сообщение:

«За последние два года революционное движение проявляется с чрезвычайным напряжением. С весны этого года оно особенно усилилось. Почти не прохо-

дит дня без какого-либо нового злодеяния... Преступления эти ясно доказывают, что революционные организации напрягли все усилия к тому, чтобы воспрепятствовать спокойной работе Правительства, расстроить его ряды и применением грубого насилия прекратить всякую работу мысли и всякую возможность сознательной жизни государства... После роспуска Государственной Думы, быстрого подавления Кронштадтского и Свеаборгского мятежей, неудачи задуманной общей забастовки и принятия решительных мер против аграрных беспорядков крайние революционные группы, желая ослабить впечатление неудачи их замыслов и не допускать творческой работы Правительства, решили путем уничтожения высших должностных лиц произвести впечатление в стране, а на Правительство навести панику. Хотя такие отдельные террористические акты знаменуют скорее бессилие революции в деле осуществления движения общего, чем успех ее, но вся обстановка подобных преступлений по жестокости своей располагает общество к смятению и тревоге более даже, чем длительное революционное движение.

В чем же при таких обстоятельствах должна заключаться обязанность Правительства и что оно должно предпринять? Ответ на это может быть один: цель и задачи Правительства не могут меняться в зависимости от злого умысла преступников: можно убить отдельное лицо, но нельзя убить идеи, которой одушевлено Правительство. Нельзя уничтожить волю, направленную к восстановлению возможности жить в стране и свободно трудиться».

Пожалуй, это главное. Столыпин принимал вызов. Он противопоставлял насилию силу, вводились военно-полевые суды. Но одного этого мало, хотя раздаются громкие требования ограничиться только подавлением зла.

Столыпин объявлял направления своей политики в подготовке важнейших законов:

о свободе вероисповедания;

о неприкосновенности личности и о гражданском равноправии в смысле устранения ограничений и стеснений отдельных групп населения;

об улучшении крестьянского землевладения;

об улучшении быта рабочих и, в частности, о государственном их страховании;

о реформе местного управления;



о преобразовании местных судов;

о реформе высшей и средней школы;

о подоходном налоге;

о земском самоуправлении в Прибалтийском, а также Северо- и Юго-Западном крае;

о реформе полиции...

Даже нам с вами, читатели, понятно, как значительна эта программа, много из нее мы хотели бы видеть воплощенным в нашей жизни. Для России начала века она значила не меньше.

Впрочем, столыпинская декларация еще не означала перемен. Следовало начинать движение, не уповая на будущую Думу.

И к тому же разве кто-то мог гарантировать, что ее депутаты окажутся столь радикальными?

Ждать было некогда.

Столыпин воспользовался 87-й статьей Основных законов, которая предоставляла правительству право решать вопросы во время перерывов в работе Думы и в случае исключительных обстоятельств. Это практически означало, что он не надеется на российское общество. Он — одинок.

Это, конечно, трагедия индивидуалистического, европейского сознания, нашедшая в русской литературе отражение в различных вариациях «лишних людей». Трагедия тем не менее очень русская, неподсудная тогдашней литературе, ибо сколачивала два типа, русский дворянский и буржуазно-либеральный, в один, новый. Это явление осталось за чертой отечественной словесности. Мы оттуда так и не получили ответа на вопрос, кто же создал Новую Америку на юге России, великую крестьянскую Сибирь, первоклассные оружейные заводы, кадры инженеров, летчиков, земской интеллигенции?.. Откуда они взялись? Из «лишних»? Из «идиотизма» русской жизни?

Нам не ответить на эти вопросы без Столыпина. Столыпин — это не столько личность, но имя целой эпохи нашей жизни, которая была надломлена страшным катаклизмом и которая может возродиться, если мы вернемся к здравому смыслу.

Как ни странно, речь о здравом смысле, всегда кажущаяся простой, обычно связана с крайним противостоянием сторон.

Проблема Столыпина: безжалостное подавление всяких беспорядков и проведение либеральных реформ должно было натолкнуться на попытки склонить им-

ператора объявить военную диктатуру, и, предвидя это, он заявил, что скорее покинет пост, чем откажется от конституционного направления своей политики.

Напомним, что взрыв дачи на Аптекарском острове и заседание кабинета произошли в один день и разделены всего лишь несколькими часами. Значит, когда Столыпин говорил о невозможности вернуться к старому режиму, он знал, что назавтра его Наташе должны ампутировать ногу. Все сжалось в один день: ужас смерти и поразительное самообладание Реформатора.

Те дни, последовавшие до публикации правительственной декларации, решили судьбу Столыпина. Борьба правых против премьер-министра была ожесточенной, симпатии Николая склонялись на его сторону.

Военная диктатура или гражданское правительство? Николай же уступает Столыпину. Равной ему фигуры у него нет.

Но тут несколько министров, включая военного и морского, начинают атаку с другой стороны. Они требуют предоставить полиции право расправляться с террористами без суда и следствия. Как будто их можно понять. Зачем исполнять закон, если это тормозит воздействие? Зло должно быть мгновенно наказано.

Да, должно быть наказано, соглашается Столыпин. Однако что останется для созидательной жизни государства, коль законы будут трактовать полиция и военные? Это приведет к полной анархии.

Правые и военные продолжают давить.

В конце концов премьер-министр был вынужден искать компромисс и представил Николаю закон о военных судах над наиболее опасными преступниками, совершившими преступления в местах, объявленных на военном положении.

И до последнего времени наша обглоданная история советского периода бубнила одно и то же: казни, «столыпинские галстуки»... Отбросив все идеологические штампы, сегодня надо сказать: это была настоящая война государства с террором, в котором защитные действия государства были, по крайней мере, логичны. Когда современные террористы захватывают самолет и, не обращая внимания на жертвы, добиваются своих целей, как мы реагируем на это? Одобрительно? А если к тому же мы сами сидим в том самолете, и наши дети, и наши старики? К тому же



российский самолет должен лететь дальше. Первым решающим шагом стало заседание Совета министров 10 октября, посвященное земельной политике. Докладывал В. И. Гурко. Уже никем не оспаривался сам принцип свободного выхода из общины. Не оспаривался открыто. Но возражали против применения 87-й статьи, требовали непременного одобрения Думой. «Смертный приговор над общиной» по-прежнему воспринимался как конец государства. Но большинство министров поддержали Столыпина, а Николай II — одобрил.

9 ноября (22 по ст.), спустя четыре месяца после прихода Столыпина к руководству, был создан исторический указ, освободивший крестьян от власти общины. Столыпин стал Столыпиным, а крестьяне переставали быть «полуперсонами» и впервые становились гражданами.

В России начиналась экономическая, бескровная, но самая глубокая революция.

На Крестьянский банк возлагалась обязанность скупки помещичьих имений и продажи земельных участков крестьянам по льготной цене в многолетний кредит. Кроме того, передавались в Крестьянский банк большинство удельных земель и степных угодий, значительно уменьшались владения царской семьи, земли Алтайского округа обращались для устройства переселенцев.

Этой реформой должен был наконец завершиться кровавый междоусобный период. Не в один день, но завершиться. Выбивалась база из-под эсеровской политики.

Вот что писала дочь Столыпина: «Проведением хуторской реформы, где каждый крестьянин становился сам маленьким помещиком, уничтожалась партия социал-революционеров. Поэтому понятно их стремление остановить реформу... Работа этой партии выражалась не только в агитации среди крестьян, часто благодаря этому и противодействовавших проведению реформы, но и вообще в искусной агитации против моего отца и устройстве на него покушений».

Вот что писал В. И. Ленин в статье «Новая аграрная политика» (газета «Пролетарий», 19 февраля 1908 г.): «Окончательный переход правительства царя, помещиков и крупной буржуазии (октябристов) на сторону новой аграрной политики имеет огромное историческое значение. Судьбы буржуазной революции

в России, — не только настоящей революции, но и возможных в дальнейшем демократических революций, — зависят больше всего от успеха или неуспеха этой политики...

И вот правительство контрреволюции поняло это положение. Столыпин правильно осознал дело: без ломки старого землевладения нельзя обеспечить хозяйственного развития России. Столыпин и помещики вступили смело на революционный путь, ломая самым беспощадным образом старые порядки, отдавая всецело на поток и разграбление помещикам и кулакам крестьянские массы».

Здесь все правильно, кроме одного: «Столыпин и помещики вступили смело...» Насчет помещиков — преувеличение публициста.

И еще из Ленина: «Что, если столыпинская политика продержится действительно долго... Тогда добросовестные марксисты прямо и открыто выкинут вовсе всякую «аграрную программу...», ибо после «решения» аграрного вопроса в столыпинском духе никакой иной революции, способной изменить серьезно экономические условия жизни крестьянских масс, быть не может. Вот в каком соотношении стоит вопрос о соотношении буржуазной и социалистической революции в России» (ПСС, т.17, с.32).

«Тихая революция» (М.Меньшиков) была явно эффективнее для двадцатого века, перепробовавшего позднее все виды социальных потрясений и опытов. В данном случае борьба революции с эволюцией не завершилась победой социалистических теорий. Совершив великий подвиг эксперимента, человечество заплатило дорогой ценой.

«Олимпическое величие теории» разбилось о «болезненную чувствительность жизни». С этим уже не спорят. Или отголоски кадетской критики реформ, запугивавшей Николая, не покажутся нам знакомыми: «В них чувствуются зловещие призраки невиданной гражданской войны»? Эти слова принадлежат не члену партии конституционных демократов С. Котляревскому.

А эти слова, кому они принадлежат? Столыпину? Современному идеалисту? «Если хотите переродить человечество к лучшему, почти что из зверей наделать людей, то наделите их землею — достигнете цели».

Это Достоевский, «Дневник писателя», 1876 год. Написано прямо для нас.



И Столыпин — для нас.

Как будто бы не миновал век с осени 1906 года!

В октябре издали указ «Об отмене некоторых ограничений в правах сельских обывателей и лиц других бывших податных сословий». Крестьянам разрешалось получать паспорта свободно, без согласия общины. Отменялись и ограничения в приеме их на работу, разрешалось свободное избрание профессии и места жительства, земские начальники потеряли право штрафовать и арестовывать крестьян без постановления волостного суда.

Это было «тихое» освобождение от несвободы. Но самое значительное, конечно, последовало девятого ноября. Становилось достаточно подать заявление через старосту, и крестьянин оказывался вечным хозяином находившейся в его пользовании земли.

По великой земледельческой стране прошел нож свободы. Общинной земли не хватало, правительство запрещало землеустроительным комиссиям и Крестьянскому банку передачу казенной земли деревенским беднякам, не имевшим ни инвентаря, ни лошадей. Слабосильные выталкивались, вынуждены были продавать наделы и искать свою долю в городах, на фабриках и стройках. Старый крестьянский мир с его уравнительно-патриархальными представлениями о справедливости уничтожался. Открывалась широкая дорога к экономической свободе, рынку труда, развитию промышленности. Те, кто вступал на эту дорогу, должны были быть готовы к испытаниям. И мучительным испытаниям. Но и те, кто надеялся остаться в стороне, втягивались в борьбу.

Чтобы вырваться из общины, крестьянам зачастую приходилось платить собственной кровью. Мир держал, не хотел выпускать сильнейших. У С. Т. Семенова об этом написана повесть «Односельцы», именно о выделении из общины, закончившемся кровопролитием.

Вот несколько отрывков.

«— А по-твоему, в хуторах хорошо? — бросил из-за своего стола Восьмаков, и в тоне его почувствовался задор...

— На хуторах, говорят, лучше живут, — сказал Мельников. — Земля близко, обрабатывать ее много легче.

И только он это сказал, как неуловимый огонь промелькнул в глазах Восьмакова. На лице его выступила краска, в голосе задрожали едкие, злые ноты».

Разговор крестьян продолжается, речь заходит о том, что свою землю лучше удобришь, больше от нее получишь, что за границей тоже так делают.

«Все лицо Восьмакова стало вдруг чугунное, в глазах появилась дикая враждебность, даже изменился, как будто бы пересел голос.

— Какие в заграница люди? Там не люди, а нехристи. Они религию отвергают... Нешто можно нам глядеть на заграницу?

В тоне Восьмакова чувствовалась вражда; она дрожала в каждом слове его. Это задело Мельникова, и вдруг его стало разбирать раздражение.

— Отчего же не поглядеть, где есть хорошие примеры? На худые дела нечего обращать внимания, а хорошему учиться везде можно.

— Урожай от Бога, а вы хотите, чтобы все от самих себя. Нет, на это вас еще кишка жидка...

Мельникову непонятно было такое отношение Восьмакова к самому себе и вообще непонятна душа таких людей, как Восьмаков и его дядя. И он опять почувствовал свое бессилие найти хотя бы какой-нибудь подход к их сердцу, и ему стало нехорошо».

Противостояние двух крестьянских мировоззрений налицо. Но еще далеко до открытой борьбы. Они пока что философствуют, обсуждают, что справедливо, а что — нет.

« — Чем же мы себя мучаем?

— А вот тем, что такую траву косим да такой хлеб едим. У господ вон хлеб-то родится, хоть борону приставляй, а у нас колос от колосу — не слыхать человечьего голосу.

— Что ж поделаешь, когда лучше не родит.

— Можно добиться, что будет родить.

— Чего ж ты не добиваешься?

— А то, что я не один. У меня соседи. У соседей плохо, и у меня не выйдет хорошо. А вы вот выделите мой пай к одному месту, тогда я вам покажу.

Последними словами Машистый сразу раскрыл, чего боялся мир, когда послышался его голос; вся толпа вокруг заколыхалась, сгрудилась плотней и вдруг у всех развязались языки...»

Община не отпускает нескольких предприимчивых хозяев, и тогда они обращаются в землеустроительную экспедицию, чтобы мирской приговор отвергнуть чисто гражданским актом. Разве это не революция в крестьянском сознании?



«И землеустроитель, отведя глаза в сторону и только изредка взглядывая на Мельникова, с легкими запинками, как будто бы он повторял наизусть не совсем хорошо заученную историю, стал говорить о тех выгодах, которые может получить каждый хозяин, перейдя на отруб или хутор. Тут было и повышение урожая, и были очень внушительны. Мельников с интересом слушал его беседу, но он никак не мог понять, как это такой видный господин может так глубоко входить во все подробности крестьянского хозяйства. Неужели это искренно?..

Землеустроитель, пожимая ему на прощанье руку, еще раз обещал, что сделает все возможное, чтобы скорей и лучше устроить выдел...»

Еще одно крестьянское рассуждение: «А в миру какая крепость? Все, как арестанты, скованы, хлеб добывают, а сыты не бывают, друг дружку грызут, а никогда не наедятся, за стакан вина под стол лезть готовы...»

Мир взбудоражен, сопротивляется, вот-вот что-то случится. Наконец, на покосе вспыхивает драка, и сторонников нового едва ли не отправляют на тот свет. Один избит, другой изрезан ножом. В больнице доктор как бы между прочим замечает: «Пошли у нас ножи прививаться. За это лето шесть случаев такой расправы... А бывало, в два года раз. Точно Кавказ. Заботятся о просвещении народа, а он дичает, совсем Азия делается».

Кончается повесть трагически. Хотя раненый и остается жить, хотя темные односельцы раскаялись, а виновные наказаны, но прежнего мира больше нет.

Пожалуй, это единственная повесть о столыпинской реформе, которой русская литература, прощаясь с уходящим миром, отметила «тихую революцию». Она написана в 1917 г. Что было потом — тема других трагедий.

Однако остались и иные свидетельства, со стороны помещиков; их тоже немного.

Например, воспоминания Н. В. Волкова-Муромцева «Юность. От Вязьмы до Феодосии» (Париж, 1973 г.) рисуют картину идиллических взаимоотношений с крестьянами.

«Я не знаю наверное причин, начеку у нас в машинном сарае стояли без употребления два паровика-трактора. Там же стояли три сноповязалки, которые на моих глазах тоже не употребляли. Мне казалось дикос-

тью не использовать современные машины... Он (управляющий. — *Авт.*) говорил, что мой отец прекратил пользоваться паровиками, потому что это отнимало заработок у наших крестьян. Во время пахоты многие местные крестьяне приходили приработать лишние деньги. Они пахали однолинейными плугами с двумя лошадьми. Лошадей на рабочей конюшне было приблизительное 40, так что 16 или 18 плугов могли работать одновременно. Вывоз навоза оставлялся исключительно крестьянам с их собственными «навозниками» и лошадьми, это давало выгодный заработок на неделю или две. Наша пахота, сенокос, уборка урожая, дерганье льна — никогда почти не совпадало с крестьянскими, потому что они всегда сеяли на неделю или две позднее, так что это выходило очень удобно и для них и для нас. Эти две недели оставляли крестьян свободными. Отец купил сноповязалки, не подумав. Это значило, что не нужно было нанимать женщин вязать снопы и, следовательно, бабы теряли 75 копеек в день; что для них значит очень много».

Идиллия помещичьей жизни, однако, разрушается, если задаться вопросом: почему крестьяне вынуждены были пропускать лучшие сроки пахоты?

Мало земли, избыток рабочих рук. Поэтому-то нет смысла употреблять помещику трактора и сноповязалки. Поэтому-то выгодна «дикость», а в конце концов имения становились неконкурентоспособны.

«На моей памяти многое переменилось, — пишет Н. В. Волков-Муромцев. — Столыпинские реформы, Крестьянский банк, кооперативы сильно изменили земледелие...

Земли было много. Недалеко от нас было шесть разоренных имений, где и помещики и все постройки исчезли. Земля тысячами десятин была на продажу. По столыпинской реформе, в наших краях цена на полевую десятину была установлена как максимум 80 рублей, выплачивать надо было по закладной на 20 лет, это выходило по 4 рубля в год Крестьянскому банку. Проценты на заем были 1,5%, что вместе выходило дешевле аренды...»

Вот тут очень важная для понимания реформы точка: помещичье землевладение тоже разрушалось, исчезало. Никакие «трактора в сараях» не могли остановить этого процесса. Античная, дворянская Россия должна была пройти через неизбежное обновление, чтобы стать — нет, не «новой Америкой», а новой Россией.



«В нашей округе крестьянам было экономически трудно покупать земледельческую утварь. Вложенный капитал был бы слишком велик на среднего размера деревню в 21 — 22 двора, следовательно — капитал должен быть кооперативный, который мог бы давать напрокат нужное оборудование на несколько деревень. Но кооперативные магазины и лавки в селах скоро стали успевать, и крестьяне мало-помалу стали склоняться и к найму оборудования. Мой отец на сходе предложил, чтобы кооперативы купили бы веялки, молотилки всякого рода, паровики. И в 1911 году крестьяне решили попробовать. Первым стал покупать кооператив в деревне Хмелите, а за ним и другие. Поддержали первыми, конечно, однодворцы. Их становилось все больше и больше после столыпинских реформ, и тогда дело, конечно, ускорилось».

Что мы слышали о «столыпинских кооперативах»? А ведь сельская кооперация стала бурно развиваться именно тогда, без насилия, свойственного сталинскому «кооперативному плану».

Но вернемся в Петербург осени 1906 г. Столыпину удалось сделать невозможное — разорвать заколдованный круг. До него проведение реформ неизменно сопровождалось ослаблением власти, а следовавшие затем суровые меры останавливали реформы; власть качалась и была малопродуктивна.

Это свойство нового правительства породило надежду.

А. И. Гучков, председатель ЦК «Союза 17 октября», заявил в печати, что глубоко верит в Столыпина. И далее, касаясь военно-полевых судов: «У нас идет междоусобная война, а законы войны всегда жестоки. Для победы над революционным движением такие меры необходимы. М.б., в Баку резня была бы предотвращена, если бы военно-полевому суду предавали лиц, захваченных с оружием».

Все смешалось: землеустройство, взрывы, грабежи, экономическая необходимость, охрана... Закон о военно-полевых судах вводил особые суды из офицеров, ведавших такие дела, где преступления очевидны. Предание суду происходило в течение суток после акта убийства или вооруженного грабежа, разбор дела не мог превышать двое суток, а приговор приводился в исполнение в 24 часа.

Часовой «с кремневым ружьем» стал защищаться.

Общество с нарастающим возмущением смотрело

на умножившиеся террористические акты. Людей убивали чуть ли не ритуально, только «за должность», грани между политическим и уголовным убийствами становились неощутимы. Шайки уголовников прикрывали свои преступления «нуждами революции».

Даже такие идеалисты террора, как Борис Савинков, понимали, что движение разлагается. В его романе «Конь бледный» персонаж, признащий, что «для дела» можно убивать, приходит к оправдыванию убийства ради собственных интересов (устранения мужа возлюбленной) и в конце концов кончает с собой.

**«Революционное движение породило полную разнузданность подонков общества», — писал «Вестник Европы».**

В борьбе, под грохот бомб и треск револьверов, той осенью создавалось новое законодательство. Правительство проводит несколько важных законов: о свободе старообрядческих общин; об ограничении рабочего дня и воскресном отдыхе приказчиков; отмене преследований за тайное преподавание в Западном крае (т.е. разрешалось в частном порядке обучение на польском языке).

Загадка Реформатора, останавливающего вздыбившуюся страну, была доступна далеко не всем. Большинство его сотрудников подчинялись ходу событий, твердили еще плохо выученный урок, и только некоторые понимали подводные течения. А. В. Кривошеин, В. И. Гурко, А. И. Лыкошин, А. А. Риттих были его ближайшими помощниками. Но В.А. Маклакова, члена второй, третьей и четвертой Дум от кадетской партии, союзником Столыпина назвать трудно. Поэтому его объяснение загадки вдвойне интересно.

«Напряженная борьба с внешними проявлениями революционной стихии не помешала, однако, Столыпину в исполнении другой главной задачи: подготовке тех законопроектов, которые должны были обновить русскую жизнь, превратить Россию в правовое государство и тем подрезать революции корни. 8 месяцев, которые были ему на это даны роспуском Думы, потеряны не были.

Объем работы, которую с этой целью правительство в это время проделало, делает честь работоспособности бюрократии. Эту работу невозможно определить объективным мерилом. Я пересчитывал законы, которые с созыва Думы правительство в нее почти ежедневно вносило. В первый же день их было внесено



65; в другие дни бывало и больше; так 31 марта было 150. Но такой подсчет ничего не покажет. Законы неравноценны; наряду с «вермишелью» пришлось бы ставить и такие монументальные памятники, как организация местного суда, преобразование крестьянского быта и т.п.. Достаточно сказать, что не только 2-я Дума, но 3-я и 4-я до самой революции не успели рассмотреть всего, что было заготовлено именно в первое междудумье.

Важнее, чем количество, общее направление законопроектов, их соответствие поставленной цели.

Я раньше указывал, что идеи либерализма не были исконным кредо Столыпина; он необходимость их понял, но все же считал второстепенными. Главную задачу свою для торжества правового порядка он полагал не в провозглашении их; подход к этому у него был другой. Чтобы правильно понять его, полезно сделать одно отступление... Без него вся политика Столыпина не будет понятна.

Если Столыпин и признавал значение «свободы» и «права», то эти начала он все-таки не считал панацеей, которая переродит наше общество. Громадное большинство населения, то есть наше крестьянство, по его мнению, их не понимает и потом в них пока не нуждается. «Провозглашение» их не сможет ничего изменить в той среде, где еще нет самого примитивного права — личной собственности на землю и самой элементарной свободы — добром и трудом располагать по своему усмотрению и в своих интересах. Для крестьян декларация о крестьянских свободах и даже введение конституции будут, по его выражению, «румянец на трупе». Если для удовлетворения образованного меньшинства он эти законы вносил, то копий за них ломать не хотел, только когда желательность их поймут и оценят крестьяне, сопротивляться им будет нельзя и не нужно. Главное же внимание его привлекало пока не введение режима «свободы» и «права», а коренная реформа крестьянского быта. Только она в его глазах могла быть прочной основой и свобод, и конституционного строя. Это было его главной идеей. Не дожидаясь созыва Думы, он по 87 ст. провел ряд законов, которые подготовляли почву к дальнейшему...

Эти указы в своей совокупности должны были начать в крестьянском быту новую эру. Но настоящего государственного смысла этих реформ Столыпин в то

время еще не высказывал. Может быть, он не хотел идеологических возражений и справа и слева. «Справа» потому, что эта программа была, по существу, «либеральной», т.к. делала ставку на личность, «слева» потому, что там издавна питали слабость к коллективу, к демократической общине. Столыпин не находил полезным подчеркивать, куда этими законами он ведет государство».

Объяснения Маклакова исчерпывающи: Реформатор не ждет поддержки общества, он одинок, и его путь — добавим мы — это путь к 1 сентября 1911 г., то есть к жертве.

Возможно, столь резкое соединение начальной и конечной точек выглядит упрощением? Советская историография всегда рисовала Столыпина крайне правым, «обер-вешателем» (Ленин), противником демократии. Но какое нам дело до политических ярлыков? Гораздо важнее в данном случае вспомнить другое. Петр Аркадьевич знал, что погибнет.

В 1911 г. начальник киевского охранного отделения сообщал в Петербург: «Дмитрий Богров состоял сотрудником отделения по группе анархистов-коммунистов под кличкой «Аленский» с конца 1906 г...»

Вряд ли в разгар своей реформаторской деятельности Столыпин, хотя он и был одновременно министром внутренних дел, что-то слышал о Богрове. Он должен был узнать о его существовании год спустя, когда «Аленский» сообщил о подготовке покушения на царя.

«Сегодня в Киев из Севастополя приехала Мержеевская и остановилась в доме № 5 по Трехсвятительской улице. Мержеевская рассказала, что отколовшаяся от Центрального Комитета группа соц-рев. командировала из Парижа в Севастополь отряд для совершения террористического акта против государя в день прибытия его в Севастополь. В состав этого отряда вошла будто бы и Мержеевская, которая должна была находиться в числе публики с букетом цветов с вложенной внутри его бомбой, предназначенной для метания в день высочайшего проезда...»

Покушение не состоялось. Богров продолжал сотрудничать, выдавал анархистов, получал сто пятьдесят рублей в месяц «на жизнь», как он скажет потом на допросе:

«В охранное отделение я ходил раза два в неделю и между прочим сообщал сведения о готовящихся



преступлениях, как, например, Борисоглебской организации максималистов об экспроприации в Киевском политехническом институте, лаборатории в Киеве, на Подоле, по которой была привлечена Р.Михельсон, разъяснил дело Мержеевской, подготовившей покушение на жизнь государя, и много других замыслов анархистов».

От руки этого человека погибнет Столыпин.

Впереди еще целых пять лет.

## ГЛАВА 7

Охранное отделение было начеку, зная, что на четырнадцатое октября максималисты готовят большую экспроприацию. Агент сообщил: это будет налет на кассира, перевозящего деньги из таможни в казначейство.

С охранным отделением (Герасимов) соперничал департамент полиции (Трусевич). Напомним, полиция завербовала одного из видных максималистов — Рысса, получая от него сведения о намерениях революционеров.

Герасимов, опасаясь двойной игры, добился от Столыпина разрешения проверить эти данные. И оказалось: Трусевича водят за нос. Герасимовский агент вошел в полное доверие руководителя максималистов Медведя и узнал, что Рысс вступил в сношения с политической полицией с ведома и в интересах максималистов. Медведь намеревался устроить нападение на царский дворец, повторить покушение на Столыпина. Для этого они приобрели два автомобиля и пару породистых рысаков. Теперь нужны были деньги.

Герасимов встречается с Трусевичем, рассказывает о Рыссе. В итоге Герасимов получает право на арест максималистов. Но как? Крупные руководители террористов жили не в Петербурге, а в Финляндии. Для того чтобы их арестовать, требовалось согласие финнов. Это грозило утечкой информации. Поэтому решили допустить экспроприацию 14 октября и брать всех на месте преступления.

Однако на деле вышло не так гладко.

На следующий день в петербургских газетах был напечатан сенсационный материал:

«Экспроприация 368 тыс. рублей. В одиннадцать часов транспорт казенных денег в количестве 600 тысяч

рублей выехал из портовой таможни на Гутуевском острове под обычным в последнее время конвоем из семи конных жандармов с ружьями в руках и направился в губернское казначейство, находящееся на Екатерининском канале. Деньги транспортировались в мешках, из которых в одном находилось золотом 3600 рублей, в другом 368 тысяч рублей, в третьем 229 тысяч 400 рублей в процентных бумагах. В карете ехал помощник казначея С. П. Герман в сопровождении двух присяжных счетчиков. Транспорт ехал, как всегда, медленно, почти шагом, и благополучно достиг угла Фонарного переулка и набережной Екатерининского канала. Было 11 часов 27 минут дня. У угла дома № 83, где помещается в первом этаже портерная, против будки электрического трансформатора и пешеходного мостика через канал, транспорт неожиданно был окружен сравнительно небольшой толпой человек в пятнадцать молодых людей. Под лошадей был брошен металлический разрывной снаряд вершка в два длины и около трех четвертей в диаметре. В тот же момент последовал страшный взрыв. Одна лошадь с перебитыми передними ногами упала на землю. Карета остановилась. Растерявшийся конвой от неожиданности и испуга отпрянул от транспорта, а взбесившиеся лошади галопом понесли пролетку в противоположную сторону набережной. Лишь унтер-офицер конвоя остался на месте и открыл пальбу, уложив на месте одного из нападавших. Не успел еще затихнуть гул первого взрыва, как вновь раздался страшный грохот второго взрыва, происшедшего, по словам кучера, под каретой и, по словам других, близ ворот следующего по каналу дома № 81. После второго взрыва сидевшие в карете, открыв двери, в страшном испуге бросились бежать, оставив в карете мешки с деньгами, по набережной к Вознесенскому проспекту. Тем временем нападавшие окружили карету со всех сторон, трое из них схватили мешки и бросились бежать врассыпную, но по разным направлениям. Остальные злоумышленники выхватили браунинги, открыли беглую стрельбу по поднявшимся и спешившим к месту схватки жандармам. Последние стали отвечать, стреляя из винтовок...»

Прервем репортера газеты «Око», взглянем на схватку с другой стороны.

Полковник Герасимов свидетельствует, что весь наличный состав филеров был мобилизован, однако



в толпе, в уличной толчее было и невозможно отличить революционеров — *«они мундира не носят»*.

Моросил дождь. Транспорт приближался. Филера не знали, кого пасти. Один из них стоял в подворотне и переговаривался с неким господином, который через несколько минут бросил бомбу. Если бы рядом с филерами были секретные агенты, знавшие налетчиков в лицо, тогда...

Начался настоящий бой. «Завязалась жаркая и горячая перестрелка. Злоумышленники, захватившие мешок с 368 тысячами рублей кредитными билетами, на бегу успели передать его какой-то даме, очевидно, своей сообщнице, поджидавшей из углу Фонарного и Офицерской, сидя на извозчике.

Результат нападения: дама помчалась на своем извозчике и успела скрыться. Самое нападение, взрывы бомб и перестрелка тянулись не более пяти минут. Швейцар одного из домов на противоположной набережной Екатерининского канала бросился в пивной склад «Ливония» и оттуда сообщил по телефону в четвертый участок Спасской части. Немедленно к месту схватки в карьер понеслись жандармский дивизион и конно-полицейская стража. Из казарм Лейб-гвардии стрелкового полка, расположенных недалеко от места схватки (Воздвиженский переулок, дом 15), выбежала первая рота. Держа ружье на руку, бегом прошла на набережную канала. Туда же поспешила первая рота городовых.

Злоумышленники, ведшие перестрелку, начали отступать и бросились бежать в разные стороны по обоим берегам канала и почти все скрылись.

Один из них, убегая по Фонарному переулку, на углу Казанской, против ресторана Кипа, случайно обронил бомбу. Последовавшим взрывом были ранены сам убегавший, дворник и случайно проходившая женщина-прислуга. Один из нападавших скрылся в воротах проходного дома № 91 по Екатерининскому каналу. Четверо злоумышленников из числа отстреливавшихся добежали до Офицерской улицы, очевидно не желая обратить на себя внимание. Некий прохожий, указывая на них дворнику дома на Офицерской Алексею Харитонову, сказал: «Что смотришь? Это идут скрытые в серых шляпах преступники, только что стрелявшие на набережной». Харитонов бросился к шедшим сзади и нанес одному из них имеющимся у него твердым предметом удар по голове (метлой). Тот

обернулся и выхватил револьвер, но не успел выстрелить, так как Харитонов нанес ему второй удар, оглушив его и свалив с ног. Харитонову на помощь бросился его родной брат Михаил и дворник дома № 5, крестьянин Голубев. Они успели сбить с ног остальных трех уголовников, уходивших в это время. К месту схватки явился на помощь своим пятый злоумышленник. Последний на бегу открыл стрельбу из браунинга по дворникам. Один из упавших злоумышленников, придя в себя, также начал стрелять в них. Все три дворника были ранены. Михаил Харитонов получил шесть огнестрельных ран, из которых две в бок очень тяжкие. Сильнее всех пострадал Алексей Харитонов, он ранен смертельно. Сюда, привлеченные стрельбой, поспешили офицер Нейшлотского полка Н., рядовой стрелкового полка и городовой Казанской части. Двумя выстрелами из винтовки рядовой уложил на месте одного из злоумышленников, второй был тяжело ранен штыком в лицо и ударом приклада в голову тем же солдатом, третий — шашкой городовым. Один из злоумышленников, преследуемый городовыми и прохожими, бежал по Фонарному переулку, при повороте в Максимилиановский переулок он быстро оборачивается и производит в своего преследователя, городового, выстрел из револьвера, но неудачно. Он падает под ударом шашки городового. По Мариинской площади бегом мчится в серой шляпе молодой человек. На мосту беглеца окружают городовые. Он бросает пустой револьвер и быстро опускает руку в правый карман. Раздается глухой треск, и он падает, обливаясь кровью, на мостовую. Был ли это случайный выстрел или намеренный, с целью самоубийства, неизвестно. Невредимыми задержаны четыре злоумышленника. Из них один был арестован... У злоумышленника, раненного шашкой в голову городовым, был отнят мешок с золотой монетой на 3600 рублей. Третий похищенный мешок с процентными бумагами преследуемый, выстрелами жандармских солдат будучи смертельно ранен, бросил по дороге...»

Снова прервем репортера. Его непосвященность в полицейские тайны вполне понятна, но и объективность его точки зрения не вызывает сомнения.

Дерзость ограбления поразила многих. Почему такое возможно? Почему гибнут люди? Когда это кончится? Эти вопросы адресовались правительству. Не исключено, что кто-то думал: «Наступает конец». Если



бы публика узнала об информированности полиции и о ее бессилии, то подобная мысль только бы углубилась.

Но если взглянуть на случай в Фонарном переулке, как на исторический факт, то мы увидим как бы модель жизни — ни одна из сторон не смогла воплотить свой замысел, результат получился никем не предвиденный.

«Несколько человек остались убитыми на месте, — пишет Герасимов. — Несколько человек мы арестовали. Но, в общем, надо признать, что экспроприация удалась максималистам. Тотчас же были налажены обыски по всем известным адресам.. Были обнаружены конспиративные квартиры, лаборатории, конюшни с двумя выездами, были захвачены два автомобиля, оба рысака, кучера и шоферы. Автомобили и рысаки поступили в распоряжение Охранного отделения. Ряд людей нам удалось взять на границе...»

Это почти протокол или дневник боевых действий: потери свои, потери противника, трофеи. «По делу о Фонарном переулке 7 человек были приговорены военно-полевым судом к смертной казни».

Мы можем заглянуть и дальше, в крепость, где совершалась казнь. Можем понять, что ощущал русский интеллигент, когда узнавал о казнях молодых людей.

19 октября в «Новом времени» была помещена короткая информация «К вооруженному нападению на транспорт с казенными деньгами»: «...в порядке закона от 19 августа 1906 года преданы военно-полевому суду... Суд признал виновными неизвестного, именовавшего себя Сергеем, Ицко Рабиновича, Евгения Эйхенбаума, Ивана Мишина, Александра Кочеткова, он же Сомов и Розенберг, Ивана Толмачева, Сергея Голубева и Павла Дорофеева и постановил: подвергнуть названных лиц смертной казни через повешение. Что же касается подсудимых Никиты Лебедева, Афанасия Михайлова и Николая Ларишкина... За недостаточностью очевидности направить дело в обычном порядке. Упомянутый приговор приведен в исполнение. 18 октября в четвертом часу утра... на пароходе морского министерства были перевезены в Кронштадт, где за чертой крепости над ними был приведен в исполнение смертный приговор».

Вешали ночью. Последние минуты жизни, море, осенняя сырость, вглядывание в темноту, ужас — всего этого нет в «Новом времени».

Зато в другой газете, «Сегодня», от 19 октября, проскользнула заметка «К вооруженному ограблению 14 октября. Как встретили смерть повешенные экспроприаторы». «Повешенные на рассвете позавчера восемь экспроприаторов, идя на виселицу, не только не выказывали какого-либо чувства страха, но, к удивлению очевидцев, громко смеялись, обменивались едкими замечаниями. Ни малейшего содрогания, точно на смерть шли загипнотизированные люди, до последнего мгновения бравировавшие смертью и не искавшие пощады».

На суде неизвестный Сергей дразнил судей, меняя показание. Он не сомневался в смертном приговоре. В газетных отчетах проскочило даже восхищение его мужеством. Высокий, в белой папахе, размахивавший браунингом, кроющий своих товарищей ободряющей бранью, а бедных обывателей — «сволочами», таким предстает этот максималист перед нами.

**«Лица большинства — полуинтеллигентны»,** — добавляет «Око». Что за этими словами? То, что молодые люди не похожи ни на крестьян, ни на студентов? Возможно. Если обратиться к авторитету историка, то увидим более полную картину.

В. О. Ключевский: «Обычные явления в жизни народов, отсталых и почему-либо ускоренно бросившихся вдогонку за передовыми: разрушение старых идеалов и устоев жизни вследствие невозможности сформировать из связанных с вековыми преданиями и привычками новых занятий, сложить новые бытовые основы. А пока не закончится эта работа, несколько поколений будут прозябать и шататься в том межеумочном, сумрачном состоянии, когда миросозерцание поменяется настроением, а нравственность разменивается на приличие и этику». (Написано в 1909 г.).

Была своя эстетика в терроре. Убийца генерала Мина Зинаида Коноплянникова всходила на эшафот, читая стихи Пушкина:

Товарищ, верь: взойдет она,
Звезда пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена!

Казалось, шла какая-то дерзкая небывалая игра, где не надо было ничего: ни большого ума, ни образования, ни труда — только воля и смелость.



Вспомните «Рассказ о семи повешенных» Леонида Андреева, посвященный Льву Толстому. Фабула проста: готовится покушение на министра, но террористов выдал провокатор, и их приговаривают к смерти. Последние дни перед казнью, прощание с родными, с жизнью, нераскаянность и узость этих людей, — все это старательно описывается Андреевым с одной целью, показать душевную красоту революционеров.

Что там министр — «гора вздутого мяса»? Он даже как будто и не человек. Его нечего жалеть. Зато террористы — бесспорные герои, их гибель должна мучить читателей, вызывать протест. Описание трупов ужасно: «с вытянутыми шеями, с безумно вытаращенными глазами, с опухшим синим языком, который, как невидимый ужасный цветок, высовывался среди губ, орошенных кровавой пеной...»

Страшное описание, и, читая его, мы уже не вспоминаем «гору вздутого мяса», расстрелянных дворников, разорванных бомбами людей. Искусство писателя перевернуло картину: жертвы стали виновны, а убийцы кажутся жертвами.

Но прошли годы, улеглись революционные страсти — и все-таки вспоминаем все, как было. Рассказ Андреева становится фальшивым, умозрительным. Ведь дело не в литературном мастерстве, не в том, что страдания одних можно подать впечатляюще, а муки других — затемнить. Дело в старом вопросе Достоевского: все ли дозволено? Каково счастье, купленное ценой «слезинки ребенка»?

Революционных идеалистов такие вопросы не смущали.

Вот, например, идет по киевской улице знакомый Богрова некто «Степа», высокий, плечистый молодой человек, идет на какой-то террористический акт или экспроприацию, в кармане браунинг. Видит: офицер распекает солдата, который не отдал чести. Какое дело «Степе» до офицера и солдата? Шел бы себе спокойно на убийство или грабеж. Но «Степа» — за справедливость. Поэтому он выхватывает браунинг, и бедный офицер уже лежит на мостовой, обливаясь кровью.

Именно этот «Степа» в августе 1911 г. придет к Богрову и заявит, что провокаторская деятельность Богрова безусловно и окончательно установлена и что тот приговорен к смерти, а спастись может только одним способом, «а именно путем совершения какого-либо террористического акта, причем намекал мне, что наи-

более желательным актом является убийство начальника охранного отделения Н. Н. Кулябко, но что во время торжеств в августе я имею «богатый выбор». (Цитата из допроса Д. Богрова).

Многие имели «богатый выбор». Многое было дозволено, и в атмосфере витала убийственная вседозволенность.

Столыпин, защищаясь от революционного террора, должен был найти прочную политическую опору в обществе. Можно было какое-то время скрываться в Зимнем, терпеть взрывы и налеты, допускать отмщение военно-полевых судов. Сколько у него было этого времени? Очевидно, мало. Требовалось вслед за земельной реформой выстроить политическую крепость. Для Столыпина такой крепостью виделась реформа местного самоуправления, закрепляющая для большинства народа (крестьян) их экономическую свободу. То есть, разрушая общину, он создавал ее заново, брал из нее лучшее. Однако законопроект «Об установлении главных начал устройства местного самоуправления», отменявший сословно-дворянский принцип организации местной власти, привел Столыпина к жестокому спору с помещиками. Перед ним встал вопрос: на кого же опереться?

На крестьян? Разумеется, да только зачастую землеустроительные комиссии работают под вооруженной охраной. Деревня сопротивляется реформе. Иногда доходит до стрельбы.

Россия — страна крестьянского землевладения. Только в губерниях, почти по всей черноземной зоне, более половины земли принадлежит им. А прибавьте к этому казенные и удельные земли, которые они арендуют, — получится подавляющая цифра. Такого не встретишь ни в Англии, ни в Германии, ни во Франции. Вот откуда Столыпин ждет поддержки.

Но пока эта страна страдает от неустройства, неурожаев, несвободы — поддержки не будет.

Да и вправду, средний урожай на частновладельческих землях на треть выше, чем на крестьянских, а в культурных помещичьих имениях — там просто в несколько раз выше. Избыток российского хлеба для торговли с заграницей, для прокорма в неурожаи поступает с частновладельческой земли. А там, где наибольшая доля крестьянского землевладения, там больше бескормицы и неурожаев, — в губерниях плодороднейших: Казанской, Самарской, Воронежской, Пензенской, Тамбовской.



Чем скорее перестроит Реформа, тем скорее поддержат ее деревни. А пока — не спешат поддерживать.

От кого еще ждать понимания? От дворян? Они все больше теряли свое влияние. Конкуренция американского зерна на европейском рынке привела к падению цен, только крупные помещики могли выдержать испытание. Задолженность помещиков Дворянскому банку перешла намного за миллиард рублей. Когда столыпинская политика в расширении крестьянского землевладения и укреплении действительно рентабельных помещичьих хозяйств стала ясной дворянству, Реформатор подвергся новой критике. В. И. Гурко назвал процесс продажи помещичьих земель и скупки их Крестьянским банком самым энергичным осуществлением программы социалистов-революционеров. Довольно скоро стало понятно, что правительственная политика строится в уверенности, что земли, предлагаемые на продажу, будут не уменьшаться, а увеличиваться, то есть помещикам все труднее будет удержаться и уцелеть.

Интеллигенция Столыпина не поддерживала. Гонитель Думы и «твердая рука» не мог вызвать ее симпатий. Усиление государства, подъем патриотизма, что лежало в основе политики реформ, не воспринималось ею.

Достаточно вспомнить русско-японскую войну. Когда, по словам С. Ю. Витте, японцы «дошли до кульминационного пункта», а русские только «входят в силу», тогда интеллигентское общество в один голос заговорило о мире. Военные воскликнули: «Неужели хоть на полгода времени нельзя вдохнуть в интеллигенцию России чувство патриотизма?» П. Н. Милюков писал: «Следует помнить, что по необходимости наша любовь к родине принимает иногда неожиданные формы и что ее кажущееся отсутствие на самом деле является у нас наивысшим проявлением подлинно патриотического чувства».

Патриотизм, выходит, — это отсутствие патриотизма? Что ж, когда петербургские курсистки слали японскому микадо поздравления — это, должно быть, и выражало их любовь к России. К этому надо добавить, что почти половина капитала, вложенного японцами в войну, принадлежала одному из руководителей американского еврейского центра Янкелю Шиффу. (Об этом до сих пор пишут в американских газетах. Например, «Сан-Франциско Кроникл» 6 февраля 1990 г.).

Об отношении Столыпина к евреям мы еще поговорим, а о Шиффе упоминаем здесь для того, чтобы напомнить, что во всем мире, в Европе и Америке, большинство желало поражения русских.

Русская интеллигенция начала века, в основном, выработала мировоззрение, непримиримое к русской исторической государственности. Она отрицала религию, национальную идею, монархию. Любовь к отечеству клеймилась как реакционная, она заменялась любовью к «массам», к народу. Патриотические стихи Пушкина «Клеветникам России» назывались «позорными страницами» в творчестве поэта.

Отсюда недалеко до поддержки революции и террора, если не прямой поддержки, то моральной, что еще сильнее.

П.Б. Струве пишет о «глубоко несочувственном отношении» образованного общества, «его глубоко преобладающего либерально настроенного большинства к политике правительства и его главе». В статье «Преступление и наказание» он так определяет производную от интеллигентского мироощущения: «Народился новый тип революционера. Подготовлялся он — незаметно для общества, незаметно для каждого из нас — в дореволюционные годы и народился в 1905—1906 гг. «Максимализм» означал слияние «революционера» с «разбойником», освобождение революционной психики от всяких нравственных сдержек. Но «разбойничество» в конце концов есть только средство. Душевный переворот шел глубже абсолютной неразборчивости в средствах. В революцию ворвалась струя прожигания жизни и погони за наслаждениями, сдобренной «сверхчеловеческими» настроениями в стиле опошленного и оподленного Пшибышевского».

Кто же поддерживал Столыпина?

Можно ответить так: все и никто. После взрыва на Аптекарском острове, пресыщения террором и новых смелых законов к Столыпину склонилась народная надежда.

Уже после смерти Петра Аркадьевича в английской газете «Дейли Телеграф» появилась статья, в которой говорилось: «Можно признавать Столыпина П. А. великим государственным деятелем или не признавать, но нельзя отказать ему ни в энергии, ни в смелости. Многие следили за его деятельностью не только с интересом, но и с искренней симпатией. Был момент,



когда он оказался **единственным** человеком, способным взять на себя трудное дело введения в России конституционного строя...»

Британский журналист, по-видимому, точно ответил на вопрос, кто поддерживал Столыпина.

Теперь вернемся к событиям осени 1906 года.

В конце ноября начиналась предвыборная кампания. Было ясно, что на сей раз в ней примут участие все: правые, стоящие за возвращение к неограниченному самодержавию; октябристы, принявшие программу Столыпина; кадеты; левый блок, объединяющий эсеров, социал-демократов и другие социалистические группы.

Если к выборам в Первую Думу правительство Витте относилось пассивно, то сейчас оно должно было вести активную борьбу.

Но самое главное — изменилась политическая атмосфера. Правительство Витте никто не защищал, общество единодушно поддерживало революционные перемены; теперь же значительная часть населения повернулась в сторону реформ, против революции.

На фоне этих настроений неожиданно громкое звучание приобрела загадочная история смерти максималиста Якова (Янкеля) Черняка, имевшего отношение к ограблению в Фонарном переулке.

Первый печатный отклик на нее появился в нью-йоркской газете «Вархайт» («Правда»), издающейся на идиш.

«По требованию русского правительства в Швеции был арестован социалист-революционер Черняк. Правительство предоставило какое-то доказательство, что Черняк участвовал в афере на Фонарной улице, и шведское правительство уже готово было выдать его, хотя Черняк, кажется, состоял до последнего времени только членом партии социалистов-революционеров, однако наш центральный комитет поручил представителю партии в интернациональном бюро употребить всякие усилия, чтобы желание русского правительства не было исполнено. Были заведены все пружины, и в конце концов нашему представителю в интернациональном бюро удалось вырвать в полном смысле этого слова Черняка из лап правительства, и Черняк, к всеобщей радости, отправился на пароходе для отъезда в Англию. Вдруг наш представитель получает

телеграмму из Антверпена, что с пароходом прибыл труп Черняка. Оказывается, когда пароход был уже в Антверпене, Черняк был найден в каюте мертвым. Кроме него были там же, в каюте, три трупа посторонних пассажиров. На общественное мнение это тотчас произвело такое впечатление, что Черняк был убит царскими шпионами, а для сокрытия всяких следов они убили еще трех пассажиров, бывших в этой каюте, чтобы они не были свидетелями этого убийства. Впечатление было чрезвычайное.

Об этой истории закипело везде. Через два дня нашли следы, выяснилось, что с ними в каюте был еще один пассажир, который исчез. Доказано еще кое-что, указывающее на то, что исчезнувший пассажир был шпион. Можете себе представить, какой шум это вызвало в прессе и в обществе. Антицаристская газета «Матэн» выступила с явным обвинением против русского правительства и с требованием, чтобы эта ужасная политика была опубликована. Над этой статьей значилось откровенное заглавие: «Рука царя». В Антверпене между тем произошли пышные похороны Черняка. Тело убитого было исследовано. Что именно показало исследование, это пока еще содержится чиновниками в строгой тайне. Покамест удалось лишь осведомиться, что убитые были отравлены ядом углекислого вещества. Предполагают, что шпион опустил в каюту газ из ручного аппарата.

*Григорий Гершуни».*

Мог начаться мировой скандал. Случайна ли смерть Черняка или он был убит? В январские дни 1907 г., когда в России шло избрание выборщиков, ответ на этот вопрос приобретал особое значение.

В мемуарах полковника Герасимова «На лезвии с террористами» об этом случае ничего не сказано, хотя в начале года оперативная обстановка в столице была крайне напряженной.

Боевая организация эсеров усилиями Азефа была фактически выведена из строя, но отдельные вспышки террора продолжались. Азеф опасался за свою жизнь, был сильно раздражен и решил отдохнуть за границей. Перед отъездом он сообщил адреса террористической группы, готовившей покушение на Столыпина. Полиция организовала за ней наблюдение, но неудачно. Заметив слежку, боевики скрылись в Финляндии.

В Финляндии базировались еще две группы — Карла Трауберга и Зильберберга. За первой числилось



убийство генерала Мина и еще несколько других покушений, за второй — организация динамитных лабораторий и подготовка покушения на Столыпина.

По сравнению с этими группами фигура Черняка незначительна.

На третье января было назначено торжественное освящение нового медицинского института. На открытии должны были присутствовать Столыпин и петербургский градоначальник фон-дер-Лауниц. Накануне полиции стало известно, что готовится покушение на Столыпина и вот-вот должно произойти. Герасимов немедленно отправился в Зимний дворец предупредить председателя Совета министров. Тот не захотел отменять свое обещание присутствовать на торжестве. Тогда полковник обратился к его жене, и они вместе уговорили Столыпина остаться дома.

А фон-дер-Лауниц не внял предостережению.

Третьего января в капелле института, на третьем этаже, совершилась торжественная служба. Когда гости стали спускаться по лестнице, молодой человек во фраке трижды выстрелил из маленького браунинга в затылок градоначальнику. Хлопки выстрелов были слабы. Лишь предсмертный крик умирающего всполошил людей. К молодому человеку кинулся полицейский офицер с обнаженной шашкой, размахнулся и ударил. Но мгновением раньше террорист успел выстрелить себе в висок.

Герасимов по горячим следам повел расследование и быстро установил, что на молебне был еще один посторонний. Он ушел до покушения, предварительно перемолвившись с убийцей, взял у швейцара модное пальто, дал щедрые чаевые и уехал в экипаже.

О личности убийцы не удалось ничего узнать. По распоряжению судебных властей его голова с простреленным виском и рубленой раной была заспиртована в стеклянной банке и выставлена для публичного опознания. Безрезультатно. Лишь через несколько месяцев «лучший агент» Герасимова, Азеф, назвал его имя — Евгений Кудрявцев, по кличке Адмирал, бывший член тамбовского комитета партии эсеров, затем член группы Зильберберга. Кудрявцев охотился за фон-дер-Лауницем с 1905 г., когда тот, будучи тамбовским губернатором, подавил крестьянские бунты. В ответ за ту расправу эсеры приговорили его и двух помощников к смерти. Помощники были застрелены. А Кудрявцев, переодетый сельским священником, явился

к губернатору, якобы для того, чтобы поблагодарить за подавление мятежа в его деревне. Однако Лауница не застал — его перевели в Петербург, — что и продлило ему жизнь. Продлило и самому Кудрявцеву.

Столыпин же снова побывал на краю гибели. Попутно отметим, что выстрелы Адмирала оборвали жизнь его противника. Фон-дер-Лауниц был крайне правым, не стеснялся почти открыто критиковать политику Столыпина, считая ее чересчур либеральной, и открыто опекал боевые дружины Союза Русского Народа, поддерживал такой же террор, только справа.

Поскольку и петербургский градоначальник, и председатель Совета министров боролись против революции, то внешне могло казаться, что погромная деятельность фон-дер-Лауница совпадает со столыпинской, чего на самом деле не было. Разве мог политик, стремившийся вылечить общество путем реформ, иметь что-то общее с генералом, уповавшим только на темную силу, желавшим уничтожить все выборные учреждения в России? К этой же теме мы еще вернемся, когда коснемся вопроса о «национализме» Столыпина.

А пока угроза новых покушений заставила Герасимова задуматься о том, как обезвредить в Финляндии группу Зильберберга.

Азеф выдал ее расположение — лесная гостиница неподалеку от водопада Иматра, именуемая «Отель для туристов». В этом незаметном деревянном двухэтажном доме жили только террористы. Хозяин по фамилии Спрениус одобрял их борьбу с российским правительством, к тому же неплохо зарабатывал на их деятельности: всегда было полно постояльцев. Он пускал только рекомендованных лиц, а если забредал чужой, то ему отвечали, что свободных номеров нет.

Однажды в январский морозный вечер в гостинице появились юноша и девушка и попросились на ночлег.

Что было делать? Открывать продрогшим лыжникам, измученным блужданием по лесу? Они умоляли пустить переночевать в тепле, а наутро они пойдут дальше. К тому же надвигался снежный буран. Как тут не сжалиться над юными туристами. У швейцара дрогнуло сердце, он уговорил Зильберберга — и комнату, нарушив заведенное правило, предоставили.

Милосердный порыв стоил Зильбергу жизни. Правда, до последнего мгновения, пока петля не раздавила ему горла, он не узнал, что та славная пара, которую он пожалел, выдала его. Получив комнату,



юноша и девушка сразу ушли отдыхать. Наутро за общим столом они завладели всеобщим вниманием, весело рассказывая всякие истории из жизни петербургских студентов. От них веяло безмятежной юностью, не ведающей ни о жестокости, ни о быстротечности жизни. Террористы, сами бывшие студенты, поддались этому обаянию. Они устали друг от друга. Постоянное напряжение неожиданно потребовало разрядки. Случайные гости невольно навевали мысли об ушедших навсегда радостях. Все оживились, после обеда отправились гулять к водопаду, а вечером пели под гитару. Пара прожила в гостинице трое суток, подружилась с постояльцами настолько, что ее позвали участвовать в стрельбе из револьверов.

Когда пришло время прощания, долгим речам и искренней грусти не было конца. Не хотелось отпускать людей из настоящей жизни, не хотелось снова зауживаться в тесный коридор убийств и самопожертвований. Может быть, многие завидовали уезжающим в столицу...

Вернувшись в Петербург, туристы прямо с вокзала поехали к Герасимову. Это были лучшие его агенты. Он лично их инструктировал и теперь ждал с нетерпением результата. И вот они стояли перед ним. Живые, возбужденные пережитым приключением и ожидающие похвал. Они выполнили задачу прекрасно. Там, где нельзя было ничего добиться лобовым ударом, юные агенты играючи одолели неприступную крепость. Мало того, что они смогли назвать всех террористов и дать их приметы, им удалось завербовать швейцара и горничную отеля.

Игра закончилась. Теперь Герасимов мог установить наблюдение за прибывающими из Финляндии поездами и подкарауливать постояльцев «Отеля для туристов». И вскоре его лучшие агенты, дежурившие на вокзале, узнали среди пассажиров Зильберберга и Сулятицкого, того террориста, который готовил убийство Столыпина на торжественном богослужении.

По приговору военного суда оба были повешены 20 июля 1907 года.

Остальным постояльцам удалось уйти. К тому времени, когда полиция получила официальное разрешение произвести аресты в Финляндии, они через финских полицейских уже прознали о грозящей опасности. Официальный путь борьбы с террористами на сей раз оказался недейственным, слишком медленным.

Герасимов, конечно, понимал, что ускользнувшая часть зильберберговской группы вскоре объявится либо новым убийством, либо экспроприацией. И тут выплыла история с Черняком.

Впрочем, были истории поважнее: Герасимову стало известно, что вот-вот будет покушение на царя. Что тут до ускользающего Черняка?

Французская социалистическая газета «Юманите» 1 февраля писала о том, что шведскому правительству нельзя выдавать «воинствующего социалиста Черняка» на расправу царскому правительству Столыпина, ибо это «поразит горем всю Европу».

Указывается на причастность Черняка к делу в Фонарном переулке, которое называется «революционным актом», и при этом журналист обращается прямо к «шведскому народу, благородной нации».

Через несколько дней — снова о Черняке, о применении пыток русским правительством (именно правительством). Затем печатается протест «Лиги прав защиты человека и гражданина», адресованный председателю шведского риксдага.

К газетным вырезкам добавляется переписка полицейских чиновников о запросах иностранных корреспондентов, письмо из российского МИДа о справке посланника в Брюсселе, откуда следует: причина смерти на пароходе — испарения от перевозимых в трюме серных спичек.

Но вот другое письмо — прямо к Столыпину: груз спичек, выяснилось, ни при чем, смерть произошла по иной причине.

Из бумаг исходит какая-то неопределенность, словно Петербург не знает, почему в Европе цепко держатся за дело Черняка. Из домашнего дело стало международным. По-видимому, полиции удалось выманить Черняка из Парижа, но потом он что-то понял и попытался уйти от преследования. Так ли? Социалистические газеты стоят на такой версии.

В похоронах Черняка принимают участие, судя по репортажу, множество социалистов из разных стран.

Газета «Современная речь» 25 января напечатала заметку из Стокгольма о результатах расследования шведской полицией: нет, Черняк умер не от пищевого отравления или угара, а от отравления парами мышьяка или ртути, то есть убит.

Далее российское консульство в Стокгольме сообщает директору Департамента полиции М. И. Трусевичу, что



в Стокгольме какой-то шведский инженер выпустил брошюру о причинах смерти «государственного преступника Янкеля Черняка», в которой доказывает, что трагический случай произошел не от злого умысла, а от отравления газом, выделявшимся из большого количества спичек. Всемогущий трест шведских спичечных фабрик не заинтересован в установлении истины, поэтому повлиял на результаты расследования.

Кажется, наметился новый поворот детективного сюжета. Сперва ограбление, выманивание и преследование преступника, затем загадочная гибель, и вот — вмешательство крупного капитала.

Здесь все так запутывается, что уже никогда и никому не раскрыть загадки. Пусть одни обвиняют, а другие оправдывают, темнота не развеется.

Одновременно с делом Черняка жандармское управление установило имя незнакомки, увезшей мешок с деньгами 14 октября — «мещанки Адели Габриелевны Каган; отец и сестра ее Ревекка проживают в Гродно». Адель ускользнула. Соединилось в январе 1907 года — смерть Лауница, спасение Столыпина, финляндская операция Герасимова, смерть Черняка, подготовка цареубийства... Слишком много, слишком круто. Столыпин подписывает письмо в Министерство юстиции, И. Г. Щегловитову, министру. В письме то, что никто тогда не узнал:

**«31 января 1907 года.**
**Совершенно секретно.**
**В собственные руки.**

Милостивый государь Иван Григорьевич!

Имею честь уведомить Ваше высокопревосходительство, что обвинявшийся в ограблении портового казначея Германа 14 октября минувшего года мещанин Янкель Черняк был отравлен на пароходе, на котором он ехал в Лондон после высылки его из пределов Швеции, агентом охранного отделения, кому было поручено наблюдать за Черняком, посредством мелинитового снаряда. Ныне агент Андрей Викторов возвратился в пределы Российской империи, находится в Финляндии. Примите, милостивый государь, уверения в истинном почтении и совершеннейшей преданности».

Вот такой поворот!

До Столыпина дошло дело Черняка, и он должен был поставить в нем точку. Что он думал при этом?

Наверняка не мог сочувствовать деятельности несчастного Черняка. Наверняка сочувствовал и жертвам террора. А что еще? То, что цель оправдывает средства?

Все это так. Но главным для Столыпина был результат: его жестокая борьба с террористами, полевые суды стали для революции шоком.

**«18 февраля 1907 года.**
**Министру внутренних дел.**
**Секретно.**
**В собственные руки.**

Милостивый государь Иван Григорьевич!

Имею честь уведомить Ваше высокопревосходительство, что я со своей стороны не встречаю препятствий к удовлетворению изложенного в письме Вашем ходатайства агента охранного отделения мещанина Андрея Викторова званием гражданства и нахожу возможным выдать ему единовременно 3000 рублей. К изложенному считаю должным присовокупить, что я полагал бы в настоящее время командировать названное лицо за границу в целях ограждения его от покушения революционеров, приговоривших Викторова к смертной казни.

Примите, милостивый государь, уверения в истинном почтении и совершеннейшей преданности.

*П. Столыпин».*

Андрей Викторов сделал свое дело.

Надо было обеспечить защиту от новых покушений.

Азеф сообщал, что план убийства царя уже разработан во всех деталях: один из казаков должен подложить адскую машину под кабинет Николая II. Имена и адреса преемников Зильберберга Азеф назвал.

Между тем в январе прошло избрание выборщиков. В Москве и Петербурге кадеты сохранили свои позиции, победили они и в большинстве крупных городов.

Зато губернская Россия их не поддержала. Крестьяне голосовали за тех, кто решительно обещал им землю. (Заметим, столыпинская реформа еще не могла дать никакого результата). Настроения землевладельцев качнулись резко вправо. Все смешалось. Одни губернии посылали в Думу эсеров, социал-демократов, трудовиков, а другие — умеренных и правых. Вторая Дума — это Дума полярных противоположностей.



Когда определился общий итог, он поразил. Из 500 мест 216 было за социалистами! Это число левых депутатов не отражало подлинной обстановки: революционная волна схлынула, они не имели реальной поддержки в народе и были избраны крестьянами по инерции, «на всякий случай, авось исхлопочут землю».

Была ли новая Дума работоспособной, никто не брался сказать.

Столыпин предвидел отрицательный результат и был готов распустить ее и, изменив избирательный закон, назначить новые выборы. Он не собирался гибнуть в законодательном тупике.

Но ближайшей опасностью была не рассогласованность российского молодого парламента, а угроза Николаю.

Полковник Герасимов установил необходимое наблюдение, выяснил связи террористов вне царского дворца, но не смог установить их пособников внутри дворца. Каждый день промедления мог закончиться трагически.

Столыпин приказал арестовать всех, кто попал в сферу наблюдения. Было бы очень опасно ждать результатов обычного сбора улик и установления новых связей. Покушение на царя сразу оборвало бы все реформы.

Герасимов же склонялся в интересах розыска не спешить, чтобы потом захватить пошире, никого не упустив. Но все-таки риск был очень большой.

В конце концов решили арестовать немедленно. И тут полиции помог дворцовый комендант Дедюлин. Он позвонил Герасимову и попросил приехать в Царское Село по чрезвычайному делу.

Оказалось, сын начальника дворцовой почтово-телеграфной конторы Владимир Наумов вот уже несколько месяцев агитирует в революционном духе казака конвоя Ратимова, а теперь стал допытываться, каким образом можно добраться до царя, чтобы его убить. Ратимов обо всех встречах сообщал своему начальнику конвоя князю Трубецкому, тот — начальнику дворцовой команды полковнику Спиридовичу.

Наконец-то Герасимов получил возможность ухватиться за кончик ниточки, ведущей во дворец.

Он срочно встретился с Ратимовым, уговорил его встретиться с террористами в Петербурге.

За казаком следили агенты Спиридовича, за одним из главных террористов Синявским — агенты Гераси-

мова. И эти две цепочки соединились. Теперь было ясно, что данные Азефа — бесспорны.

Ратимов встречался с террористами еще несколько раз, служа Герасимову приманкой и крючком. Казака уговаривали принять активное участие в деле, сулили ему славу героя и добивались от него точного плана дворца и парка со всеми уголками и закоулками, подвалами и погребами.

Ратимов сообщил о легком доступе к комнатам под бельэтажем, где находится кабинет Николая, и другие сведения. Затем из него «выжали» обещание сообщить о времени прибытия в Царское Село великого князя Николая Николаевича и Столыпина и времени их отбытия. Несомненно, оба они тоже были на прицеле.

Телеграммы Ратимова сыграли большую роль на судебном процессе как главные улики обвинения.

Арестовать террористов уже не представляло никакой сложности. Однако неожиданно судебный процесс вызвал немало осложнений.

ЦК партии эсеров выступил в печати с заявлением, что отношения к заговору не имеет и что никому не поручал готовить покушение.

Либеральные адвокаты выдвинули аргумент — «мы имеем тут дело с кружком энтузиастической молодежи, за спиной которой действовали провокаторы, руководимые политической полицией». Лучшие петербургские защитники Маклаков, Муравьев, Соколов, Зарудный доказывали, что дело о цареубийстве раздуто практически из ничего.

Герасимову пришлось выступать на суде. Он слегка загримировался, чтобы обезопасить себя от возможных в будущем неприятностей, и доиграл свою роль до конца.

«Сущность моих показаний была совершенно определенная... Тот факт, что Центральный Комитет партии официально отвергает свою причастность к этому делу, абсолютно ничего не значит, ибо, как свидетельствует история, и в прошлом, и в настоящем все революционные организации не останавливаются в интересах своего дела перед ложными заявлениями. Что касается цареубийства, то, насколько мне известно, партия социалистов-революционеров не только не отказалась от этой преступной мысли, но как раз на ее последней конференции при обсуждении вопроса о необходимости усилить террор эта мысль пользовалась всеобщим сочувствием».



Оправдательных приговоров не было. Три — смертных, пятнадцать — на каторгу.

К этим цифрам ничего не прибавишь. На сей раз невидимое сражение гражданской войны завершилось победой сил государства.

«...Я думаю, что для благоразумного большинства наши внутренние задачи должны были бы быть и ясны, и просты. К сожалению, достигать их, идти к ним приходится между бомбой и браунингом... А там, где аргумент — бомба, там, конечно, естественный ответ — беспощадность кары! И улучшить, смягчить нашу жизнь возможно не уничтожением кары, не облегчением возможности делать зло, а громадной внутренней работой...

Мы, правительство, мы строим только леса, которые облегчают вам строительство. Противники наши указывают на эти леса, как на возведенное нами безобразное здание, и яростно бросаются рубить их основание. И эти леса неминуемо рухнут и, может быть, задавят и нас под своими развалинами, но пусть, пусть это будет тогда, когда из-за обломков уже видно, по крайней мере в главных очертаниях, здание обновленной, свободной, свободной в лучшем смысле этого слова, свободной от нищеты, от невежества, от бесправия, преданной, как один человек, своему государю, России». (Из речи Столыпина о деле Азефа, произнесенной в Государственной Думе).

Впрочем, не всегда противостояние власти и общества достигало такого яркого выражения, как в судебном процессе о цареубийстве. Чаще разделялось на уровне будничном, на «они» и «мы», а между — стена. Поэтому в жестокой борьбе нечего было ждать ни от кого ни снисхождения, ни даже призыва к справедливости. Если от взрыва погибали невинные, то следовало из либеральных кругов объяснение, что не террор тому виной, а слепой случай, а террористы — герои, если же действовали государственные органы, то те же круги всячески стремились их опорочить. Соответственно и полиция руководствовалась жесткими законами войны.

Что должно было выйти в итоге? Кто-то должен был отступить либо погибнуть.

## ГЛАВА 8

Вторая Дума открылась 2 февраля 1907 г., в будничной обстановке, ничуть не напоминающей открытие Первой. Ее состав тоже изменился. Было меньше

депутатов с высшим образованием, больше — с начальным и «полуинтеллигенции». Граф А. А. Бобринский насмешливо назвал ее «Думой народного невежества».

Силы в ней распределялись таким образом, что при равновесии сторон решающая роль центра принадлежала польскому колу, возглавляемому лидером национал-демократов Романом Дмовским.

Правые и примыкавшие к ним умеренные составляли одну пятую Думы. Кадеты, изменившие свою тактику, с примыкавшими к ним мусульманами — чуть больше. Социалисты — более двух пятых.

Это неустойчивое равновесие было в руках польских депутатов. Для решения общегосударственных вопросов такое возвышение одной национальной фракции было крайне неудобным.

Но самая большая перемена по сравнению с Первой Думой была в фигуре председателя Совета министров. 6 марта в зале Дворянского собрания Столыпин объявил правительственную программу.

Еще никогда, начиная с Великой реформы, перед Россией не стояло таких задач.

«В стране, находящейся в периоде перестройки, а следовательно, и брожения, — сказал Столыпин, — ...отечество наше должно превратиться в государство правовое, так как, пока писаный закон не определит обязанностей и не оградит прав отдельных русских подданных, права эти и обязанности будут находиться в зависимости от толкования и воли отдельных лиц, то есть не будут точно установлены».

Столыпин предложил следующие направления деятельности правительства:

Решение земельного вопроса.

Обеспечение свободы личности.

Укрепление начал веротерпимости и свободы совести.

Упразднение административной (внесудебной) высылки.

Введение местного самоуправления, в том числе в Прибалтийском Западном крае и Царстве Польском.

Передача самоуправлению части государственных доходов.

Преобразование полиции, передача политических дознаний из ведения жандармской полиции следствию, установление точной сферы действия полиции.



Преобразование судов, допущение защиты на предварительном следствии.

Реформа рабочего законодательства, ненаказуемость экономических стачек, государственное страхование рабочих, снижение продолжительности труда, снижение норм малолетним, организация врачебной помощи.

Защита интересов русской торговли и промышленности на Дальнем Востоке, постройка Амурской железной дороги.

Школьная реформа, улучшение материального положения преподавателей, общедоступность, а впоследствии — и обязательность начального образования.

Возрождение армии и флота.

Правительственная декларация показывала, что времена переменились. Никто не перебивал, как прежде, председателя Совета министров криками «В отставку!». Выслушали молча, по окончании раздались шумные аплодисменты справа.

Семья Петра Аркадьевича находилась в зале, в ложах для публики, и с облегчением глядела на его удовлетворенное лицо, когда он сходил с трибуны. Может быть, наступала долгожданная пора объединения властей и Думы во имя блага России?

Но нет. На трибуну поднимается молодой грузинский социал-демократ Церетели и снова — резкое неприятие правительства. Его перебивают возгласами:

— Долой! Ложь! У вас руки в крови!

Сталкивались две непримиримые силы. На каждую речь левых ораторов правые отвечали двумя. На трибуне побывало больше двадцати депутатов. Наконец было принято решение прекратить прения, и все повернулись к Столыпину. Что он? Промолчит? Проигнорирует, как Горемыкин? Или даст отповедь?

Мария фон Бок (Столыпина): «Слушая с бьющимся сердцем ораторов, я не спускала в то же время глаз с папа. Зная и понимая его, насколько это было доступно, я переживала с ним эти горькие минуты и сразу сознала, что не в его характере оставить дело так, что на грубые выпадки он ответит и не допустит в такой момент прекращения прений.

Да. Так и есть. Папа встал и с гордо поднятой головой спокойно взошел на трибуну, и так властно и уверенно раздался его голос, что вся огромная, только что гудевшая и стонавшая от криков зала вдруг замерла.

Никогда еще папа так не говорил. Никогда не были его слова и интонация так выразительны и так полны чувством собственного достоинства, как этот раз».

Что же сказал в своей неожиданной речи Реформатор?

То, что он не имел возможности ее подготовить, что она родилась мгновенно, делает ее очень интересной для нас. В ней — вся столыпинская натура.

«Господа, я не предполагал выступать вторично перед Государственной Думой, но тот оборот, который приняли прения, заставляет меня просить вашего внимания. Я хотел бы установить, что правительство во всех своих действиях, во всех своих заявлениях Государственной Думе будет держаться исключительно строгой законности.

Правительству желательно было бы изыскать ту почву, на которой возможна совместная работа, найти тот язык, который был бы нам одинаково понятен. Я отдаю себе отчет, что таким языком не может быть язык ненависти и злобы. Я им пользоваться не буду.

Возвращаюсь к законности. Я должен заявить, что о каждом нарушении ее, о каждом случае, не соответствующем ей, правительство обязано будет громко заявлять: это его долг перед Думой и страной. В настоящее время я утверждаю, что Государственной Думе волею Монарха не дано право выражать правительству недоверие. Это не значит, что правительство бежит от ответственности. Безумием было бы предполагать, что люди, которым вручена была власть во время великого исторического перелома, во время переустройства всех законодательных устоев, чтобы люди, сознающие всю тяжесть возложенной на них задачи, не сознавали тяжести взятой на себя ответственности. Но надо помнить, что в то время, когда в нескольких верстах от столицы, от царской резиденции, волновался Кронштадт, когда измена ворвалась в Свеаборг, когда пылал Прибалтийский край, когда революционная волна разлилась в Польше и на Кавказе, когда остановилась вся деятельность в южном промышленном районе, когда распространялись крестьянские беспорядки, когда начал царить ужас и террор, правительство должно было отойти и дать дорогу революции, забыть, что власть есть хранительница государственности и целости русского народа, или действовать и отстоять то, что было ей вверено. Но, господа,



принимая второе решение, правительство роковым образом навлекло на себя и обвинение. Ударяя по революции, правительство, несомненно, не могло не задеть частных интересов. В то время правительство задалось одной целью — сохранить те заветы, те устои, начала которых были положены в основу реформ императора Николая II. Борясь исключительными средствами в исключительное время, правительство вело и привело страну во вторую Думу. Я должен заявить и желал бы, чтобы мое заявление было слышно далеко за стенами этого собрания, что тут, волею монарха, нет ни судей, ни обвиняемых, что эти скамьи (показывает на места министров) — не скамьи подсудимых, это места правительства. (Справа аплодисменты: «Браво! Браво!»).

За наши действия в эту историческую минуту, действия, которые должны вести не ко взаимной борьбе, а к благу нашей Родины, мы точно так же, как и вы, дадим ответ перед историей. Я убежден, что та часть Государственной Думы, которая желает работать, которая желает вести народ к просвещению, желает разрешить земельные нужды крестьян, сумеет провести тут свои взгляды, хотя бы они были противоположны взглядам правительства. Я скажу более, я скажу, что правительство будет приветствовать всякое открытое разоблачение какого-либо неустройства, каких-либо злоупотреблений.

В тех странах, где еще не выработаны определенные правовые нормы, центр тяжести, центр власти лежит не в установлениях, а в людях. Людям, господа, свойственно и ошибаться, и увлекаться, и злоупотреблять властью. Пусть эти злоупотребления будут разоблачаемы, пусть они будут судимы и осуждаемы. Но иначе должно правительство относиться к нападкам, ведущим к созданию настроения, в атмосфере которого должно готовиться открытое выступление; эти нападки рассчитаны на то, чтобы вызвать у правительства, у власти паралич и воли, и мысли. Все они сводятся к двум словам, обращенным к власти: «Руки вверх». На эти два слова, господа, правительство с полным спокойствием, с сознанием своей правоты, может ответить только двумя словами: «Не запугаете». (Бурные аплодисменты справа).

Эта речь произвела огромное впечатление в России и за границей. Из первой схватки Столыпин вышел победителем.

Мария фон Бок (Столыпина): «Впечатление... было

потрясающее. Что делалось в публике, трудно описать: всем хотелось высказать свой восторг, и со слезами на глазах, с разгоряченными лицами входили к нам в ложу знакомые и незнакомые, пожимая руки мама».

На следующий день в передовой статье германской газеты «Тэглихе Рундшау» были напечатаны такие строки: «У г. Столыпина нет правительственного большинства, но зато большинство, выступающее против него, распалось в вопросе о тактике. Государственная Дума, по-видимому, решила относиться к г. Столыпину с доверием. Без преувеличения можно сказать, что будущее России покоится на плечах г. Столыпина. Очень возможно, что он и есть тот герой-рыцарь, которого ждет царь для спасения России...».

Думская жизнь потекла дальше, к своему концу, который случился через три месяца.

Для Столыпина наступило время свершений. Он был признан российским лидером, именно он, а не Николай II, что, безусловно, вызывало у императора некоторое смущение, перешедшее в дальнейшем в более неприязненное чувство к премьеру.

Столыпинские речи в Думе — это вехи, по которым можно судить, как развивался отечественный парламентаризм в начале века.

Следующим поводом для выяснения отношений послужил временный закон о военно-полевых судах. Правительство не внесло его на рассмотрение Думы, и его действие должно было прекратиться само собой 20 апреля. Поэтому обсуждение его понадобилось для критики правительства.

Из речи Столыпина 13 марта 1907 г.: «Мы слышали тут обвинения правительству, мы слышали о том, что у него руки в крови, мы слышали, что для России стыд и позор, что в нашем государстве осуществлены такие меры, как военно-полевые суды. Я понимаю, что хотя эти прения не могут привести к реальному результату, но вся Дума ждет от правительства ответа, прямого и ясного, на вопрос: как правительство относится к продолжению действия в стране закона о военно-полевых судах?

...Но, господа, государство должно мыслить иначе, оно должно становиться на другую точку зрения, и в этом отношении мое убеждение неизменно. Государство может, государство обязано, когда оно находится в опасности, принимать самые строгие, самые



исключительные законы, чтобы оградить себя от распада. Когда дом горит, господа, вы вламываетесь в чужие квартиры, ломаете двери, ломаете окна. Когда человек болен, его организм лечат, отравляя его ядом. Когда на вас нападает убийца, вы его убиваете. Этот порядок признается всеми государствами. Нет законодательства, которое не давало бы права правительству приостанавливать течение закона, когда государственный организм потрясен до корней, которое не давало бы ему полномочия приостанавливать все нормы права. Это, господа, состояние необходимой обороны... Бывают, господа, роковые моменты в жизни государства, когда государственная необходимость стоит выше права и когда надлежит выбирать между целостью теорий и целостью государства. Но с этой кафедры был сделан, господа, призыв к моей политической честности, к моей прямоте. Я должен открыто ответить, что такого рода временные меры не могут приобретать постоянного характера; когда они становятся длительными, то, во-первых, они теряют свою силу, а затем они могут отразиться на самом народе, нравы которого должны воспитываться законом. Временная мера — мера суровая, она должна сломить преступную волну, должна сломить уродливые явления и отойти в вечность...

Я беру документ официальный — избирательную платформу российской социальной (так в тексте. — *Авт.*) рабочей партии. Я читаю в ней: «Только под натиском широких народных масс, напором народного восстания поколеблется армия, на которую опирается правительство...» Передо мной другой документ: резолюция съезда, бывшего в Таммерфорсе перед началом действия Государственной Думы. В резолюции я читаю: «Съезд решительно высказывается тактики, определяющей задачи Думы как органическую работу в сотрудничестве с правительством...» Затем резолюция окончательная: «Съезд находит необходимым, в виде временной меры, все центральные и местные террористические акты, направленные против агентов власти, имеющие руководящее, административно политическое значение, поставить под непосредственный контроль и руководство центрального комитета. Вместе с тем съезд находит, что партия должна возможно более широко использовать для этого расширения и углубления своего влияния в стране все новые средства и поводы

агитации и безостановочно развивать в стране, в целях поддержки, — основные требования широкого народного движения, имеющего перейти во всеобщее восстание».

Господа, я не буду утруждать вашего внимания чтением других, не менее официальных документов. Я задаю себе лишь вопрос о том, вправе ли правительство при таком положении дела сделать демонстративный шаг, не имеющий за собой реальной цены, шаг в сторону формального нарушения закона? Вправе ли правительство перед лицом своих верных слуг, ежеминутно подвергающихся смертельной опасности, сделать главную уступку революции?..»

Столыпин призвал депутатов сказать «слово умиротворения», но был ли он услышан?

Колорит того времени прекрасно передает перехваченное полицией письмо В. Спиридонова, ссыльного из Пинеги Архангельской губернии. Вот оно: «6 марта 1907 года. Любезный товарищ Вася! Здорово живешь ли, хорошо ли, жена здорова ли? Я теперь здоров, умирать не думаю. Теперь жить здесь на много надо. Здесь житье не такое, какое у нас. Драться не приходится. Что ни сделаешь, в тюрьму не садят и не высылают. Здесь ровно в ином государстве. 5 марта, в прошедший день, здесь мы очень большую демонстрацию и митинг устроили на улице. Это было так. В 4 часа черносотенцы выставили на сани лодку, вывесили три правительственных флага, поставили одну четверть вина и выехали кататься на улицу. Увидав это дело, мы не стерпели. Собрались да флаги у них вырвали, водку разбили и их самих немного побили. Потом пять флагов с разной надписью вывесили на улицу. Нас около 200 человек собралось, населения города и деревень 400 — 500 человек. Потом прошли по улице. Дойдя до церкви, напротив ея собрали митинг, говорили о современной Россия. В шесть часов стали благовестить к вечерне. Но так как колокол заглушал наш разговор, мы звонить запретили. Потом после 7 вечера митинг кончился, и тогда только началась служба в церкви. На улицах никто уж не катался. Полиция в это время разбежалась, спряталась. Исправник из города бежал, солдаты местной команды, более 700 человек, — на нашу сторону, так что город в наших руках находится. Что делать, так бывает. А на нашей стороне так ли?

Здесь дают денег на одежду в год 52 рубля. Зимних



30 рублей, летних 22 рубля, кормовых и квартирных 7 рублей 70 копеек. Только зарабатывать негде, город маленький (1000 душ обоего пола, а ссыльных около 300 человек. Только жаль, что семью не взял. Тогда бы я в месяц получал более 25 рублей, кроме одежных. А жить очень хорошо. Только трудно доставать литературу...

Ну как у вас поживают, что думает народ? В случае разгона Думы думают ли поддерживать? А Думу не сегодня, завтра разгонят. А может, разогнали уже. Тимофей Николаевич почему не попал в Думу, зачем его отстранили? Высылки не бойтесь, народное дело не забывайте. Собирайтесь, сговаривайтесь, «плевушками» (револьверами. — *Авт.*) запасайтесь. Наверное, скоро придется сражаться».

Как видим из письма, жизнь революционеров была весьма вольной. И ни о каком примирении с властью речи не было. А вот судьбу Думы угадывали даже из ссылки.

Немало времени Дума затратила на обсуждение бюджета и аграрного вопроса. С программным заявлением выступали все партии. Все стремились оспорить главный политический капитал Реформатора, предлагая чуть ли не молниеносный эффект от своих проектов.

10 мая Столыпин выступил с речью об устройстве быта крестьян и о праве собственности. На предложение левых о национализации земли он отвечал: «Та картина, которая наблюдается теперь в наших сельских обществах, та необходимость подчиняться всем одному способу ведения хозяйства, необходимость постоянного передела, невозможность для хозяина с инициативой применить к временно находящейся в его пользовании земле свою склонность к определенной отрасли хозяйства, все это распространится на всю Россию. Все и все были сравнены, земля стала бы общей, как воздух и вода... Я полагаю, что земля, которая распределилась бы между гражданами, отчуждалась бы у одних и предоставлялась бы другим местным социал-демократическим присутственным местом, что эта земля получила бы скоро те же свойства, как вода и воздух. Ею бы стали пользоваться, но улучшать ее, прилагать к ней свой труд с тем, чтобы результаты этого труда перешли ж другому лицу, — этого бы никто не стал делать. Вообще стимул к труду, та пружина, которая заставляет людей

трудиться, была бы сломлена... Все будет сравнено, — но нельзя ленивого равнять трудолюбивому, нельзя человека тупоумного приравнять к трудоспособному. Вследствие этого культурный уровень страны понизится...

Надо думать, что при таких условиях совершился бы новый переворот, и человек даровитый, сильный, способный силою восстановил бы свое право на собственность, на результаты своих трудов. Ведь, господа, собственность всегда имела своим основанием силу, за которой стояло и нравственное право».

В этих словах — предостережение и пророчество. Сейчас, в конце века, когда путь «молниеносных» проектов пройден до конца, с какой горечью мы слышим речь Реформатора! Но, может быть, и с надеждой.

На минуту отвлечемся, поглядим на себя с другой стороны.

«Никак не можем смириться с мыслью, что России (Российской империи, если хотите) уже нет и никогда не будет.

Была Эллада, но разве можно сказать, что современные греки — это эллины? Был Рим. Но разве можно сказать, что современные итальянцы — это римляне? Просто современные греки и итальянцы давно привыкли к тому, что они не эллины и не римляне, а никак не можем привыкнуть (за наивностью происходящих событий), что мы — не русские». (Владимир Солоухин).

Кажется, мысль понятна. Согласны мы с ней или нет — сейчас не важно. Она, безусловно, эпатирует, раздражает наше национальное чувство. Но и это сейчас не главное.

А главное то, что Столыпина можно назвать — последний римлянин. Он остро ощущал, что за ним. И то, чем он заплатил за свой выбор.

Его речь 10 мая стала знаменитой не потому, что в ней изложены социальные и экономические аргументы, а потому, что он — последний защитник империи.

Реформатор вопрошал авторов «молниеносного» проекта:

«А эта перекроенная и уравненная Россия, что, стала ли бы она и более могущественной и богатой?»

И отвечал:

«Ведь богатство народа создает и могущество страны. Путем же переделения всей земли государство в своем целом не приобретает ни одного лишнего колоса хлеба. Уничтожены, конечно, будут культурные хозяйства».



Повторим слова Столыпина: «Богатство народа создает могущество страны».

Это — ключ его реформ. Кто сегодня оспорит его правоту? Она сегодня еще ясней, чем в начале века. Тогда, казалось, тысячелетняя Россия будет жить вечно, и торопиться, в общем-то, не обязательно.

«Но положим, что эта картина неверна, что краски тут сгущены, — слышали депутаты Думы сильный голос Столыпина. — Кто же, однако, будет возражать против того, что такое потрясение, такой громадный социальный переворот не отразится, может быть, на самой целости России. Ведь тут, господа, предлагают разрушение существующей государственности, предлагают нам среди других сильных и крепких народов превратить Россию в развалины для того, чтобы на этих развалинах строить новое, неведомое нам отечество».

Понятна мысль Столыпина?

Он был против насилия, против разрушения. 130 тысяч существовавших тогда поместий, среди которых имелись и «очаги культуры», были против разрушения и крестьянской общины в тех краях, где она была сильна.

То, что предлагал Столыпин, вряд ли можно впрямую применять сегодня, но идея, направление постепенного преобразования должна быть нам ясна.

«Господа, нельзя укрепить больное тело, питая его вырезанными из него самого кусками мяса; надо дать толчок организму, создать прилив питательных соков к больному месту, и тогда организм осилит болезнь; в этом должно, несомненно, участвовать все государство, все части государства должны прийти на помощь той его части, которая в настоящее время является слабейшей. В этом смысл государственности, в этом оправдание государства как одного социального целого. Мысль о том, что все государственные силы должны прийти на помощь слабейшей его части, может напоминать принципы социализма, но если это принципы социализма, то социализма государственного (разрядка наша. — *Авт.*), который не раз применялся в Западной Европе и приносил реальные и существенные результаты. У нас принцип этот мог

бы осуществиться в том, что государство брало бы на себя уплату части процентов, которые взыскиваются с крестьян за предоставленную землю».

Немного удивительно слышать столь современное толкование применительно к российским условиям «швейцарского» или «шведского» (как ныне говорят) социального регулирования. Аристократ и дворянин Столыпин поворачивал круто в будущее.

Его план: государство закупает продаваемые частные земли, затем, давая ссуды через Крестьянский банк, продает в кредит землю крестьянам. Оплату кредита (значительную ее часть) должно взять на себя государство, и крестьянину в результате помогут все слои населения, все налогоплательщики. Это работа без «волшебных средств».

«Пробыв около десяти лет у дела земельного устройства, я пришел к убеждению, что в деле этом нужен упорный труд, нужна продолжительная черная работа. Разрешить этого вопроса нельзя, его надо разрешать. В западных государствах на это потребовались десятилетия. Мы предлагаем вам скромный, но верный путь. Противникам государственности хотелось бы избрать путь радикализма, путь освобождения от исторического прошлого России, освобождения от культурных традиций. Им нужны великие потрясения, нам нужна Великая Россия!»

Это знаменитое восклицание в конце знаменитой речи обнаруживает не только взгляды оратора, не только твердость его политической линии, но и неустойчивость его положения.

В деловой речи по экономическому вопросу не обязательно бросать вызов оппонентам.

Он не верил, что большинство депутатов поймет его.

К кому же он обращался?

Кажется, что он через десятилетия обращался к нам. Во всяком случае сейчас, в измученной России, его слова звучат куда как современно. Но, конечно, в первую очередь, Столыпин обращался не к нам, а к другим людям, другим временам.

## ГЛАВА 9

Сегодня принято говорить, что история не имеет сослагательного наклонения и что бессмысленно рассуждать на тему о судьбе России в случае полного



осуществления столыпинских реформ. Допустим, что это так. Но никто не помешает современным исследователям обратиться, например, к работам зарубежных экономистов, с пристальным вниманием наблюдавшим за ростом России.

В мае 1913 г. французский экономический обозреватель Эдмон Тэри получил от французского правительства задание изучить результаты русских реформ и состояние железных дорог в России. Его работа «Россия в 1914 году» никогда у нас не издавалась в силу понятных причин, ибо ее выводы, бесспорно, свидетельствуют, что перед революцией Россия была сильной, здоровой державой, стремительно рвущейся вперед.

Тэри пишет:

«Возрастание государственной мощи создается тремя факторами экономического порядка: 1) приростом коренного населения, 2) увеличением промышленной и сельскохозяйственной продукции, 3) средствами, которые государство может вложить в народное образование и национальную оборону».

И далее он приводит эти факторы.

Население России с 1902 по 1917 год выросло на 31,7 миллиона человек (22,7%). «Этот прирост тем более примечательный, что в течение предшествующего десятилетия, 1892 — 1902, он едва достигал 18 600 000 человек, то есть 15,4%».

Производство зерновых выросло на 22,5%, картофеля на 31,6%, сахарной свеклы на 42%. В частности, производство пшеницы выросло на 44,2 миллиона центнеров (37,5%), ячменя на 36,3 миллиона центнеров (62,2%), картофеля на 79,1 миллиона центнеров (31,6%). «Излишне говорить, что **ни один из европейских народов не достигал подобных результатов** (выделено нами. — *Авт.*), и это повышение сельскохозяйственной продукции, — достигнутое без содействия дорогостоящей иностранной рабочей силы, как это имеет место в Аргентине, Бразилии, Соединенных Штатах и Канаде, — не только удовлетворяет растущие потребности населения, численность которого увеличивается каждый год на 2,27%, причем оно питается лучше, чем в прошлом, так как доходы его выше, но и позволило России значительно расширить экспорт и сбалансировать путем вывоза излишков продуктов все новые трудности внешнего порядка».

Сделав такой вывод, Тэри приводит данные тор-

говли продуктами питания. Они тоже впечатляют. Экспорт составляет 1120,1 млн. франков (прирост на 93,7%), импорт 207,28 млн. франков (66,3%), превышение экспорта над импортом 912,9 млн. франков (103,4%, более чем вдвое!) «Одна эта таблица объясняет **стабильность обмена и постоянное улучшение внешнего кредита** (выделено нами. — *Авт.*) России, ибо средний излишек годового экспорта, которые она показывает, достаточно велик, чтобы покрыть тяготы иностранного долга и промышленного дефицита».

Еще Тэри замечает: аргентинская, **американская и канадская** пшеница испытывает сильную конкуренцию со стороны российской.

Рост промышленности за десятилетие показан в таких цифрах: каменный уголь — 79,3%, железо и готовая сталь — 53,1%.

«Русские... сами производят свои паровозы, железнодорожное оборудование, военные и торговые суда, все свое вооружение и большое количество скобяных изделий: хозяйственных предметов, земледельческих орудий, труб и т.д.».

Эти миллионы центнеров и десятки процентов роста, однако, не отражают в полном объеме происшедших перемен. И Эдмон Тэри анализирует динамику расходов на народное просвещение и национальную оборону. В 1902 г. на просвещение тратилось 99 млн. франков, в 1912 — 312 млн. (прирост 216,2%). Соответственно на оборону: 1210 и 2035 млн. (68,2%).

«Таким образом, российское государство сделало за десятилетний период огромные усилия, чтобы поднять уровень народного просвещения, оно увеличило также в огромных пропорциях свои военные расходы, а широкое использование в экономике бюджетных ассигнований обычного порядка позволяет казне продолжать эти усилия, ибо кредиты, принятые Думой на 1913 бюджетный год, достигли: для народного образования — 366 млн. франков против 312 млн. в 1912 году, военные кредиты — 2312 млн. франков против 2035 в 1912 году».

Главный вывод отчета: «Если у больших европейских народов дела пойдут таким же образом между 1912 и 1950 годами, как они шли между 1900 и 1912, то **к середине настоящего столетия Россия будет доминировать в Европе** как в политическом, так и в экономическом и финансовом отношении». (Выделено нами — *Авт.*).



Прогноз французского экономиста численности населения к 1948 г. (млн. человек):

Россия — 343,9
Германия — 104,6
Австро-Венгрия — 81,9
Англия — 61,9
Италия — 45,3
Франция — 42,3
Европейские страны, вместе взятые, — 336,0.

«Итак, если в течение 36 последующих лет все будет идти так, как между 1900 и 1912 гг., население России в 1948 г. будет выше, чем общее население пяти других больших европейских стран».

Судите сами, насколько сбылся прогноз. Сейчас население России составляет менее 150 миллионов человек.

Были и другие зарубежные исследования, германские, вывод которых полностью совпадал с французским: через десять лет Россию не догнать.

А между тем Столыпин проживает под усиленной охраной в Зимнем дворце, его дочь Наташа не может ходить даже на костылях, а сам он по-прежнему гуляет либо по залам, либо по крыше дворца. Опасность новых покушений все еще огромна...

В Думе все заметнее происходила поляризация. Кадеты склонялись к сотрудничеству с правительством, стремились сохранить Думу. Социалисты же избрали другую тактику. Особенно серьезно они относились к работе в армии, свидетельствует полковник Герасимов, возлагали большие надежды на военные восстания.

Неожиданное противостояние возникло во время прений о наборе новобранцев. Социалисты отклоняли проект. Их оратор, социал-демократ из Тбилиси Зурабов, произнес оскорбительную для армии речь. («Армия будет великолепно воевать с нами, и вас, господа, разгонять, и будет всегда терпеть поражения на Востоке»).

В Первой Думе подобная речь депутата Якубзона не привела к бурным спорам. Но во Второй поднялась буря. Министры покинули зал. Председатель Думы Ф. А. Головин стал делать замечания правым. Шум усилился. «Вопрос не исчерпан! Россия оскорблена! Вон его!» — кричали справа.

Объявили перерыв. Депутаты разошлись по фракциям. Говорили, что правительство не позволит безнаказанно оскорблять армию и может распустить Думу.

Что делать? Головин и кадеты готовы исключить Зурабова из заседания. Стали совещаться с остальными — социалисты и польские коло отказались их поддержать.

Заседание возобновилось. Головин говорит, что ознакомился со стенограммой, убедился в недопустимости высказываний Зурабова, лишает его слова и делает ему замечание.

Дума голосует. Большинство правых, кадетов и польского коло предложение председателя принимают. Левые протестуют и покидают зал.

Решающими стали голоса польских депутатов.

Кадеты отмежевались от социалистов. Однако этот поворот не мог обеспечить прочности Думе. Для того, чтобы правые и кадеты имели большинство, им еще были нужны голоса польского коло. А надеяться на прочность такой необычной коалиции было нечего. Правда, набор новобранцев на военную службу был одобрен именно этим большинством.

Роспуск Думы был не за горами. «Революция объективно закончилась», — делал вывод П. Б. Струве в «Русской мысли». Социал-демократы тоже признавали, что революционной ситуации больше нет.

Перелом завершился. Самодержавная монархия переходила к парламентской. Надо было продолжать реформы, вести мирную созидательную работу. Но требовалось найти выход из законодательного тупика: Вторая Дума была неработоспособна, а новые выборы по существующему закону о выборах вряд ли могли внести качественные перемены в состав депутатов.

Дальнейшие события показали, что правительство решило действовать без колебаний. Воспользовавшись тем, что думская фракция социал-демократов вела работу среди солдат и вошла в связь с группой солдат различных полков, называвшейся «военной организацией», правительство санкционировало обыск в помещении фракции. Было арестовано несколько членов этой организации.

Столыпин провел совещание с прокурором судебной палаты и министром юстиции Щегловитовым. Решили предъявить Думе требование выдать социал-



демократических депутатов для суда, а в случае несогласия Думы — не останавливаться перед ее роспуском.

К этому времени Столыпин уже вел подготовку нового избирательного закона.

Первого июня Столыпин явился в Думу и попросил провести закрытое заседание. Он потребовал лишить депутатской неприкосновенности всех членов думской фракции социал-демократов за устройство военного заговора.

Был ли заговор? По-видимому, на вопрос надо ответить отрицательно. Заговора как такового, имеющего конечной целью свержение государственного строя, не было. Был процесс, подтачивающий строй. Были агитация, собрания и тому подобное.

Требование Столыпина поставило кадетов в сложное положение. Они не могли отрицать подготовку заговора, им хотелось «сберечь» Думу. Однако доказательства заговора, предъявленные прокурором Петербургской судебной палаты, казались не вполне убедительными.

Короткое заявление Столыпина заканчивалось недвусмысленным предупреждением: «всякое промедление со стороны Государственной Думы в разрешении предъявленных к ней... требований или удовлетворение их не в полной мере поставило бы правительство в невозможность дальнейшего обеспечения спокойствия и порядка в государстве».

Он не собирался церемониться. Полковник Герасимов прямо указывает, что Столыпин рассчитывал именно на несогласие Думы.

Второго июня было последнее заседание Думы. Дело о заговоре накануне переадресовали в комиссию, а сейчас обсуждали вопрос о местном суде. Левые партии несколько раз призывали депутатов обсуждать «предстоящий государственный переворот», отвергнуть бюджет и все законы, проведенные по 87-й статье, обратиться с воззванием к народу. Большинство каждый раз отвергало эти предложения.

В конце дня зачитали сообщение от комиссии: доклад еще не готов.

На следующий день Дума была распущена и введен новый избирательный закон. Население отнеслось к ее роспуску очень спокойно, не было ни демонстраций, ни попыток организовать забастовки.

Новый избирательный закон должен был создать совершенно новую ситуацию. По форме своей это был государственный переворот, по духу — наконец вносил определенность в государственную жизнь, которой не хватало в переломные годы.

«Не выйдем мы из беспорядков и революций, до тех пор, пока не станет всенародно ясно и неоспоримо, — где верховная власть, где та сила, которая при разногласиях наших может сказать: «Roma locuta — causa finita», — потрудитесь все подчиниться, а если не подчинитесь — сотру с лица земли», — так писал тогда Л. Тихомиров.

Другими словами, манифест 3 июня определил, что власть ввиду крайней необходимости не будет ради соблюдения буквы закона позволять гибель государства.

Изменялся не только избирательный закон, изменялась и державная идея.

Столыпин делал теперь ставку на национальную идею.

Это был еще более глубокий переворот, отступление от имперской идеи, в силу которой все населяющие Россию народы признавались равноценными гражданами единой империи. В манифесте 3 июня провозглашалось: «Государственная Дума должна быть русской и по духу. Иные народности должны иметь в Государственной Думе представителей нужд своих, но не должны и не будут являться в числе, дающим им возможность быть вершителями вопросов чисто русских». (Здесь явно прочитывался намек на решающую роль польского коло во Второй Думе).

Теперь русское население (великороссы, малороссы и белорусы) получало больше возможностей определять государственную политику. Сильно изменился и удельный вес отдельных групп населения. В Европейской части страны крестьяне по старому закону избирали 42 процента выборщиков, землевладельцы 31, горожане и рабочие 27. По новому закону крестьяне избирали 22,5 процента, землевладельцы — 50,5, горожане и рабочие — 27, но горожане при этом разделялись на две курии, голосовавшие отдельно, причем первая курия («цензовая») имела больше выборщиков.

Главным результатом закона должно было стать формирование большой группы выборщиков (65 процентов), которые представляли культурные и состоятельные слои населения. Они уже участвовали в земских и городских выборах и были более подготовлены к общественной деятельности. Представительство национальных окраин сокращалось: Польши — с 36 до 12 (и два депутата от русского населения), Кавказа — с 29 до 10, в отношении ряда среднеазиатских губерний признавалось, что оно еще «не созрело» для выборов.



Историки единодушно оценивают закон как «реакционный». Действительно, он ограничивал избирательные права многих, и его нельзя назвать шагом к демократии.

Кроме того, национальная государственная идея в такой многонациональной стране, как Россия, где исторически сложилось органичное взаимодействие русских с нерусскими, не могла быть воспринята безоговорочно.

У правительства были иные возможности: объявить чрезвычайное положение, передать власть военным и т.д. Правительство к этому сильно подталкивали не только придворные круги и генералы, даже не столько они. Например, страстные обличения иеромонаха Илиодора: «Дальше с настоящим кадетским, крамольным, трусливым, малодушным Правительством жить, а тем более мириться, нет никакой возможности. Довольно. Сам Обер-Прокурор тем, что поднял гонение на меня, стоящего на исконные Русские начала, доказал, что он изменил Русскому народу... Изменил ему и первый министр Столыпин, считая истинных сынов Родины погромщиками, убийцами, разбойниками и заигрывая с врагами Родины, Церкви и Русского народа?»

Обвинение в адрес Столыпина не случайно, не единично. Оно исходит из крайне правого лагеря, который исповедует как будто одинаковые с ним «национальные принципы».

Из письма Илиодора, однако, видна и пропасть, разделяющая крайне правых и Реформатора. Продолжим цитирование:

«О чем другом, как не об этом также свидетельствует его противное заявление в Государственной Думе, что Правительство будет применять военно-полевые суды в случаях самых дерзновенных убийств. Интересно знать, какие случаи Столыпин считает исключительными, какие убийства считает он дерзновенными? Если прямо говорить, то нужно признать, что Столыпин открыто становится в ряды врагов Рус-

ского народа. Напрасно он сказал громкие слова: «Не запугаете!» Стоит только удивляться тому, что и Православные Русские люди по поводу этих слов присылали первому министру сочувственные телеграммы! Одно недомыслие, и только! Не понимаю просто, как это многие Православные люди не поняли, что слово «не запугаете» есть не чистый, внушительный голос твердой и верной Души, а надтреснутое дребезжание оторвавшейся струны, мелкой души, далеко отстающей от Русского народного самосознания. Если бы Столыпин, действительно, не боялся крамольников, то он не стал бы слушать их безумных, преступных, оскорбительных речей и немедленно сказал бы кому следует, что нужно сказать зазнавшимся и зарвавшимся злодеям: «Вон отсюда!» и вздернуть их на виселицу. Вот тогда бы виднее было бесстрашие первого министра! Более подходящим будет признать, что слова «не запугаете» были сказаны не по адресу крамольников, ибо Столыпину нечего их бояться, так как они своего не тронут, а по адресу черносотенцев, которым Столыпин, действительно, сделал много зла; это зло он начал делать с первых шагов своего премьерства, когда сказал: «А что за Союз Русского Народа, где он находится: я на него внимания не обращаю». И все время он шел по этому преступному, предательскому пути. Но да будет ведомо господину Столыпину, что Русский Православный народ только посмеется над его словами «Не запугаете», когда настанет время, а это время наступит скоро и не дозволит ему дурманить Русских граждан какими-то заморскими конституциями и кадетскими бреднями!

Нет, все говорит за то, что настала пора покончить все политические счеты с нынешним Столыпинским министерством и спасти Родину, Церковь и Трон Самодержца великого самому народу!

Дальше полагаться на Правительство преступно!»

Такие взгляды исповедовал не один иеромонах Илиодор, называющий русских людей «гражданами» и поносящий конституцию. Это голос сильный и страстный. Он не принадлежит одиночке. Но на этот призыв Столыпин, конечно, не отозвался. Зато на обращение другого критика он ответил. Критика звали Лев Николаевич Толстой. Как мы уже говорили, он был дружен с Аркадием Дмитриевичем Столыпиным, переписывался с ним; на деятельность Реформатора, впрочем, смотрел очень неодобрительно.



«Нужно теперь для успокоения народа, — писал Толстой Столыпину, — не такие меры, которые увеличили бы количество земли таких или других русских людей, называющихся крестьянами (как смотрят обыкновенно на это дело), а нужно уничтожить вековую, древнюю несправедливость...

Несправедливость состоит в том, что как не может существовать права одного человека владеть другим (рабство), так не может существовать права одного, какого-то бы ни было человека, богатого или бедного, царя или крестьянина, владеть землею как собственностью. Земля есть достояние всех, и все люди имеют одинаковое право пользоваться ею».

Похож ли великий писатель в неприятии столыпинских преобразований на иеромонаха Илиодора? Похож! Внешне они разные, но оба стоят на одной и той же позиции. Они верны общинным патриархальным идеалам, которые разрушает Столыпин.

«Вы считаете злом то, что я считаю для России благом, — отвечает Толстому Петр Аркадьевич. — Мне кажется, что отсутствие «собственности» на землю у крестьян создает все наше неустройство.

Природа вложила в человека некоторые врожденные инстинкты, как-то: чувство голода, половое чувство и т.п. и одно из самых сильных чувств этого порядка — чувство собственности. Нельзя любить чужое наравне со своим и нельзя обхаживать, улучшать землю, находящуюся во временном пользовании, наравне со своею землею.

Искусственное в этом отношении оскопление нашего крестьянина, уничтожение в нем врожденного чувства собственности ведет ко многому дурному и, главное, к бедности.

А бедность, по мне, худшее из рабств...

Смешно говорить этим людям о свободе или свободах. Сначала доведите уровень их благосостояния до той по крайней мере наименьшей грани, где минимальное довольство делает человека свободным...»

Эти мысли Реформатора уже знакомы нам. Вольно или невольно мы переносим их на последующую историю, на современные споры о частной собственности, забывая при этом о жестокой борьбе, в которой они рождались.

А что касается Льва Николаевича, то он не раз писал Столыпину, и всегда, как вспоминает М. П. фон Бок (Столыпина), — «то он упрекал его в излишней

строгости, то давал советы, то просил за кого-нибудь. Рассказывая об этих письмах, мой отец лишь руками разводил, говоря, что отказывается понять, как человек, которому была дана прозорливость Толстого, его знания души человеческой и глубокое понимание жизни, как мог этот гений лепетать детски-беспомощные фразы этих якобы «политических» писем. Папа еще прибавлял, до чего ему тяжело не иметь возможности удовлетворить Льва Николаевича, но исполнение его просьб почти всегда должно было повести за собой неминуемое зло».

Огромная сила противостояла Столыпину. В том числе и русская сила.

Окончание его письма Толстому говорит о многом: «Вы мне всегда казались великим человеком, я про себя скромного мнения. Меня вынесла наверх волна событий — вероятно, на один миг! Я хочу все же этот миг использовать по мере моих сил, пониманий и чувств на благо людей и моей родины, которую люблю, как любили ее в старину. Как же я буду делать не то, что думаю и сознаю добром? А вы мне пишете, что я иду по дороге злых дел, дурной славы и, главное, греха. Поверьте, что ощущая часто возможность близкой смерти, нельзя не задумываться над этими вопросами, и путь мой мне кажется прямым путем. Сознаю, что все это пишу Вам напрасно, — это и было причиною того, что я Вам не отвечал...

Простите...

*Ваш П. Столыпин».*

Они были людьми одного круга, одной веры и культуры, одинаково любили Россию.

И что же?

Они стояли по разные стороны.

Новый период, начавшийся манифестом 3 июня, еще больше обострил отношение общества к Столыпину.

Национальная идея не могла быть для империи всеобъемлющей. Зная русскую историю, видимо, можно не тратить особых усилий на доказательства этой мысли. **«Россия больше, чем народ,** — писал В. Соловьев, — **она есть народ, собравший вокруг себя другие народы...»** Достаточно? **«Дух России — вселенский дух. Национален в России именно ее сверхнационализм... в этом самобытна Россия и не похожая ни на одну страну мира».** Это — Н. Бердяев.



Все, достаточно. Только чрезвычайные обстоятельства могли вызвать к жизни национальную идею. Она не могла быть «долгожительницей», ибо противоречила не только имперской, но и объединяющей силе рыночных отношений.

С другой стороны, для российской политической жизни неудивителен и такой вывод: «Может великорусский марксист принять лозунг национальной, великорусской, культуры? Нет. Такого человека надо поместить среди националистов, а не марксистов. Наше дело — бороться с господствующей черносотенной и буржуазной национальной культурой великороссов, развивая исключительно в интернациональном духе и в теснейшем союзе с рабочими иных стран те зачатки, которые имеются и в нашей истории демократического и рабочего движения. Бороться со своими великорусскими помещиками и буржуа, против его «культуры», бороться... а не проповедовать, не допускать лозунга национальной культуры». Это — Ленин, «Критические заметки по национальному вопросу», 1913 год.

Конечно, 1907-й и 1913-й — разные годы. В 1913 г. Столыпина уже не было в живых, давно стабилизовалось экономическое положение страны, но здесь дело не в этом, а в отношении к национальному. Столыпин видит в национальном опору, социал-демократия — помеху.

Поэтому в красках национального спектра, где с одной стороны, Иеромонах Илиодор, с другой — «Критические заметки...», Столыпин занимает особое место. Осуждать его за это было бы странным.

Очень существенным в нашем понимании этой темы может быть свидетельство Аркадия Столыпина, сына Реформатора. Он рассказывает о проекте изменения границ между некоторыми уездами Холмского края и Гродненской губернии с тем, чтобы «окатоличенные и ополяченные» уезды остались в Польше, а «русские» соединились с «общерусской стихией». Для чего это делалось? Кажется, понятно. Для укрепления национальной русской идеи, не так ли? Нет, не совсем так. «Мера эти имела целью установление национально-государственной границы между Россией и Польшей, на случай дарования Царству Польскому автономии».

А полное отделение Польши от империи Столыпин наметил на 1920 год.

Впрочем, Государственная Дума действовала поиному и, несмотря на возражения правительства, расширила пределы будущей Холмской губернии, включив в ее состав такие местности, где русских было едва ли треть. Об уступке же Польше уездов Гродненщины депутаты не захотели говорить.

Как после этого мы должны назвать национальную идею Столыпина? По-видимому, ее скорее следует назвать государственной.

Как бы там ни было, в результате третьеиюньского переворота в России утвердилась не военная диктатура, не диктатура революционная, а новый строй. Думская монархия. Назад, к неограниченному самодержавию, пути не было.

Что же тогда случилось в русской истории?

Под взрывы бомб и треск перестрелки за короткое время в России произошли огромные перемены — началась европеизация. Это был необычный период успокоения.

Новая Российская государственная система просуществовала недолго и осталась во многом неизученной.

Император по-прежнему сохранял исполнительную власть, но в области законодательства и финансовой Дума обладала большими правами. Никакой новый закон, а также отмену старого нельзя было осуществить без согласия обеих законодательных учреждений — Государственной Думы и Государственного Совета. Точно такой же порядок существовал и для новых ассигнований, налогов, займов. Если новый бюджет не утверждался, оставался в силе старый.

Государственный Совет наполовину назначался императором, наполовину избирался: духовенством — 6 человек, земскими собраниями — 34, дворянскими обществами — 18, академией и университетами — 6, купечеством и промышленниками — 12, съездами землевладельцев Царства Польского — 6, губерниями, где не было земств, — 16.

Общество по сравнению с периодом до 17 октября 1905 года получило новые права.

Изменилось положение печати. Была отменена предварительная цензура, исчезли запретные темы. Арест отдельных номеров газет или журналов мог проводиться только по решению присутствия по делам печати, закрытие органов печати — только по решению суда. Открыто выходили ежедневные оппозиционные газеты, от кадетских до социал-демократических. Даже Ленин и Троцкий, будучи в эмиграции, печатались в российских легальных журналах. Разумеется, не разрешалась прямая революционная агитация, призывы к восстанию, богохульство, оскорбление власти.



В новых условиях изменилось и политическое влияние царя. Теперь он не мог быть «своим собственным премьером». Активно работал Совет министров и его председатель. Но взаимоотношения Николая II и Столыпина не были безоблачными. Как свидетельствует С. С. Ольденбург в книге «Царствование Императора Николая II», «новый порядок вещей во многом не соответствовал Его идеалам, но Государь сознательно остановился на нем в долгом и мучительном искании выхода из трагических противоречий русской жизни». За этим признанием угадывается причина охлаждения Николая к Столыпину, последовавшая после стабилизации политической обстановки.

## ГЛАВА 10

Третье июня было последним днем революции. Снова, как и год назад, кадетская партия собралась в Финляндии на экстренный съезд, вынесла резолюцию протеста, но подавляющим большинством отклонила предложение бойкотировать новые выборы.

Партия «октябристов» (Союз 17 октября), поддерживавшая Реформатора, заявила: «Мы с грустью должны признать, что возвещенное манифестом 3 июня изменение избирательного закона осуществлено не тем путем, который предусмотрен основными законами, но оценку этого факта считаем преждевременной, а его необходимость — прискорбной». Виноватыми в перевороте октябристы считали левые партии.

П. Б. Струве в «Биржевых ведомостях» упрекал, наоборот, кадетов за то, что они не сумели отмежеваться от левых. А либеральный «Вестник Европы» признавал за государством право отступать в случае необходимости от законодательной нормы.

Третье июня стало последним днем революции, потому что отныне не существовало былой коалиции оппозиционных сил (земства, городские самоуправле-

ния, торговцы, промышленники, интеллигенция). Теперь эти силы утратили единство.

Изменение общественных настроений показали еще в 1906 году выборы в земские и городские органы самоуправления. Они давали все более консервативные результаты. Газеты свидетельствовали, что «средний класс» предпочитал Столыпина. В июне, уже после манифеста екатеринославский губернатор А. М. Клингенберг писал: «Два года смуты отрезвили до неузнаваемости большинство капиталистов».

Но было еще одно обстоятельство — сами реформы.

Посмотрите, как думали промышленники перед реформами. В 1905 году в записке на имя министра финансов В.Н. Коковцова петербургских заводчиков и фабрикантов говорилось: **«Промышленность не может процветать там, где народ бедствует».** Это прямая перекличка с мыслью Столыпина об основе могущества государства.

Еще одна болячка промышленности — излишняя регламентация ее деятельности. В том же 1905 году железозаводчики писали Витте: «Проявление частной промышленной инициативы у нас крайне стеснено. Акционерное дело, железнодорожное строительство, земельный, городской и коммерческий кредит — все это в России продукт правительственного усмотрения, а не следствие свободно развивающейся народной жизни. После этого неудивительно, что нужды нашей промышленности на различных съездах выливаются почти исключительно в ряд многочисленных ходатайств перед правительством и лишены начал самодеятельности и самопомощи».

С этой запиской перекликается мнение уральских промышленников: «В России нет ни твердо обеспеченного правопорядка, ни гражданской свободы и удовлетворительного законодательства и в этом лежит главная причина тех неурядиц, которые приходится переживать нашей промышленности».

О чем говорить, если к началу периода реформ действовали, например, такие законы, согласно которым «хозяину дозволялось унимать приказчика мерами домашней строгости».

Появление на исторической сцене Столыпина совпало с осознанием промышленниками своих нужд. Главная нужда — отсутствие правовых основ, удушение самодеятельности. Даже одна отмена Реформатором обязанности крестьян и мещан в случае отлучки из



дома получать в полиции «виды на жительство» устранила самое широкое стеснение населению заниматься предпринимательством. Его курс — на инициативу — был понятен всем.

Старая Россия стала обновляться, что привело к выравниванию положения. Более того, во время выборов в Третью Думу, проходивших в сентябре — октябре, лидер кадетской партии П. Н. Милюков выступил в газете «Речь» с резкой критикой крайне левых: «Всей этой нашей деятельностью мы приобрели право сказать теперь, что, к великому сожалению, у нас и у всей России есть враги слева... Те люди, которые разнуздали низкие инстинкты человеческой природы и дело политической борьбы превратили в дело разрушения, суть наши враги... И мы сами себе враги, если по каким бы то ни было соображениям захотим непременно, по выражению известной немецкой сказки, тащить осла на собственной спине».

Решительно сказано!

Вспомним Первую Думу, где о сотрудничестве с правительством не могло быть и речи, и сравним с нею новых депутатов, избранных на платформе именно сотрудничества, — результат весьма красноречивый.

Из 442 депутатов примерно триста представляли октябристов и правых. Успех Столыпина, казалось, был полный. На самом деле это было далеко не так. И вскоре Столыпин убедился в этом.

Но сразу после выборов он был полон надежд, просил Николая принять депутатов, на что тот предусмотрительно возразил, проявив большую дальновидность.

С весны Столыпин уже не жил в Зимнем дворце, где чувствовал себя взаперти, а переехал на Елагин остров, в дом, в котором раньше жил Александр III. Атмосферой прошлого спокойного царствования здесь дышали все постройки в классическом стиле, высокие вековые деревья парка, светлые лужайки. Сам Столыпин часто гулял по парку, а младшие дети лазили по деревьям, откуда их порой приходилось снимать пожарным. По сравнению с крепостью Зимнего это была свобода. Только колючая проволока, вдоль которой ходили часовые и полицейские, предостерегала от иллюзий.

А то, что у Реформатора были иллюзии, — не вызывает сомнений. Первые дни работы Третьей Думы показали, что он неожиданно отстал от перемен.

Октябристы предложили послать правительственный адрес государю императору от имени всей Думы. Казалось бы, вполне рядовой эпизод, и никто не предполагал, что он выльется в большой политический конфликт.

При составлении адреса вспыхнул спор: правые настаивали на включении в текст слова «самодержавие», а кадеты — на упоминании слова «конституция».

Решили организовать согласительную комиссию. Безрезультатно. И вот на общем собрании Думы 13 ноября началась полемика. Все понимали, что обсуждается не текст послания, а важнейший вопрос: какой строй в стране — самодержавный или конституционный.

Выступил А. И. Гучков, лидер октябристов. Смысл его речи — поддержка конституционной точки зрения, хотя формально он возражал против включения самого термина в текст.

Выступили правые, горячо отстаивали идею самодержавия.

Расхождение между правыми и центром обнаруживалось все глубже. Спор затянулся до поздней ночи. Разрешился он неожиданной перегруппировкой сил. Кадеты и прогрессисты предложили октябристам голосовать за их текст, если там не будет слова «самодержавие». Правые предложили озаглавить адрес: «Его Величеству Государю Императору, Самодержцу Всероссийскому». Это предложение не прошло. 212 голосов против, 146 — за. В результате адрес был принят большинством центра и левых. Правые направили царю свой.

Это голосование переворачивало все ожидания Столыпина.

Кадетская «Речь» напечатала, что Дума «в ночь с 13 на 14 ноября положила грань межеумочному состоянию великой страны, и на 25-м месяце российской конституции объявила, что конституция в России действительно существует».

«Самодержавие погибло на Руси бесповоротно», — напечатал «Товарищ».

«Первая победа левых — неожиданная и громовая, — отмечал М. О. Меньшиков в «Новом времени». — Взамен неудачной о с а д ы власти начнут японский о б х о д ея, — обход как будто совершенно мирный, лояльный, преданный — только позвольте связать вас по рукам и ногам!»

В словах публициста слышится изумление и трево-



га. Что делать, если взамен революции в государстве объявляется новая сила, антиправительственная и антицаристская? Неужели это начало новой смуты?

Николай тоже был поражен, ведь Дума отвергла его титул, закрепленный в Основных законах.

Неужели из тупика мог быть только один выход? Военная диктатура?

Положение должен был спасать премьер-министр. Крах Думы был бы и крахом его политики, и Россия была бы ввергнута в новый хаос. Столыпин твердо стоял за развитие парламентского направления и не видел возможности избежать сотрудничества с новой Думой. Он встречается с октябристами, доказывает Гучкову, что тот совершает непоправимую ошибку — идет на союз с открытыми противниками власти, чем ослабляет возможность демократических перемен.

Александр Иванович Гучков был колоритнейшим деятелем времен упадка империи. Вот его портрет: выходец из старообрядческой купеческой семьи, любитель военных приключений, дуэлянт, офицер пограничной стражи на строительстве Китайско-Восточной железной дороги, участник англо-бурской войны, лидер октябристов, сторонник конституционного строя, считавший, что для этого надо сотрудничать с властью, «врастать» в государственный организм без революционных потрясений.

Столыпин поставил перед ним вопрос: хотят ли октябристы, победившие на выборах, действовать под флагом сотрудничества с правительством или они изменяют стратегию? Он мог идти навстречу Думе только до известного предела, не препятствующего реформам.

К тому же они оба, Гучков и Столыпин, понимали, что октябристы голосовали заодно с кадетами в азарте политической схватки, подменяя реальности своими мечтаниями. На самом же деле их путь лежал по центру, ни с левыми, ни с правыми. Неожиданность 13 ноября была порождена иллюзиями.

Иллюзии развеялись, и Столыпин предложил Гучкову отойти от деклараций, вернуться к здравому смыслу, пока волна борьбы не захлестнула партию.

Через три дня Столыпин выступил в Таврическом дворце с правительственным заявлением. Он продолжал путь реформ.

Потом развернулись дебаты, и ему пришлось снова выступить. Но уже было ясно — большинство с ним.

«Нас тут упрекали в том, что правительство желает в настоящее время обратить всю свою деятельность исключительно на репрессии, что оно не желает заняться работой созидательной, что оно не желает подложить фундамент права, — то правовое основание, в котором, несомненно, нуждается в моменты созидания каждое государство и тем более в настоящую историческую минуту Россия. Мне кажется, что мысль правительства иная. Правительство наряду с подавлением революции задалось задачей поднять население до возможности на деле, в действительности воспользоваться дарованными ему благами. Пока крестьянин беден, пока он не обладает личной земельной собственностью, пока он находится насильно в тисках общины, он остается рабом, и никакой писанный закон не даст ему блага гражданской свободы».

Здесь Столыпину стали аплодировать октябристы и правые; левые молчали.

Он продолжал, повторив мысли, уже высказанные в письме Толстому, и развил их:

«Мелкий земельный собственник, несомненно, явится ядром будущей мелкой земской единицы; он, трудолюбивый, обладающий чувством собственного достоинства, внесет в деревню и культуру, и просвещение, и достаток. Вот тогда только писанная свобода превратится и претворится в свободу настоящую, которая, конечно, слагается из гражданских вольностей и чувства государственности и патриотизма».

И снова раздались сильные аплодисменты в центре и справа, крики «браво». Левые молчали.

«Тут говорилось о децентрализации. Представитель Царства Польского говорил о необходимости для правительства, особенно в нынешнюю минуту, черпать силы не в бюрократической централизации, а в том, чтобы привлечь местные силы к самоуправлению, с тем чтобы они заполнили тот пробел, который неизбежно окажется у центральной власти, опирающейся только на бюрократию. Прежде всего скажу, что правительство против этого возражать не будет. Но должен заявить, что та сила самоуправления, на которую будет опираться правительство, должна быть всегда силой национальной... Децентрализация может идти только от избытка сил. Могущественная Англия, конечно, дает всем составным частям своего государства весьма широкие права, но это от избытка сил;



если же этой децентрализации требуют от нас в минуту слабости, когда ее хотят вырвать и вырвать вместе с такими корнями, которые должны связывать всю империю, вместе с теми нитями, которые должны скрепить центр с окраинами, тогда, конечно, правительство ответит: нет!»

Аплодисменты стали раздаваться очень часто. Было ясно, что Столыпин окончательно вернул себе поддержку большинства. Кризис миновал.

«Я хочу еще сказать, что все те реформы, все то, что только что правительство предложило вашему вниманию, — ведь это не сочинено, мы ничего насильно, механически не хотим внедрять в народное сознание, — все это глубоко национально. Как в России до Петра Великого, так и в послепетровской России местные силы всегда несли служебные государственные повинности. Ведь сословия и те никогда не брали примера с Запада, не боролись с центральной властью, а всегда служили ее целям. Поэтому наши реформы, чтобы быть жизненными, должны черпать свою силу в этих русских национальных началах. Каковы они? В развитии земщины, в развитии, конечно, самоуправления, передаче ему части государственных обязанностей, государственного тягла — и в создании на низах крепких людей земли, которые были бы связаны с государственной властью. Вот наш идеал местного самоуправления, так же как наш идеал наверху — это развитие дарованного государем стране законодательного, нового представительного строя, который должен придать новую силу и новый блеск царской верховной власти... Правительство должно избегать лишних слов, но есть слова, выражающие чувства, от которых в течение столетий усиленно бились сердца русских людей. Эти чувства, эти слова должны быть запечатлены в мыслях и отражаться в делах правителей. Слова эти: неуклонная приверженность к русским историческим началам. Это противовес беспочвенному социализму, это желание, это страстное желание и обновить, и просветить, и возвеличить Родину, в противовес тем людям, которые хотят ее распада. Это, наконец, преданность не на жизнь, а на смерть царю, олицетворяющему Россию! Вот, господа, все, что я хотел сказать. Сказал, что думал и как умел».

По сути, 16 ноября депутаты услышали больше, чем полагалось. Столыпин во втором выступлении говорил уже не как премьер-министр, а как человек,

осознающий свое положение последнего защитника империи, как последний римлянин.

В этой открытости были и сила его, и слабость. Он был чересчур героичен для политика капиталистической эпохи.

И буквально на следующий день в Думе случилось событие, вынудившее Столыпина забыть, что он глава правительства, отец шестерых детей, и послать вызов на дуэль.

День начался спокойно. Выступивший первым кадетский лидер П. Н. Милюков старался досадить правительству, но сбивался на мелочи, забывая главное — правительственную декларацию. Потом выступали Сагателян, Пуришкевич — и все было скучно, уже известно.

О том, что случилось потом, было напечатано в газете «Новое время»:

«После небольшого перерыва на трибуну поднялся г. Родичев. Он начал с повторений доводов г. Маклакова, перешел на гражданские мотивы о патриотизме, национализме и заканчивал защитой польских интересов. Слова оратора: «Мы, любящие свое отечество... Мы, защищающие порядок...» — вызвали смех на скамьях крайней правой оппозиции, и оттуда в ответ часто слышались напоминания о выборгском воззвании. Выкрики с мест, не прекращающиеся, несмотря на неоднократные замечания председателя, видимо, еще сильнее взвинчивали г. Родичева; он становился все более и более резким, теряя самообладание, злоупотреблял жестикуляцией — и, не находя подходящих выражений, выбрасывал неудачные афоризмы.

Когда г. Родичев, вспоминая выражение Пуришкевича о «муравьевском воротнике», сказал, что потомки его назовут это «столыпинским галстуком», зал в одно мгновение преобразился. Казалось, что по скамьям прошел электрический ток. Депутаты бежали со своих мест, кричали, стучали пюпитрами; возгласы и выражения негодования сливались в невероятный шум, за которым почти не слышно было ни отдельных голосов, ни звонка председателя. Полукруг перед трибуной мгновенно наполнился депутатами, а сидевшие позади оказались в первых рядах.

— Долой, вон, долой!

— Не расстались со своим Выборгом! Выгнать его немедленно вон!..



— Нечестно, подло!.. Вы оскорбили представителя Государя...

— Мерзко, недостойно члена Думы, недостойно высокого собрания...

Крики неслись со всех сторон. Октябристы, умеренные, правые — все столпились около трибуны, к которой тянулись десятки рук, и казалось, что зарвавшегося, забывшегося г. Родичева моментально силою стащат с трибуны. Несколько человек уже стояло за пюпитрами секретарей, а г. Пуришкевич порывался бросить в г. Родичева стаканом.

Н. А. Хомяков начал было звонить, но, когда увидел, до какой степени разгорелись страсти, покинул трибуну и прервал заседание. За председателем удалились и остальные члены президиума.

Взволнованный, бледный П. А. Столыпин при первых же криках встал со своего места и, окруженный министрами, вышел из зала почти одновременно с Н. А. Хомяковым. За председателем Совета министров тотчас же поспешило несколько депутатов. Родичев все еще стоял на трибуне, краснел, бледнел, пробовал что-то говорить и затем будто замер, видя, что его выходкой возмущена почти вся Дума, за исключением, может быть, небольшой кучки лиц.

Наконец сквозь ряды депутатов к кафедре протискивается высокий старик, кадет г. Покровский, и прикрывает руками г. Родичева, который при несмолкавших криках: «вон», «долой», «вон» — спускается к своему месту и затем, окруженный кадетами, выходит в Екатерининский зал.

Едва трибуна освободилась, на нее вбегает г. Крупенский, стучит кулаками и переругивается с левыми. Г.Шульгин старается увести не в меру разгорячившегося депутата.

— По фракциям, по фракциям! — раздаются возгласы, и депутаты с шумом покидают зал.

— Два года не дают работать...

— Оставались бы себе в Выборге, коли не отучились ругаться...

— С первых шагов снова делают скандалы...

Это все больше голоса крестьян, которые более всех других были взволнованы и удручены скандальной выходкой и сыпали по адресу кадетов весьма нелестные замечания.

Сами кадеты только разводили руками и почти не находили оправданий для непонятного выступления

своего лидера... Он не обобщал, а говорил лишь о потомках г. Пуришкевича, — только и могли сказать кадеты, видимо, крайне недовольные скандальным инцидентом.

Во время перерыва правые, умеренные и октябристы в своих фракционных заседаниях приходят к одинаковому решению: применить высшую меру наказания и исключить Родичева на пятнадцать заседаний.

Н. А. Хомяков, не желая допустить никаких прений, предвосхитил это; и Дума громадным большинством против 96 голосов левых, поляков и кадетов исключает г. Родичева на 15 заседаний.

Н. А. Хомяков перед этим с большим достоинством напоминает, что в руках депутатов священный сосуд, неприкосновенность которого каждый должен хранить, как самого себя.

Г. Родичев в большом смущении произносит свои извинения и просит верить в их искренность. Позднее раскаяние хотя и смягчает вину, но прискорбного, непозволительного факта не изменит. Если его и могло что сгладить, то разве те бурные овации, которые Дума под конец устраивает П. А. Столыпину, остававшемуся на своем месте до конца заседания.

Выходка г. Родичева произвела на всех депутатов тягостное впечатление.

— К чему это? Чем это объяснить? — спрашивали со всех сторон.

— Какое недостойное, возмутительное оскорбление?..

Депутаты волновались, не могли скрыть негодования, не находили оправданий, разводили руками и пеняли, главное, на то, что снова Думе ставятся препятствия при первых ее шагах.

— И зачем только все это говорят? — недоумевали крестьяне. Затем г. Индюков и г. Пуришкевич по целому часу говорили — что, от этого, мужицкий хлеб станет белее, что ли? Школы сами настроятся, разбои и грабежи прекратятся?..

— Они хотят в Думу эти пожары перенести...

— Много ли на пятнадцать заседаний!.. Я бы для острастки на всю сессию исключил, — разошелся какой-то депутат, недовольный, что в наказе нет высшей меры наказания.

Во время перерыва стало известно, что председатель Совета министров, взволнованный неожиданным



оскорблением, потребовал от г. Родичева удовлетворения.

В комнату председателя Думы Н. А. Хомякова явились двое министров, г. Харитонов и г. Кауфман, и просили передать об этом г. Родичеву, который и не заставил себя ждать. Извинение происходило в присутствии министров, Н. А. Хомякова и саратовского депутата Н. Н. Львова.

Г. Родичев признавался, что он совершенно не имел в виду оскорбить главу кабинета, что он искренне раскаивается в своих выражениях, которые не так были поняты, и просит его извинить.

— Я вас прощаю, — сказал П. А. Столыпин, и объяснение было окончено.

П. А. Столыпин, как передают, был при этом крайне взволнован, а г. Родичев казался совершенно подавленным.

Известие о том, что председатель Совета министров принял извинение, быстро облетело залы и внесло первое успокоение».

К этому эпизоду старшая дочь Столыпина добавляет, что отец не подал Родичеву руки и смерил его презрительным взглядом с головы до ног. Может быть, при этом вспомнил о том, что на дуэли в юности был убит его старший брат, или о пятигорской дуэли? Хотя вряд ли. Он знал, что Родичев понимает, что говорит неправду о «столыпинских галстуках», что это клевета в интересах партийной борьбы. Для Столыпина такое двоедушие было нестерпимым.

Но если бесстрастно посмотреть на случившееся, то бросится в глаза безрассудство, с которым Реформатор отнесся к выпаду Родичева. Оно по-человечески объяснимо и выдает его с головой.

История впоследствии проштемпелевала эти «галстуки», занесла их в наши школьные учебники. Точно так же, как и вагоны, созданные специально для удобного переселения крестьян из европейской России в Сибирь, после, в 20—30-е годы, использовались для перевозки заключенных и тоже были историей соответственно перекрашены в «столыпиных», в тюремные. (А. И. Солженицын, с большим уважением относящийся к Реформатору, упоминает об этом в «Архипелаге ГУЛАГ»).

Итак, в результате бурных заседаний Дума повернула к мирной работе.

Хотя крайне правые (Союз русского народа) и ле-

вые смыкались в желании противостоять правительству, думское большинство твердо поддерживало его. Настроение большинства ярко выразилось при выборе комиссии Государственной обороны. Несмотря на предварительную договоренность о пропорциональных выборах, октябристы и правые заблокировали социал-демократов, трудовиков, поляков, кадетов, считая, что им опасно доверять военные тайны. Во главе комиссии стал Гучков.

Не надо думать, что Дума сделалась совсем послушной правительству. Нет, она очень требовательно относилась к своим обязанностям, а при обсуждениях бюджетных вопросов многие ведомства испытывали настоящий страх, ибо Дума могла сократить и штаты, и финансирование. Правда, на просвещение она обратила пристальное внимание, приняв расходы на народные школы в восемь млн. рублей. (Вспомнив отчет француза Эдмона Тэри).

В одном очень важном вопросе об управлении армией Гучков неожиданно выступил с резкой критикой того, что некоторые высшие военные учреждения возглавляют лица, «безответственные по своему положению», имея в виду великих князей и особенно — председателя Совета государственной обороны Николая Николаевича. Казалось, это был выпад и против премьер-министра, но это — только на первый взгляд. На самом деле такая критика отвечала интересам правительства, стремившегося избавиться от ненужного вмешательства властолюбивого царского дяди. Правительство и Дума были заодно. (Через три года после смерти Столыпина Россия будет ввергнута в войну, и роль великого князя Николая Николаевича в этом огромна. К теме «Реформатор и война» мы еще вернемся).

Слова Столыпина: **«Дайте государству двадцать лет покоя, внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешней России!»** — являются ключевыми в понимании его политики.

Прозвучавшую в речи Гучкова фразу о безответственности надо рассматривать как оппозицию Столыпина придворным кругам.

Другими словами, оппозиция самому императору? И это тогда, когда председатель Совета министров искренне называет историческую идею самодержавия бесспорной?

Нет ли здесь противоречия?



Противоречие налицо.

Можно ли здесь найти закономерность?

Безусловно.

И противоречия, и закономерности сопутствуют курсу Столыпина. Он балансирует между двух сил, сохраняя равновесие государственного корабля. Он против парламентаризма; как только Милюков во время прений о ревизии железных дорог потребовал создания «парламентской следственной комиссии», Столыпин резко оспорил это. Он опасался парламентаризма, который при неопытности партийных фракций в Думе и оппозиционности интеллигенции вряд ли был бы созидательным фактором. Одновременно с этим он считал: неограниченное самодержавие приведет страну к застою.

Парадокс: «третий путь» хорошо выражен в докладе на съезде объединенного дворянства (1909 г.) В. И. Гурко. По его мнению, правительство энергично осуществляет социал-демократическую программу, ведущую к изгнанию из деревни помещиков и тем самым — к экономической ликвидации тех слоев населения, на которые оно политически опиралось при выборах в Думу по закону 3 июня.

Но парадокс нетрудно объяснить эволюционностью «третьего пути», стремлением избежать революционных потрясений.

Россия изменилась. И громко звучали голоса против «самобытного, особого пути России», под которым подразумевается, увы, застой и который был идейно близок самому Петру Аркадьевичу. Особенно озабочены были промышленные круги, видевшие в правительственной политике перекос в сторону сельского хозяйства.

Приведем несколько цитат из докладов и отчетов Союза промышленных и торговых предприятий России (по книге Л. Шепелева «Царизм и буржуазия в 1904—1914 гг.»):

«В нашей... прессе даже из-под перьев заправских экономистов и мыслящих людей то и дело выдвигается гонение против всего того, что связано с развитием, доходностью и поддержкой нашей обрабатывающей, горной и даже мелкой промышленности. А слово «промышленник» по «крепостнической традиции» сделалось синонимом слов «мошенник», «кровопийца»,

«эксплуататор» и прочих не менее лестных определений. Такая практика вошла в плоть и кровь нашего общественного мнения».

«Мировой опыт поучает нас, что интенсивное сельское хозяйство возможно лишь тогда, когда в стране достаточно сильно развиты промышленность и торговля, и наоборот, не может быть и речи о здоровом развитии промышленности и торговли там, где нет устойчивого сельского хозяйства».

«Когда мир будет знать, что у России кроме планов воссоздания военного флота, реорганизации армии, сооружения стратегических железных дорог, ассигнований на продовольственную помощь населению, введения новых налогов и т.д. имеются еще разумные планы к развитию производительных сил страны, к подъему ее богатства, — тогда кредит России подымется настолько высоко, что на все ее насущные нужды найдутся капиталы на выгодных условиях. Без плана подъема производительных сил страны Россия всегда будет казаться своим кредиторам неосмотрительным и ненадежным должником, а поэтому кредит ее будет ничтожен по размерам и тяжел по своей дороговизне».

«Нельзя забывать, что помощь одному, хотя бы и слабому, ставит в неравные условия соперничества другого, что понятием исключительных мер извращается здоровое развитие народного производства».

«Железные и водные пути, кредит, забота о кооперации — вот с чего надо начать экономическое оздоровление России. Производительные займы за границей — вот единственное орудие подъема экономической силы нашего отечества».

«...Для страны выгоднее ввозить средства для производства, чем его результаты, т. е. выгоднее допустить капиталы, чем иностранные фабриканты».

«Несомненно, переобременение налоговой тяготы многих отделов народной деятельности является причиной того, что население не может накопить средств, которые неизбежно необходимы ему как первоначальная основа поступательного движения».

«... Отечественная фабрично-заводская промышленность не нуждается в государственных ассигнованиях. Она сама по себе проложит путь, если только государственная власть не будет ее подавлять».

«... Имевшимся до сих пор прямым и косвенным



препятствием иностранной — впрочем, не только иностранной — предприимчивости и инициативе в деле расширения нашей железнодорожной сети, усиления эксплуатации недр и оживления всей промышленной деятельности страны будет положен предел вопреки всем воплям о мнимой распродаже России».

«Необходимо в интересах экономического преуспевания страны не подчинять экономику политике».

«... Отуземить иностранный капитал, заставить его выполнять русскую службу».

«...Развиваться, богатеть, можно будет выкупить мало-помалу из рук иностранцев отечественные предприятия».

«Самобытные экономисты забили тревогу и объявили отечество в опасности ввиду грозящего ему нашествия... Пущен в ход весь арсенал подобающих случаю страшных слов вроде закабаленного потребителя, кандалов на Россию, алчности синдикатов, вплоть до хищного и властного международного капитала, открыто идущего к бескровному завоеванию России».

«Заграничный капитал, выводя нас из состояния данников иноземной промышленности, в конечном итоге способствует возникновению национального капитала».

«Нельзя забывать, что Россия — как это ни странно для тех, кто привык верить, что в России все скуплено, все присвоено иностранцами, — принадлежит как раз к числу тех стран, куда капитал идет крайне неохотно, притекая крайне медленным темпом. Причинами этого являются отсутствие правовых условий... архаичность многих наших законов, недостатки нашего торгового законодательства и, сказал бы я, отсутствие уверенности в существовании твердой экономической политики».

Во всех этих цитатах — неизвестная нам картина промышленного развития России. Оставим в стороне напрашивающиеся параллели с нашим сегодня, в истории Столыпина таких параллелей возникает множество. Дело не в «распродаже России», не в засилье иностранного капитала, которого, кстати, было в акционерных компаниях к 1914 г. всего 16 процентов по отношению к русским капиталам, дело в конце концов даже не в преодолении государственной сверхцентрализации, что является основой преобразования той поры.

Главное — результат. Вспомните имена первых

русских авиаторов, первые аэроклубы (Николай II становится покровителем Петербургского), всероссийские праздники воздухоплавания. Россия — взлетела.

«Русские летуны народились на свет без году неделя, — отмечали «Биржевые ведомости», — однако уже представляют разные типы. Во-первых, офицеры. У них все под руками: военная команда и прекрасные аэропланы... Во-вторых, авиаторы из высшего круга. Они приобретают аэропланы на собственные деньги. В-третьих, авиаторы из разночинцев, интеллигентского класса, но бедные — Попов, Лебедев. А еще выходят из народа самородки, как Ефимов».

Русские летуны, моряки, инженеры — сколько их вдруг открылось в начале века.

16 января 1908 г. состоялось собрание учредителей Императорского Всероссийского аэроклуба.

22 апреля — первый полет на планере собственной конструкции совершил А. В. Шмаков в Тбилиси.

Декабрь — журнал «Спорт и наука» с авиационным разделом стал издавать Одесский аэроклуб.

И в следующем году — журнал «Аэро и автомобильная жизнь», воздухоплавательные кружки и клубы, полеты, начало работы первого в России самолетостроительного завода акционерного общества «Первое Российское товарищество воздухоплавания С. С. Щетинина и К°, строительство И. И. Сикорским первого вертолета...

Вспомним Уточкина, Ефимова, Славороссова, Ткачева, Арцеулова...

Кажется, совсем мало общего у авиаторов и Столыпина. Разве что участие Реформатора в первых показательных полетах вместе с капитаном Л. М. Мациевичем? На этот счет вполне уместно замечание о качествах, необходимых летчику: «К счастью, славянская раса, отличающаяся смелостью самой беспечною, дает к этому превосходный материал: хотя именно эта беспечность и удаль очень часто идут в ущерб холодной осмотрительности, столь необходимой для воздухоплавания».

Смелость Столыпина проявилась не только в полете с Комендантского поля на «летающей этажерке», но еще и в том, что он знал от полковника Герасимова о возможности покушения со стороны эсера Мациевича. Несмотря на серьезность предупреждения, Столыпин полетел.



Летун отпущен на свободу.
Качнув две лопасти свои,
Как чудище морское в воду,
Скользнул в воздушные струи.

Его винты поют, как струны...
Смотри: недрогнувший пилот
К слепому солнцу над трибуной
Стремит свой винтовой полет...

Александр Блок написал это стихотворение после гибели летчика на Комендантском поле.

И зверь с умолкшими винтами
Повис пугающим углом...
Ищи отцветшими глазами
Опоры в воздухе... пустом!

Столыпин ответил Герасимову, что не верит, будто офицер способен на преступление. Ничего страшного не произошло. Через два дня Мациевич разбился, выпав из самолета. Официальное заключение комиссии так объяснило причины трагедии: лопнула диагональная растяжка, проволока попала в пропеллер, порвались растяжки, аэроплан резко качнулся вперед и летчик вывалился наружу. Версия полиции иная — вынужденное самоубийство в результате приговора эсеров. Впрочем, прямых доказательств, естественно, нет.

Хоронил летчика весь Петербург. Люди как будто предчувствовали наступление нового трагического времени.

Погиб герой. Его смерть не могла остановить развития прогресса. Впереди были новые потери, новые подвиги, новые достижения. Мало кто знал, что Россия уже набирала мировую высоту. Не знали, а чувствовали, скорбя об утрате.

«Когда страна находится на том уровне развития знаний и предприимчивости, каков наблюдается в настоящее время в России, нет уже более никакой надобности в импорте чужих знаний, навыков и энергии», — написал журнал «Промышленность и торговля».

Поэтому Столыпин, переживший инцидент на Аптекарском острове, не мог отказаться от возможности лететь с капитаном Мациевичем. С каким бы ужасом потом ни смотрела на него семья и какие бы упреки ни раздавались из уст его жены Ольги Борисовны, он шел навстречу опасности.

## ГЛАВА 11

Однако вернемся в 1907 год.

Перелом русской жизни касался не только внутренних дел. Хотя внешняя политика в думские годы отошла на второй план, в ней происходили большие перемены. До сих пор Россия соперничала с Англией везде, придерживалась терпимых отношений с Австро-Венгрией, имела союзный договор с Францией и добрые отношения с Германией.

Через несколько лет все перемешается в европейском доме. Англия пригасит очаги напряжения с Россией и Францией и определит для себя новые ориентиры. Создание нового типа броненосцев обесценивало старые дредноуты, подрывало морское преимущество Лондона. А Германия, недавно начавшая строить флот, имела большие возможности бороться за морское первенство с «владычицей морей». Прогресс подарил армиям скорострельные пушки, пулеметы, аэропланы. Дал шанс тем, кто не успел в прошлом веке, перекроить границы мира.

Со времен покорения генералом Черняевым Кокандского ханства соперничество России и Англии ощущалось повседневно. В Китае, Маньчжурии, Персии, Афганистане, Турции — всюду Россия наталкивалась на английские интересы. Англичане поддерживали японцев в войне с Россией.

Великий стратег Бисмарк давно говорил, что Индию не обязательно сторожить на афганской границе, проще — на польской, намекая на выгоду англо-германского союза. Однако эту пропозицию англичане никогда не принимали. Наоборот, их геополитическая идея опиралась на создание такого положения, чтобы столкнуть обеих соперниц — Германию и Россию.

Если вспомнить Крымскую войну, Турецкую за освобождение Болгарии, то мы тоже увидим Англию в числе российских противников.

Однако начиная с 1906 г. традиционная антирусская политика Лондона изменилась. Завязались переговоры об урегулировании спорных вопросов в Азии.

Несмотря на то, что почин принадлежал Англии, русская интеллигенция восприняла начавшийся процесс как инициативу официального Петербурга. Идея сближения с Англией быстро стала популярной, ибо связывалась с предполагаемой либерализацией. Тотчас



же газеты забыли об исторической англо-русской борьбе, стали петь новые песни.

Казалось, переговоры о Тибете, Персии и Афганистане должны укрепить наше положение в этих странах.

До японской войны Россия поддерживала интересы русских подданных бурят-буддистов, связанных с Далай-ламой, и противостояла английскому влиянию в Тибете. Во время войны англичане направили туда военную экспедицию, Далай-лама скрылся в Монголии. Англичане вынудили тибетцев заключить договор, устанавливающий английский контроль за внешними связями страны. Время от времени русская пограничная стража задерживала в горах английских агентов.

Действовала в этом районе и русская военная разведка, располагавшая хорошими кадрами специалистов-востоковедов. Пользуясь географической близостью, осваивали новые рынки русские купцы. Отряды русской противочумной охраны вели здесь самоотверженную работу, привлекая к ней и местное население. Известны случаи, когда соперничество русских и англичан выражалось в борьбе за то, куда направят местные вожди своих детей на учебу, в Россию или в английскую Индию. Например, русский консул Михайлов из персидского города Турбети-Хайдери писал в штаб Туркестанского военного округа, что правитель провинции Бехар Шуджа-уль-мульк просит взять на воспитание в кадетский корпус четырнадцатилетнего сына, отказываясь от предложения англичан направить мальчика в Индию. И маленький перс оказался русским кадетом на казенном коште под приглядом владевшего восточными языками подполковника Багратуни. Вообще знание местных языков для русской администрации было правилом, а не исключением. В этом проявлялся дух российского освоения Азии, без религиозного или национального притеснения. Как один из примеров можно привести биографию служившего в Туркестане капитана Корнилова, выпускника Академии Генерального штаба, знавшего тюркские языки. Привязанность к нему туркмен-текинцев общеизвестна из истории Первой мировой и Гражданской войн, где роль генерала Лавра Георгиевича Корнилова весьма значительна. Однако мало кто знает, что безвестный капитан самоотверженно служил на границе империи, был уважаем и даже любим местным населе-

нием. (Попутно заметим, что сильно разнились фигуры русского и английского офицеров, служивших в Азии. Англичанин исповедовал киплинговскую идею «Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с места они не сойдут». Русские подобно лермонтовскому Максиму Максимовичу или реальным подполковнику Багратуни, капитану Корнилову вживались в чужой народ, становясь если не своим, то во всяком случае близким).

В Персии англичане стремились помешать строительству русских железных дорог, не хотели допустить ни малейшей возможности выхода России в Индийский океан в Персидском заливе (порт Бендер-Аббас). Но как бы ни старалась «владычица морей», само положение давало России неоспоримое преимущество, и все попытки Лондона противодействовать Петербургу должны были в исторической перспективе сойти на нет.

Переговоры с Англией длились долго. Они встревожили Германию и приветствовались Францией. Это было понятно: если Россия сближалась с Англией, нарушался весь европейский баланс.

Здесь следует вспомнить переговоры в Бьерке в июле 1905 г., когда Вильгельм II и Николай II заключили взаимное обязательство оказывать друг другу поддержку в случае нападения на них в Европе. Особой статьей оговаривалось, что Россия предпримет шаги для присоединения Франции к этому соглашению.

В нашей исторической литературе с легкой руки С. Ю. Витте, яростного противника этого договора, соглашение в Бьерке однозначно стало считаться коварной уловкой кайзера, который якобы хотел разрушить франко-русскую Антанту. На самом же деле это было не так. Антанта являлась союзом оборонительным, Бьеркский договор — тоже. Он создавал возможность обесценить мир в континентальной Европе и был направлен против Англии. Впрочем, он мог не отвечать интересам французов в том смысле, что они на юридически безупречном основании заключили с врагом России — Японией тайное соглашение, а это потом сказалось на положении русского флота. Так почему же Витте и многие другие были против Бьерке? Из-за недальновидности или по причине тесной связи. Можно спросить по-иному; кто был заинтересован в прекращении Бьеркского соглашения? Ответ известен: Англия и отчасти Франция. Оно так



и не вступило в силу. Весной 1907 г. было подписано соглашение с Францией, а летом — и России с Японией.

18 августа заключен англо-русский договор. Англия отказывалась от притязаний на Тибет, Россия — на Афганистан. Персия делилась на три зоны: северная входила в русскую сферу влияния, юго-восточная — в английскую, а между ними пролегала «нейтральная» зона, охватывавшая почти все побережье Персидского залива.

Кто выиграл?

«Мне кажется, — сообщал в Берлин германский дипломат Микель, — что новшества, вводимые в Азии этим соглашением, не так велики, как ожидалось, значение русско-английского соглашения не столько в Азии, сколько в Европе, где его последствия будут давать себя знать».

Россия отказалась от почти нереальных претензий («индийского похода»), взамен получила значительные выгоды. Было поразительно, как быстро она восстановила свое положение в Азии. В сфере ее влияния остались огромные территории — северная Маньчжурия, Монголия, Китайский Туркестан. Япония была значительно ослаблена войной, не получила ожидаемой контрибуции (из-за твердости Николая, запретившего выступающему за контрибуцию Витте какие-либо переговоры на этот счет).

Несколько позже, в марте 1908 года, Столыпин выступил в Думе с речью о сооружении Амурской железной дороги. Вот некоторые его мысли:

«Но я повторяю, что я не говорю о войне, я понимаю, что для нас высшим благом явился бы вечный мир с Японией и Китаем, но и с мирной точки зрения важно, господа, может быть, еще важнее иметь тот людской оплот, о котором я только что говорил.

Докладчик комиссии государственной обороны сказал тут, что природа не терпит пустоты. Я должен повторить эту фразу. Отдаленная наша суровая окраина, вместе с тем, богата, богата золотом, богата лесом, богата пушниной, богата громадными пространствами земли, годными для культуры. При таких обстоятельствах, господа, при наличии государства, густонаселенного, соседнего нам, эта окраина не останется пустынной. В нее просочится чужестранец, если раньше не придет туда русский, и это просачивание, господа, оно уже началось. Если мы будем спать летар-

гическим сном, то край этот будет пропитан чужими соками и, когда мы проснемся, может быть, он окажется русским только по названию...

Но не забывайте, господа, что русский народ всегда сознавал, что он осел и окреп на грани двух частей света, что он отразил монгольское нашествие и что ему дорог и люб Восток; это его сознание выражалось всегда в стремлении к переселению, и в народных преданиях оно выражается, и в государственных эмблемах. Наш орел, наследие Византии, — орел двуглавый. Конечно, сильны и могущественны и одноглавые орлы, но, отсекая нашему русскому орлу одну голову, обращенную на восток, вы не превратите его в одноглавого орла, вы заставите его только истечь кровью».

В речи Столыпина можно услышать явную азиатскую направленность. А вот мнение министра иностранных дел А. П. Извольского: «Мы должны поставить наши интересы в Азии на надлежащее место, иначе мы сами станем государством азиатским, что было бы величайшим несчастьем для России».

Здесь мы слышим не азиатскую, а европейскую ноту.

Разноголосица?

Увы, трагическая разноголосица! Под ее рокот Россия прожила почти весь двадцатый век, да и девятнадцатый — тоже. Чаще всего мы забывали, что наша история выглядела как оборона на Западе и наступление на Востоке.

Соглашение с Англией можно было рассматривать двояко: или как общий договор, нацеленный против Германии, или как укрепление восточных позиций для «культурной работы» (Столыпин).

Председатель Совета министров и Николай были сторонниками второго подхода. Но они не смогли удержать государственную политику в желаемом направлении.

Русская интеллигенция считала, что англо-французский союз несет «свободу», а союз с Германией — «реакционность». Как только было подписано русско-английское соглашение, так в русской и английской печати прокатились антигерманские статьи. С какой целью?

Историк С.С. Ольденбург пишет о «могущественных влияниях», увлекавших Россию на путь конфронтации с Германией. Он указывает на Думу, приводит



статью П. Б. Струве «Великая Россия»: «Для создания Великой России есть только один путь: направить все силы на ту область, которая действительно доступна реальному влиянию русской культуры. Эта область — весь бассейн Черного моря, т.е. все европейские и азиатские страны, выходящие к Черному морю».

Отсюда — рукой подать до идеи Проливов, благодаря которой подготовили общественное мнение и ввергли Россию в войну.

Конечно, вся идея ближневосточной политики была не новой. Просто все основательно забыли, что ее проводил Николай I, при жизни которого завершилась поражением и позором Крымская война (с Англией же, Францией и Турцией), а также Александр II, который торжествовал победу в Болгарии и испытал позор Берлинского конгресса, где Европа, объединившись, низвела его торжество до унизительного полууспеха.

Теперь русское просвещенное общество вдруг поворачивалось к пройденному. А правительство — не хочет, не верит старым призывам. И снова — разноголосица.

Но кто же прав: правительство или общество?

Здесь надо вспомнить одно замечание графа Ламздорфа, предшественника Извольского на посту министра иностранных дел.

«Наше сближение с Францией и проистекающее отсюда пресловутое равновесие сил в Европе... на долгое время упрочивает разделение великих держав на два вооруженных до зубов лагеря, которые постоянно подстерегают друг друга и готовятся напасть друг на друга в ущерб безопасности и благосостоянию народов. Бог знает, не было ли бы для нас лучше понемногу изменить свою тактику? Какое имеет для нас, в сущности, значение, что немецкие социалисты и французские динамитчики ссорятся между собой, дерутся и стараются друг друга истребить? За это время Россия могла бы обеспечить себе лучшие условия для быстрого урегулирования своих жизненно-важных интересов на Балканах, в проливах и в других местах своих интересов, от которых зависит ее будущее и мирное развитие ее могущества. Бояться полного разгрома Франции при той материальной мощи, которой она обладает, неосновательно, насколько бы мощной и вооруженной ни была Германия, в войне она приобретет

не «провинцию Францию», а беспощадного врага, который надолго ее свяжет... Вместо того чтобы систематически ссориться с немцами и донкихотствовать в пользу французов, мы должны были бы договориться с ними о нашем нейтралитете, необходимом для них обоих; мы могли бы его обещать при условии предоставления нам известной свободы действий на Востоке. После этого нам оставалось бы только заниматься нашими собственными делами, предоставив другим устраивать свои дела между собой. Им понадобилось на это не менее столетия!..»

Но о Ламздорфе не вспомнили.

Вскоре разыгравшиеся вокруг боснийского кризиса события показали, что России, как и в прошлом, нечего уповать на благосклонность союзников.

В январе 1908 года австро-венгерский министр иностранных дел Эренталь объявил, что поднят вопрос об австрийской концессии на строительство железной дороги через Новобазарский санджак. В этой турецкой провинции, отделявшей Сербию от Черногории, Вена имела право держать только небольшие гарнизоны. Новая железнодорожная линия должна была пройти параллельно старой, шедшей через Сербию, давала Австрии экономическое преимущество, прямой путь до Эгейского моря.

Это не укладывалось в рамки согласованной австро-русской политики, и, как пишет С. С. Ольденбург, «это был первый ход в шахматной партии, которая впоследствии привела к мировой войне».

И вот что любопытно. Русская печать резко отозвалась на попытку нарушить равновесие, задевавшую интересы России, а германский посол Пурталес поспешил объяснить это ростом «реакционных течений» и «панславистскими планами».

Как видим, для того чтобы скомпрометировать защиту национальных интересов, с легкостью используется жупел «реакционности и национализма». «Панслависты» в устах германского дипломата — это славянский национализм.

А. П. Извольский посчитал нужным в ноте германскому МИДу уточнить: «Международные соглашения, подписанные нами с единственной целью оберечь себя от осложнений в Азии, не содержат какого-либо острия против Германии».

Впрочем, русские газеты не стесняются в антигерманских и антиавстрийских публикациях.



В противовес австрийскому Россия выдвинула свой проект железной дороги — из Румынии через Сербию к Адриатическому морю. Кайзер обещал его поддержать, что можно было рассматривать как жест доброй воли накануне заключения англо-русского договора.

Еще во время майского свидания английского короля Эдуарда VII и Николая в Ревеле вокруг царской яхты «Штандарт» плавали лодки, в которых сидели седовласые члены местного немецкого певческого общества и под присмотром агентов тайной полиции пели немецкие патриотические песни. Словно просили не забывать о Германии.

Однако договор с Англией, конечно, был заключен, а обстановка на Балканах осталась непроясненной. К тому же в начале июля в Турции началась революция, направляемая офицерами-националистами («младотурками»), судьба балканских провинций Турции стала очень неопределенной. Начались разговоры о «турецком наследстве».

3 сентября Извольский встретился с Эренталем в замке Бухлау в Богемии, где случилось то, что можно назвать «вторым шахматным ходом». Об этой встрече много говорилось. В результате ее Австрия получила возможность аннексировать Боснию и Герцеговину, а Извольский потерял свой портфель.

Начать рассказ об этом эпизоде лучше со слов самого Извольского:

«Напрасно «Новое время», а за ним и вся Россия считали, что мой австрийский коллега Эренталь меня провел, что я не показал достаточной твердости в защите славянских интересов. Зная, насколько сильна позиция Австро-Венгрии в этом вопросе (Босния и Герцеговина находились под протекторами Австрии по Берлинскому договору 1878 года), я перед отъездом на свидание в Бухлау зашел к нашему военному министру и поставил ему простой вопрос: готовы ли мы к войне или нет? И когда он мне объяснил, что русская армия еще не успела залечить маньчжурских ран, я понял, что, кроме дипломатической лавировки, мне ничего не остается делать и я ничем не смею угрожать. Вот и весь секрет. Я предпочел пожертвовать собой, принять на себя потоки грязи, чем рисковать втравить Россию в войну с Австрией». *(А. А. Игнатьев. «Пятьдесят лет в строю»).*

Есть и другая точка зрения. Согласно ей Александр Петрович Извольский, умный, безгранично честолю-

бивый дипломат, поступил в Бухлау самонадеянно. Там была «волшебная обстановка» — пиры, охоты, концерты, женщины. В удобный час, на охоте, Эренталь сказал ему:

— Возможна аннексия Боснии и Герцеговины. Да, конечно, это похоже на авантюру, могут быть осложнения. Но на предстоящем съезде делегаций в Будапеште народные представителя пожелают озарить розовым светом закат дней своего маститого императора. Скажите прямо, возможна ли война?

Извольский ответил:

— Поднятие этого вопроса крайне нежелательно. Но войны из-за него мы не объявим, а потребуем соответствующей компенсации: признать независимость Болгарии, уступки в пользу Черногории, выход Сербии к Адриатическому морю и разрешение вопроса о Проливах в желательном для России смысле.

Эренталь поспешил согласиться. Главного он достиг: Россия не собиралась воевать, его руки были развязаны.

По-видимому, Извольский считал, что все эти перемены будут приняты на международной конференции, но просчитался: Эренталь уже 24 сентября объявил на съезде делегаций об аннексии Боснии и Герцеговины, одновременно князь Фердинанд провозгласил полную независимость Болгарии и принял титул царя. Последствия самонадеянности Извольскго были налицо. Без каких бы то ни было переговоров, без соблюдения интересов России Австро-Венгрия делала решительный шаг к расширению влияния на Балканах.

В России были возмущены. Началась кампания протеста, осуждения действий правительства, призывов бороться с аннексией. «Вестник Европы» писал о том, что «вырвать эти области из австрийских рук можно было бы теперь, как и раньше, не иначе как путем победоносной войны». Неожиданно должны были вступать в силу все европейские союзы.

Франция и Англия не одобряли нарушение Берлинского трактата и поддержали русские заявления о необходимости международной конференции. При этом Англия была против компенсации, на которую уповал Извольский, — на свободное плавание через Проливы.

Германия же твердо встала на сторону Вены.

Что получалось? С одной стороны — Россия и Франция, с другой — Австро-Венгрия и Германия.



И в отдалении — пекущаяся о своих интересах и не желающая связывать себе руки «владычица морей».

Такой же расклад сил был и в 1914 году. Весной 1909 года Босния и Герцеговина были аннексированы. Столыпин сделал все, чтобы избежать войны.

«Пока я у власти, я сделаю все, что в силах человеческих, чтобы не допустить Россию до войны, пока не осуществлена целиком программа, дающая ей внутреннее оздоровление. Не можем мы меряться с внешним врагом, пока не уничтожены злейшие внутренние враги величия России — эсеры. Пока же не будет проведена полностью аграрная реформа, они будут иметь силу, пока они существуют, они никогда не упустят ни одного удобного случая для уничтожения нашей Родины, а чем же могут быть созданы более благоприятные условия для смуты, чем войной?»

Прагматизмом веет от этих слов. «Никакой жертвы!» — как будто призывает Реформатор вопреки традиции.

Вспомним другой подход, когда генерал Скобелев говорил, что Россия — единственная страна в мире, позволяющая себе роскошь воевать из чувства сострадания.

«А как же братья-славяне? — вопрошали Столыпина отовсюду, справа и слева. — Неужели мы их бросим на произвол судьбы?»

Но Столыпин не уступал никаким доводам в пользу войны.

Он не обольщался насчет возможных союзников, считал, что во Франции нет ни любви, ни уважения к России, только страх перед Германией толкает ее к военному союзу; Англия видит в России постоянно усиливающегося соперника, поэтому больше всех ненавидит Россию и будет искренне радоваться, если когда-нибудь в России падет монархия, а сама Россия не будет больше великим государством и распадется на целый ряд самостоятельных республик.

Боснийский кризис еще раз подчеркнул главнейшую геополитическую идею, которой должно было жить российское государство, — у него не могло быть постоянных союзников в Европе, особенно опасным было вовлечение в какую-либо группировку в качестве ударной силы, «русского парового катка».

Если вспомнить Первую мировую войну, начав-

шуюся тоже по «балканскому сценарию», то бросается в глаза нервозная обстановка, в которой принималось катастрофическое решение о всеобщей мобилизации. На заседании Совета министров 25 июля Николай одобрил частичную мобилизацию потому, что «великие державы могли провести у себя частичную мобилизацию, не доводя тем самым до войны. Это в течение предшествовавших лет несколько раз имело место в Австрии и России». 27 июля Николай направил министру иностранных дел С. Д. Сазонову письмо о передаче конфликта на рассмотрение Гаагского Трибунала. «Может быть, еще не упущен момент, пока не произойдут непоправимые события, — писал Николай. — Я еще не потерял надежды на мир».

Однако давление военной партии, которую возглавлял великий князь Николай Николаевич, женатый на дочери черногорского князя Анастасии, оказались сильнее. А Столыпина уже не было в живых.

Чем же был боснийский кризис для России?

Столкновением двух принципов. Победил принцип Столыпина.

Накануне ревельской англо-русской встречи к полковнику Герасимову обратился Азеф с предупреждением: государь император намерен ехать поездом, а не яхтой, и в связи с этим на него готовится покушение. Герасимов ничего не знал об этом и усомнился в достоверности сведений. Однако Азеф был лучше информирован, чем глава петербургской тайной полиции. Действительно, оказалось, императрице Александре Федоровне нездоровилось и она не пожелала плыть по морю. Как ни странно, Столыпин тоже ничего не знал. Как же случилось, что террористам об этом стало известно раньше всех? Азеф уклончиво ответил, что их осведомляет один очень высокопоставленный чин из Министерства путей сообщения. На настойчивые расспросы Герасимова он отвечал уклончиво и в конце концов сказал, что не назовет его имени, ибо не хочет быть разоблаченным, но свое обещание выполнит — покушение расстроит. И Азеф расстроил планы террористов, как это делал раньше не раз. Нападение на царский поезд не могло состояться, ибо Азеф задержал условную телеграмму о выходе поезда и передал ее боевикам с опозданием.



Это было последнее дело выдающегося агента тайной полиции, он попросился на отдых. Герасимов не удерживал его, понимая: тот находится на пределе; только попросил хоть изредка информировать о наиболее важных событиях. Азеф согласился. Ему продолжало идти жалованье — 1000 рублей в месяц, что походило на пенсион.

Письма от него приходили нечасто, ничего особенного в них не было. Герасимову стало известно, что Азефу приходится несладко, многие его подозревают, но все же эсеровский ЦК пока ему доверяет. Впрочем, осенью 1908 г. положение изменилось: Азеф сообщил, что начался суд между ним и В. Л. Бурцевым, в прошлом террористом, ныне журналистом; он не сомневался, что суд закончится благополучно, так как все партийные лидеры безоговорочно верят ему.

Тогда никто не ведал, что Бурцев получил сильнейшее доказательство предательства Азефа. Для этого ему пришлось организовать небывалое дело: похитить дочь бывшего директора департамента полиции А.А. Лопухина, о чем мы уже упоминали.

Вечером в толпе возле одного лондонского театра девушка была оттеснена от гувернантки и исчезла. Лопухин находился в Париже. Ему передали записку о случившемся, и он поехал в Лондон. Можно представить положение отца. Обращаться за помощью было не к кому, он знал, с кем имеет дело, не приходилось рассчитывать и на сострадание. Надо было попытаться договорится.

В купе к Лопухину вошел незнакомый мужчина, спросил:

— Алексей Александрович? Я Владимир Львович Бурцев, надо потолковать.

Бурцев потребовал в обмен на дочь назвать имя агента в руководстве эсеровской партии.

Как быть?

Лопухин считался человеком долга, сам ходил под угрозой покушения, от чего, кстати, его избавил Азеф, и, бесспорно, понимал, что Бурцев предлагает ему совершить предательство.

Но с другой стороны — жизнь дочери.

Эсеры пользовались бесчеловечным, запрещенным приемом. Лопухин мог, наверное, пожертвовать собой, а распоряжаться жизнью дочери было выше его сил.

Он сообщил Бурцеву имя агента.

На следующий день в лондонскую гостиницу при-

везли лопухинскую дочь, живую и невредимую. Теперь Азеф был обречен.

В ноябре он неожиданно появился у Герасимова в петербургской секретной квартире. Пришел прямо с поезда, ища спасения. Теперь это был не уверенный, знающий себе цену человек, а затравленное, жалкое существо.

Герасимов, выслушав рассказ, не поверил. Революционный суд уже вот-вот был готов оправдать Азефа и заклеймить Бурцева как клеветника, когда вдруг Бурцев объявил о новом важнейшем свидетеле. Суд был отложен, чтобы проверить доводы Бурцева. Тем временем Азеф смог узнать имя того свидетеля. Лопухин. Тот самый, который когда-то лично встречался с Азефом. Если он подтвердит на суде то, что говорил Бурцеву, Азеф обречен, смертного приговора ему не избежать. Но если на Лопухина повлиять, чтобы он отказался от своих слов, тогда еще можно спастись.

Азеф был совсем разбит и расплакался, не зная, как спастись.

Но Герасимов не мог представить, что могло заставить Лопухина «преступить долг и пренебречь сохранением служебной тайны».

— Это недоразумение, — сказал Герасимов. — Этого не может быть. Вам надо пойти к Лопухину и выяснить с ним все дело. Вместе все уладите.

Азеф продолжал всхлипывать. Для него, по-видимому, все было кончено. Уже выйдя из игры, он был настигнут расплатой, которой боялся много лет. Зачем идти к Лопухину? Что это даст?

Но Герасимов настаивал, и Азефу ничего не оставалось, как согласиться.

Герасимов, волнуясь, ждал его возвращения. Нет, он не верил Лопухину, — но вдруг?

Азеф пришел еще подавленнее, чем прежде. Лопухин не стал с ним разговаривать, не пустил дальше прихожей.

— Он выдаст меня, — твердил Азеф.

Герасимов, однако, еще не верил и решил сам пойти к Лопухину.

Пришел уже в сумерках, вошел в кабинет. Герасимов сказал, что озабочен делом Азефа.

Лопухин не стал лукавить, назвал Азефа негодяем и добавил, что для него не будет ничего делать.

Но Герасимов не оставлял надежды убедить бывшего сослуживца, напомнил, что Азеф спас тому жизнь и что у Азефа есть жена и дети.



Лопухин при упоминании о детях разволновался, но ответил, что Азеф вел преступную двойную игру, предавая всех, а теперь пора положить конец этой лжи и предательству.

Что было делать Герасимову? Он понял, что Лопухин прав, тем не менее с чиновничьей настойчивостью продолжал уговаривать собеседника. Теперь это были другие аргументы: служебная тайна, долг, ответственность, бремя вины за предстоящее убийство Азефа. И последнее: неужели вы будете участвовать в революционной, кровавой расправе?

Надо учесть, что говорил представитель спецслужб с отступником. И у него даже мысли не появлялось использовать силу, пригрозить арестом, а то и физическим уничтожением. Да, конечно, было убийство Черняка тайным агентом Викторовым, но там устраняли террориста. Там — необъявленная война. А здесь — разговор своих, другие правила.

Лопухин не уступил. Почему? Герасимов предполагал, что он зашел слишком далеко, но уже не мог вернуться назад.

На прощание Лопухин заявил, что перед революционным судом не появится; но, если его спросят, скажет об Азефе правду. Все яснее ясного. Тем не менее Герасимов, уже убедившийся в решении Лопухина предать Азефа, больше не пытался изменить ход событий. Ареста не последовало.

Герасимов дал Азефу фальшивые паспорта, деньги и простился навсегда. (Азефу удалось скрыться; он поселился в Берлине под именем Александра Неймайера, купца, и прожил там остаток жизни).

Лопухин же после встречи с Герасимовым стал готовиться к отъезду за границу. Почему он не пытался избежать встречи с похитителями дочери? Неужели, дав им слово, не хотел его нарушить? Думается, объяснение лежит в другой плоскости: он знал, что в случае обмана не сможет укрыться от их мести.

Герасимов докладывал Столыпину каждый день и, понятно, не скрывал от премьера и разговора с Лопухиным. Наверняка, они обсуждали возможные последствия эсеровского суда над Азефом. Выпускать ли Лопухина? Что вскроется на суде? Кому это выгодно? На эти вопросы надо было отвечать.

По-видимому, они решили не препятствовать Ло-

пухину, ибо результат суда можно было использовать как сильное доказательство бесперспективности террора и мощи государства. (Судьба бывшего агента при этом, конечно, не учитывалась).

Лопухина не удерживали, только приставили к нему наблюдение, и вместе с внимательными попутчиками-соотечественниками он прибыл в Лондон, где встречался с членами ЦК партии эсеров Савинковым, Черновым, Аргуновым (Вороновичем). Теперь можно было не сомневаться в его предательстве. Он особо и не таился, послав Столыпину письмо, в котором обвинял Герасимова в моральном насилии и просил оградить семью от полиции.

Вскоре в печати появился приговор ЦК «предателю и провокатору» Азефу, и вся Европа с упоением читала в газетах статьи о небывалом коварстве российской полиции.

Но, начав кампанию по разоблачению руководителя боевой организации и члена ЦК Азефа, эсеры быстро поняли, что ведут кампанию против себя. Несколько террористов даже покончили с собой. Можно попытаться понять их, этих выломившихся из обычной жизни людей, тешившихся иллюзией своей исключительности. Какими бы убийцами они ни были, в действительности они не могли считать себя таковыми. Теперь их «героизм» оказывался всего-навсего фарсом, разрешенным тайной полицией. Вероятно и другое предположение: самоубийцы могли быть осведомителями менее крупного уровня, чем Азеф, но испугались разоблачения.

Бурцевское расследование нанесло партии эсеров тяжелый удар. Надо было как-то объясняться с русской общественностью.

Между тем Лопухин как ни в чем не бывало вернулся в Россию и не делал никаких попыток оправдаться. С ним тоже надо было что-то делать.

Заметим, что во всей этой истории с обеих сторон, несмотря на необъявленную войну, проявилось много патриархальности. Эсеры судят Азефа, но не пытаются его задержать. Герасимов не уповает на силу, а уговаривает Лопухина не выдавать агента. Лопухин не старается избежать наказания и укрыться. Бурцев публикует свои обличения, не думая о последствиях. Если вспомним поведение самого Столыпина перед полетом на аэроплане капитана Мациевича, то картина получится достаточно полной.



Итак, Лопухин вернулся. Факт измены налицо, и теперь можно производить арест. Через несколько дней Лопухина арестовали: после того, как Николай велел начать судебное преследование. Государь император, которому Столыпин вынужден был доложить и про Азефа, и про поездку Лопухина в Лондон, был взбешен.

В феврале 1909 года Лопухина приговорили к четырем годам каторги за разглашение служебной тайны и сотрудничество с эсерами. О похищении дочери он не сказал и в глазах либеральной публики выглядел героем, боровшимся с царскими сатрапами. Сенат смягчил приговор, заменив каторгу пожизненной ссылкой. Через четыре года он после амнистии в честь трехсотлетия династии вернулся в Петербург. Впрочем, драма Лопухина прошла для истории незамеченной, заслоненная шумной кампанией против правительства, развернувшейся в России из-за раскрытия Азефа.

Еще до ареста Лопухина в «Юманите» писалось: «Очевидно, правительство чувствует себя виноватым в деле Азефа, так как не решается задержать Лопухина. В любой стране государственный чиновник, выдавший вверенную ему служебную тайну, был бы немедленно арестован и соответственно наказан».

В Думе социал-демократы и трудовики сделали запрос, в котором прямо говорилось, что полиция сама организовала террор через своих агентов «в целях усиления реакции и для оправдания исключительных положений».

Октябристы заявили: «Благодаря делу Азефа партия социал-революционеров потерпела страшное поражение, и теперь она хочет выместить свою злобу».

Столыпин 11 февраля выступил в Думе с большой речью, отвечая за запрос. Прежде всего он сказал, что само определение «провокация» в деле Азефа неприменимо, его используют революционеры для собственной выгоды.

«Правительство должно совершенно открыто заявить, — подчеркивал Столыпин, — что оно считает провокатором такое лицо, которое само принимает на себя инициативу преступления, вовлекая в эти преступления третьих лиц... Точно так же трудно допустить провокацию в среде закоренелых революционеров, в среде террористов, которые принимали сами участие в кровавом терроре и вовлекали в эти преступления множество лиц...

Кто же такой Азеф?.. По расследовании всего материала, имеющегося в Министерстве внутренних дел, оказывается, что Азеф в 1892 году живет в Екатеринославе, затем он переезжает за границу, в Карлсруэ, кончает там курс наук со степенью инженера, в 1899 году переселяется в Москву и остается там до 1901 года. После этого он уезжает за границу, где и остается до последнего времени, иногда только наезжая в Россию, о чем я буду говорить дальше.

Отношение его к революции, опять-таки, конечно, по данным департамента полиции, таково: в 1892 году он в Екатеринославе принадлежит к социал-демократической организации, затем, переехав за границу, вступает в ряды только что сформировавшегося союза российских социал-революционеров, затем в Москве он примыкает к московской революционной организации, упрочивает там свои связи и сходится с руководителем этой организации Аргуновым. К 1902 году, опять-таки, конечно, по данным департамента полиции, относится его первое знакомство с Гершуни, Гоцом и Виктором Черновым. Это — люди революционного центра. Первые двое играли главнейшую роль в революции — Гоц в качестве инструктора, а Гершуни — в качестве организатора всех террористических актов.

В это время влияние Азефа растет, растет именно благодаря этим влиятельным знакомствам, в это время он получает и некоторую случайную, но, благодаря именно этим связям, ценную для департамента полиции осведомленность. К концу 1904 года и относится вступление Азефа в заграничный комитет партии. Заграничный комитет не есть еще тот центральный комитет, который дает директивы и руководит всеми действиями революционеров. В это время, после ареста в 1903 году Гершуни, опять-таки по сведениям департамента полиции, во главе боевого дела партии находится Борис Савинков, и только после ареста Савинкова, с 1906 года, Азеф, уже в качестве члена центрального комитета, подходит ближе к боевому делу и становится представителем этой организации центрального комитета.

Таким образом, с мая месяца 1906 года, по сведениям департамента полиции, Азеф получает полную осведомленность о всех террористических предприятиях, а до этого времени осведомленность его была случайная и далеко не полная...



В число сотрудников (полиции) Азеф был принят еще в 1892 году. Конечно, временами, когда Азефа начинали подозревать в партии или после крупных арестов, которые колебали его положение, он временно отходил от агентуры, но потом опять приближался к ней.

Вот, господа, после выяснения отношения Азефа к службе розыска и революции, позвольте мне перейти к террористическим актам того времени... Все данные департамента полиции с большой яркостью указывают на то, что главари революционных организаций для того, чтобы укрепить волю лица, непосредственно исполняющего террористический акт, для того, чтобы поднять его дух, всегда сами находятся на месте преступления. Так, Гершуни был на Исаакиевской площади во время убийства егермейстера Сипягина (министр внутренних дел. — *Авт.*). Он был на Невском рядом с поручиком Григорьевым во время неудачного посягательства на обер-прокурора Победоносцева. Он был в Уфе во время убийства губернатора Богдановича, он сидел в саду «Тиволи» в Харькове во время покушения Фомы Качуры на князя Оболенского и даже подтолкнул его, когда заметил в последнюю минуту с его стороны колебание.

Точно так же Борис Савинков во время убийства статс-секретаря Плеве и великого князя Сергея Александровича, во время замышлявшегося покушения на генерала Трепова и во время метания бомб в Севастополе на Соборной площади в генерала Неплюева был на месте преступления. Поэтому, изучая отношение Азефа к преступным деяниям, необходимо наряду с другими обстоятельствами иметь в виду и этот террористический прием, обычный и, очевидно, свойственный руководителям террористических актов в России.

...К этому 1902 году относится первоначальное знакомство Азефа с Гершуни, и тогда же немедленно Азеф сообщает департаменту полиции о преобладающей роли некоего Гранина, того же Гершуни, в революционных организациях, а затем изобличает всю подавляющую роль Гершуни в террористических действиях России за эти годы».

Столыпин приподнимал завесу тайны. Еще никогда глава правительства не рассказывал публично о необъявленной войне. Постепенно становится понятно, что вовсе не Азеф главный персонаж в этой речи,

а трагедия, которая сопутствует реформам. Бомбы, выстрелы, жертвы террора, сообщения Азефа, имена убитых — все эти сведения отходят на второй план. Перед депутатами Думы — панорама битвы. Сошлись две силы, одна из них погибнет.

Столыпин сообщает еще об одном донесении Азефа — о конференции в Париже всех революционных и оппозиционных партий, на которой присутствовали и кадеты, в том числе депутат Павел Милюков. Столыпин сознательно бьет по своим политическим противникам.

Затем председатель Совета министров итожит деятельность Азефа:

«Я утверждаю, что с того времени все революционные покушения, все замыслы центрального комитета расстраиваются, и ни одно из них не получает осуществления. Указание в запросе на покушение на министра внутренних дел Дурново неосновательно, так как оно, собственно говоря, и открыто с участием Азефа. Затем дальше идет поражающий ряд преступлений: покушение на Дубасова, взрыв на Аптекарском острове, ограбление в Фонарном переулке, убийство Мина, убийство Павлова, убийство графа Игнатьева, Лауница, Максимовского. Но все эти преступления удаются благодаря тому, что они являются делом совершенно автономных, совершенно самостоятельных организаций, не имеющих ничего общего с центральным комитетом. Это удостоверено и процессами, это удостоверяется и данными из революционных источников. Орган социалистов-революционеров № 4 «Революционной мысли» за 1909 г. указывает на «полное бессилие партии в смысле боевой деятельности» в такие решительные моменты, как конец 1905 г. и кровавый период, последовавший за разгоном Первой Думы, каковые данные свидетельствовали, что в центре партии существовала измена, сознательно парализующая все усилия партии в сторону широкого террора».

И Столыпин делает вывод, что дело Азефа «очень печально и тяжело, но никак не для правительства, а для революционной партии».

Затем он словно обращается с думской трибуны к молодежи, нетерпеливой, настроенной идеалистически, желающей быстрых перемен, и говорит:

«Поэтому я думаю, что, насколько правительству полезен в этом деле свет, настолько же для революции необходима тьма. Вообразите, господа, весь ужас увлеченного на преступный путь, но идейного, готового жертвовать собой юноши или девушки, когда перед ними обнаружится вся грязь верхов революции. Не выгоднее ли революции распускать чудовищные легендарные слухи о преступлениях правительства, переложить на правительство весь одиум дела, обвинить его агентов в преступных происках, которые деморализуют и членов революционных партий и саму революцию?»



Герасимов с проницательностью сыщика отмечал в своих мемуарах: «А трудно себе представить, что случилось бы с Россией, если бы террористам удалось в 1906 — 1907 годах совершить два-три удачных «центральных» террористических акта. Надо знать, какое смятение вносили такие террористические акты в ряды правительства. Все министры — люди, и все они дорожат своей жизнью. Растерянность правительства в 1904 — 1905 годах во многом объяснялась паникой, созданной успешными покушениями на Плеве и великого князя Сергея Александровича. Если бы в дни Первой Государственной Думы был бы убит Столыпин, если бы удалось покушение на государя, развитие России сорвалось бы гораздо раньше».

В думской речи Столыпин счел также уместным предупредить общество от иллюзий, будто «достаточно медленно выздоравливающую Россию подкрасить румянами всевозможных вольностей, и она станет здоровой».

Он закончил выступление словами о том, что правительство ничто не остановит в созидательной работе, что пусть оно и погибнет, но цель будет достигнута — будет построено здание обновленной, свободной в лучшем смысле этого слова, свободной от нищеты, от невежества, от бесправия России.

После столыпинской речи думские прения пошли на убыль. Большинство признало его объяснения исчерпывающими.

Боевая организация террористов была морально уничтожена и уже никогда не воскресла.

Конец Азефа означал не только начало новой страницы в угасании революционной ситуации: он совпал с идейной переоценкой традиционных взглядов русской интеллигенции. Весной того же года вышел сборник «Вехи». Его авторы Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков,

М. О. Гершензон, П. Б. Струве, С. А. Франк, Б. А. Кистяковский и другие не были связаны никакой партийной программой. В предисловии писалось: «Революция 1905 года и последовавшие за ней события явились как бы всенародным испытанием тех ценностей, которые более полувека, как высшую святыню, блюла наша общественная мысль». Другими словами, «Вехи» показывали, что часть интеллигенции отказывалась от противостояния власти.

Бердяев писал, что интеллигенция интересовалась не Истиной, а способом доказать свои политические взгляды. Булгаков — что революция — это «исторический суд над интеллигенцией». Он считал бесплодным путь богоборческого героизма и противопоставлял ему смирение русских святых и подвижников. (Эту мысль в современной трактовке можно передать как противопоставление: революция — эволюция. Столыпинский путь, бесспорно, опирался на подобную философию.)

Гершензон смотрел на исторические факты и видел исток трагедии в оторванности интеллигенции от народа. «Мы не люди, а калеки, сонмище больных, изолированных в родной стране — вот что такое русская интеллигенция... Мы для него (народа) не грабители, как свой брат деревенский кулак, мы для него даже не просто чужие, как турок или француз; он видит наше человеческое и именно русское обличье, но не чувствует в нас человеческой души и потому ненавидит нас страстно... Каковы мы есть, нам не только нельзя мечтать о слиянии с народом — бояться мы его должны, пуще всех козней власти и благословлять эту власть, которая одна своими штыками и тюрьмами еще ограждает нас от ярости народной».

Прочитав эти слова, хочется воскликнуть: «Да ведь это капитуляция перед силой государства! Измена своим идеалам!»

Разве такое восклицание не будет правдой?

Нет, это правда.

«Вехи» отказывались от вековой традиции, идущей еще со времен Петра Великого, когда к российскому организму был привит росток западной культуры. Индивидуализм русской интеллигенции противостоял коллективизму русского народа. Эта историческая драма осознавалась русским обществом в диалоге западников и славянофилов, однако власти всегда смотрели на последних подозрительно. Характерно, что



Столыпин, чье детство и отрочество прошли в период наивысшего подъема славянофильского духа, происходившего в годы русско-турецкой войны за освобождение Болгарии, выражал более глубокие, традиционные взгляды русского народа в отличие от своих политических противников. По сути, «Вехи» знаменовали осознание частью интеллигенции плодотворности его выбора (с учетом, конечно, отрицания Реформатором средневековой патриархальности).

Показательна статья Франка, в которой он говорил, что русский интеллигент — это «воинствующий монах нигилистической религии земного благополучия», то есть человек, лишенный души. Как пример морального нигилизма и неуважения к праву в сборнике напечатаны слова Ленина на съезде социал-демократов в 1903 г. о необходимости сурового подавления несогласных даже внутри собственной партии.

Казалось бы, что в «Вехах» особенного? Эти мысли уже были известны, подобные предостережения высказывались и раньше. Но сборник был, как бомба в стане либералов. Он стал модным. В нем было то, что позволяло интеллигенции, наконец, почувствовать себя не заложником, не рабом старых традиций, а иметь возможность выбора — путем сотрудничества личности с обществом. «Вехи» закладывали новый подход в философии русской интеллигенции. Неспроста вся левая печать обрушилась на них с уничтожающей критикой («Слепые вожди слепых», «Творцы нового шума», «Обнялись с божественностью» и т. д.). П. Н. Милюков даже издал целый сборник статей против «Вех».

## ГЛАВА 12

Вообще 1909 г. — высшая точка в судьбе Реформатора. И одновременно — начало заката.

Первый признак отрицательных перемен еще не был осязаем, был воспринят как простое недопонимание между ним и Николаем. Разговор касался некоего Григория Распутина.

В конце 1908 г. Герасимов от дворцового коменданта Дедюлина узнал, что на квартире фрейлины Вырубовой представлен государыне Александре Федоровне «старец» Распутин. Дедюлин заподозрил в нем возможного террориста, искавшего доступ в царский дво-

рец. Герасимов установил за Распутиным слежку и навел справки о его прошлом. Сведения получил неутешительные. Сибирские жандармы докладывали, что за «старцем» числятся кражи и грабежи. Филеры доносили о его посещениях притонов, связях с проститутками, разгулах. Вместо «террориста» Герасимов получил развратника.

Герасимов сообщил об открытии Столыпину, полагая, что тот знает о Распутине. Но ни о каком Распутине Столыпин даже не слышал, а услышав, был поражен. Не хватало властям в смутный период еще беспутника в сердце империи!

Герасимов стал его утешать на свой лад, считая все же, что террорист был бы хуже.

Столыпин рассуждал по-другому. Царь не имел права ронять свой моральный авторитет, жизнь его семьи должна быть чиста, как хрусталь; если погибнет авторитет, может случиться самое плохое.

Еще далеко было до обличений с думской трибуны, когда Гучков в достаточно понятных выражениях осуждал «высшие сферы» за связь с Распутиным.

Столыпин решил действовать быстро и во время ближайшего доклада Николаю, волнуясь оттого, что вторгается в личную жизнь царя, спросил:

— Знакомо ли вашему величеству имя Григория Распутина?

Николай помолчал, потом спокойно ответил:

— Да, государыня рассказывала мне, что несколько раз встречала его у Вырубовой. Это странник, он много ходил по святым местам, хорошо знает писание.

Столыпин продолжал расспрашивать:

— А Ваше величество с ним не встречались?

— Нет, — коротко ответил Николай.

И тут Столыпин переступил грань приличия и, почувствовав неуверенность в голосе царя, спросил:

— Простите, Ваше величество, но мне доложили иное.

Никто ему не докладывал. Герасимов говорил только об императрице.

— Кто же доложил это иное? — спросил Николай.

— Генерал Герасимов.

Николай отвел взгляд, поколебавшись, с усмешкой сказал:

— Но если генерал Герасимов так доложил, я не буду оспаривать. Действительно, государыня уговорила меня, я видел его два раза... Но почему это вас интересует? Это моя личная жизнь, ничего общего с политикой не имеющая. Разве у нас не могут быть личные знакомые?



Беспомощность и смущение Николая тронули Столыпина. Он не ожидал, что самодержец, чья жизнь и без того была под постоянным наблюдением охраны, будет поставлен его расспросами в неловкое положение. Со свойственной ему прямотой Петр Аркадьевич сказал, что государь возвышается над всей страной и весь народ смотрит на него. Поэтому нельзя соприкасаться ни с чем нечистым. И Столыпин, как наставник, выложил все собранные полицией сведения о Распутине.

Николай не сразу поверил, переспрашивал. Потом как будто согласился, что на самом деле ему нельзя встречаться со «старцем», и пообещал, что больше встречаться не будет.

На обратном пути из Царского Села в Петербург Столыпин пересказывал Герасимову разговор с Николаем. Он был и взволнован, и удовлетворен, словно проделал тяжелую работу.

Герасимов же сомневался, спросил, не пообещал ли Николай, что и царица не будет встречаться с Распутиным? А такого обещания не было. Поэтому Герасимов, в отличие от премьер-министра, отнесся к рассказу Столыпина скептически.

Он приказал усилить наблюдение за Распутиным. И что же? Ошибки не было, агенты передали, что «старец» зачастил к фрейлине Вырубовой, где несколько раз встречался с царицей.

Теперь стало ясно, что с Распутиным нужно бороться самим. Вторично обращаться в Царское Село было бессмысленно. Но разве у председателя Совета министров и одновременно министра внутренних дел не было никаких прав? Герасимов предложил выслать Распутина в административном порядке в Сибирь. Он нашел старый закон, позволяющий министру внутренних дел высылать мошенников, пьяниц, развратников. Этот закон давно не применялся, но отменен не был.

Столыпин согласился не сразу. Он понимал, что, выслав Распутина, рискует в случае огласки замарать имя царицы. Однако был ли у него другой выход?

Он дал согласие с одним условием: арест не должен происходить в Царском Селе.

Герасимов постарался сделать все, чтобы сохранить замысел в тайне. Постановление о высылке было написано им собственноручно, им же самим принесено Столыпину на подпись. Оба они походили на заговорщиков.

Постановление вручили агентам, и вот-вот колесо государственной полицейской машины должно было подхватить Распутина.

Агенты ждали случая, дежурили возле его квартиры. Прошел день, другой, третий. Распутин не появлялся. Однажды его засекли в Царском Селе у Вырубовой. Арестовывать в Царском Селе было запрещено, поэтому позвонили Герасимову, и тот велел брать «старца» по возвращении в Петербург прямо на вокзале. Теперь уж, казалось, не уйдет.

Когда поезд, замедляя ход, подошел к вокзальному дебаркадеру, двери одного вагона распахнулись, и на перрон выскочил господин в длинной шубе. Подобрав полы, он бегом кинулся к выходу, где его ждал автомобиль великого князя Петра Николаевича. За ним бежало несколько мужчин. В двух шагах от автомобиля они остановились. Распутин ускользнул. Преследователи снова не решились арестовать его, только проследили за ним до великокняжеского дворца.

Дело принимало анекдотическую окраску, глава правительства оказывался бессилен.

Агенты караулили все выходы из великокняжеского дворца. Теперь Герасимов дал приказ арестовать Распутина, несмотря ни на что.

И снова — безрезультатно. Только через несколько недель наблюдение сняли, потому что неуловимый Распутин объявился за тысячу верст от столицы, в Сибири, в своем родном селе. Как он выскользнул из дворца — в закрытом экипаже или улетел на кочерге?

Герасимов доложил Столыпину, что арестовывать некого. Тот воспринял известие благодушно: что ж, так будет меньше шума, вернуться Распутин не посмеет.

И Столыпин с облегчением разорвал свое постановление о высылке, решив больше не думать о случившемся. Если бы он знал, что Распутин вернется и сделается всесильным, он бы действовал по-другому.

Примерно тогда же, в начале весны, Столыпин и Герасимов решали, можно ли ехать Николаю в Полтаву на торжества по случаю двухсотлетия Полтавской битвы.



Встретившись с царем, Столыпин во время доклада заговорил о поездке:

— Ваше величество, никакая опасность вам не грозит. Революция подавлена и можно ездить куда хотите.

Кажется, что неприятного могло быть в этих словах?

Но Николай поразил Столыпина своим ответом:

— Я не понимаю, о какой революции вы говорите. У нас, правда, были беспорядки, но это не революция... Да и беспорядки, я думаю, были бы невозможны, если бы у власти стояли люди более энергичные и смелые.

Столыпин ожидал услышать совсем другое — удовлетворение, благодарность, но не раздражение. Николай больно задел его.

Вряд ли это было следствием памятного разговора о Распутине. Это всесильный самодержец, сын могучего императора Александра III и внук Александра-Освободителя на мгновение вспомнил свое унижение 1905 года и одернул верного слугу, чтобы тот знал свое место. Только был ли он так всесилен? Без преобразований, без обновления традиции?

Что же мог ответить премьер-министр? Доказывать неправоту Николая было не в его характере. Не мог он обнаруживать и личную обиду, оскорбляться, говорить об отставке. Надо было просто стерпеть. Об отставке он скажет тогда, когда у него не будет других доводов в защиту реформ. Словом, Столыпин должен был следовать известному призыву: **«Смирись, гордый человек, и прежде всего сломи свою гордость. Победишь себя, усмиришь себя, — станешь свободен, как никогда, и не воображай себе, и начнешь великое дело, и других свободными сделаешь...»** *(Ф. М. Достоевский. Пушкинская речь)*.

Возвращаясь из Царского Села в Петербург, Столыпин с горечью говорил Герасимову о странной забывчивости Николая, не желавшего помнить о пережитых опасностях и о тяжелой работе, остановившей катастрофу. Он уже ощущал, что вместо революционного движения России начинает угрожать опасность справа, со стороны косного, омертвевшего консерватизма.

(Конечно, был консерватизм и живой, жизнедеятельный, в плане государственного строительства по-

зволяющий России преображаться. Он ставил во главу угла не абстрактное «спасение человечества», а повседневную работу).

В судьбе Столыпина консервативные силы сыграли главную роль: живой, здоровый консерватизм вызвал его на историческую арену, а мертвый консерватизм — политически убил его за несколько месяцев до покушения Богрова.

Справедливости ради скажем, что в начале политической карьеры Столыпин не различал консервативных течений и был готов опираться на них безраздельно, пока вскоре не убедился в том, что не все русские люди, возмущенные революционной разрухой, могут служить ему опорой. Возникший как крайне консервативная сила «Союз русского народа» поддерживался в качестве противовеса революционному террору многими видными деятелями, особенно петербургским градоначальником Лауницем и дворцовым комендантом Дедюлиным. Первый удар СРН наносил по либералам и революционерам, второй — по Столыпину. Лауниц не раз заводил с Герасимовым разговоры о том, куда ведет Столыпин Россию, и искал в начальнике политической полиции союзника против премьер-министра.

Лауниц прямо поддерживал боевую дружину СРН, выделил деньги на организацию в июле 1906 г. убийства депутата Думы кадета М. Я. Герценштейна, требовал от Столыпина одобрения этой деятельности. Постепенно взаимоотношения градоначальника и председателя Совета министров дошли до настоящей борьбы.

Лауниц выдавал членам боевой дружины удостоверения на производство обысков, во время каковых случались пропажи ценностей. Узнав об этом, Столыпин возмутился и вызвал Лауница для объяснения. Их встреча сделала градоначальника врагом Реформатора. Столыпин решительно запретил людям Лауница вмешиваться в дела полиции, и возражения генерала ни к чему не привели.

По другому случаю Столыпин приказал начать расследование: дружинники СРН купили пулемет. Обстоятельства покупки были необыкновенными. Лауниц или его соратники придумали, что можно обезвредить террористов, скупив у них все оружие. Но, как выяснилось, пулемет был украден в Ораниенбаумской



стрелковой школе специально для продажи под видом принадлежащего революционерам.

Смерть Лауница мало что изменила в отношении СРН к Столыпину. Союз добивался закрытия Думы, участвовал в покушениях на левых, газета «Русское знамя» вела резкую кампанию против Реформатора.

Правое крыло консерваторов объявило, что столыпинская аграрная реформа выгодна только жидомасонам, стремящимся поколебать российский государственный строй.

(Левые силы, как мы помним, тоже были против преобразований в деревне, не без оснований видя в них препятствие развитию революции).

От боевиков СРН до видных сановников и придворных протягивался правый фронт оппозиции Столыпину. Регулярно к царю обращались влиятельные лица с критикой Петра Аркадьевича. Доходило до утверждений, что популярность премьер-министра умаляет популярность самого Николая.

«Никакой революции в России не было, — говорили они. — Поэтому нет у Столыпина никаких заслуг в умиротворении страны. Наоборот, он проявляет крайне опасный либерализм, защищает чисто революционное учреждение — Думу».

Отовсюду в Царское Село шли телеграммы провинциальных отделов СРН. Казалось, весь народ возмущен. Царь передавал телеграммы Столыпину без особых комментариев, вызывая у него раздражение.

Петр Аркадьевич знал взгляды Николая и знал, что эти послания не вызывают у царя неприятия. Николай как будто говорил ему: «Не обольщайтесь».

Столыпин при содействии верного Герасимова ответил монарху тем, что передал ему справку об организациях Союза русского народа. Численность отделов СРН обычно не превышает десятка — двух человек, а их руководители в большинстве — люди ущербной нравственности, некоторые состоят под судом и следствием.

На том история с телеграммами закончилась.

Взаимоотношения царя и Столыпина всегда были непростыми. Чем ближе Реформатор подходил к цели своих проектов, тем меньше в нем нуждались в Царском Селе.

Первое столкновение правительства и Николая произошло тоже в 1909 году. Оно касалось вопроса внешне не очень существенного, но в основе своей весьма серьезного.

Летом 1908 года морской министр адмирал Диков внес на рассмотрение Думы проект штатов морского генерального штаба, чего не должен был делать, ибо она могла рассматривать только кредиты, отпускаемые на военные нужды. Впрочем, тогда это осталось незамеченным. Дума без прений приняла предложение учредить морской генеральный штаб.

Несоответствие обнаружилось в Государственном Совете, проект отклонили.

Морское министерство вновь обратилось в Думу, на сей раз прося только утвердить кредит. Адмирал ушел в отставку.

Думская комиссия обороны под руководством А. И. Гучкова, однако, восстановила проект в первоначальном виде, не желая поступиться авторитетом. Дума утвердила гучковский проект.

Столыпина на заседании не было, он тяжело простудился и не вставал с постели. В его отсутствие продолжилась борьба Думы за расширение своих прав. И повел ее союзник Столыпина — Гучков.

— Отказа в кредитах правительство от нас не видело, — сказал он. — Несомненно, что в материальной стороне дела известные улучшения достигнуты. Но как раз в тех областях военного дела, которые находятся вне пределов нашей власти, мы не можем считать, что дело обстоит благополучно. Возьмите хотя бы область военного командования.

И здесь Гучков задал вопрос, потрясший не только Думу:

— Вы мне скажите, есть ли во главе всех округов люди, которые могут в мирное время воспитать нашу армию к боевому подвигу и повести к победе наши войска?

Он не имел права критиковать высший командный состав армии. Ни в одном парламенте этого не делалось. (На следующий день кадетская «Речь» писала: «Бывший депутат Зурабов сказал, что при настоящих порядках наша армия будет всегда терпеть поражения. А. И. Гучков выразил это иначе, с присущим ему талантом, гораздо ярче и образнее»).

Гучкову отвечал военный министр генерал А. Ф. Редигер и вместо того, чтобы отвергнуть попытку вторжения в не подлежащую обсуждению область, стал рассуждать, что-де командный состав следует «улучшить, освежить», то есть как бы согласился с критикой Гучкова.



Правые возмутились, депутат Е. Н. Марков сказал, что военный министр не имеет права говорить, что в армии нет подходящего материала для хороших командиров, что подобное — оскорбление для русской армии.

Начинался открытый конфликт.

Николай был крайне подавлен случившимся. Редигер был уволен.

Обсуждение проекта перенесли в Государственный Совет. Здесь министр финансов В. Н. Коковцов, заменявший больного премьера, предложил компромисс: принять проект в думской редакции, но с оговоркой, что это не может составить какого-либо прецедента. Без сомнения, это было мнение и Столыпина.

Большинство госсоветовской комиссии приняло это предложение, меньшинство (правые) не согласилось, подало особое мнение. Собрался Государственный Совет.

Лидер правых П. Н. Дурново заявил, что нельзя допускать опасного прецедента, «в результате тихо и медленно расшатываются устои, на которых покоится у нас в России военное могущество государства».

Словно и не было оговорки Коковцова насчет невозможности создания прецедента!

Тут неожиданно правым помог С. Ю. Витте («жидомасон», по определению СРН), произнесший страстную речь в защиту прерогатив императорской власти.

Напрасно Коковцов просил принять проект ввиду его практической неотложности. Витте не слышал его. Витте бил по Столыпину, к которому испытывал вражду.

И все-таки незначительным большинством проект приняли.

Теперь надо было ждать утверждения его царем. Николай не спешил. Поскольку Столыпин после болезни уехал на четыре недели отдыхать в Ливадию, он хотел дождаться его возвращения.

В левой печати появились статьи о скорой отставке правительства.

20 апреля председатель Совета министров вернулся, 24 апреля он получил от Николая письмо с отказом утвердить проект. «О доверии или недоверии речи

быть не может. Такова моя воля. Помните, что мы живем в России, а не за границей или в Финляндии, а потому я не допускаю мысли о чьей-нибудь отставке».

Однако косвенное неодобрение действием кабинета все же было выражено. Это понимали все — и левые, и правые.

Николай не уступил, не побоялся принципиально отвергнуть позицию Совета министров.

Внешне Столыпин не утратил своих позиций. Но важный поворотный пункт уже был пройден.

В июне Николай встретился в финских шхерах, в Бьерке, с германским императором Вильгельмом. На царской яхте «Штандарт» во время завтрака Вильгельм проговорил со Столыпиным, забыв о царице Александре Федоровне, по правую руку от которой сидел. Он буквально впился в Реформатора. Столыпин рассказывал о преобразованиях в русской деревне.

Накануне войны в Россию приезжала из Германии правительственная комиссия под руководством профессора Аугагена (подобно французской) для изучения результатов реформы. Объехав ряд губерний, она представила в Берлин отчет. Основной вывод — по завершении земельной реформы война с Россией будет не под силу никакой державе. Русский посол в Берлине узнал, что этот отчет сильно обеспокоил Вильгельма. Наверняка, император вспомнил 1909 год, теплый июнь и уже убитого к тому времени Столыпина.

Вскоре после Бьерке Столыпин выезжал вместе с царем на празднование двухсотлетия Полтавской битвы. Роскошные пейзажи центральной Украины, степи, дубовые рощи, пирамидальные тополя, подпирающие голубое небо, гоголевские места, навевающие мысли о Тарасе Бульбе, — все это сопутствовало поездке в честь победы Петра Великого.

И урожай был небывалый.

Никаких угроз, никакого террора. Страна выздоравливала.

Для того чтобы обеспечить безопасность государя, в самых многолюдных местах были поставлены шеренги младших, двенадцатилетних воспитанников Полтавского кадетского корпуса. Мальчики в белых



полотняных гимнастерках с красными погонами, конечно, защищали царя не как охранники.

Николая встречали довольные, веселые, праздничные люди. Революции не было и в помине.

Оживление царило во всех хозяйственных областях. Вывоз хлеба за границу достиг 748 миллионов рублей. Закладывался фундамент великих планов — через пять лет были готовы проекты Днепростроя и Волховстроя (ставших символами сталинских пятилеток). Деревня все больше требовала новых сельскохозяйственных орудий, машин, строительных материалов, средств потребления. Внутренний рынок быстро углублялся. Капиталы из сельского хозяйства, через сберегательные кассы, Крестьянский банк, кредитную систему перетекали в промышленность.

То, что началось в 1909 году, можно назвать возвышением России не благодаря искусному управлению народом, а силами самого народа.

Правительство протянуло руку земскому самоуправлению и всячески стремилось открыть земледельцам дорогу к знаниям, технике, кредиту. Самоуправление, еще вчера считавшееся несовместимым с государственным строем, было поставлено в привилегированное положение. Еще один толчок к пробуждению народных сил дало издание в 1908 году нормального устава сельскохозяйственной кооперации. Создавались кредитные товарищества, артели — создавались широко, даже жадно, ибо русский крестьянин жадно стремился к самостоятельной жизни.

Зато другая жизнь, общественная, угасала. Социалистические и либеральные газеты писали о «реакции, упадке, торжестве личного интереса».

Вспомним еще раз «Вехи». Отец Сергий Булгаков в статье «Героизм и подвижничество»:

«Русская революция развила огромную разрушительную энергию, уподобилась гигантскому землетрясению, но ее созидательные силы оказались далеко слабее разрушительных...

Героическое «все дозволено» незаметно подменяется просто беспринципностью во всем, что касается личной жизни, личного поведения, чем наполняются житейские будни... У нас, при таком обилии героев, так мало просто порядочных, дисциплинированных; трудоспособных людей...

Для русской интеллигенции предстоит медленный и трудный путь перевоспитания личности, на котором нет скачков, нет катаклизмов и побеждает лишь упорная самодисциплина...» (разрядка наша. — *Авт.*).

Вот, если угодно, и объяснение «упадка» общественного настроения при экономической подъеме.

Энергичная, настораживающая Европу, не желающая ни с кем войны, эта Россия набирала силу.

В октябре Столыпин в беседе с редактором саратовской газеты «Волга» подметил, что пессимизму газетных статей противостоит бодрое настроение, бодрый оптимизм провинции. «Я полагаю, — подчеркнул он, — что прежде всего надлежит создать гражданина, крестьянина-собственника, мелкого землевладельца, и, когда эта задача будет осуществлена, — гражданственность сама воцарится на Руси. Сперва гражданин, а потом гражданственность. У нас обыкновенно думают наоборот».

Реформатор принимал обстановку точно так же, как и государственно мыслящая интеллигенция. Он действовал без скачков, катаклизмов, против «недобитого абсолютизма» (П. Б. Струве).

«Итак, на очереди главная задача — укрепить низы. В них вся сила страны. Будут здоровы и крепки низы у государства, поверьте, и слова русского правительства совсем иначе зазвучат перед Европой и перед всем миром. Дружная, общая, основанная на взаимном доверии работа — вот девиз для нас всех, русских! Дайте государству двадцать лет покоя, внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешней России».

20 лет — это был срок «медленной революции».

Необходимо посмотреть на Столыпина с точки зрения великих преобразований другого Реформатора — Петра Великого. «Душа интеллигенции, этого создания Петрова, есть вместе с тем ключ и к грядущим судьбам русской государственности и общественности» (*С. Булгаков*). И, добавим мы, истории понадобилось два столетия, чтобы навстречу образованному классу, оторванному от народа, не приобретшему навыка будничного труда и тем не менее служившему средостением между Европой и Россией, двинулся сам русский народ.

Столыпинская опора на «низы» — это продолжение петровского строительства, но без петровского насилия, жажды мгновенно результата.



Наиболее ярко сила российских «низов» предстала перед Столыпиным во время его и министра земледелия Кривошеина поездки в Сибирь в конце лета 1910 года. Эта поездка имела две цели — в русле переселенческой политики правительства и, более широко, в плане развития русского влияния в Азии.

За триста лет колонизационного освоения русскими Сибири переселение туда шло стихийно и только с началом строительства Великого сибирского пути стало принимать формы государственного дела. Идея создания «цепи деревень от Урала до Тихого океана» родилась у С. Ю. Витте. Тогда надо было решать задачу объединения азиатских территорий с европейскими. Другая задача — наделение безземельных крестьян землей. Многие помещики опасались лишиться рабочих рук.

С Сибирью связана и крестьянская мечта о Беловодье — сказочной стране народного благоденствия.

Замыслы Витте были велики: развитие сети дорог от грунтовых до железных; обеспечение Туркестана дешевым сибирским хлебом; расширение за счет зерновых посевов производства хлопка в Средней Азии; заселение киргизских степей, Приамурья; привлечение в Сибирь «образованных слоев общества» путем создания крупной частной собственности и льготным предоставлением рабочим земельных участков в аренду; индустриализация огромной и почти незаселенной страны, хотя бы ценой привлечения иностранного капитала.

Единственное, в чем Витте не учел реальной обстановки: поглотить всех малоземельных Сибирь не могла. Сокращение их числа могло быть достигнуто лишь исходом в промышленность. Здесь виттевская индустриализация подкрепилась столыпинским «освобождением» крестьян. И затем в Сибири, уже после Витте, было положено начало промышленной колонизации — строились дороги, порты, рудники, заводы. К 1914 году дальневосточные области стояли на втором месте в империи по развитию городской жизни.

В переселенческом деле, как и в проведении земельной реформы, хорошо видна преемственность столыпинской политики, способность премьер-министра сосредоточиваться на главном. Процесс связывания России и Азии показывал, как историческая общинная традиция, которая определила характер народа и с которой он боролся в большинстве районов Европейской части страны, может оставаться жизнедеятельной.

Напомним одну необыкновенную историю того времени.

В Сибири — на Алтае, в Бийском уезде, в селе Старая Барда, крестьяне организовали маслодельную артель и торговали сливочным маслом. Они сообща владели сепараторами, маслобойками, другими орудиями. Организовали кредитное товарищество, поставили на мельничной запруде небольшую электростанцию, провели в избы электрический свет. Как назвать те лампочки, горевшие в крестьянских горницах в начале века? «Столыпинскими»? Кроме того, они построили у себя народный дом, то есть клуб, купили синематографический аппарат и смотрели в темном помещении на оживающие в электрическом луче различные случаи далекой жизни. Этот алтайский кооператив, конечно, кажется чудом. Позднейшие кооперативы, подневольные сталинские колхозы, отличались совсем иными достатками. Но что скажем мы, когда узнаем, что в Старой Барде, кроме того, была телефонная станция и все желающие за небольшую плату могли установить у себя телефонный аппарат? А между тем все это было.

Сибирь была богата и свободна. Община сохранила здесь лучшее наследие, идею социальной защиты, коллективизм и была освобождена от «равенства бедных». Неспроста до сих пор образ сибиряка, сильного, великодушного, независимого человека, остается в народной мифологии, несмотря на катастрофическое разрушение сибирской жизни.

Столыпин не был идеологическим противником ни общины, ни крупного помещичьего землевладения. Он был реалистом. Жизнеспособность того или другого явления была для него главным критерием. Может быть, в этом ярче всего выразилась его философия — все, что на пользу России, все хорошо.

«Сибирь всасывала в себя поток людей и затем начинала выбрасывать на внутренний рынок потоки пшеницы, масла и других сельскохозяйственных продуктов», — отмечал в либеральном «Вестнике Европы» экономист Н. Огановский. Более того, и на внешний рынок — тоже. Например, стоимость вывезенного в 1912 году только в Англию масла — 68 миллионов рублей — в два раза превышала стоимость добычи сибирского золота.

Конечно, на вырученные от торговли деньги сибиряки-кооператоры могли бы завести у себя не только телефоны, но и авиацию!



По результатам сибирской поездки Столыпин и Кривошеин представили Николаю обширную записку: «**... Растет сказочно... в несколько последних месяцев выросли большие поселки, чуть ли не города**». Кроме насущных задач освоения территории в ней ставилась задача перехода с «мужицкого», недостаточно интенсивного, ведения хозяйства к интенсивному, а для этого требовалось ввести в сибирской деревне межевание общинных земель и право собственности. То есть Реформа должна была реализоваться и тут. Но как реализоваться, ведь не принудительно? Столыпин и Кривошеин видели путь в индустриализации, увеличении потребителей сельскохозяйственной продукции.

Из огромного инертного придатка исторической Руси Сибирь превращалась в «органическую часть становящейся евразийской географически, но русской по культуре Великой России» *(К. А. Кривошеин)*.

Между тем правительственной политике, нацеленной больше за Урал, противостояло иное настроение, иная идея — гегемонии на Ближнем Востоке. Напомним, что после соглашения с Англией в 1908 году либеральная интеллигенция вспомнила о Проливах. А осуществление этой идеи неизбежно привело бы к столкновению с Германией, Австро-Венгрией и Турцией.

Впрочем, внешняя политика России отличалась спокойствием и миролюбием. В середине августа 1910 года, когда Столыпин и Кривошеин колесили по Сибири, Николай со всей семьей приехал в Германию и провел два с половиной месяца на родине жены в Гессенском замке Фридберг, в тихой сельской обстановке.

Перед отъездом Николай захотел встретиться с Вильгельмом и обсудить международные дела. Правда, германский император был настроен скептически: соглашение с Англией не прошло бесследно. К тому же тон русских газет был антигерманским.

Тем не менее 22 и 23 октября Николай с Вильгельмом встречались в Потсдаме. Они признали, что нет прямых столкновений интересов России и Германии, и обязались не поддерживать политики, направленной против друг друга. Германия обещала не поощрять австрийские устремления на Балканах, Россия — не поддерживать английские действия против Германии. Это означало сохранение на Ближнем Востоке сущест-

вующего положения. (И неприятие царем идеи гегемонии в этом районе).

Не удивительно, что российские газеты холодно отнеслись к Потсдамской встрече.

В Думе произошла открытая дуэль. Милюков выступил с критикой: «Это значит, что наши союзные соглашения перестали быть наступательными и остались только на оборонительной функции». «Ему хочется войны?» — воскликнул в ответ правый депутат П. Березовский.

В действительности франко-русский союз был только оборонительным, а с Англией никакого союза не было.

Кому же выгодно накалять отношения с Германией?

В Англии были недовольны Потсдамом.

И российская печать — тоже недовольна, открыто солидаризуясь с «владычицей морей».

Новый британский посол сэр Джордж Бьюкенен стремится как можно полнее нейтрализовать Потсдам.

Печатники Петербурга, Москвы, Варшавы, Киева набирают статьи, написанные как будто рукой английского дипломата.

Словно отвечая на все это, новый министр иностранных дел С. Д. Сазонов в беседе с корреспондентом «Нового времени» буквально взывал к проявлению терпимости по отношению к Германии: «Должен сказать откровенно, что вы иной раз бываете слишком желчны... В интересах обоих народов был бы полезен более мягкий тон. Если бы я был магом, я свернул бы свиток судеб так, чтобы время сократилось лет на пять. За этот срок сами собой улягутся взаимные недоверие и раздражение. Время прольет бальзам на горячие раны».

Но нет, напрасно старался Сазонов! Правительство вело свою политику, интеллигенция — свою. В этом плане мысль П. Б. Струве из статьи в «Вехах» объясняет происходящее: «Идейной формой русской интеллигенции является ее... отчуждение от государства и враждебность к нему».

Конечно, можно было бы порассуждать о действиях английской разведки и нарисовать легкодоступный пониманию образ. Однако, как ни старалась Интеллидженс Сервис, ей были недоступны корни российской драмы.

Как только Россия заключает с Японией соглаше-



ние (лето 1910 года) — раздается голос Милюкова: «Поддерживая Японию, мы ставим деньги не на ту лошадь».

Как только Россия потребовала соблюдения своих торговых прав и привилегий в Монголии и в случае ущемления интересов русских купцов пригрозила ввести войска в китайские пределы — сразу раздались протесты, сперва в английской печати, затем в петербургской.

Почему так единодушно? Или русские купцы хуже британских?

В либеральных кругах считалось, что союз с монархическими странами ведет к укреплению консерватизма в России, поэтому надо бороться против сближения с Германией, поддерживать Англию. То есть там главенствовал прежде всего партийный, идеологический интерес.

Отсюда всего шаг к «пораженчеству» большевиков во время Первой мировой войны, к провозглашению лозунга «двух культур — буржуазной и пролетарской», к идее уничтожения всего «чужого».

Успокоение страны, обильные урожаи 1909 и 1910 годов, рациональная внешняя политика, активное законодательное обновление (реформа местного суда, расширение народного образования, новый продовольственный устав) — во всем этом заслуга правительства. Кажется, можно предположить, что общественное настроение, наконец, повернется к нему? Но нет, на земских и городских выборах, после «поправения» в революционный период, снова стали выдвигаться более левые фигуры.

Как будто мало успокоения, мало урожаев, мало перемен!

С другой стороны, правые постоянно обвиняли правительство в либерализме, в разрушительстве.

Но ни то, ни другое не было страшно. Жизнь быстро менялась, обновлялась, становилась бодрее. Столыпин смотрел на этот процесс оптимистично:

«После горечи перенесенных испытаний Россия, естественно, не может не быть недовольной; она недовольна не только правительством, но и Государственной Думой и Государственным Советом, недовольна и правыми партиями, и левыми партиями. Недовольна потому, что Россия недовольна собой. Недовольство

это пройдет, когда выйдет из смутных очертаний, когда образуется и укрепится русское государственное самосознание, когда Россия почувствует себя опять Россией. И достигнуть этого возможно, главным образом, при одном условии: при правильной совместной работе правительства с представительными учреждениями (т.е. с Думой — *Авт.*).

В этих словах слышится обращение и к царскому окружению, и к думской оппозиции: **«Проявите терпение! России одинаково необходимы Дума и реформы».**

Показательно направление действий Столыпина при принятии нового продовольственного устава, который определял порядок помощи крестьянам во время неурожаев. Зная земледельческие пристрастия Реформатора, можно подумать, что он будет выступать за щедрую помощь всем нуждающимся. Но это справедливо только отчасти. По существу, он отвергает вечный общинный принцип равной помощи, прекращает бесплатное «кормление», заменяя его новой рациональной системой: состоятельным крестьянам продовольствие и семена выдавались как ссуда, для несостоятельных устраивались общественные работы, где (на строительстве дороги, например) можно было заработать на пропитание, а бесплатная помощь давалась только совсем маломощным. Даже сегодня у многих читателей мелькнет мысль о нарушении Столыпиным идеалов социальной справедливости, о каковых, впрочем, в капиталистическую пору думать было вовсе не обязательно. Однако Реформатор ответил в Думе и на наш вопрос, сказав, что эта мера положила предел «развращающему началу казенного социализма». (Речь 9 ноября 1910 г.).

Патриархальный социализм общины и государственный социализм одинаково тормозили развитие народных сил. Какая смелость была нужна, чтобы внешне отнять у голодающих кусок хлеба, но дать возможность его заработать!

За два дня до произнесения Столыпиным слов о «развращающем начале» умер Лев Николаевич Толстой. Угас один из «духов русской революции», писавший в дневнике о «сострадательном отвращении к П. Столыпину». Уходила в прошлое патриархальная Россия.

Но не идеалистические, небывалые Платоны Каратаевы, а практические русские мужики, восхищавшие Константина Левина в «Анне Карениной», теперь двигались по дороге, расчищаемой Реформатором.



В том же 1910 году А. И. Гучков, лидер партии «октябристов» и представитель крестьянско-купеческой России, стал председателем Думы. Реальный русский, побывавший и на освоении азиатских просторов в Китае, и на англо-бурской войне в Южной Африке, союзник Столыпина, Гучков хотел иметь прямое влияние на царя в деле развития реформ. Он был представителем того динамического начала русского народа, которое продвинуло империю из угро-финских лесов до Варшавы и Аляски. На самодержца государя императора он смотрел несколько реалистичнее, деловитее, чем аристократ Столыпин.

Однако из желания Гучкова практически ничего не вышло. Царь не терпел открытого давления и догадывался, к чему стремится Гучков. На первом приеме он вопреки своей приветливой манере встретил нового председателя Думы очень холодно. Было ясно, что ни о каком влиянии на царя не может быть и речи.

У Гучкова тоже развеялись иллюзии. Во вступительной председательской речи через три дня после аудиенции он намекал на расхождение с Николаем:

«Я убежденный сторонник конституционно-монархического строя, и притом не со вчерашнего дня... Вне форм **конституционной** (выделено нами. — *Авт.*) монархии... я не могу мыслить мирного развития современной России... Мы часто жалуемся на внешние препятствия, тормозящие нашу работу... Мы не можем закрывать на них глаза: с ними придется нам считаться, а может быть, придется и **сосчитаться**».

(История предоставила Гучкову возможность расчета. 2 марта 1917 г. он вместе с В. В. Шульгиным принял отречение Николая II. В дневнике царя об этом написано: «2 марта. Четверг. Утром пришел Рузский и прочел мне длиннейший разговор по аппарату с Родзянко. По его словам, положение в Петрограде таково, что министерство из членов Государственной Думы будет бессильно что-либо сделать, ибо с ним борется эсдековская партия в лице рабочего комитета. Нужно мое отречение. Рузский передал этот разговор в Ставку Алексееву и всем Главнокомандующим. В 12 с половиной часов пришли ответы. Для спасения России и удержания армии на фронте я решился на этот шаг. Я согласился, и из Ставки прислали проект манифеста. Вечером из Петрограда прибыли Гучков и Шульгин, с которыми я переговорил и передал подписанный переделанный манифест. В час ночи уехал из Пскова

с тяжелым чувством: кругом измена и трусость и обман»).

Как бы там ни было, начиная с 1910 г. Гучков становится врагом Николая. Именно ему принадлежит первенство в обвинительных речах против Распутина с думской трибуны. («Хочется говорить, хочется кричать, что церковь в опасности и в опасности государство... Какими путями этот человек достиг центральной позиции, захватив такое влияние, перед которым склоняются высшие носители государственной и церковной власти?»).

Конечно, было бы упрощением связывать все это с немилостью царя. Не только Гучков переходил в оппозицию. Столыпин, как мы уже знаем, тоже не всегда оказывался удобным.

Депутат Думы В. В. Шульгин назвал причину торможения, наметившуюся тогда, — «людей, гораздо более крепкоголовых, чем саратовские мужики, людей, хотя и высокообразованных, но тупо не понимавших величия совершавшегося на их глазах и не ценивших самоотверженного подвига Столыпина».

Революция раздавлена, террористы больше не грозят, экономика на подъеме — для чего, спрашивается, напрягать волю и ум? Далеко не все удавалось и Столыпину. Например, С. И. Тимашев, министр торговли и промышленности в его кабинете, в воспоминаниях отмечает: «Намерение Столыпина... выдвинуть в первую очередь экономические вопросы осталось неосуществленным, хотя время для этого было чрезвычайно благоприятным. Наступило успокоение, политический горизонт казался безоблачным, иностранные капиталы прибывали, во всех отраслях хозяйственной деятельности страны наблюдалось большое оживление, и приходится очень сожалеть, что это хорошее время было упущено. Председатель Совета был главным образом занят осуществлением предпринятой им крупной землеустроительной реформы».

Упрек Реформатору?

Бесспорно. Даже больше чем упрек.

Однако нет ли в словах Тимашева преувеличения? В октябре 1910 г. журнал «Промышленность и торговля» печатает статью с многозначительным названием «Наши противоречия». Что это за противоречия?

«Ныне наблюдается у нас несомненный избыток свободных капиталов. Они стараются проникнуть всюду, лишь бы не в отечественную промышленность. Такое печальное и крайне опасное явление объяснимо лишь тем гнетом и преследованием, которым подвергается у нас всякая инициатива и самодеятельность как со стороны правительства, так и со стороны русской периодической печати. У нас господствует еще панический страх перед тем, как бы кто не заработал».



Поскольку газеты правительство не контролировало и панический страх перед предпринимательством оно не порождало, то, по-видимому, надо упрекать не кабинет. Тем более в том же журнале прямо говорилось, что «Проект росписи государственных доходов и расходов на 1911 год дает блестящую картину наших финансов. Задача оздоровления русских финансов превосходно закончена». Следовательно, надо искать причину противоречий в чем-то другом, не в фигуре человека, выступившего против «развращающего начала казенного социализма». Но в одном журнал прав: страна общинного равенства, «нация без потребностей», как определяли русских иностранные предприниматели, не могла принять темпов происходивших перемен.

Община — это не только крестьяне, не выпускающие своего соседа отделиться на хутор или в «отруб». Это еще и вековая традиция, национальный характер, особенности народной психологии.

Не успел Столыпин выровнять баланс интересов в деревне, как накопленный в сельском хозяйстве капитал застучал кулаками русских промышленников в двери правительственного кабинета.

Здесь же и Гучков.

А рядом и государь император. И миллионы его подданных.

Поэтому упрек Столыпину — это, скорее всего, упрек всей России в том, что она не успевает...

Тут, впрочем, вспомним Эдмона Тэри и профессора Аугагена, сделавших выводы, что очень даже быстро Россия успевает!

Успевала настолько, что за десятилетие 1904 — 1913 гг. прирост промышленного производства был 88 процентов.

На эту силу опирались притязания русских деловых людей типа Гучкова. Они требовали большего, чем давала им реальность, и в конце концов дошли до 2 марта 1917 г.

Что дальше, напомнить?

Временное правительство. Гучков — военный министр, Милюков — министр иностранных дел.

Затем керенщина, попытка генералов остановить развал страны (мятеж Корнилова, дискредитация армии).

Октябрьский переворот.

Милюков в эмиграции писал: «При режимах царском и буржуазном насилие власти концентрировалось лишь в определенных областях: в политической, религиозной, национальной, отчасти хозяйственной. Вся же необъятная сфера удовлетворения человеческих потребностей, сфера индивидуальной жизни «обывателя» находилась вне плоскости государственно-вооруженного воздействия. Теперь же у нас, когда все области и личной, и хозяйственной, и общественной жизни перешли в руки и под надзор государственной власти, а власть эта построена исключительно на террористических началах, — угнетение сверху и безответная запуганность снизу распространились сами собою на все сферы жизни советского подданного...».

Как спорил Милюков со Столыпиным, как страстно боролся с мерами правительства, направленными против террористов, как сотоварищ Милюкова по кадетской партии Родичев бросил «столыпинские галстуки» — вспоминал ли об этом Милюков в Париже, обличая красный террор? А то, что хотел устанавливать гильотины?

**«Столыпин заплатил жизнью за то, что он раздавил революцию, и, главным образом, за то, что он указал путь для эволюции. Нашел выход, объяснил, что надо делать...»**. Это слова В. В. Шульгина.

## ГЛАВА 13

Что такое Россия? Что такое русские? Что такое «русский сфинкс»?

Вот вопросы, которые стоят перед каждым поколением и которые встали и перед Реформатором.

Попробуем представить ход его мыслей, использовав для этого работы его младшего современника, национального писателя русской эмиграции Ивана Солоневича.

«Я, конечно, русский империалист. Как и почти все остальные русские люди. Когда я в первый раз публично признался в этой национальной слабости, сконфузился даже кое-кто из читателей тогдашнего «Голоса России»: ах, как же так, ах, нельзя же так, ах, на нас обидятся все остальные... Люди, вероятно, предполагали, что величайшую империю мира можно было построить без, так сказать, «империалистических черт характера, и что существование этой империи можно как-то скрыть от взоров завистливых иностранцев. Кроме того, русская интеллигенция была настроена против **русского** империализма, но не против всех остальных..

В гимназиях и университетах мы изучали историю римской империи. На образцах Сцевол, Сципионов, Цицеронов и Цезарей воспитывались целые поколения современного культурного человечества. Мы привыкли думать, что Римская империя была великим братом, — и эта мысль была правильной мыслью. Потом — более или менее на наших глазах стала строиться Британская империя, и мы, при всяких там подозрениях по адресу «коварного Альбиона», относились весьма почтительно, чтобы не сказать сочувственно, к государственной мудрости британцев. Мы, к сожалению, «своею собственной рукой» помогли построить Германскую империю и нам во всех наших гимназиях и университетах тыкали в нос: Гегелей, Клаузевицев, Круппов, — германскую философию, германскую стратегию и, паче всего, германскую организацию. В начале прошлого века очень много русских образованных людей сочувствовали и наполеоновской империи...

Русская интеллигенция, верная своим антирусским настроениям, относилась, в общем, весьма сочувственно ко всяким империям — кроме нашей собственной. Я отношусь так же сочувственно ко всяким империям, но **в особенности** к нашей собственной...

Я пока оставляю в стороне федералистические утопии, построения человеческого общества. Всякий истинный федералист проповедует всякую самостийность только, пока он слаб. Когда он становится силен, — он начинает вести себя так, что конфузятся даже самые застарелые империалисты. Решала сила. Но решала **моральная сила**, и решала **только она одна**. Сила оружия есть только производная величина моральной силы. Ибо: оружие без людей — это или просто палка, или куча палок. Палка или куча палок становится орудием, когда находятся люди, готовые «применить оружие». Его можно применять двояко:

а) во имя грабежа и б) во имя защиты от грабежа. Чем выше та **моральная** ценность, во имя которой «применяется оружие», тем большее количество людей станет его применять. Империя будет строиться и держаться в той степени, в которой она обеспечит максимальные преимущества максимальному числу людей. И провалится тогда, когда не сможет удовлетворить этому историческому запросу».

Это не Столыпин, конечно, Солоневич писал свою «Народную монархию» уже после Второй мировой войны, но его доводы явно перекликаются с мыслями Реформатора о приоритете русской государственной идеи. Они оба одной политической культуры: России — быть сильной.

Сегодня далеко не все готовы повторить эти слова, видя в них как раз источник слабости России. Однако по меньшей мере неразумно проводить параллель между Россией думской и СССР, который всегда пекся не о России, а о всемирной революции.

Продолжим доводы Солоневича.

«Империя — это мир. Человеческая история идет все-таки от дреговичей и команчей к Москве и Вашингтону, а не наоборот. И всякий империализм есть объективно **реакционное явление**: этакая реакционная утопия, предполагающая, что весь ход человеческой истории — от пещерной одиночной семьи, через племя, народ, нацию — к государству и империи — можно обратить вспять...

Империя есть объединение: в разных формах в разные эпохи, но все-таки объединение».

Здесь все понятно. И вполне современно.

Теперь обратим внимание на одно обстоятельство, с которым обыкновенно связывают политическую и физическую смерть Столыпина.

Солоневич пишет об этом так:

«Только два народа (в Российской империи. — *Авт.*) имели основание жаловаться на неравноправие: поляки и евреи. С Польшей у нас был тысячелетний спор о «польской миссии на Востоке»; русская политика по отношению к Польше была неразумной политикой, но поляки разума проявляли еще меньше. В еврейском вопросе было много безобразия. Но основная линия защиты только что освобожденного и почти сплошь неграмотного крестьянства от вторжения в деревню «капиталистических отношений», которые по тем временам олицетворялись в еврейском



торговце и ростовщике, — была в основном тоже правильна. Черта оседлости была безобразием... Еврейская политика была неустойчивой, противоречивой и нелепой: ее основной смысл заключался в попытке затормозить капиталистическое развитие русского сельского хозяйства... Не допустить капитализма в разорившиеся дворянские гнезда».

О Столыпине распространено много вымыслов. Он и «реакционер», и «вешатель», и «антисемит». Но то, что было объяснимо для революционной пропаганды, в наши дни воспринимается весьма скептически.

Насчет «реакционера» и «вешателя» мы уже говорили. Теперь настал черед рассудить об «антисемитизме».

Думается, для начала стоит обратиться еще раз к такому характерному документу, как статья В. И. Ленина «Критические заметки по национальному вопросу».

Вождь мирового пролетариата, не стесняясь, гвоздит лозунг национальной культуры, все равно какой, русской или еврейской, и превозносит идею «создания интернациональной культуры рабочего движения». Однако никто не считает его ни антисемитом, ни русофобом.

Он прямо призывает бороться против «национальной культуры великороссов», называет ее «черносотенной». Точно так же для него и тот, кто «ставит лозунг еврейской «национальной культуры», — враг пролетариата, пособник раввинов и буржуа.

В общем, ясно.

Говоря о русском национальном чувстве, Ленин цитирует Чернышевского: «Жалкая нация, нация рабов, сверху донизу — все рабы», — и подчеркивает задачу великорусского сознательного пролетариата в области национальных чувств: поднять массы «до сознательной жизни демократов и социалистов».

Очень скромная задача для «жалкой» нации.

А вот то, что вождь мирового пролетариата выделяет: «великие всемирно-прогрессивные черты в еврейской культуре: ее интернационализм, ее отзывчивость на передовые движения эпохи (процент евреев в демократических и пролетарских движениях везде выше процента евреев в населении вообще»).

Тоже довольно доходчиво. Но в итоге получается, что речь ни о какой культуре не шла? Речь шла о расколе, о политических интересах, о противопоставлении (если угодно, натравливании) людей друг на друга.

«Классовая борьба», — скажете вы.

Хорошо, пусть будет «классовая борьба». Но чем хуже лозунг «Великой России»? Лозунг национальной культуры? Тем, что защищает не «интернационал», а человека?

Впрочем, ответы на эти вопросы уже давно получены. То, что было выгодно социал-демократам перед Первой мировой войной, не было впоследствии принято ни единым народом.

Теперь об «антисемитизме» Столыпина.

В. А. Маклаков, кадет, депутат Второй, Третьей, Четвертой Думы, в мемуарах касается этой темы.

«Для более полного понимания того, к чему **стремился** Столыпин, полезно иметь в виду и те законы, которые изготовлялись, но не увидали света.

Был один закон, который мог бы своей цели достичь и стать предвозвестником новой эры; правительство его приняло и поднесло Государю на подпись — это «закон о еврейском равноправии». При диких формах современного антисемитизма (мемуары изданы в 1942 г. — *Авт.*) тогдашнее положение евреев в России может казаться терпимым. Но оно всех тяготило как несправедливость, потому такая реформа была бы полезна».

В. Н. Коковцов, министр финансов в кабинете Столыпина и его преемник, так описывает этот эпизод:

«... Столыпин просил всех нас высказаться откровенно, не считаем ли мы своевременным поставить на очередь вопрос об отмене в законодательном порядке некоторых едва ли не излишних ограничений в отношении евреев, которые особенно раздражают еврейское население России и, не внося никакой реальной пользы для русского населения, потому что они постоянно обходятся со стороны евреев, — только питают революционное настроение еврейской массы и служат поводом к самой возмутительной противорусской пропаганде со стороны самого могущественного еврейского центра — в Америке».

Столыпин хотел провести это решение быстро, по 87-й статье. Министры представили свои предложения. Его поддержали все. Это было в декабре 1906 г., то есть в самом начале столыпинского премьерства.

Журнал Совета министров долго находился у Николая II и вернулся Столыпину неутвержденным.

Царь мотивировал свое решение в письме:



«Петр Аркадьевич.

Возвращаю вам журнал по еврейскому вопросу неутвержденным.

Задолго до представления его мне, могу сказать, и денно, и нощно, я мыслил и раздумывал о нем.

Несмотря на самые убедительные доводы в пользу принятия положительного решения по этому делу, — внутренний голос все настойчивее твердит мне, чтобы я не брал этого решения на себя. До сих пор совесть моя н и к о г д а меня не обманывала. Поэтому и в данном случае я намерен следовать ее велениям...

*Николай*».

Получив отказ, Столыпин обратился к царю с предложением провести указ общим законодательным порядком, через Думу. Царь согласился.

Однако ни Вторая, ни Третья, ни Четвертая Дума не обсуждали этого законопроекта. Очевидно, что он не устраивал ни левых, ни правых. Для левых поддержка означала признание за «реакционером» и «антисемитом» исторической роли разрешения вопроса, который должен был считаться неразрешимым в царской России. (Этот аргумент приведен как главный в сборнике документов «Убийство Столыпина». — Нью-Йорк, 1989). Для правых это тоже было неприемлемым в силу их неуступчивости по отношению ко всем либеральным переменам. (Надо вспомнить к тому же доводы и Солоневича, и Ленина).

Думается, тема «антисемитизма» исчерпана. Оставим ее для недобросовестной пропаганды рядом со «столыпинскими» галстуками и вагонами. И убийство Столыпина евреем Богровым — это следствие не антисемитизма, а иных причин, преимущественно русской жизни.

И. Солоневич так пишет о национальных отношения в России: «Если исключить два очень больных вопроса, польский и еврейский, то никаких иных «национальных вопросов» у нас и в заводе не было. Никакой грузин, армянин, татарин, калмык, швед, финн, негр, француз, немец или кто хотите, приезжая в Петербург, Москву, Сибирь, на Урал или на Кавказ, нигде и никак не чувствовал себя каким бы то ни было «угнетенным элементом» — если бы это было иначе, то царскими министрами не могли быть немцы и армяне. Все это мы учли очень плохо. Очень много мы не знаем вовсе».

Что же, попробуем узнать, опираясь на исторические факты. Ключевский отмечал, что Москва не люби-

ла ломать старые порядки в присоединившихся землях. В империи действовали в соответствии с традициями и обычаями населения: Кодекс Наполеона в Царстве Польском, Литовский статус в Полтавской и Черниговской губерниях, Магдебургское право в Прибалтийском крае, обычное право у крестьян, всевозможные местные законы на Кавказе, в Сибири и Средней Азии.

Солоневич пишет: «Еще сто лет тому назад на юге и западе США правительство платило за скальп взрослого индейца пять долларов, а за скальп женщины и ребенка по три и два доллара. Приблизительно в то же время завоеванные кавказцы — Лианозовы, Манташевы, Гукасовы — делали свои миллионы на «русской нефти», из русских — не сделал никто. Завоеванный князь Лорис-Меликов был премьер-министром, а Гончаров во «Фрегате «Паллада» повествует о том, как в борьбе против «спаивания туземцев» русское правительство совершенно запретило продажу всяких спиртных напитков к востоку от Иркутска, — и для русских в том числе. Все это никак не похоже на политику «национальных меньшинств» в США и Канаде, в Конго или на Борнео. Все это никак не похоже и на политику Англии в Ирландии или Швеции в Финляндии. Англия, завоевав Ирландию, ограбила ирландцев до нитки, — превратив все население страны в полубатраков. Швеция, завоевав Финляндию, захватила там для своей аристократии огромные земельные богатства, и против этой аристократии финское правительство вело свои знаменитые «дубинные войны». Россия **отвоевала** от Швеции Прибалтику и Финляндию, не ограбила решительно никого, оставила и в Прибалтике, и в Финляндии их старое законодательство, администрацию и даже аристократию — прибалтийские немцы стояли у русского Престола и генерал Маннергейм был генерал-адъютантом Его Величества».

Здесь, по-видимому, встает вопрос: не совершаем ли мы ошибки, объясняя Столыпина Солоневичем?

Судите сами. Основная мысль Солоневича: исторический путь России был исковеркан Петром Великим, разорвавшим связь между властью и народом, оттого к нам пришло шляхетское крепостничество, превратившее крестьян в двуногий скот, а правящий образованный слой потерял способность понимать что бы то ни было.

Основная идея Столыпина: преодолеть ошибки



прошлого и, освободив народные силы, строить Великую Россию. (В Великую Россию согласно идее государственности входили все народы. Пушкинские строки: «И назовет меня всяк сущий в ней язык...» подчеркивает это государственное мышление. А ведь Пушкин как-никак — русский гений).

Как видим, позиция исторического писателя, поставившего целью найти в противовес дворянской схеме развития государства народную, национальную доминанту, и позиция политика, нашедшего путь выздоровления страны, оказываются очень сходными.

Россия как огромное, многонациональное, централизованное государство, утверждает Солоневич, является исторической формой существования русских, крепче которого на протяжении одиннадцати веков не было в мире. Он приводит примеры заграничных влияний нашествий — от варяжского до французского — и говорит: вероятно то, что из-под надгробной плиты, сооруженной Карлом Марксом над русской национальной доминантой, вдруг поднимется, казалось бы, давным-давно похороненный Александр Невский, и вдруг окажется, что жив именно Александр Невский и что от Карлов Марксов только и осталось, что образцово-показательная труха.

Короче говоря, перед нами ярко выраженный сторонник российской национальной идеи.

В мае 1909 года определился новый курс Столыпина — провозглашение принципа великорусского государственного национализма. Для современных людей, которые считают национализм и шовинизм одним и тем же явлением, такой курс покажется малосимпатичным. Однако попробуем прояснить тогдашнюю национальную обстановку. Действие имперского принципа равенства всех национальностей вызвало у некоторых видных интеллигентов озабоченность. Петр Струве выступил с рядом статей на эту тему: «Русская интеллигенция обесцвечивается в российскую... Так же, как не следует заниматься обрусением тех, кто не желает «русеть», так же точно нам самим не следует себя «оброссивать». В тяжелых испытаниях последних лет вырастает наше национальное русское чувство, оно преобразилось, усложнилось и утончилось, но в то же время возмужало и окрепло. Не пристало нам хитрить с ним и прятать наше лицо».

Тогда же поэт Андрей Белый напечатал в журнале «Весы» статью против засилья нерусских деятелей в литературе: «Главарями национальной культуры оказываются чуждые этой культуре люди... Чистые струи родного языка засоряются своего рода безличным эсперанто из международных словечек... Вместо Гоголя объявляется Шолом Аш, провозглашается смерть быту, учреждается международный жаргон... Вы посмотрите на списки сотрудников газет и журналов в России: кто музыкальные, литературные критики этих журналов? Вы увидите сплошь имена евреев, пишущих на жаргоне эсперанто и терроризирующих всякую попытку углубить и обогатить русский язык».

Такие статьи прежде были бы немыслимы. В настроении части интеллигенции происходили значительные перемены. Почему? Говорить об антисемитизме не приходится, ибо он вообще не свойствен русской интеллигенции, видевшей в защите прав евреев одну из своих задач. Здесь, пожалуй, другое. Здесь, пользуясь ленинскими аргументами, в чистом виде борьба двух тенденций развития национальной культуры. Подобная постановка национального вопроса в области культуры не имеет ничего общего с государственным национализмом и только сигнализирует об ущемлении интересов той или иной группы.

Национализм Столыпина опирался на иные обстоятельства.

В ряде губерний Западного края, Витебской, Минской, Могилевской, Киевской, Волынской, Подольской, где подавляющая часть населения была русской (великороссы, малороссы, белорусы), в Государсвенный Совет избирались т о л ь к о поляки, численность которых была два-три процента. В связи с этим профессор Д. И. Пихно внес законопроект о реформе выборов в Государственный Совет от Западного края.

На этой проблеме в конце концов сошлось такое множество различных интересов, что, несмотря на победу в конечном счете точки зрения Столыпина, лично он был фактически надломлен.

Проект Пихно, правого деятеля, редактора газеты «Киевлянин», отчима В. В. Шульгина, нес в себе по меньшее мере три составляющих. Профессор предлагал выделить поляков в общую курию, а большинство мест предоставить русским.

Во-первых, это нарушало принцип равенства национальностей.



Во-вторых, поскольку фактически большинство крупных помещиков в крае были именно поляки, то избрание на их место в верхнюю палату русских означало бы ущемление прав аристократии.

В-третьих, такая мера означала бы, что русское население нуждается в защите.

Была еще одна сторона у этого явления. Реформы приводили к тому, что в верхах российской власти аристократическое направление уступало место демократическому.

Настроение народа надо было учитывать все больше. Во время выборов намечалось своеобразное распределение сил: в тех частях империи, где население было смешанным и где русским приходилось сталкиваться с другими народами, большинство русских поддерживало государственную идею, которую сильнее всего отстаивали правые. В крепком государстве они видели гарантию мира и спокойствия. С другой стороны, в Москве и Петербурге за правых голосовало пять-шесть процентов населения. (Как ни странно, и в наши дни прослеживается эта закономерность).

В Государственном Совете предложение Пихно не нашло поддержки. Бывший обер-прокурор Синода князь А. Д. Оболенский сказал: «Основное начало нашей государственности заключается в том, что в Российской монархии есть русский царь, перед которым все народы и все племена равны. Государь-император выше партий, национальностей, групп и сословий».

Тем не менее у Столыпина была другая точка зрения. Он поддержал проект Пихно, бросив вызов большинству членов Государственного Совета, первым сановникам империи.

Почему он это сделал? Почему с таким упорством боролся за воплощение проекта, не считаясь ни с каким риском?

Для ответа вспомним формулу Льва Толстого: казаки создали Россию. То есть русское земледельческое население, умеющее и сеять хлеб, и воевать, расширило пределы Руси. На Западе, где Россия держала стратегическую оборону, положение русских отличалось от положения во внутренних губерниях тем, что там русские соперничали (мирно, надо сказать) с другими народами. Внутри империи они, сохраняя национальную доверчивость и простодушие, вообще свойственную нации, ни с кем, собственно, не соперничали (неудобства от дворянского социально-политического

строя не в счет). При столыпинской перемене курса несоответствие демократизации жизни и подчеркнуто аристократически узконациональной практики выборов в Западном крае бросалось в глаза. Русские явно становились людьми «второго сорта», и подобное положение в государственном плане было непродуктивно, даже опасно.

Столыпин фактически выступил против дворянского монархического принципа. Известно, что Россия, несмотря на высокие достижения ее культуры, имела ужасающий разрыв между «верхами и низами», между утонченной культурой дворянской аристократии и проявлениями бескультурья среди низов. Дворянство таяло, вырождалось, но оставалось единственным правящим сословием. Реформы Столыпина — это приговор дворянству и отдушина для крестьян, купцов и промышленников.

Согласно опять-таки мысли Ивана Солоневича: дворянство было главным препятствием в естественном развитии России, держа в заложниках даже русских царей, — Столыпин был п о с л е д н и м государственным человеком правящего слоя. Как мы уже сказали, последним Римлянином.

Именно дворянская бюрократия была первым противником преобразований. Именно она после смерти Столыпина привела страну к войне и катастрофе.

Впрочем, обратимся к речи Столыпина (17 мая 1910 года):

«Западные губернии, как вам известно, в 14-м столетии представляли из себя сильное литовско-русское государство. В 18-м столетии край этот перешел опять под власть России, с ополяченным и перешедшим в католичество высшим классом населения и с низшим классом, порабощенным и угнетенным, но сохранившим вместе со своим духовенством преданность православию и России.

В эту эпоху русское государство было властно вводить свободно в край русские государственные начала. Мы видим Екатерину Великую, несмотря на всю ее гуманность, водворяющую в крае русских земледельцев, русских должностных людей, вводящую общие губернские учреждения, отменяющую Литовский статус и Магдебургское право. Ясно стремление этой государыни укрепить еще струящиеся в крае русские течения, влив в них новую силу для того, чтобы придать всему краю прежнюю русскую государственную окраску.



Но не так думали ее преемники. Они считали ошибкой государственное воздействие на благоприятное в русском смысле разрешение процесса, которым бродил Западный край в течение столетия, процесса, который заключался в долголетней борьбе начал русско-славянских и польско-латинских. Они считали эту борьбу просто законченной. Справедливость, оказанная высшему польскому классу населения, должна была сделать эту борьбу бессмысленной, ненужной, должна была привлечь эти верхи населения в пользу русской государственной идеи. Опыт этот, произведенный императорами Павлом Петровичем и Александром Благословенным, приобретает, с нашей точки зрения, особую важность и поучительность.

...Русские люди, которые были поселены в крае, были опять выселены; был восстановлен опять Литовский статут, были восстановлены сеймики, которые выбирали маршалов, судей и всех служилых людей. Но то, что в великодушных помыслах названных государей было актом справедливости, на деле оказалось политическим соблазном. Облегчали польской интеллигенции возможность политической борьбы и думали, что в благодарность за это она от этой борьбы откажется!

Не мудрено, господа, что императора Александра I ждали крупные разочарования. И действительно, скоро весь край принял вновь польский облик. Как яркий пример я приведу вам превращение старой православной метрополитенской церкви в анатомический театр при польском Виленском университете. Везде гнездились заговоры, в воздухе носилась гроза, которая и разразилась после смерти Александра в 1831 году вооруженным восстанием.

Это восстание, господа, открыло глаза русскому правительству. Государь-император Николай Павлович вернулся к политике Екатерины Великой. Своею целью он поставил, как писал в рескрипте на имя генерал-губернатора Юго-Западного края: «Вести край сей силой возвышения православия и элементов русских к беспредельному единению с великорусскими губерниями». И далее: «Дотоле не перестанут действовать во исполнение изъясненных видов моих, пока вверенные вам губернии не сольются с остальными частями Империи в одно тело, в одну душу».

...Политика в царствование Николая Павловича вращалась вокруг униатского вопроса, что привело к воссоединению униатов (с православной церковью. — *Авт.*), вращалась вокруг школьного дела, причем польский университет был перенесен из Вильны в Киев. Местным обывателям не была даже окончательно заграждена возможность поступать на государственную службу: дворянским собраниям было лишь вменено в обязанность принимать на дворянскую службу лиц, беспорочно прослуживших не менее десяти лет на военной или гражданской службе. И малопомалу, без особой ломки планы и виды императора начали проходить в жизнь».

Надо отметить, что Столыпин указывает только исторические вехи этого болезненного и до сих пор еще не завершившегося процесса. Впрочем, не будем забывать столыпинского намерения дать независимость собственно Польше.

«Но, господа, судьбе было угодно, чтобы опыт, единожды произведенный после смерти Екатерины Второй, повторился еще раз. По восшествии на престол император Александр Второй, по врожденному своему великодушию, сделал еще раз попытку привлечь на свою сторону польские элементы Западного края. Вместо того чтобы продолжать политику приведения русских начал, которые уже начали получать преобладание над польскими стремлениями и влияниями, поставлено было целью эти стремления и влияния обезвредить, сделать их одним из слагаемых государственности в Западном крае. И, тривиально говоря, поляки были попросту еще раз сбиты с толку; поляки никогда не отказывались и не стремились отказаться от своей национальности, какие бы льготы им предоставлены ни были, а льготы эти со своей стороны питали надежды и иллюзии осуществления национального польского стремления — ополячения края.

...В это время пробудились у поляков все врожденные хорошие и дурные стремления; они проснулись, пробужденные примирительной политикой императора Александра Второго, политикой, которая, как и 30 лет перед этим, окончилась вторым вооруженным восстанием.

Вот, господа, те исторические уроки, которые, я думаю, с достаточной яркостью указывают, что такое государство, как Россия, не может и не вправе безнаказанно (подчеркнуто нами. — *Авт.*) отказываться от проведения своих исторических задач».



Дальше Столыпин приводит примеры, как в годы революции в Западном крае столкновения на национальной почве приводили к попыткам насильственно сменить всех православных и волостных должностных лиц, школьных учителей. В Северо-Западном крае римско-католический епископ Роop заменял ксендзов-литовцев и белорусов ксендзами-поляками, призывал к формированию воинских частей из местных обывателей по религиозному принципу и т.д. На польских съездах провозглашалось, что польская культура выше русской и что поляки имеют особое положение.

Столыпин открыто призвал к защите русских государственных интересов: «Необходимо дать простор местной самодеятельности, поставить государственные грани для защиты русского элемента, который иначе неминуемо будет оттеснен».

Для решения этого вопроса он предложил создать национальные избирательные курии, русскую и польскую.

Через неделю в короткой речи в Думе Столыпин снова возвращается к этой теме и подчеркивает, что больше всего боится «равнодушия закона к русским».

Законопроект был принят со значительными поправками, но сохранились сам принцип курий и понижение имущественного ценза.

(Как ни странно, спустя восемьдесят лет в наши дни русские в прибалтийских республиках тоже требуют для защиты своих интересов создания отдельных избирательных курий. Это, бесспорно, свидетельствует, что мы в понимании национальной государственной идеи не продвинулись никуда дальше прошлого).

Только спустя восемь месяцев, 1 февраля 1911 г., Государственный Совет приступил к обсуждению вопроса о земстве в Западном крае. Тотчас выяснилось, что борьба будет вокруг основного пункта законопроекта — русской и польской курий. Председатель фракции правых П. Н. Дурново написал царю письмо, где говорилось, что проект нарушает имперский принцип равенства, ограничивает в правах польское консервативное дворянство в пользу русской «полуинтеллигенции», создает понижением имущественного ценза прецедент для остальных губерний.

Столыпин сделал ответный ход. По его просьбе царь обратился к правым через председателя Государ-

ственного Совета М. Г. Акимова с рекомендацией поддержать законопроект.

Правые восприняли эту рекомендацию неодобрительно, увидев в ней попытку давления. Сторонник Дурново В. Ф. Трепов добился у царя аудиенции и, высказав свою точку зрения, прямо спросил, понимать ли царское пожелание как приказ или можно голосовать по совести?

Не терпевший никакого давления, Николай ответил, что, разумеется, надо голосовать «по совести». Что и было нужно Трепову, который доложил об этом своим единомышленникам.

Столыпин об этом ничего не знал. 4 марта Государственный Совет голосовал основную статью, и вдруг оказалось, что она отвергнута большинством: 92 голоса против 68. Двадцать восемь правых голосовали против.

Столыпин был потрясен. Законопроект в его представлении должен был сыграть огромную роль в будущем страны. А то, что правые члены Государственного Совета, назначенные туда царем и недавно имевшие высочайшую аудиенцию, выступили против, было для него признаком почти царского недоверия, явной интриги. Столыпин сразу же ушел с заседания.

Была ли на самом деле интрига? Помощник Столыпина А. В. Зеньковский не сомневался в этом, приводя тот факт, что уже после смерти Реформатора законопроект был полностью утвержден Государственным Советом.

Действительно, против основной мысли законопроекта — охраны прав русского населения как проводника русской государственной идеи на окраинах империи — правым, по сути, нечего было возразить. Если они возражали — значит, «валили» Столыпина.

С. С. Ольденбург считал законной позицию Дурново и Трепова, проявившуюся в ответ на попытку Столыпина использовать мнение Николая для давления на правых.

На самом деле, безусловно, это была открытая борьба аристократического, дворянского начала российской монархии с ее демократическим началом. И то, что обе стороны стояли на идее приоритета государственности, не примирило их.

Справедливости ради надо добавить, что земства Западного края сделали по сравнению со старыми губернскими распорядительными комитетами во мно-



го раз больше. Особенно их сила проявилась в годы мировой войны. Как говорил Столыпин: **«Пусть из-за боязни идти своим русским твердым путем не остановится развитие богатого и прекрасного края...»**

Итак, 4 марта законопроект был отвергнут.

5 марта Столыпин поехал с докладом в Царское Село и заявил о своей отставке.

Николай был крайне удивлен. Повод показался ему незначительным.

Столыпин объяснил, что работать в обстановке интриг и недоверия со стороны монарха он не может.

Его ответ не удовлетворил Николая. Царь сказал, что не хочет лишаться Столыпина, и просил придумать какой-нибудь другой выход. Кроме того, он считал конфликты правительства с Думой и Государственным Советом подвластными себе.

Здесь Столыпин предложил прямолинейный путь, который не оставлял ему шанса для отступления. Он предложил распустить обе палаты на несколько дней и провести закон о западном земстве по 87-й статье.

Николай спросил, не боится ли он, что Дума осудит его.

Столыпин стоял на своем. Он был уверен, что Дума, которая поддержала законопроект, поймет правительство.

А Николай оказался перед сложной задачей: как сохранить Реформатора и одновременно с этим — как сохранить лицо перед общественностью? Он сказал: «Хорошо, чтобы не потерять вас, я готов согласиться на такую небывалую меру, дайте мне только передумать ее».

Но Столыпину этого было мало. Надо было что-то предпринять, чтобы Государственный Совет, точнее, правые, больше никогда не пытались пользоваться возможностью влиять на царя. То, что он сделал, было новым риском, но позволяло ему уничтожить тормоз, мешающий реформам. Столыпин высказался против Дурново и Трепова и просил Николая подвергнуть их взысканию, которое было бы показательно и для других.

Надо добавить, что Дурново был идейным консерватором, отвергавшим всякие компромиссы с либералами. Он не понимал, отчего происходит бессознательная оппозиционность русского общества, считал, что у самой оппозиции нет поддержки в народе,

и указывал, что соглашения с оппозицией только ослабляют правительство, которое должно независимо от оппозиции выполнять роль регулятора социальных отношений.

Нельзя сказать, что Николаю не были близки эти мысли. На этих взглядах держалась старая Россия.

И такого человека Николай должен был наказать?

Не много ли требовал Столыпин? Не переоценил ли свою силу?

«Государь, выслушав мое обращение, — рассказывал Столыпин потом, — долго думал и затем, как бы очнувшись от забытья, спросил: «Что же желали бы вы, Петр Аркадьевич, чтобы я соделал?» Столыпин хотел, чтобы Дурново и Трепову было предложено на некоторое время уехать из столицы и прервать свою работу в Государственном Совете.

Царь ничего на это не сказал, обещал все обдумать.

На следующий день Столыпин созвал министров и рассказал о разговоре с Николаем. Он был настроен решительно. Кривошеин, правда, пытался отговорить его от ультиматума по поводу Дурново и Трепова, да еще государственный контролер П.А.Харитонов предлагал искать примирительный исход.

Для чего Столыпин шел на обострение с видными представителями дворянской аристократии, не желая найти компромисс, сейчас невозможно доподлинно ответить. Немалую роль здесь сыграл и его прямой, сильный характер, всегда принимающий вызов.

Знал ли он, что Николай не простит ему этого нажима? Обязан был знать. Однако, по-видимому, считал необходимым бороться.

В известном смысле это было упоение борьбой. Неспроста осторожный, глубокий, консервативный Кривошеин, правая рука Столыпина в проведении реформ, предостерегал его от опрометчивого шага.

Столыпин горячо ответил на это: «Пусть ищут смягчения те, кто дорожит своим положением, а я нахожу и честнее, и достойнее просто отойти совершенно в сторону, если только еще приходится поддерживать свое личное положение».

Все министры ушли, остался один Коковцов. И он стал отговаривать Столыпина: Дума не простит насилия над законодательным порядком, требовать от царя наказания Дурново и Трепова, которых он сам принял на аудиенции, — неправильно. Коковцов предложил внести законопроект заново, чтобы провести его все-таки естественным путем.



Нет, Столыпин был непреклонен. «Лучше разрубить клубок разом, чем мучиться месяцами над работой разматывания клубка интриг».

Как будто он забыл, что сам всей своей деятельностью проводил принцип постепенных преобразований! Теперь надо было ждать решения царя. Три дня от него не было ответа.

(В августе 1915 г. история как будто подставила А. В. Кривошеину зеркало, когда он, забыв о «царском комплексе страха собственного слабоволия», настаивал на вхождении в правительство общественных деятелей вместе с А. И. Гучковым и даже пошел на своеобразный ультиматум, каковым являлось коллективное письмо министров к царю. Впоследствии он сожалел об этом: «Как я мог так поступить, зная характер государя?» Николай не послушал своих министров, не ввел в правительство новых лиц и взял на себя верховное командование армией, что и привело его через полтора года к «псковской ловушке», где Гучков и Шульгин приняли у него акт отречения).

В 1911 году положение в стране казалось незыблемым. Казалось, мало что может измениться, если Столыпин уйдет. Должно быть, так думал и Николай.

Не получая три дня ответа, Петр Аркадьевич уже считал себя в отставке, как на четвертый день был вызван в Гатчину к вдовствующей императрице Марии Федоровне.

В дверях кабинета хозяйки дворца он буквально столкнулся с царем. Не здороваясь, Николай быстро прошел мимо. В руках он держал платок, которым вытирал слезы. Что это означало, Столыпин вскоре понял.

Мать царя приняла его очень сердечно, начала уговаривать не уходить в отставку, прося так горячо и взволнованно, что это походило на мольбу.

«Я передала сыну, — сказала императрица, — глубокое мое убеждение в том, что вы один имеете силу и возможность спасти Россию и вывести ее на верный путь».

Она поведала, что царь сначала не слушал ее, находясь под влиянием своей супруги, которая ревновала к славе Столыпина, но затем согласился. По ее словам, спасти Россию мог только Столыпин.

Теперь можно было понять, почему Николай вышел от нее в слезах.

Столыпин покинул Гатчинский дворец, ожидая вызова в Царское Село.

За эти три дня он устал и почти смирился с мыслью, что уйдет. Рано или поздно это должно было случиться. Слава Богу, что он жив, не изувечен. Когда-то он признался: «Каждое утро, когда я просыпаюсь и творю молитву, я смотрю на предстоящий день как на последний в жизни и готовлюсь выполнить все свои обязанности, уже устремляя взор в вечность. А вечером, когда я опять возвращаюсь в свою комнату, то говорю себе, что должен благодарить Бога за лишний дарованный мне в жизни день. Это единственное следствие моего постоянного сознания близости смерти как расплаты за свои убеждения. И порой я ясно чувствую, что должен наступить день, когда замысел убийцы наконец удастся».

Уйдя в отставку, можно будет наконец освободиться от неподъемной тяжести, которую он уже пять лет держал на плечах. Благодаря тому, что он совершил, уже не свернешь назад. Он показал, что можно преобразовывать Россию без диктатуры, что можно удержать империю от развала и сделать ее не только сильной, но и народной.

За эти три дня сведения о возможной отставке правительства проникли в печать. В Думе не одобряли действия правых. Лев Тихомиров, публицист, в прошлом раскаявшийся революционер, прислал Столыпину телеграмму: «Приношу дань глубокого уважения до конца стойкому защитнику национальных интересов». В Западном крае протестовали против решения Государственного Совета...

После возвращения Столыпина из Гатчины глубокой ночью, в третьем часу, к нему прибыл фельдъегерь с пакетом от царя. Там было письмо на шестнадцати страницах. Николай писал, что был недостаточно искренен со своим главным помощником, что сознает ошибки и понимает, что только дружная работа вместе со Столыпиным может поднять страну. Он просил взять прошение об отставке обратно и утром прибыть в Царское Село.

На следующий день 10 марта Столыпин был принят царем. Все было сделано так, как он добивался: подписан приказ о перерыве в работе палат с 12 по 14



марта и поручено председателю Совета министров объявить Дурново и Трепову повеление выехать из столицы и до конца не посещать заседаний Государственного Совета. Это была невиданная победа Столыпина! Вернувшись, он тотчас позвонил Кривошеину и, полный радости, описал царскую аудиенцию: «Никогда еще государь не оказывал мне столь милостивого приема». На что Кривошеин через минуту заметил П. Н. Апраскину: **«Никогда государь этого ему не простит».**

Победа несла в себе начало крушения. Царь совершил действия, справедливость которых представлялась ему сомнительной.

И сразу после публикации указа о перерыве сессии Дума забурлила. Еще вчера Столыпин был гонимым, страдающим за идею укрепления русской государственности (причем большинство понимало, что «русская государственность» не несет в себе ничего шовинистического, как, например, и «английская», «германская», «французская»), а сегодня он — диктатор. Да, диктатор. Общественное мнение именно так воспринимало применение 87-й статьи Основных Законов.

К Столыпину явилась депутация октябристов и заявила свое несогласие. Столыпин признал, что это был «нажим на закон», но объяснил, что проект принят в думской редакции, то есть фактически выполнено решение Думы, а все происходящее — победа над «реакционным заговором».

Казалось, что Думе волноваться? Ведь самый главный столыпинский закон о свободном выходе крестьян из общины принят именно по 87-й, и все давным-давно согласились, что иначе он никогда не был бы принят. Да и в законодательной практике других стран — Англии, Австрии — тоже не раз применялись подобные меры. Чего же бурлить? А вот бурлило...

Столыпин, однако, чувствовал себя победителем и уехал на несколько дней в Ковенскую губернию к старшей дочери, которая уже была замужем, в имение Довторы.

Были хмурые, холодные весенние дни начала Страстной недели. Но с приездом Столыпина погода вдруг переменилась, пришло тепло и засияло солнце. Он гулял с дочерью, зятем и гостившей у них молодой американкой по саду, любовался пробуждением при-

роды, ездил верхом, учился играть в бридж, — он стремился полностью забыться.

Погостив четыре дня, Столыпин вернулся в Петербург. Там застал совсем другое настроение.

Гучков, протестуя против «игры законов», отказался от председательства в Думе. Несколько думских фракций внесли запросы по поводу «крушения Основных Законов». Подавляющее большинство думцев было раздражено. Правые были возмущены расправой с Дурново и Треповым. Левые — призраком диктатуры. Правый монархист граф А. А. Бобринский писал в своем дневнике: «Возмущению Петербурга нет границ», — и так оценивал действия Столыпина: «Имел такую исключительно удачную партию на руках и так глупо профершпилился!» А Лев Тихомиров, который несколько дней назад, предвидя отставку премьера, приветствовал его, теперь был настроен совсем по-другому: «Столыпин решился взять закон глупости... Хорош заговор! Все программы монархических союзов требуют восстановления самодержавия... Какой тут заговор?.. Не ожидал я, чтобы Столыпин в пылу борьбы мог унизиться до явно лживого доноса».

15 марта Дума возобновила работу. С ее трибуны на председателя Совета министров обрушилась резкая критика. Трудно было поверить, что это та Дума, которая еще недавно сотрудничала с правительством. Октябристы, кадеты, правые — все обвиняли Столыпина.

«Смешно и трагично, что лица, руководящие русской политикой, настолько не осведомлены, что они считают возможным найти в Думе поддержку для грубых правонарушений», — говорил октябрист С. И. Шидловский.

Милюков проводил историческую параллель: «Как будут сконфужены заграничные газеты, когда узнают, что наших членов верхней палаты за выраженное ими мнение не только подвергают дисциплинарной ответственности, как чиновников, но и отечески карают, как холопов. Благодарите нового Бориса Годунова!»

Наверное, неспроста приват-доцент истории Милюков выбрал имя Годунова, на котором лежит обвинение в убийстве законного наследника престола.

С Милюковым перекликался В. Н. Львов: «Когда у Карамзина спросили об Аракчееве, он ответил: «Священным именем монарха играет временщик».



Вслед за Думой предъявил запрос правительству и Государственный Совет.

Столь дружное осуждение было для Столыпина неожиданным. Он видел, что переоценил свои силы, что общество, смирявшееся с жестокими мерами по подавлению террора, сплачивается против него, как только он переступил незримую границу здравого смысла. Еще недавно он боролся с правыми против установления диктатуры и против ликвидации Думы, боролся против иллюзии мгновенных, скачкообразных перемен; сейчас, по мнению большинства, он нарушал собственные правила.

Сказывалась еще и старая русская традиция — судить правителя не по закону, а по общественному представлению о справедливости. Западная философия: «Пусть рухнет мир, но восторжествует закон», — в России всегда была холодной книжной максимой. В России мир был выше и царского мнения.

Показательно, что, начав бороться с общиной, с крестьянским миром, Столыпин получил от этого мира удар, выраженный в народном представлении о справедливости. А то, что и Дума, и Государственный Совет в данном случае выражали универсальное мнение, бесспорно. Они поправляли и монарха. Действие председателя Совета министров было осуждено в обеих палатах.

Понимал ли Столыпин это до конца?

Трудно сказать. Он был полностью захвачен национальной государственной идеей. «Россия была подведена к поворотному пункту в ее внутренней национальной политике, — говорил он, отвечая на запрос в Государственном Совете. — Я знаю, что отказ от мечты о западном земстве — это печальный звон об отказе Петербурга в опасную минуту от поддержки тех, кто преемственно стоял и стоит за сохранение Западной России русской».

— Это чистейший национализм, — скажут сегодня одни.

— Нет, это понимание природы нашего государства как русоцентристского, — возразят другие.

— Оставим споры тому времени, — заметят третьи.

А те, кто любит из всего извлекать уроки, вспомнят о сегодняшнем сложном положении русских людей в республиках СНГ.

Через четыре месяца, уже после гибели Реформатора, когда страсти по поводу его «диктаторства» остались в прошлом, российское общество склонило голову перед его памятью.

А тогда, весной, царь резко охладел к Столыпину. Он сказал, по свидетельству Витте, что готовит ему новое назначение. Возможно, что это так. Но возможно, что Витте пользовался слухами. Одно достоверно: Столыпин был в тупике.

Влияние на царя его матери в этот период ослабело, а усилилась позиция супруги, благоволившей, напомним, к Распутину.

Распутин же испытывал к Столыпину яростную вражду. Известно, что «старец» пытался гипнотизировать премьера. Это было в начале 1911 г., после того, как Столыпин снова поставил перед царем вопрос о Распутине. Премьер представил Николаю обширный доклад, составленный на основании следственного материала Синода. Царь ничего не решил, поручив Столыпину встретиться с Распутиным и лично составить о нем мнение. Премьер вызвал «старца». Войдя в кабинет, тот принялся шаманить.

«Он бегал по мне своими белесоватыми глазами, — рассказывал Столыпин, — произносил какие-то загадочные и бесполезные изречения из Священного Писания, как-то необычно водил руками, и я чувствовал, что во мне пробуждается непреодолимое отвращение к этой гадине, сидящей против меня. Но я понимал, что в этом человеке большая сила гипноза и что она на меня производит какое-то довольно сильное, правда, отталкивающее, но все же моральное влияние. Преодолев себя, я прикрикнул на него и, сказав ему прямо, что на основании документальных данных он у меня в руках и я могу его раздавить в прах, предав суду по всей строгости законов о сектантах, ввиду чего резко приказал ему немедленно, безотлагательно и притом добровольно покинуть Петербург и вернуться в свое село и больше не появляться».

Распутин был изгнан и объявился уже в Киеве, привезенный туда из сибирского села фрейлиной императрицы А. А. Вырубовой.

Можно понять отношение императрицы Александры Федоровны, матери, чей сын был болен гемофилией



и поддерживался заговорами «старца», к председателю Совета министров, который изгоняет целителя. Это тоже был тупик.

## ГЛАВА 14

Для Столыпина наступает период «полуотставки». Лето он проводит в своем имении Колноберже и лишь в июле наездами бывает в столице. Он снова становится помещиком. И хотя установленный в доме телеграф днем и ночью выстукивает новости, Реформатор с каждым днем все глубже погружается в интересы семьи. Он устал. Доктор говорит, что у него грудная жаба и сердце требует длительного покоя.

В Колноберже обычно приезжали соседи и друзья, но в это лето Столыпин сам объезжает их поместья, чего по недостатку времени раньше не мог делать.

Лето, последнее лето. Чудесные, погожие дни, жена, маленький Аркадий (который проживет долгую жизнь и расскажет Александру Солженицыну о своем отце), дочери, из которых самая близкая — Маша, а самая жалкая — израненная Наташа, уже после операций научившаяся ходить... Семейные вечера, долгие разговоры, возвращение к семейным божествам, от которых его оторвало служение государству.

— Постараюсь отдохнуть в Колноберже, насколько можно, без вреда для дел, — сказал Петр Аркадьевич Маше, — а осенью поеду на юг. — И добавил: — Не знаю, долго ли могу прожить.

Нет, служение государству никого не делало счастливым.

Обстоятельства климата и истории говорят нам: «Служи». Взаимоотношения человека и государства — только через жертву.

Все так.

От крошечного поселка, затерявшегося в лесах на ручье-реке Москве, тысячу лет росло Русское государство, и ни у кого из русских не было желания уйти от своей судьбы. Если кто уходил, не по своей воле, а по своему горю.

Его больше нет на свете, Русского государства. Оно исчезло. Как Рим, как Византия. И, наверное, мы уже не русские. Мы — советские, советско-российские. А России — больше нет. Где она, та, которая, по

прогнозам заграничных комиссий, должна была высоко подняться?

Вот что думаешь сегодня, вглядываясь в то лето 1911 года. Нет больше ни имения Колноберже, ни библиотеки, в которой хранились еще лермонтовские книги, — библиотека была вывезена литовским буржуазным правительством, а когда возвращена, лучших книг в ней уже не было...

В то лето Столыпин писал большую работу о будущем России. Он предвидел еще большее развитие земского самоуправления, передачу ему всех местных вопросов, «применяясь насколько можно к штатным управлениям Соединенных Штатов Северной Америки». Хотел создать ряд новых министерств — труда, национальностей, социального обеспечения, вероисповеданий, здравоохранения, по обследованию, использованию и эксплуатации недр. Например, функция обеспечения государственной социальной защиты рабочих возлагалась на министерство труда. Обеспечение различных национальных интересов — на министерство национальностей.

В области внешней политики интерес представляет идея создания Международного парламента, куда бы вошли все страны, имея возможность координировать экономические, военные, гуманитарные вопросы. Его взгляды на взаимоотношения с европейскими странами весьма жестки.

«Германия со своим большим населением, вне всякого сомнения, задыхается на своей сравнительно небольшой территории. Ее стремление расширить свою территорию на восток легко может послужить поводом к войне против России. Один лишь Бисмарк, сравнительно хорошо знавший Россию, не раз предупреждал германского императора, что всякая война против России очень легко поведет к крушению германской монархии.

Англия же, считая себя первой державой мира и стремясь к тому, чтобы всегда играть первую скрипку в международном концерте, вне всякого сомнения, боится того, чтобы Россия, постоянно улучшая свое экономическое и военное положение, не помешала бы ей в ее колониальной политике. Больше всего Англия боится того, чтобы Россия не проникла в Индию, хотя



Россия абсолютно не имеет никаких желаний захватить Индию... Англия не может не чувствовать, что ее эксплуатация таких стран, как Индия и другие, рано или поздно может закончиться, и тогда она не только не будет играть первой скрипки в международном концерте мира, но и перестанет быть той великой империей, каковой является в данное время. Поэтому Англия больше всех ненавидит Россию и будет искренне радоваться, если когда-нибудь в России падет монархия, а сама Россия не будет больше великим государством и распадется на целый ряд самостоятельных республик...

Ни любви, ни уважения во Франции к России нет, но вместе с тем Франция, ненавидя и боясь Германии, совершенно естественно стремится к тому, чтобы быть связанной с Россией военными союзами и договорами».

Об Америке Столыпин отзывался иначе. Он видел в США не соперника, а союзника и предполагал в ближайшее время поехать в Вашингтон и «в разговоре с Президентом и Государственным секретарем найти общие пути к более тесному и дружескому сближению России с Соединенными Штатами».

Столыпин надеялся «повлиять на прессу и общественные круги, чтобы путем личного посещения России большой группы представителей законодательных палат, корреспондентов и общественных деятелей Соединенные Штаты могли бы иметь возможность убедиться в том, что в России существует свобода и нет того угнетения национальностей, населяющих Россию, о котором распространяют слухи враги России».

Он надеялся привлечь США к идее Международного парламента.

«Считаю вполне возможным, что в будущем в России, как и в каждом государстве, могут меняться формы управления государственного режима, но русский народ по своему характеру, по своим взглядам, в своем отношении к людям не будет меняться и лишь об одном не будет забывать, кто его враги и кто его друзья. Народы Западной Европы, безусловно, значительно культурнее русского народа, но его искренними друзьями никогда не будут, и может быть, только за океаном русский народ скорее в состоянии будет рассчитывать на то, что его поймут и пойдут ему навстречу. Равным образом народы Северной Америки всегда

могут рассчитывать на то, что русский народ со своим русским радушием, со своей отзывчивостью и доброй душой, с искренним сердцем отзовется и во всем пойдет навстречу Америке, которой Россия и раньше помогала».

Теперь уже не имеют никакого практического значения эти заметки о будущем. Во многом Столыпин предвосхитил историю — это и Организация Объединенных Наций, и закат Британской империи, и поражение Германии в войне. Единственно, в чем как будто не угадал, — в отношениях России с Америкой.

Впрочем, в 1920 г., когда Англия стремилась всячески содействовать отделению от России прибалтийских и закавказских территорий, раздался трезвый голос Соединенных Штатов Америки, предупредивший нотой государственного секретаря Кольби, что США против разделения России.

Когда в октябре 1919 г. Литовский Национальный Комитет обратился к правительству Соединенных Штатов с просьбой признать Литву самостоятельным государством, то государственный департамент Соединенных Штатов ответил, что, руководимый чувством дружбы и обязательной чести по отношению к великой нации, храброе и геройское самопожертвование которой содействовало успешному окончанию войны, Соединенные Штаты не могут признать Балтийские страны как отдельные государства, не зависимые от России.

Заканчивалось лето в поместье. Совсем недолго оставалось до отъезда Петра Аркадьевича в Киев на торжества по поводу открытия памятника Александру II. Он ожидал увидеть там оживление общественной жизни после выборов, прошедших по новому закону о земстве.

Незадолго до отъезда Столыпину явился во сне его университетский товарищ Траугот, с которым он поддерживал дружеские отношения, и сказал: «Я умер. Прошу тебя позаботиться о моей жене». Телеграмма с печальной вестью пришла на следующий день.

Уезжать в Киев Столыпину не хотелось. На сердце была тяжесть.

25 августа он прибыл в Киев. Вызвал министров. Здесь был намечен съезд деятелей новых северных



и его западных земств. В земствах Столыпин видел единственный путь организации жизни страны, не отлучавший наиболее активную часть народа, в том числе и интеллигенцию, от власти, а втягивающий ее в активное строительство.

Остановился Столыпин в доме генерал-губернатора Ф. Ф. Трепова на Институтской улице, неподалеку, на той же улице, в доме конторы государственного банка, — В. Н. Коковцов. Почему-то Столыпину не выделяли экипажа, и он испытывал неудобства, был вынужден нанимать транспорт для поездок. Настроение его не улучшилось. Он слышал о возможном покушении на него, но не придавал этому значения. Ходил без охраны по Институтской к Коковцову. Только признался ему: «Я чувствую себя здесь, как татарин вместо гостя. Нечего нам с вами здесь делать».

Он угадывал, что его «полуотставка» вероятнее всего закончится отставкой.

29 августа в Киев прибыл царь с семьей. Начались большие торжества, посещение святынь «матери городов русских» — Софийского собора и Печерской лавры. Стояла прекрасная погода, теплая, чуть пронизанная осенней прохладой. Древний Киев, золотые купола соборов, крест Святого Владимира над Днепром, — все дышало спокойствием и красотой.

Первого сентября, примерно в полночь, в помещении Киевского городского театра допрашивали бледного молодого человека в разорванном фраке. У него был рассечен лоб, выбиты два зуба, на лице — ссадины. Только что он тяжело ранил председателя Совета министров Столыпина.

— Зовут меня Дмитрий Григорьевич Богров, — хладнокровно отвечал на вопросы жандармского подполковника молодой человек. — Вероисповедания иудейского, от роду двадцать четыре года, звание помощника присяжного поверенного. Проживаю в Киеве, Бибиковский бульвар, дом четыре, квартира семь.

Богров признался, что давно решил убить Столыпина и искал способ, как совершить покушение. Решил, что надо войти в доверие к начальнику городского охранного отделения Кулябко. Обратился к нему с вымышленными сведениями, что некий молодой человек

готовится убить одного министра и в настоящее время проживает в квартире Богрова.

Из допросов следовало, что Кулябко был введен в заблуждение, стал содействовать Богрову в надежде, что тот поможет разоблачить террориста, и дал ему пропуск в театр на парадное представление оперы «Сказание о царе Салтане».

Далее Богров подробно объяснил, как дурачил начальника охранного отделения, и признался, что ранее был связан с анархистами.

«Покушение на жизнь Столыпина произведено мною потому, что я считаю его главным виновником наступившей в России реакции, то есть отступления от установившегося в 1905 году порядка: роспуск Государственной Думы, изменение избирательного закона, притеснение печати, инородцев, игнорирование мнений Государственной Думы и вообще целый ряд мер, подрывающих интересы народа. С середины 1907 года я стал давать сведения охранному отделению относительно группы анархистов, с которыми имел связи. В охранном отделении состоял до октября 1910 года, но последние месяцы никаких сведений не давал. В сентябре 1908 года я предупредил охранное отделение о готовящейся попытке освободить заключенных в тюрьме Тыша и «Филиппа». Необходимо было немедленно принять меры, и я предложил Кулябко арестовать и меня. Я был арестован и содержался в Старокиевском участке две недели.

В охранном отделении я шел под фамилией «Аленский» и сообщил сведения о всех вышеприведенных лицах, о сходках, о проектах экспроприаций и террористических актов, которые и рассматривались Кулябко. Получал я 100 — 150 рублей в месяц, иногда единовременно по 50 — 30 рублей. Тратил их на жизнь».

Допрос продолжался до пяти часов утра беспрерывно и закончился на том, что Богров опознал свой браунинг.

Арестованного усадили в карету и отправили в киевскую крепость. С одной стороны от него сидел киевский полицеймейстер полковник Скалон, с другой — жандармский полковник, державший в руках взведенный револьвер. Следом ехали еще в трех экипажах жандармы. Богрова поместили в «Косом капонире», в одиночной камере.



Что же произошло?

Утро первого сентября было великолепным. В небе ни облачка, тепло и хорошо. С утра царь отправился смотреть маневры, затем в семнадцать часов на ипподроме в Печерске должен был произойти в его присутствии смотр «потешных» (подростков, занимавшихся военной подготовкой), а вечером в театре предстоял прекрасный спектакль.

Настроение киевским начальникам портило известие о появлении неизвестной террористки, которая намеревалась произвести террористический акт против Столыпина. Но не исключена попытка и цареубийства.

Впрочем, Петр Аркадьевич был спокоен и выходил на улицу один. После обеда за ним прислали из охранного отделения закрытый автомобиль и повезли в Печерск.

Ярко светило солнце. Перед трибунами выстроились в шахматном порядке киевские гимназисты в белых рубахах, л у ч ш а я охрана царя. Столыпин вышел из автомобиля, стал подниматься по лестнице. Его то и дело останавливали приветствиями. Киевский губернатор Алексей Федорович Гирс торопил, опасаясь непредвиденного. Возле одной из лож Столыпин приостановился, какая-то пожилая дама кивнула на его ордена и бросила, Бог знает зачем: «Петр Аркадьевич, что это за крест у вас на груди, точно могильный?»

Гирс, знавший от Кулябко о террористке, возмутился. Столыпин же невозмутимо ответил: «Этот крест мной получен за труды Саратовского управления Красного Креста, который я возглавлял во время японской войны». Он дошел до ложи, предназначенной Совету министров и царской свите, но прошел дальше. Гирс спросил: «Почему?» «Без разрешения министра двора я сюда войти не могу», — объяснил председатель Совета министров и спустился на площадку перед трибунами, огороженную барьерами. Тотчас несколько человек в штатских костюмах незаметно встали полукругом возле барьеров.

Столыпин повернулся к Гирсу. Вид у него был невеселый. Он стал спрашивать, почему вчера во время освящения памятника Александру II было запрещено евреям-учащимся идти наравне с другими учащимися с крестным ходом.

Гирс ответил, что попечитель киевского учебного округа Зилов распорядился, чтобы в церковной процессии не было нехристиан, то есть евреев и мусульман.

Столыпин возразил, что подобные распоряжения нелепы и вредны, вызывают в детях рознь.

К ним подходили знакомые: пытались завязать разговор, но Столыпин был немногословен.

Уже давно наступило пять часов. Царь опаздывал. Гирс принялся повествовать о губернских делах, терпеливо пытаясь разговорить Столыпина. Когда речь зашла о выборах в земство, тот наконец оживился, стал расспрашивать об избранных. Для него было ясно, что главное препятствие к развитию местного управления — дворянская иерархия. Говорить об этом он не мог, не зная, поймет ли его Гирс. Но заметил, что земство здесь нужно было ввести давно, с ограничениями для крупного польского землевладения, — собственно, для дворянского сословия.

Вообще самоуправление и развитие местной инициативы было сейчас самым важным для Столыпина вопросом.

И почти все — мешали. То, к чему он стремился, должно было отодвинуть старую иерархию. Поэтому и мешали.

Царь с детьми приехал с опозданием на полтора часа. Столыпин встретил их внизу, прошел в соседнюю ложу. Начался смотр «потешных». Он завершился к восьми часам. Все было спокойно.

К девяти начался съезд приглашенной публики в театр. Театральная площадь и прилегающие улицы от холма до Крещатика охранялись полицией. У входа в театр стояли жандармские офицеры и тщательно проверяли у всех билеты. Еще утром проверили в театре все подвалы и чердаки. Террористу невозможно было проникнуть туда.

Показывая билеты, проходили военные в белых кителях с нарядными дамами в белых платьях. Всюду был белый цвет. Несколько штатских в черных фраках только подчеркивали торжественность мундиров и кителей. Столыпин минут за десять до приезда царя вышел в зал вместе с министром народного образования Кассо, военным министром Сухомлиновым, обер-прокурором Саблером. Он встал возле своего кресла



в первом ряду, через одно от левого прохода, лицом к публике. К нему подошел Кассо, потом какой-то полный молодой администратор. С опозданием появился Коковцов и тоже прошел в первый ряд.

К девяти приехал царь с дочерьми Ольгой и Татьяной. Он сел в выступе генерал-губернаторской ложи и был весь открыт. Рядом с ним — великие княжны, наследник болгарского престола Борис, великие князья Андрей Владимирович и Сергей Михайлович.

Погас свет. Оркестр заиграл гимн «Боже, царя храни», который назывался народным. Все встали и трижды спели гимн. Потом началась опера. Постановка была прекрасна, собрали лучших певцов, но Столыпин смотрел на сцену безучастно. Несколько раз он взглядывал на царя, и было видно, что его не занимает пение.

Во время первого акта царь вышел, Столыпин остался на месте. К нему подходили сановники, в том числе и генерал Курлов, на которого было возложено обеспечение безопасности. Столыпин спросил, не найдена ли террористка, и требовал скорее завершить розыск.

Затем начался и прошел второй акт. Оставался третий, совсем короткий. Было около одиннадцати с половиной часов.

Царская ложа снова опустела. Столыпин встал, повернулся лицом к залу, оперся на барьер. К нему подошли военный министр Сухомлинов, на кителе которого гордо белел орден Св. Георгия, полученный им еще в юности в турецкой войне, и граф Потоцкий. Подошел и Коковцов. Он должен был ехать на вокзал, спешил проститься, ему надо было завершать роспись финансов на будущий год. Пожав руки, Коковцов собрался уже отойти, как вдруг Столыпин произнес:

— Как я вам завидую, что вы едете в Петербург! Возьмите меня с собой.

— Сделайте одолжение, — улыбнулся Коковцов. — У меня здесь лошадь, милости просим! — и откланялся.

Публика покидала зал.

Из восемнадцатого ряда двинулся по направлению к первому высокий черноволосый молодой человек в черном фраке. Он шел уверенно, прикрывая афишкой оттопырившийся карман брюк. Дойдя до второго ряда, он остановился метрах в двух от Столыпина и вытащил браунинг.

Столыпин смотрел прямо на него. По лицу молодого человека пробежала гримаса страха и напряжения. Он дважды выстрелил.

В зале воцарилась тишина. Столыпин наклонил голову, посмотрел на свой белый китель. Владимирский крест был пробит пулей. Петр Аркадьевич посмотрел на удалявшегося молодого человека и велел его задержать. Раздалось громкое восклицание из оркестра:

— Государь жив!

Послышался чей-то пронзительный вопль.

Столыпин положил на барьер фуражку и перчатки и замедленными движениями стал расстегивать и снимать китель. У него была прострелена и кисть правой руки, капала кровь. Кто-то принял китель, и тогда он снова наклонил голову, разглядывая красное пятно, расплывающееся повыше правого кармана жилета. Он безнадежно махнул рукой и тяжело опустился в кресло. Потом, словно вспомнив что-то, повернулся к царской ложе. Там никого не было. Он поднял левую руку и сделал предостерегающий жест. В это время в ложе появился Николай и встал у всех на виду. Столыпин перекрестил его широким, медленным движением.

После этого он склонился набок, уронил голову на грудь и вытянул ноги.

Выстрелив, молодой человек в черном фраке повернулся и быстро пошел к выходу. Двое офицеров схватили его, но он вырвался, кинулся дальше к дверям, но там был сбит с ног. На него набросилось человек пятьдесят в белых кителях. Его не стало видно.

— Убить! Убить его! — неслось отовсюду. Из ложи бельэтажа выпрыгнул какой-то офицер. Толпа терзала преступника. Вбежал из фойе полковник Спиридонович, начальник царской охраны, обнажил шашку и приказал оставить молодого человека.

Кто-то из толпы воззвал громовым голосом:

— Гимн!

Преступника увели.

Столыпина подняли на руки восемь человек и осторожно понесли из зала. Он был бледен, зубы сжаты. Его уложили на маленьком малиновом диванчике не-



далеко от кассы. Профессора Рейн и Облонский перевязали рану.

Из зала доносилось пение гимна. Снова спели трижды. Потом запели молитву: «Господи, спаси люди твоя». И тоже пели трижды.

Столыпина повезли в карете «скорой помощи» в хирургическую клинику Маковского на Малой Владимирской улице. Он был в сознании и понимал — все кончено.

На следующий день Богрова допрашивали в «Косом капонире». О себе он рассказал следующее. Отец — присяжный поверенный и домовладелец. Дом стоит примерно 400 тысяч рублей. Семья обеспеченная. Окончил гимназию, поступил в Киевский университет. Год проучился в Мюнхене. Вернувшись из Мюнхена, примкнул к группе анархистов-коммунистов. Затем разочаровался в них. «Все они преследуют главным образом чисто разбойничьи цели. Поэтому я оставался для видимости в партии, решил сообщать Киевскому охранному отделению о деятельности членов ее. Решимость эта была вызвана еще тем обстоятельством, что я хотел получить некоторый излишек денег. Для чего мне нужен был этот излишек — объяснять я не желаю... Всего работал я в охранном отделении два с половиной года».

Затем Богров повторил уже известное из первого допроса — что задумал убить Столыпина и как морочил Кулябко.

Из допросов выходило, что Богров стрелял из идейных соображений, что он — анти-Азеф. Пришло ли такое сравнение в голову следователям, неизвестно. Но они расширили круг вопросов и стали исследовать моральные качества Богрова в его взаимоотношениях с анархистами. И выяснилось, что он не анти-Азеф, а фигура иного рода. Анархисты подозревали в нем провокатора, обвинили его в утайке партийных денег и заставили его их вернуть.

И вот главное: «16 августа ко мне на квартиру явился... «Степа»... Приметы «Степы»: высокого роста, лет 26 — 29, темный шатен, усы, падающие вниз, волосы слегка завиваются, довольно полный и широкоплечий. «Степа» заявил мне, что моя провокация безусловно и окончательно установлена... мне в бли-

жайшем будущем угрожает смерть, реабилитировать себя я могу одним способом, а именно — путем совершения какого-либо террористического акта, причем намекал мне, что наиболее желательным актом является убийство начальника охранного отделения Н. Н. Кулябко, но что во время торжеств в августе я имею богатый выбор... Буду ли я стрелять в Столыпина или в кого-либо другого, я не знал, но окончательно остановился на Столыпине уже в театре, ибо, с одной стороны, он был одним из немногих лиц, которых я раньше знал, отчасти же потому, что на нем было сосредоточено общее внимание публики».

Идейная сторона покушения как будто стала ясна. Эти показания Богров давал в день казни, они были последними. Он был повешен в ночь на 12 сентября в Лысогорском форте.

Загадка Богрова тем не менее сохранилась до нашего времени.

Ее широко использовала революционная пропаганда, представляя Богрова агентом охранки, руками которого полиция устранила Столыпина, и сеяла недоверие именно к тем органам, которые боролись с революцией.

Пытались эту загадку объяснить и по-другому. Киевский генерал — губернатор Ф. Ф. Трепов утверждал, что в день покушения Богров обедал в ресторане «Метрополь» с «известным врагом монархического строя Львом Троцким-Бронштейном». То есть, говоря прямо, — был заговор.

Истина же мало кого интересовала.

А она лежала в русле исторического процесса России, которую активно перестраивал Столыпин. Посмотрим на фигуру Богрова непредвзято. Обеспеченный человек, спортсмен, шахматист, умный, ироничный, любимый родителями, уважаемый друзьями. Он только-только начал жить. Революционеры явно его разочаровали — он от них отошел. Отсутствие глубоких убеждений толкнуло его к полиции, но и от нее он отошел. Вспомним: «Героическое «все позволено» незаметно подменяется просто беспринципностью во всем, что касается личной жизни, личного поведения, чем наполняются житейские будни. В этом заключается одна из важных причин, почему у нас, при таком



обилии героев, так мало просто порядочных, дисциплинированных, трудолюбивых людей...» Да, это отец Сергий Булгаков, статья «Героизм и подвижничество» из сборника «Вехи».

Богров, по словам хорошо знавшего его анархиста И. С. Гроссмана, жил протестом против нудной обыденщины и никогда не был «просто веселым, радостным, упоенным борьбой и риском». Жизнь его утомляет. Он презирает ее, у него достает силы не бояться смерти, но есть ли сила, чтобы жить? Знавшие его эсеры говорили: «Барин, буржуй, в серьезных делах с ним лучше не связываться».

Из письма Богрова родителям 1 сентября открывается своеобразная трагедия этого человека:

«Дорогие мои, милые папа и мама.

Знаю, что вас страшно огорчит и поразит тот удар, который я вам наношу, и в настоящий момент это единственное, что меня убивает. Но я знаю вас не только за самых лучших людей, которых я встречал в жизни, но и за людей, которые все могут понять и простить.

Простите же и меня, если я совершаю поступок, противный вашим убеждениям.

Я иначе не могу, и вы сами знаете, что вот 2 года, как я пробую отказаться от старого.

Но новая спокойная жизнь не для меня, и если бы я даже сделал хорошую карьеру, я все равно кончил бы тем же, чем теперь кончаю.

Целую много, много раз. *Митя*».

При внимательном чтении это трогательное сыновье письмо подтвердит трагедию российского интеллигента.

Солженицын, размышляя о Богрове, выдвигает идею «идеологического поля», то есть другими словами — настроение общества вызывает террор. Думается, это не совсем так. Любой террор, кроме вендетты, вызывается настроением общества или его части, которое поощряет его. Да и вендетту тоже. Богров — порождение более серьезных исторических явлений нашей истории, о которых точно высказались отечественные философы.

Сегодня, когда мы переживаем драму смутного времени, нетерпеливость, нежелание и неумение созидательно работать вызывает в нашей интеллигенции то тоску по твердой руке, то желание найти «врагов»,

то потребность в молниеносных результатах. И снова — оторванность от народа, у которого никто и не спрашивает, чего он хочет.

Пятого сентября вечером Столыпин умер. **«В истории России начинается новая глава»,** — пророчески сообщило «Новое время».

Когда вскрыли завещание, прочли: **«Я хочу быть погребенным там, где меня убьют».**

Его похоронили в Киево-Печерской лавре рядом с могилами Искры и Кочубея, двух героев Петровской эпохи, которые предпочли лютую смерть предательству. Петербургское телеграфное агентство сообщило:

«Киев, 9 сентября. Серое, пасмурное утро. Флаги на консульствах приспущены. Со стороны лавры мчатся автомобили и вереницей тянутся экипажи. Для желающих не хватает места в вагонах трамвая. Они целым потоком направляются в лавру. Открытый сначала широкий доступ в двери лавры затем, во избежание давки, несколько ограничивают. Около великих ворот быстро образовалась огромная толпа, заполнившая всю площадь и Трапезную церковь, где у тела покойного всю ночь дежурили чины министерства внутренних дел, с товарищем министра Лыкошиным во главе. Прибывают представители и депутации высших государственных учреждений, приехавшие из Петербурга, высшие представители местных и иногородних ведомственных и общественных учреждений и организаций. В числе присутствующих: обер-прокурор св. Синода, главноуправляющий землеустройством и земледелием, министры юстиции и торговли и промышленности, председатель Государственной Думы Родзянко, члены Государственного Совета и Думы, петербургский и московский городские головы. Из рук в руки передают подписной лист, быстро покрываемый подписями чиновников и общественных деятелей, жертвующих значительные суммы на памятник П. А. Столыпину...»

Царя на похоронах не было. Он простился с телом раньше, как только прибыл шестого сентября пароходом из Чернигова, долго стоял на коленях перед умершим, молился и много раз повторял: «Прости». Еще раньше, перед отъездом в Чернигов, он хотел посетить раненого, но жена Столыпина его не пустила.

П. А. Столыпин.
Эта фотография хранится в Бахметьевском архиве Колумбийского университета (Нью-Йорк), в фонде М. П. Бок — дочери Столыпина

Сестры милосердия Первой мировой войны

Умирал Петр Аркадьевич спокойно, то впадая в забытье, то приходя в себя. Он все время говорил что-то бессвязное. По отдельным словам можно было понять, что его последние мысли — о российских делах. Последнее слово, которое разобрали, было: «Финляндия». Финский вопрос, который ему так и не удалось разрешить, мучил его.

Но что маленькая Финляндия? Великая Россия потеряла последнего своего деятеля, который уводил ее от войн и потрясений!

Через год, первого сентября 1912-го, напротив киевской городской Думы был открыт памятник Столыпину. На строгом постаменте стояла высокая гордая фигура, на пьедестале были высечены слова: **«Вам нужны великие потрясения, нам нужна Великая Россия»** и **«Твердо верю, что затеплившийся на западе России свет русской национальной идеи не погаснет и скоро озарит всю Россию».** На лицевой стороне значилось: **«Петру Аркадьевичу Столыпину — русские люди».**

России, Российской империи еще оставалось шесть лет.

К 1914 г. она достигла наивысшей точки процветания, огромное большинство народа имело меньше всего оснований для недовольства, рос урожай и промышленное производство, развернули работу земства, найдя наконец путь объединения образованных людей и реального дела. «Да чего же большего может желать русский народ!» — восклицал английский писатель Морис Беринг весной того года в книге «Основы России». И указывал, что недовольных, по сути, нет, кроме как главным образом в высших кругах.

Да, столыпинская Россия теснила дворянскую сословную Россию. И в конце концов это противостояние привело к катастрофе.

Поучительна и горька судьба Реформатора. Кто знает, как развивалась бы наша история, останься он в живых. Удержал бы он страну от войны или, находясь в отставке, был бы призван из «запаса» и смог бы объединить аристократическую и земскую силы? Этого знать не дано...

Каков же итог жизни? Реформы до конца не довел, не удержал власти, не объединил расколотое общество. К тому же впоследствии незавершенность реформ

и война стали одними из причин революции 1917-го года, в которой погибла (расстреляна) дочь Столыпина Ольга. Остальные дети были рассеяны в изгнании, а их потомки утратили русскую идентичность.

Итог жизни? Глобальная катастрофа.

К этому надо добавить, что сегодня имя Столыпина стало символом буржуазных реформ, еще плохо продуманных и обеспеченных гарантиями.

Спокойные эволюционные преобразования, каковые и есть суть столыпинской идеи, снова неприемлемы для правого и левого флангов нашего общества.

Какой же тут итог?

Печальна эта судьба.

# ГЕНЕРАЛ САМСОНОВ

## ГЛАВА ПЕРВАЯ

После праздничной службы гости и офицеры рассаживались перед белым полотном и оглядывались то на Самсонова, то на синематографический аппарат. Должны были показывать хронику недавней Балканской войны, где, как многим известно, на стороне Болгарии участвовали русские добровольцы. А мало кто помнил, что и Самсонов восемнадцатилетним корнетом воевал в Болгарии с турками вместе с таким богатырем, как Скобелев. И вот Самсонов, грозный, могучий медведь, в белом летнем мундире — туркестанский генерал-губернатор глядит, как задергивают шторы и в солнечной комнате гаснут отблески на стеклах портретов. Он ощущает таинственную печаль. В гаснущем свете чудятся закрываемые от полдневной жары ставни, малороссийское лето, Родина.

Командующий Туркестанским округом, генерал-губернатор, не любит Азии. Он здесь чужой. Пора Туркестанских походов миновала полвека назад, и сейчас надо мирно закреплять то, что было присоединено к империи.

Застрекотал аппарат. На простыне шли солдаты с простодушными солдатскими лицами, возле пушек размахивал шашкой офицер с решительным офицерским лицом, потом появился генерал Радко Дмитриев, недоступно-задумчивый, как и все генералы, которые тоже ведь жалеют солдат, хоть и не могут подать виду.

Лента закончилась, аппарат еще потрещал вхолостую и замолк.

Самсонов оглянулся, ища полковника Крымова. Но вспомнил: полковник откомандирован на границу. Взгляд скользнул по бородатым лицам старых маньчжурцев — генерал-лейтенанта Леша и генерал-лейтенанта Флуга. Они не заменяли Крымова. Подумал, что у Леши сына в августе должны были выпустить из Павловского училища. А на Флуга возложена задача

по устройству в округе потешных организаций... Хотелось сказать, что навеялось в этот миг. Еще за год до начала нынешнего века в политической инструкции для начальника Керкинского гарнизона была выражена эта мысль: «не подвергать обаяния русского имени ненужному риску». Но ни Леша, ни Флуг по нравственному складу не были склонны к таким невоенным истинам, а может, и склонны — да не слишком близки душе Самсонова.

— Сейчас, сейчас, одну минутку, ваше Высокопревосходительство, — произнес синематографист.

— Я там в турецкую кампанию, черт возьми, — сказал генерал-губернатор, качнув рукой в сторону полотна. — Лихое было время! — Он хотел сказать об атаке гусар под Кадикиой, где под ним убили коня, но в ту минуту в зал вошла женщина в светло-розовом платье, Екатерина Александровна Самсонова, его жена.

Офицеры и гости встали. Сидевший рядом с генерал-губернатором адъютант Головко встал, уступая ей место.

Все со сдержанным обожанием смотрели на нее, а Головко — просто влюбленно. Она была сухощавая, породистая — и не генеральша, а помещица из старопольского замка.

— Я немножко посмотрю, — призналась Екатерина Александровна с едва заметным южнорусским выговором. — Что у вас? — Села, спина прямая, голова высоко поднята.

Самсонов наклонился к ней, коснувшись бородой ее щеки, и сказал:

— Про Балканскую войну.... Я по тем долинам скакал.

— Да, — кивнула она и посмотрела на Головко, отошедшего к окну.

Пустили новую фильму — о приезде начальника французского генерального штаба Жоффра в Петербург. Тучного француза принимал начальник Российского Генштаба Жилинский, однокашник Самсонова по Николаевскому кавалерийскому училищу, высокий, каменно-подобный, никогда не улыбающийся.

Жоффр быстро шагал, чуть кривясь на левый бок и придерживая рукой генеральский галаш.

Фильма — старая, сейчас Жилинский уже не начальник Генштаба, а сидит в Варшаве командующим



Варшавским военным округом. А туда должен был ехать Самсонов, но, как всегда, Жилинский оказался сильнее, оттеснил Самсонова.

— И тут этот «живой труп»! — вполголоса сказала Екатерина Александровна.

Такое прозвище у Жилинского, известное всей армии.

— Яков Григорьевич шел на год старше меня, — громко и добродушно вымолвил Самсонов. — Выдающийся был воспитанник. За успехи имя его занесено золотом на мраморные доски.

Он не мог позволить, чтобы сегодня, в храмовый праздник Николаевского кавалерийского училища, вспоминалось недоброе. Ибо здесь, на окраине империи, главная сила — это вера и долг.

— Живой труп, — тихо, только для мужа повторила Екатерина Александровна.

Тем временем Жилинский исчез с полотна, как будто его не было, будто приснился.

Где ты теперь, Яков Григорьевич? Что вспоминаешь нынче в светлый училищный праздник? Разве не вспомнишь, как шестнадцатилетние юнкера присягали Отечеству и многие из них нашли могилу на Кавказе, в Трансильвании, под Чок-Тепе, Плевной, Мукденом.

Фильмы закончились, и в зале снова стало светло. Адъютант Головко отворил жаркое окно, держась руками за обе створки наподобие креста, выглянул в окно и объявил:

— Песельники пришли. Велите показать, Александр Васильевич, «Бородино» воспитанника Николаевского училища поручика Лермонтова?

Самсонов кивнул, подошел к окну. Увидев его, песельники, казаки в форме Семиреченского казачьего войска, грянули «Бородино».

При первых словах «Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французу отдана», каковые были пропеты с мужественной скорбной возвышенной интонацией, Самсонов вперился взглядом в казаков и отрешился от всего.

Он был военный человек, был обязан желать воевать и по опыту знал, что рядом с этим желанием — долгом всегда идет смерть, а значит, должен был желать себе смерти.

«Бородино» поручика Лермонтова было песней про Самсонова. Когда доходили до этого:

Полковник наш рожден был хватом,
Слуга царю, отец солдатам,
Да жаль его. Сражен булатом,
Он спит в земле сырой, —

становилось горячо в груди.

Но вот голоса дружно повели:

И умереть мы обещали,

и Самсонов почувствовал могучую силу, которая делала его выше смерти и приближала к Богу.

Командующий был растроган, и присутствующие отводили глаза, испытывая неловкость, словно считали, будто власть, которой обладал Самсонов, лишала его человеческих чувств.

Началось лето 1914 года. Мало кому могло придти в этот знойный мирный день, отмеченный праздником одного из самых почитаемых русских святых, что нужно вникать в содержание исполняемых песен. Разве что девяностолетнему отставному войсковому старшине Квитке, участнику туркестанских походов Скобелева, потерявшему в них левую руку.

Этот старик подошел к Самсонову, обнял единственной рукой широкую спину командующего и ткнулся лицом в его плечо, бормоча что-то благостно-патриотическое из времен покорения края.

Адъютант изготовился оттеснить скобелевского инвалида, но командующий показал: не надо, — и оставил старика рядом с собой слушать песни.

От Самсонова через этого Квитку потянулась вдаль, в глубину, к мертвым, какая-то нить, и все присутствующие, даже местные знатные мусульмане в шелковых халатах, выразили друг другу понимающими взглядами и улыбками уважение чувству командующего.

Александр же Васильевич Самсонов увидел, как чтут воинскую традицию, и, не замечая некоторой картинности момента, повернулся к Екатерине Александровне и будто вовлек ее в этот вечнозеленый сад русского воинства. Но взгляд ее в этот миг почему-то был направлен на адъютанта Головко, а потом жена сдержанно улыбнулась, показала, что будет рядом, но не хочет вмешиваться в офицерское действо. «Она моложе на целое царствование, — подумал Самсонов. — Велинский уже был мертв, а ее на свете еще не было».



Его товарищ по Николаевскому кавалерийскому Велинский погиб в августе, в Болгарии, через полтора месяца после выпуска, был зарублен турками в ущелье между Новачином и караулкою Дербент возле орудий. С ним пали Данилевский и Назимов из выпуска Жилинского.

Вспоминая их, после балканской военной хроники Самсонов почувствовал какую-то сдавленность в груди. Отчего? Нет причин тревожиться Александру Васильевичу. Покой на южных границах державы, покой в доме, покой в душе. И даже если выйти из этих трех домов, что когда-то рано или поздно должно произойти, тогда что пред строгим Судьей скажет в оправдание своей жизни Самсонов?

Александр Васильевич глубоко вздохнул и несколько раз вздохнул мельче. У него начиналась астма. Но думать о ней не стоило, и вместе с мыслью о болезни отлетела и беспричинная тревога.

Под вечер в саду казаки показывали джигитовку. Особенно старался молодой урядник на чалой, без единого белого волоса, легкой кобылке. Он несколько раз с поразительной смелостью на скаку поднимал платок, метя черным чубом землю, играя, как должно, со зрителями. Он вдруг вывалился из седла и летел вниз головой раскинув руки, оскалив зубы, блестя выпученными глазами. Затем на скаку спрыгивал, отталкивался от земли и, перевернувшись в воздухе задом наперед, садился впереди седла на шею лошади.

После представления урядника подозвали к Самсонову. Он был невысок ростом, с влажным лбом, шумно дышал и поглаживал шею своей чудесной «птички», нервно перебиравшей ногами. Дети Александра Васильевича, Володя и Вера, смотрели восхищенно. Екатерина Александровна — с любопытством. Самсоновская семья не раз видела таких сильных простых людей, на них держалась армия, они представляли лучшее, что есть в народе.

Александр Васильевич был близок к ним в главном для военного — готовностью умереть за Отечество. Жена и дети, наверное, не ощущали этой его связи, они были другие.

Урядник был разгорячен, пах потом, держался твердо, без робости. Он явно понимал, что, показав свое умение, он заслужил благодарность генерала, и был горд дерзкой молодой гордостью, и это воз-

вышало урядника над пятидесятилетним генералом от кавалерии.

Самсонов поблагодарил урядника, подарил ему серебряный рубль.

— А ну, ротмистр, не пожелаете попробовать? — спросил Самсонов у адъютанта.

Не собирался спрашивать, вышло это само собой в ответ на задор урядника. И еще в ответ на то, что смотрел влюбленно на Екатерину Александровну.

Адъютант Головко потянулся к чалой кобылке и перехватил у урядника чумбур.

— Дай-ка проедусь, — сказал он.

— Не надо, ваше благородие. Лошадь вам чужая. Зачем?

Головко потянул чумбур, урядник не давал.

— Боишься, что я хлеб отобью? — спросил Головко с упрямой усмешкой.

Урядник опустил руку. Кобыла откинулась в сторону. Головко крепко взял под трензельное кольцо, решительно огладил ее, потрепал ладонью и вспрыгнул в седло.

Он разобрал поводья, уперся коленями в крылья седла, чуть прогнулся в пояснице, откинул плечи назад и опустил в стременах пятки. Через несколько секунд уже казалось, что ротмистр давно присиделся в седле. Натянув левый повод, он прижал правый шенкель — кобыла послушно пошла шагом с левой ноги. Пройдя немного, она вдруг сделала две лансады, прыгнув вправо. Ротмистр хлестнул ее нагайкой, и она успокоилась. Он крепко держал шлюсс и баланс — сидел как вбитый.

— Зря, — произнес урядник. — Баловство.

Головко вытащил платок, бросил на ископыченную землю, пошел еще быстрее, покачиваясь в седле с кавалерийской цепкостью.

Разогнавшись в галоп, он согнулся над платком, взмахнул рукой — и промах. Платок остался лежать, пальцы схватили воздух...

— Эх! — произнес урядник.

Головко проехал метров двадцать, дал вольт и поскакал, пружинисто упираясь ногами в стремена. Возле платка кобыла взяла чуть правее, он вытянулся влево что есть мочи, правая его нога выскользнула из стремени и закинулась над седлом. И уже не вернуть назад опрометчивого вызова Самсонова адъютанту.



Головко ударился, головой и грудью о землю и лежал как убитый. Кобыла пролетела дальше.

Вот она, доля военного человека! Жалко ротмистра, но Самсонов не винил себя. Это судьба велела офицеру пройти испытание.

Головко подняли на попону, понесли. Глядя на его разбитое грязное лицо, набухший кровью рукав, Александр Васильевич снова ощутил жуткую прерывистость жизни, к которой не мог привыкнуть, несмотря на тридцать девять лет службы.

— Я пойду, прослежу, — сказала Екатерина Александровна и пошла за уносимым Головко, забрав детей.

Ее розовое платье, голубой сарафан Верочки и белая рубаха Володи, подобно цветам национального флага, заслонили раненого адъютанта и через минуту скрылись, заслоненные офицерами.

Из Туркестана Россия виделась Левиафаном, головой поднявшимся над Европой и всем телом погруженным в Азию.

Над головой нависали австро-венгерские и германские мечи, в тело упирались со стороны Персии, Афганистана и Тибета английские ружья, а позади сидел маленький зубастый хищник, отхвативший десять лет назад остров Сахалин. Отовсюду России угрожали и мешали торговать.

Если бы мог осуществиться намек императора Вильгельма II, который подарил русским картину, где Россия и Германия в виде двух воинов опираются друг на друга спинами и поднимают мечи — Германия на запад, Россия — на восток, тогда, наверное, хотя бы с одной стороны была бы обеспечена защита.

Но так только кажется. Уже мы видели эту германскую защиту в японскую кампанию и заплатили за нее унизительным торговым договором.

Правда, будем ли воевать с германцами в ближайшие годы — не известно. Это давно, когда Самсонов еще служил на Кавказе, все говорили, что вот-вот начнется война с Германией, что французам стало совсем невмоготу, до того задушили их германцы.

Сейчас из Ташкента генералу Самсонову Германия представлялась далекой соперницей. Во всяком случае

была соперница у России гораздо опаснее. Это Англия — владычица морей. Она бдительно следит за русскими шагами на востоке, и от Константинополя до Тибета ее консулы и агенты принимают русских за первых недругов.

Когда корнет 12-го Ахтырского гусарского полка, восемнадцатилетний Саша Самсонов, впервые участвовал в атаке у болгарской деревни Пизанцы и затем в десятках атак и набегов, тогда он вовсе не знал, что из этой войны выйдет впоследствии. А вышла борьба с Германией за то, кому построить на политой русской кровью земле железнодорожную сеть. И в той борьбе русский капитал уступил.

Когда капитан Генерального штаба Александр Самсонов через десять лет смотрел на Францию как на союзницу, тогда он думал, что французов толкает к русским их любовь к России. А толкала не любовь, а жажда вырваться из тупика, в который они попали, оставшись по милости Германии без прирейнской руды. И, возможно, никогда бы не узнал правды, если бы потом в Новочеркасске, будучи наказным атаманом войска Донского, не познакомился с инженерами-горняками из франко-русской металлургической компании. Они растолковали секрет, почему война все-таки не вспыхнула. «Секрет войны — в путях сообщений», — помнил Александр Васильевич со времен Академии наполеоновский афоризм. А ему объяснили: неверно это, господин генерал; это еще Толстой высмеял — первая колонна марширует, вторая марширует, третья марширует — а секрет в том, что французы имели руды с фосфором, брошенные немцами без внимания, но благодаря изобретению способа Томаса и Биль-Круста, смогли выбраться из сырьевого тупика без войны. А вслед за металлургией поднялась вся промышленность. Зачем же Франции было воевать, если можно было повести дело мирной, экономической борьбой? Из войны, господин генерал, в итоге вылупляется новая война, только один прогресс позволяет воевать бескровно.

Молодцы были те инженеры! Конечно, насквозь буржуазные, не любившие неограниченного самодержавия, но ведь они строили свои заводы, работали. А до того, как наблюдал Самсонов, работать мы не умели и поэтому смазывали свою дорогу обильной кровью, ее-то не было жалко во имя Отечества. Вспо-



минал при этом Александр Васильевич и то, что сам видел: нашу геройскую Плевну, Ляоян и Мукден.

В одном молодцы ошибались: принижали роль армии. Прогресс дал ей скорострельные пушки, пулеметы, аэропланы, и, когда равновесие между державами поколеблется, все это должно будет быстро заработать.

Равновесие же колебалось — особенно на Балканах, где прогремели две короткие войны и едва не завязалась третья, но не завязалась — Россия смирилась с захватом Австро-Венгрией Боснии и Герцеговины. Русских оттеснили от Средиземного моря все — Англия, Германия, австрийцы, итальянцы, даже французы. А когда в позапрошлом году из-за войны закрылись Босфор и Дарданеллы, Россия понесла миллионные убытки от блокады вывоза. Нужен был новый Петр, чтобы прорубиться и в Средиземноморье.

После перевода в Туркестанский округ Самсонов стал дальше от европейских дел и открыл для себя азиатскую невидимую схватку.

Вот кто заправлял всем миром — владычица морей. У нее было все: деньги, флот, умение править. Она никого не пускала в свои сады, но один сад был у нее самым дорогим — это Индия, и владычица сторожила подходы к нему.

Наверное, имена генералов Черняева и Скобелева английские агенты не могли слышать спокойно со времен покорения Кокандского ханства. Да, русские продавливались на восток. Они проникли в Персию, претендуют на афганский рынок, стремятся получить коммерческий выход к Персидскому заливу и хотят провести Трансперсидскую железную дорогу с русского Закавказья на юго-восток в Афганистан и Индию. Что должна испытывать всесильная Великобритания? Она отступала. И она будет отступать, считал туркестанский генерал-губернатор, ибо ей трудно воевать с Россией и в Персии, и в Афганистане.

К нынешней поре в штабе округа не только операторы из управления генерал-квартирмейстера, но даже интенданты смотрели на персидские равнины как на житницу для Туркестанского края, плодородные площади коего могли бы быть использованы еще в больших размерах под культуру хлопка. И владычица все это терпела!

И отвергала подсказку ныне пребывающего на не-

бесах германского канцлера Бисмарка, который давно говорил, что Индию, мол, не обязательно англичанам сторожить на афганской границе, проще — на польской. Это предложение англичане никогда не принимали всерьез, они еще больше опасались Германии, ее гигантских пароходов новейшего типа, ее напора всюду, где у нее был хотя бы малый шанс потеснить британского купца.

Вблизи Туркестанских границ, в зоне внимания Самсонова, в Константинополе и Багдаде, сильнее кого бы то ни было действовали немцы. Дойче Банк строил Багдадскую железную дорогу, угрожая продвижением к Египту и Суэцкому каналу, наступал на пятки британцам.

У русских и немцев, выходило, на Востоке противник был общий, и владычица, предвидя их объединение, решила, что нынче Германия становится опаснее, а посему и заключила с русскими соглашение, уступив им влияние в Северной Персии. Еще раньше владычица ликвидировала все свои колониальные споры с Францией. Наступило сердечное согласие — Антанта.

Внешне этот союз позволял России закрепиться на Востоке, где она столетиями продвигалась вперед, в отличие от обороны на западных рубежах. Однако Самсонов знал, что за Тегеран придется платить где-нибудь на польских границах, в Восточной Пруссии, снова обильно окроплять землю.

А затем, ослабив Германию, владычица снова возобновит схватку с Россией на Востоке, это неизбежно.

Может быть, естественнее заключить союз с Германией? Но тогда как примириться с ней на Балканах и в районе Проливов? А плата за поддержку в 1904 г. унизительным торговым договором, как это терпеть? Ответа Самсонов не имел.

27 февраля, три месяца назад, в «Биржевых ведомостях» появилась статья без подписи — «Россия хочет мира, но готова к войне».

Военный агент в Англии генерал-лейтенант Ермолов доносил в Генеральный штаб, что англичане сигнализируют ему о своей тревоге по поводу утверждения Германии на Босфоре.



Русский генеральный консул в Симле Набоков сообщал: «Нет для англичан большего пугала, чем указание на фактическую возможность для России в каждую минуту собственными силами, без посредства индийского секретаря по иностранным делам, заставить эмира афганского уважать наши права и интересы».

Сербы запросили у России оружие, боеприпасы и обмундирование. Русское военное министерство затянуло ответ, не желая определяться ранее, чем определится Англия.

Русский посол в Австро-Венгрии Шебеко доложил, что венский министр иностранных дел Берхтольд рассчитывает на дальнейшее развитие миролюбивых отношений. На этой телеграмме Николай II написал: «Да, но не доводить нас до крайности». Это казалось остроумным и говорило о русской силе.

Что означало все это? Приближение войны? Такие узлы завязывались часто. Вспомнить хотя бы полузадушенную Францию и изобретение способа очистки руды. Столько интересов, сил, напряжения протянулось над миром, но он стоял и не рушился.

В июле Александр Васильевич собирался с семейством на Кавказ, на воды, и не думал о том, что согласно военному расписанию его ждет должность командующего войсками Второй армии с месторасположением штаба в Остроленке, на границе с Восточной Пруссией. Какая там Пруссия! Наоборот — отдохнуть, попить водички, полечиться, а то грузен стал Александр Васильевич, совсем как медведь.

О Головко из госпиталя сообщили, что его дела плохи, сломаны плечо и ребра, а особенно сильно ушиблена голова. И неизвестно, выживет ли.

Самсоновы сидели за вечерним чаем, только свои, без чужих.

Екатерина Александровна объясняла Володе, в чем не прав Головко, а он не соглашался и учтиво спорил, доказывая право офицера распоряжаться своей жизнью. Самсонов молчал.

— Помнишь, как в «Войне и мире» Петя Ростов? — улыбаясь полудетской улыбкой, сказал Володя. — Разве это можно осуждать? Я тоже думал, хорошо бы так джигитовать, как этот казак...

Екатерина Александровна обратилась к мужу:

— Ну не подвел ли тебя адъютант? Кому польза от такого молодечества? Неужели ты доволен?

— Видишь ли, матушка, — произнес Самсонов. — Военным людям трудно без молодечества. И гимназистам тоже трудно. — Он кивнул Володе с понимающей усмешкой.

Интонацией, спокойствием и пониманием правоты как жены, так и сына, Александр Васильевич прекратил спор. Что загадывать наперед судьбу подростка? Что сдерживать его порыв? Все равно не угадаешь, не сдержишь. Сколько юношей прекрасных видел Самсонов мертвыми! Сколько раз сам был близок к смерти? Это судьба выбрала для Головко испытание.

— Володя, я старый гусар, — сказал Самсонов. — Жизнью рисковать штука нехитрая. Но надо и это уметь. — Он потрогал густую, с проседью бороду, подстриженную лопаткой, и рассказал о гусарском полковнике Клоте, о котором никогда не рассказывал семье, ибо во всей истории, как ее понимал Александр Васильевич, была его душевная тайна.

И вот он эту тайну решил приоткрыть. У полковника Клота не сложились отношения с офицерами в старом полку, поэтому его перевели в Лубенский гусарский, где лет пятьдесят спустя командовал пятым эскадроном сам Александр Васильевич. Клот был гусар! В красных чакчирах, в синем доломане с серебряными шнурами, он был из тех красавцев полковников, о которых писали Денис Давыдов и Толстой, — гроза квартальных ( одного он раздел донага и заставил просидеть так всю ночь в офицерской пирушке с дамами), дуэлянт и сорви-голова. Как только его перевели к лубенцам, он пригласил офицеров и сказал: «Вы, должно быть, слыхали, что у меня прежде были неприятности. Может, кто-нибудь из вас недоволен, что я здесь?» Клот был чужим. Офицеры почувствовали вызов и стали ворчать. Тогда он сказал: «Господа, вот пистолеты. Буду стреляться сейчас в очередь с каждым, не выходя из комнаты. На вашей стороне все шансы. Кто первый?» Офицеры молчали, обескураженные. «Прошу всех покинуть комнату!» — приказал им Клот. Они ушли. Он остался командиром и командовал много лет, и его полюбили.

— Вот это да! — с восторгом воскликнул Володя.

— Вот это человек! — и повторил, откинувшись на спинку: — «Господа, вот пистолеты!»



Глядя на сына, Александр Васильевич подумал: «Ребенок. И Клот был ребенок. Таких уже не осталось».

— Что же хорошего? — удивилась Екатерина Александровна. — Возле моей Акимовки была усадьба такого отставного гусара. Чего он не вытворял, пока не помер. А детям оставил долги, пистолеты да облезлый ментик.

Она не поняла Самсонова. Эти примеры не доходили до нее, как не доходит конная атака до укрепленной пулеметной позиции. А ведь любила в нем старомодное рыцарство! И стих его гусарский обожала!

— Мне отец тоже ничего не оставил, кроме имени, — ответил Самсонов. — И у меня были поединки...

— Поединки? — весело переспросила она, приподнимая черные брови.

— С Жилинским, в училище, — уточнил он.

Екатерина Александровна, услышав имя ненавистного Жилинского, с серьезным любопытством, почти упреком, посмотрела на него, будто он скрывал что-то важное.

— Я не знала, что у тебя с Жилинским еще с училища... Наверное, я много про тебя не знаю...

— Главное ты знаешь, матушка, — сказал Самсонов. — И ты знаешь, и я знаю, слава Богу! — С прощающим выражением.

— Да, главное мы знаем.

Что было главным, они не обсуждали, в этом не было нужды. Когда-то в Елисаветграде они впервые встретились. Тридцатисемилетний полковник Самсонов прибыл туда, получив назначение начальником юнкерского кавалерийского училища; он был видным женихом во всей, наверное, Херсонской губернии. Екатерину Александровну он прежде видел только однажды, во времена большого Бендерского лагерного сбора, тогда пятый эскадрон лубенцев останавливался в Акимовке и там в доме молодых помещиков ему запомнилась дочка — девочка в голубой шляпке, она-то потом и оказалась Екатериной Александровной. Потом, через восемь лет.

Полковник читал Екатерине Александровне лубезского гусара корнета Демидова:

Вы замуштучили меня
И полным вьюком оседлали

И как ремонтного коня
К себе на корду привязали.
Повсюду слышу голос ваш,
В сигналах вас припоминаю
И часто вместо «Рысью марш!»
Я ваше имя повторяю.
Несу вам исповедь мою,
Мой ангел, я вам рапортую,
Что я вас более люблю,
Чем пунш и лошадь верховую!

А она это уже слыхала когда-то от офицеров, поразивших ее сердце свободой и красивыми мундирами.

— В Акимовке? — спросил он. — Неужели?

У него не было ни кола, ни двора, в послужном списке значилось: «Есть ли за ним, за родителями его или, когда женат, за женой, недвижимое имущество, родовое или благоприобретенное. — Не имеет».

Акимовский одноэтажный просторный дом не стал ему родным, но погост Акимовской церкви с простыми дубовыми крестами и серыми известковыми плитами, заросший сиренью и терновником, почудился Самсонову тем местом, где суждено будет успокоиться, когда господь призовет его душу. Известно, кому принадлежит жизнь офицера и кто волен ею распоряжаться. Поэтому, уезжая летом 1905 года принимать Уссурийскую казачью бригаду, Самсонов попросил жену в случае гибели похоронить его в Акимовке. Катя обещала.

До сей поры судьба миловала его и в бою под Ляояном, и в зимнем набеге на Инкоу. Что впереди — неведомо, но главное они с женой постигли — в детях, Боге, долге перед Отечеством.

Однако, говоря Екатерине Александровне, что главное он знает, Александр Васильевич имел в виду и что-то другое, вызванное несчастьем с адъютантом. Да, дети, Бог, Отечество — это все верно, это как мраморные доски на стенах храма Христа Спасителя, сохраняющие для потомства имена полков, как штандарты старого полка. А в глубине? Что в глубине? Когда посылаешь человека на смерть?

— Знаешь, скоро к нам приедет один мальчик, — сказал Самсонов, переведя разговор в иное русло. — Сын одного важного перса. Он будет учиться в корпусе.

Володя немного задумчиво произнес, хмуря лоб:

— А я поеду в Персию?.. Что персу делать в нашем корпусе? Разве мало в Туркестане мусульман?



В его словах отражалась помимо его воли еще горячая история покорения этого края, на будущий год исполнится всего пятьдесят лет, как Черняев взял Ташкент штурмом по лестницам, — и Володя, наверняка, слышал отголоски прошлых событий.

— Мальчик хороший, — сказал Самсонов. — Англичане его зовут в Индию учиться, а он к нам хочет. Его отец — наш друг, помогает нам.

— Россия и так сильна, — ответил Володя. — Он ведь займет место русского, верно? Например, сына этого бедного Головко!

Он упрекал Самсонова в случившемся несчастье, видя его хладнокровие и непоколебимость. А персидский мальчик скорее всего был поводом.

— Зачем нам персидский мальчик? — спросила Вера. — Он по-русски понимает?

— Научим, Вера. Россия сильна, — сказал Александр Васильевич. — И штыком сильна, и душой. Скажи, Володя, почему сейчас большинство мусульман хотят жить с нами в мире? Потому что мы несем порядок и прогресс... Знаешь, почему его отец открыто принял нашу сторону? Потому что увидел, как наша противочумная охрана борется с чумой...

Володя смотрел на отца с упреком, как будто спрашивал: «О чем ты говоришь?»

— А строительство железных дорог? — продолжал Самсонов. — Это подвиг русских людей. И никого мы не притесняем, не тащим в нашу веру. Мы выполняем долг. Что же плохого в том, что мальчик близко узнает русских?.. Я понимаю, ты огорчен этой неприятностью, но надо быть мужественным. Среди военных людей и не такое бывает. Я тоже огорчен.

По привычке все доводить до конца Самсонов хотел убедиться в согласии Володи, но Володя опустил глаза, попробовал уклониться от дальнейшего разговора, и тогда Александр Васильевич еще прибавил с офицерской определенностью:

— Ты, братец, сегодня не в своей тарелке. Ступай к себе, поразмысли об Отечестве. Что бы ты делал, окажись на Куликовом поле или на Чудском озере? Выполнял бы приказания начальника?

Екатерина Александровна несогласно вскинула брови и поглядела на него изумленно. Но когда сын встал, она промолчала, показывая, что поддерживает мужа.

— Папа, — сказала Вера. — Мне тоже очень жалко Головко.

В лице мальчика промелькнуло беззащитное детское выражение обиды, он не понимал, за какую провинность родители удаляют его и почему идея Отечества вдруг заслонила все, и родительскую любовь, и несчастье.

Александр Васильевич посмотрел, как за сыном закрылась дверь, подумал о полковнике Багратуни: тот хорошо знает язык и обычаи персов и выразил желание взять на себя общий надзор за школьной жизнью мальчика-перса.

— Он переживает, — сказала Екатерина Александровна.

— Я пойду еще поработаю, — вымолвил Самсонов. — А много переживать мужчине — вредно. Он уже почти мужчина. Я в его годы в военной гимназии жил по сигналам военного трубача. — И, выговорив это, смягчился: — Ладно, матушка...

Генерал-губернатор нашел у себя в кабинете бумаги, подготовленные старшим адъютантом, исполнительным штабс-капитаном Бабушкиным, и взялся за донесения по Четвертому, разведывательному, отделению отдела генерал-квартирмейстера. Пролистал. Настроения туземцев в Афганистане и в Бухаре. Обстановка на границе. На юге от Тенджена офицерская разведка выяснила, что большинство туркмен вооружено винтовками новейших систем с клеймами английских и германских заводов. Что же, это не ново. И все же большинство — за Россию. Вот какой-то резидент М. сообщает: мирзу Шамса, его секретаря и сына Наибуль Хукуме арестовали и послали в Кабул — за поборы и за то, что силой брали женщин и девушек. Разве русский позволит себе такое?

Самсонов вспомнил нападения неизвестных в октябре — ноябре прошлого года на посты пограничной стражи на персидской и афганской границе. Несколько постов вырублены из засад, причем без грабительских целей, для устрашения. Сейчас было спокойно. Только вот — он улыбнулся — в бухарском кишлаке Юрчи приставали к купцу Головащенко, грозили перебить все семейство, если не перейдет в мусульманство; но местные армяне сообщили бухарскому беку, и ретивым чалмам дали по двадцать пять палок, и нынче они



ведут себя мирно. Это Азия, Александр Васильевич, коварный и простодушный край.

Когда Самсонов после академии служил на Кавказе, ему довелось слышать предания недавней старины о покорении немирных аулов. А Польша, куда он попал потом? Разве среди поляков мало встречалось враждебно настроенных? И все держится на армии, империя еще не перебродила, не присиделась, как всадник в седле, еще десятки лет торговать храбрым Головащенкам, строить пути железнодорожникам, держать кордоны противочумной охране. Велика ты, матушка-Россия, и по-всякому понимаешь — на русском, польском, грузинском, персидском. Но привыкла с Батыевых времен, что человек — это песчинка, и несет твой ветер эти песчинки бессчетно. Ибо армия твой хребет. Мыслишь ты силой и чувствуешь силой. А другого пути нет. Если суждено тебе когда-нибудь измениться, если прогресс откроет способ обогащения твоей руды, тогда — империя разлетится на части, и неведомо, что уцелеет.

Забравшись в этакую неизвестность, Самсонов очень удивился.

Надо же, как отразилась чувственность Володи на нем.

Он отложил папку Четвертого отделения, взял письмо консула Михайлова из персидского города Турбети-Хейдери о четырнадцатилетнем сыне правителя провинции Бехар Шуджа. Консул писал: «В Хоросане, как на арене борьбы русско-английского влияния, Шуджа всегда стоял на стороне, вызывал всякую поддержку нашим интересам». Самсонов поставил резолюцию: «Принять в кадетский корпус на казенный счет без предварительных испытаний». И судьба мальчика решилась. Привезут его в Ташкент, поселят на квартире, отдельно от русских кадетов, оденут в мундирчик, и будет он на чужбине постигать науки и военную дисциплину.

Самсонов вспомнил Киевскую военную гимназию, и стало грустно.Тогда кончилось детство, оторвали его от матери и отдали ей, матушке-России, навсегда.

«А тебя мы пожалели, — подумал он о Володе, учившемся в обычной гимназии. — Ты пока вольная птица».

Прочитав штабные бумаги, Александр Васильевич взялся за папку с документами о Туркестане. В июне

исполнялось пятьдесят лет покорения края. Из «Туркестанских ведомостей» просили что-нибудь написать. Но ему ли писать? Какие исполины предшествовали ему! Черняев, Скобелев, Кауфман... А скромные исполнители, такие как Генерального штаба Корнилов, исследовавший границу с Афганистаном и оставивший прекрасные карты? Таких было десятки.

В папке желтел костяной нож для бумаг, вложенный туда как закладка. Отведя в сторону кипу документов, исписанных черными чернилами каллиграфическим почерком старых писарей, Самсонов прочитал: «Когда горы достаточно были обстреляны горным орудием и стрелками с обеих сторон, полковник Яфимович приказал штабс-капитану Каневскому двинуться на штурм. Неприятель защищался с необыкновенным упорством, по всему гребню обеих вершин были устроены из камней траншеи, откуда штурмующие были встречены градом камней и пуль, и по мере того, как штурмующие занимали одну траншею, привычный к горам неприятель перебегал в другую, из которой опять можно было выбить его только штыками.

Громадные камни, несясь с неимоверною быстротою, уносили за собой все, что попадало на пути, так что раненые летели вниз и уже внизу поддерживались находящимися там стрелками, не допускающими их скатывания в Зеравшан, тогда как неприятельские трупы один за другим летели прямо в пропасть».

Этот рапорт начальника Зеравшанского отряда напомнил Самсонову Японскую кампанию, бой у деревни Бенсиху, где крутые сопки возле реки были покрыты траншеями японцев, а наши стрелки отчаянно лезли вверх.

Как всегда на бумаге, геройство впечатляло, тогда как на войне никогда не было никакого геройства, а что и было, так злоба или отчаяние или страх перед начальством. Вспомнилось полное голубоглазое лицо Ренненкампфа, с молодецки закрученными усами, дышавшее бесстрашием. Храбрый генерал ходил в цепь с маузером как корнет, но под Бэнхису не дал Самсонову батальона в поддержку — и тысячи солдат легли зря.

Александр Васильевич знал о военном положении России многое. Его жизнь давно принадлежала Рос-



сии-матушке и государю, — с августа 19 числа 1875 года, когда он принес присягу будучи шестнадцатилетним юнкером унтер-офицерского звания. Еще не было на свете Екатерины Александровны, а нелюбимый ею Яков Григорьевич Жилинский был удалым удальцом, лучшим в училище воспитанником.

Вспомнив Жилинского, который тогда был его другом и защитником и потом превратился в соперника, Самсонов ощутил горечь. Было жалко юности и стыдно за это невоенное, расслабляющее чувство.

Он закрыл глаза, поглядел туда, откуда веяло болью. Сегодня был праздник. На черных мраморных досках в церкви училища вырезаны золотыми буквами имена бывших юнкеров. Он будто увидел их снова:

Дубровский Петр. Подпоручик. Выпуск 1825 года.

Убит на штурме крепости Ахалупка 15 августа 1828 года.

Киреевский Петр. Корнет. Выпуск 1830 года.

На штурме Варшавских укреплений 26 августа 1831 года получил пятнадцать ран пиками и саблею в голову, от которых в тот же день умер.

Вревский барон, Павел. Генерал-адъютант. Выпуск 1828 года.

Убит ядром 4 августа 1855 года в сражении против турок, англичан и французов при реке Черной.

Разные годы, разные дела, родные имена. Ведь те золотые буквы издавна сулили и ему подобную судьбу и вечную жизнь в памяти армии.

— Откуда, зверь? — раздался громкий веселый голос молодого Жилинского.

Александр Васильевич не раскрыл глаз, зная, что давно нет того рослого сероглазого юноши с мужественным лицом. А юнкер Самсонов, большой, сильный, оставляющий впечатление увальня, вытягивается смирно перед строгим старшим вахмистром.

— С Киева, — быстро, на малороссийский манер отвечает Самсонов, и ответ звучит для петербургского слуха так: « З Кыева».

— Плох доклад, — говорит Жилинский. — Очень плох. Развернуться и отдать рапорт по форме.

Самсонов поворачивается, отходит на четыре шага, четко разворачивается и «дает ногу», пройдя печатно четыре шага.

— Самсонов Александр прибыл из Киевской воен-

ной гимназии для обучения наукам в Николаевском кавалерийском училище.

— Из Кыевской? — Жилинский улыбается. — Тарас Бульба?

— Самсонов Александр, — повторяет Самсонов. У него есть только это имя, и он показывает — не принял шутки.

— Явиться на лишнее дневальство, — командует Жилинский. А потом этот властный старший вахмистр на занятиях по верховой езде и рубке шашками помогал Самсонову. Твердой железной рукой он сжал самсоновские пальцы, державшие ручку шашки, чуть повернул его кисть и, взяв свою шашку, попросил Самсонова рубить. Самсонов несильно ударил. Жилинский легко отбил и потребовал не манкировать, а рубить по-настоящему. Тогда Самсонов ударил вполсилы — Жилинский снова легко отбил и больно ударил клинком плашмя ему по плечу. Самсонов от неожиданности рыкнул и размахнулся, что было силы. А Жилинский, отступив на шаг, уклонился.

— Ну? — улыбнулся, обнажив длинные, чуть скошенные зубы, подзадорил он младшего юнкера. — Руби! — Поиграв, он показал Самсонову удары и защиту.

Спросил:

— Тяжело?

— Тяжело, — сознался Самсонов. — А главное — несправедливости много. Старшие придирками изводят.

— Терпи, — посоветовал Жилинский. — Через год сам станешь старшим, будешь повелевать. Офицеру надобно уметь две вещи: подчиняться и повеливать... Ну-ка, защищай правую щеку, налево коли, вниз направо руби!

Вскоре Жилинский, будучи дежурным по эскадрону, ночью разбудил Самсонова, приказал одеться и заставил поправить неровно повешенную на подставку каску, глядевшую орлом не на икону, а куда-то вбок.

Самсонов подчинился, но потом на занятиях фехтовал с такой яростью, что Жилинский попятился, прижатый к колонне, едва ускользнул от удара, а шашка, хлестнув по мрамору, сломалась.

Жилинский после этого не изменился, по-прежнему подсказывал Александру и по-прежнему строго взыскивал. Уже тогда в нем вызрела эта механическая



холодность, с которой он бестрепетно во имя порядка разделял жизнь на сектора службы, как артиллеристы поле на сектора обстрела.

Уже весной, перед выводом в летний лагерь в Красное село на берег Дудергофского озера, видевшего юными всех нынешних генералов, Жилинский предложил Самсонову участвовать в карусели, как назывались конные состязания в манеже. Жилинский и там первенствовал, умело взяв на сером «гунтере» все барьеры, а Самсонов, хотя тоже не осрамился, скакал без блеска, тяжеловесно, но, впрочем, храбро.

Карусели, кони, парады, блиставший от гусарских шнуров строй развернутых эскадронов на Марсовом поле, красота музыки трубачей — Господи, все это было с Александром Васильевичем и отозвалось сегодня в его разбившемся адъютанте.

А Жилинский? Исчез Яков Григорьевич из мыслей Самсонова, оставив след невозвратной потери.

Летом прошлого года Жилинский, еще начальник Российского Генерального штаба, проводил в Петербурге очередную встречу с Жоффром. Яков Григорьевич уже был тем «живым трупом», накрахмаленным чопорным генералом, которого боялись, и казался столпом вечного армейского бюрократизма, свято верующим во врожденную непобедимость русского оружия. Он не желал отвечать на раздражающе точные вопросы бодрого толстяка-француза и вещал об известных вещах — бесконечных русских пространствах, иных, чем во Франции, условиях мобилизации, чуть ли не о гоголевской птице-тройке.

Жоффр хмурил брови и наседал, требуя точных данных о железных дорогах и сроках мобилизации. Ему не могло прийти в голову, что русский генерал рассуждает, как кавалергард времен наполеоновских войн, и верит в лихой натиск. Он напомнил, что Франция заинтересована в развитии русских железных дорог, что нельзя уповать только на известную всем храбрость русского солдата, и привел в пример быстрое строительство (на французский заем) дороги Оренбург — Ташкент.

— Это когда Англия потеснила вас в Марокко? — невозмутимо осведомился Жилинский, намекая, что союзники никак не смогут обойтись без русского штыка.

Сопровождающий Жоффра военный атташе маркиз Лагиш вскинул седую маленькую голову и тонко улыбнулся. Напротив него сидел русский военный агент граф Игнатьев, молодой высокий полковник, ростом под стать Жилинскому, полная противоположность чопорному сухонькому маркизу. Игнатьев видел всю неделикатность вопроса своего начальника штаба, но не ответил на улыбку Лагиша.

Жоффр молча, с выдвинутой тяжелой челюстью, задумчиво поглядел на Жилинского, словно пытался разгадать его мысли, и, не обращая внимания на едкую иронию, вернулся к теме мобилизации. Было заметно, неконкретность и туманность мышления его визави не удовлетворяют француза.

— Ну хорошо, — наконец, сказал Жилинский и назвал сроки мобилизации.

— Это очень долго, — возразил Жоффр. — Так они разобьют нас по очереди. По плану Шлиффена ваша союзница должна быть разбита за сорок дней, после чего они перебрасывают всю свою мощь на восток.

Он не назвал ни Франции, ни Германии, и без того было ясно.

— Без обозов мы могли бы ускорить, — пояснил Жилинский, как будто можно было ограничиться кавалерийским набегом.

— Без обозов? — переспросил Жоффр, по-прежнему не понимая, какая сила движет русским генералом.

— Да, без обозов. Что же тут такого? — ответил Жилинский. — С обозами, ясно, помедленнее, без обозов — быстрее.

И никакой русской тайны за ним не скрывалось, потому что нельзя же считать тайной твердость закостенелого во всех суставах бюрократа, который верит в раз и навсегда усвоенные законы жизни, известные по шутке красносельских острословов: «Кавалерия скакала, пехота наступала, артиллерия стреляла». Столь же неизменны были его политические взгляды, в душе он был привержен русско-германскому союзу, считал, что если будет мир с Германией, то Россия никогда не окажется в проигрыше. И в реальную возможность войны с Германией он не верил, а буде таковая случится, то тут уповал на суворовские традиции.

В отличие от Якова Григорьевича генерал Жоффр не желал уповать на нематериальные силы и строго следовал не вчерашней, а нынешней политике.



Генералы подошли к разложенной на столе крупномасштабной карте западной границы, желтоватый палец Жилинского очертил в воздухе овал над Восточной Пруссией, и Яков Григорьевич, уверенный в том, что наконец-то француз будет удовлетворен, сообщил о двух армиях, первой и второй, которые должны быть здесь выставлены.

Жоффр тоже стал водить пухлой широкой ладонью над Восточной Пруссией, с ее паутиной железных дорог, болотами и лесами, и при этом доказывал противоположное всем ожиданиям.

— Только не Восточная Пруссия! — заявил француз. — Это невыгодное направление! Это ловушка!

Жилинский бесстрастно посмотрел на него. Что хочет сказать этот толстяк? Во что он вмешивается?

— Это ловушка! — продолжал настаивать Жоффр. — Надо сосредоточиваться вот здесь. — Он ткнул в район Варшавы. — И наступать на Берлин!.. А Восточная Пруссия — тупик.

— Ничего, — сказал Жилинский. — Мы еще обдумаем все хорошенько. Восточная Пруссия — это одно, Берлин — это другое. И русские уже дважды были в Берлине. Не сомневаюсь, что, коль понадобится, наши казаки снова прогуляются по берлинским улицам.

Не сказав ничего существенного, он считал, что сказал все необходимое, и отступил от стола на шаг, выпрямился во весь свой кавалергардский рост и сверху вниз снисходительно поглядел на Жоффра.

— Восточная Пруссия — ловушка! — повторил Жоффр.

Российскому Генеральному штабу были известны результаты двух военных игр Большого германского генерального штаба, которыми руководил Шлиффен. Они проходили в Восточной Пруссии, самой удаленной немецкой земле, родине германских императоров, и оба раза закончились окружением «русских армий». В 1903 году наступавшая к линии Немана «русская армия», которой руководил командир 1-го корпуса генерал Франсуа, была окружена южнее Истербурга и «сдалась». Правда, горячий своенравный Франсуа, потомок французских гугенотов, возражал Шлиффену, доказывал, что армия никогда не может положить

оружие, но Шлиффен, выслушав его, поступил, как учитель по отношению к строптивому ученику. Он раскрыл отчет о военной игре и прочел: «Командующий Неманской армией признал положение своей армии безнадежным. Он искал смерти в передовой линии фронта и нашел ее». Он убил Франсуа, вернее того еще не известного русского генерала, чью роль сыграл Франсуа.

Вторая игра прошла через два года, когда Россия была связана войной с Японией, когда Жилинский тихо существовал в должности начальника штаба у наместника Дальнего Востока Алексеева, а Самсонов приобретал с кавалерийской казачьей дивизией славу героя войны. Но запланированная Большим генеральным штабом игра должна была состояться, и она состоялась.

Обороноспособность Восточной Пруссии обеспечивала линия Мазурских озер. Глубокие, частые, с болотистыми лесистыми берегами, эти озера тянулись с севера на юг почти восемьдесят километров и отделялись друг от друга лишь узкими перешейками. Если бы наступавшие намеревались обойти озера с севера и юга, то они должны были бы неизбежно разорвать связь между наступавшими армиями. И при этом за природным щитом озер обороняющиеся могли бы успешно маневрировать по внутренним операционным линиям, по густой сети железных дорог и атаковать наступающих поодиночке, ранее, чем они успевали соединиться.

Но Шлиффен всегда ставил неприятеля в лучшие условия. Он допустил, что русские чудом обойдут Мазурские озера и соединятся на реке Алла в районе города Алленштейна. Он допустил это, хотя возможность такого маневра практически отсутствовала. Он уповал на скорость передвижения по железным дорогам своих корпусов и стянул все силы к югу, оставив на левом фланге крепость Кенигсберг со второочередными войсками. И собрав у себя на южном крыле в районе Дейч-Эйлау сильный кулак, он окружил и разбил русскую армию, наступающую со стороны Нарева.

Итоги игры через секретных агентов были известны русским генштабистам. О них знал и Самсонов, тем более что после японской войны он служил три года начальником штаба Варшавского военного округа.



В апреле 1914 года в Киеве четыре дня проходила первая в России военная игра.

Весенний Киев был еще свеж, еще цвели каштаны и сирень, но уже начинало веять жарким, небывало ранним летним зноем, и было видно, что скоро летняя лень охватит бульвары и дома и даже Святого Владимира, возвышавшегося со своим огромным крестом над Днепром.

И еще что-то, кроме налетающего лета, отвлекало генштабистов — они не верили в близкую войну, не хотели всерьез думать о ней. Это было видно и по решению не заниматься во время военной игры вопросом работы тыла, сразу дали вводную, что снабжение боеприпасами и продовольствием и работа всего тыла не берется во внимание, их надо считать идеальными.

Командующий Варшавским округом Яков Григорьевич Жилинский занимал здесь положение командующего Северо-Западным фронтом, как и полагалось ему по военному расписанию. Среди других командующих округов, вызванных на игру — Московского, Варшавского, Видленского, Киевского, Одесского и Казанского, он считал себя самым видным. Из здания штаба Киевского округа на Банковой улице Жилинский видел генеральским стратегическим зрением восточнопрусские леса и болота, и королевскую крепость Кенигсберг, и десятки маленьких городов с железнодорожными станциями, связанными прогрессом в одну сеть.

Рядом с Жилинским стоял военный министр Сухомлинов с белым Георгиевским крестиком у ворота мундира под подбородком — получил еще корнетом в Болгарии в Турецкую кампанию.

Жаль, не было Михаила Ивановича Драгомирова, героя Зимницы и Шипки. Боевой старик, всю жизнь воевавший с «огнепоклонниками» и считавший, что пуля — дура, штык — молодец, уже почил вечным сном. Однако его дух, казалось, все же витал над головами генералов. Это был дух лихости и удальства, состарившийся и вечно живой российский идол порыва.

— Современная война, — важно начал Жилинский.

— Ради Бога, Яков Григорьевич, — перебил Сухомлинов. — Вы знаете, нет никакой «современной войны». Какой была война, такой и осталась. Все

это вредные новшества нашей маньчжурской молодежи.

Жилинский кивнул и продолжал излагать свое решение — он переходил в решительное наступление всем фронтом одновременно, не ожидая окончательного развертывания войск на среднем Немане. На мгновение промелькнул перед ним образ толстяка Жоффра — ничего не смыслит этот француз!

— Ваше высокопревосходительство, — подсказал оператор — полковник из отдела генерал-квартирмейстера Генштаба. — По заданию, у германцев огромный перевес в силах.

— Мой фронт наступает, ведя главный удар на город Лык с охватом правого фланга немцев, — сказал Жилинский. — И на Гумбинен с охватом левого фланга.

— А вы успеете? — неучтиво спросил полковник. — Ведь ваша вторая армия опаздывает на два дня.

Жилинский даже не стал глядеть в его сторону. Откуда берутся такие птицы? Им бы сидеть да ждать, когда дойдет до них черед, так не ждут, лезут, мнят о себе...

Сухомлинов одобряюще кивнул, и генерал Жилинский, как великий полководец Ксеркс, двинул свои храбрые непобедимые войска громить паршивых пруссаков, которых, как известно, русские всегда били.

Итак, в особняке на Банковой стремительно развивался русский контрудар, перевозки и весь тыл фронтов и армий работали без задержек и перебоев, германские корпуса бежали.

Государю потом с удовлетворением доложили: «Игра дала весьма богатый материал по проверке правильности намеченного развертывания и плана ближайших наших действий в случае войны на западной границе».

Но на самом деле Российская империя уже свыше столетия держала оборону на западной границе и если и была готова к наступлению, то только на узком фронте против одряхлевшей Австро-Венгрии. А против Германии? Помышлять здесь об атаке, когда вся русская стратегия, дислокация, артиллерия, дороги — все строилось на идее обороны?! Помышлять об этом могли только дерзкие или легкомысленные военачальники. Но ни Сухомлинов, ни Жилинский и вообще никто из участников киевской игры не были такими.



Они были готовы на самопожертвование, помня о союзной Франции, ибо Франция в случае оборонительной стратегии России оставалась перед германской армией в одиночку и сорокадневный, по плану Шлиффена, ее разгром был бы неотвратим. И потом Россия, оставшись без Франции, не могла бы устоять.

Что же оставалось? Из чего приходилось выбирать, планируя войну?

Выбирали самопожертвование, понятный, привычный русский путь борьбы человеческими телами, путь обреченного героизма.

И надвигающаяся, еще не осознанная, трагедия заслонялась слепым, тоже русским духом шапкозакидательства, духом-предвестником.

Тень Шлиффена реяла над Восточной Пруссией. И ничего уже нельзя было переделать, спасти тех, кто сегодня еще дышал, надеялся... Нет, нельзя!

Александр Васильевич закончил занятия, когда за окном стало темно. В открытое, затянутое сеткой окно доносились шорохи, выла собака. Он ощутил, как из тьмы на стариков, помнивших покорение края, на их внуков, на русский город из глубины глядит Господь.

Самсонов встал, перекрестился и прочитал молитву. «Прости меня, — сказал он. — Это я погубил его. Прости меня, неразумного!»

После этих слов как будто что-то тугое развязалось в груди и отпустило.

Триста юнкеров Елисаветградского кавалерийского училища смотрели на него. Он тогда прощался с ними, отбывая в апреле, десять лет назад, в Маньчжурию. Сейчас они — штабс-капитаны и капитаны. Как бедный Головко. Триста спартанцев, готовых выполнить любое приказание во имя Отечества... Прости меня, Господи! Я этого не хотел.

Образ светлого Елисаветграда, где Александр Васильевич был в согласии с собой, со своим долгом и личным счастьем, навеялся вдруг. Вот зашелестели тополя и зацвели белые акации на городском бульваре, заиграла военная музыка в саду, зазвонили колокола всех десяти православных храмов, на Большой Перспективной улице — он с молодою женой... Но нет уже того временя!

Стерев светлый образ, донесся мотив кавалерийского сбора. Кто-то хрипловатым голосом напевал под окнами:

Всадники-други, в поход собирайтесь!
Радостный звук вас ко славе зовет,
С бодрым духом храбро сражаться,
За родину сладкую смерть принять.

Крымов?

Самсонов вызвал дежурного адъютанта — пусть позовет Крымова.

Полковник Крымов исполнял должность генерала для поручений при командующем, и Самсонов был привязан к нему. Да они и были похожи: Крымов, как и Александр Васильевич, широк в плечах, тучен, с бородатым, волевым офицерским лицом, какое обычно делается у военных людей после двадцатилетней службы.

— Спешил, ваше превосходительство, на наш праздник и опоздал, — сказал Крымов. — Устал.

— Я вас ждал утром, — упрекнул Самсонов. — Докладывайте.

— Завтра представлю отчет, — сказал Крымов. — При мне задержали непальца. — Английский шпион. Еще нападение на денежную почту у поста Нижне-Пенужский... В Бухаре столкновения суннитов и шиитов... — Крымов замолчал, потом спросил: — Правда, Головко разбился?

— Что делает эмир? — спросил Самсонов, хотя эмир его не интересовал.

— Эмир намерен отдыхать у нас в Крыму, — ответил полковник. — Будет хлопотать о бесплатном проезде.

— Да, да, — кивнул Самсонов. — Жаль, что вы не приехали утром... Присаживайтесь. Давайте поговорим как старые боевые товарищи. — Он сел на диван и указал на место рядом с собой.

Крымов сел, от него пахло далекой дорогой кожей седла, лошадиным потом, табаком.

— Сознайтесь, — сказал Самсонов. — Вам никогда не приходило в голову сравнение с Римской империей?

— В том смысле, что Москва — третий Рим? В штабе второй армии, в Маньчжурии, что-то такое мелькало, но для юного генштабиста, каким я тогда был, вообще свойственна мировая стратегия.

Видя, что Крымов отшучивается и не будет опережать мысль командующего, Самсонов спросил о нападении на почту.



И полковник рассказал, как в десять часов вечера в тумане, в камышах, поручик и два стражника подверглись нападению шайки разбойников, их было человек шесть — восемь; почту удалось спасти — поручик приказал одному стражнику утекать, а сам с другими стал отбиваться.

Это простое словцо «утекать» напомнило Александру Васильевичу, что Крымов командовал казачьим полком.

— Что поручик? Убит? — спросил он.

— Не зарубили, — сказал Крымов. — Живой.

— Надо наградить! — решил Самсонов. — Здесь не Россия... У нас невыполнимая задача — воевать и сохранять обаяние русского имени.

— Отчего же невыполнимая? — возразил Крымов. — Возмите Англию, вот у кого нам поучиться. Создала мировую империю и возвысила свое имя.

— Нет, им тоже не избежать участи римлян, — сказал Самсонов. — Есть какой-то закон, который определяет судьбы империй. Сперва Александра Македонского, потом Римская, Византийская, Испанская... Оттоманская на ладан дышит.

— Я не понимаю, Александр Васильевич, — произнес Крымов. — Эта аналогия противоестественна духу службы на окраине.

— Это вы правильно заметили. Нынче еще можно глаза закрыть. А что завтра, когда прогресс даст всем мусульманам такую же силу, как англичанам, русским?

— Этим халатам? — усмехнулся Крымов. — Вы думаете, нам придется когда-нибудь отступить?

— Боюсь, что придется, — подтвердил Самсонов. — Россия будет держаться в границах распространения православной религии, тогда она неуязвима. Я служил в царстве Польском, Маньчжурии, здесь, в Средней Азии, — и вижу одно и то же. Мы можем победить чужую военную силу, а сильную религию не победишь. Вспомните татарское иго. Или в Болгарии — турецкое... Вам понятно? За сотни лет они не смогли победить.

— Значит, мы отсюда уйдем, — задумчиво сказал Крымов. — Но тогда повторится Батыево нашествие... Нет, нельзя военным так далеко заглядывать! Наше дело иное.

— Надо исполнять свой долг, — согласился Самсонов. — Это нас всегда оправдывает.

Это мы всегда умели — исполнять долг. Тридцатидвухлетний Скобелев на белом коне выехал перед дрогнувшим Эстлянским полком и под огнем турок стал командовать ружейные приемы. — На караул! На плечо! В штыки колоть!

Турки участили ружейную стрельбу. Скобелев спокойным шагом проезжал по фронту полка и подбадривал:

— Ишь, кровельщики начали пугать!

Звук турецкой пальбы походил, как говорили солдаты, на удар деревянных молотков по железным листам.

— Ну с богом, ребята. Вперед! — позвал генерал.

И полк вступил в дело. Ура, пошли. Проснулся медведь, полез на скаты редута, страха нет, сердце как будто испарилось.

А Калужский полк вовсе лихо шел в батальонных колоннах с музыкой, с развернутыми знаменами — под огонь. И скосило полк. Но рядом Рыльский волк без блеска атаковал; подкрался без музыки, незаметно, поротно — потерял людей в четыре раза меньше лихих калужцев, да и наград получил меньше.

Слава Скобелеву, слава Калужцам! Вечная память павшим!

Призовет Господь убитого солдата и наградит его за исполненный долг. И будут равно отмечены калужские, рыльские, все, кто принес жертву для спасения православного болгарского народа. Подивится Господь смерти канонира Ивана Байдужего, спросит: «Откуда у тебя такое терпение, доходящее до геройства?» У канонира оторвало гранатой левое плечо, обнажилось легкое, но не застонал он, не вскрикнул, только крестился правой рукой, а когда пришли санитары, сам поднялся и лег на носилки. Через два часа на перевязочном пункте среди воя раненых отлетела душа Ивана. Посмотрит она сверху на опутанные дымом Балканы, на черные трупы, плывущие по реке Осме, горящие дома, девочку со штыковой раной в груди, гору рук и ног возле лазарета, бьющихся на аванпостах с черкесами горстку ахтырских гусар во главе с корнетом Самсоновым, — посмотрит на все это и приникнет к твердым коленам Господа, ища утешения.



Есть ли утешение убитому? В чем оно для принявшего сладкую смерть? В чем оно?

«В исполнении долга», — скажет Господь. «В исполнении долга», — сказал бы корнет Самсонов. «В исполнении долга», — говорил генерал от кавалерии, командующий Туркестанским округом.

Нет ничего более дешевого, чем жизнь на войне. Но одна из самых дорогих ценностей — смерть. Лейтенант французской службы Бертен, прикомандированный ко 2-му Верхнеудискому казачьему полку, после стычки с хунхузами был счастлив, что, наконец, попал в дело. Самсонов не видел его живым, рассказывали, что после стычки Бертен достал коньяку и угощал офицеров своего эскадрона, — наверное, это был романтически настроенный юноша. Он погиб в кавалерийском набеге на Инкоу в деревне Сан-да-кан, что по-китайски означает «три фанзы». Бертен был ранен при конной атаке засевших в деревне японцев, нога застряла в стремени и его дотянуло до самой глинобитной стены, окружавшей Сан-да-кан. Эти три фанзы можно было обойти ради скорости набега, чтобы не превратился он, как потом оказалось, в наполз, но Самсонов приказал захватить деревню и найти тело Бертена. Провозились три часа. Стемнело, подошел взвод поршневой артиллерии, грохоча колесами по мерзлой земле. Спустился густой туман, укрыл фанзы и сады. Пушки выпустили пятнадцать снарядов, но не зажгли фанз. Было уже одинадцать часов ночи. Больше нельзя было медлить, и началась ночная атака. Спешенные стрелки конно-охотничьей команды и эскадрон Нежинских драгун скрытно двинулись по полю, то и дело натыкаясь на обрезки гаоляновых стеблей, торчавших как пни. Японцы дали залп в упор, русские бросились на штурм. «Сюда, ребята! Жги!» — крикнул урядник из охотников. Зажгли кучу сложенного гаоляна, запылал огромный костер. Все осветилось. Ожесточение охватило дерущихся, стоны раненых, крики атакующих, треск разрастающегося пожара и вопли мирных жителей разоряемой деревни — это смешалось в гул. Выбили японцев из первой фанзы, они перебежали во вторую. «Спасите, я горю!» — раздался отчаянный голос. Это был вольноопределяющийся Рудаков, раненный одновременно с Бертеном. Он пролежал целый день, ожидая смерти, и погиб, когда выручали покойника француза. Тело Бертена нашли, Рудакова — не смогли вынести из огня.

Цена дела была высокой — три офицера и девятнадцать казаков ранено, трое казаков убито, тридцать семь лошадей убито. Не считая Рудакова.

И никто не спросил Самсонова, во имя чего принесены жертвы.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

Семейство Самсонова проводило летний отпуск на Кавказе, на водах. Отсюда Екатерина Александровна собиралась потом недели на две заехать в Херсонскую губернию, в родной Елисаветградский уезд, в родовую Акимовку, где малороссийское лето готовило свои роскошные угощения. А из Акимовки — назад в Ташкент, первого августа Володе надо быть в гимназии.

Началось знойное щедрое лето. Никто не думал о войне. Даже те, кому было положено знать о ее приближении заранее, спокойно готовились к летнему отдыху: генерал-квартирмейстер Генерального штаба Юрий Никифорович Данилов, в ведении которого была и разведка, отправлял свою семью в деревню на запад, на границу с Австро-Венгрией; оперативный отдел Генерального штаба готовил новую полевую поездку офицеров на Кавказ; генерал Брусилов выехал с женой в Германию в Бад-Кисинген.

Итак, военное министерство, Генеральный штаб, а затем государь разрешили отпуск и генералу Самсонову.

В Новочеркасске, где Александр Васильевич после японской служил наказным атаманом войска Донского, захотелось ему выйти из поезда, поглядеть на донскую столицу, на войсковой собор, третий в России после Исаакиевского и Христа Спасителя, на Ермака у атаманского дворца, вообще на бойкий красивый южнорусский народ.

В Новочеркасске на вокзале его встречал генерал Покотило с конвойной сотней и музыкантами. Большой, седоусый Покотило обнял Александра Васильевича, вспомнил набег на Инкоу, когда Самсонов командовал одной из колонн, и дождался, что тот в свою очередь вспомнит, как атаман ходил в цепи в атаку и был ранен.

Это была встреча старых маньчжурцев, героев японской войны, и народ таращился на генералов и любовался.



— Александр Васильевич! — окликнули Самсонова, он вгляделся и узнал горного инженера, старинного приятеля... Как же его фамилия? Забыл!

Инженер был в белом чесучовом костюме, в белой фуражке с золотистыми молоточками, телом жилист, а лицо — беспородное, умное.

Самсонов вскинул голову и приподнял руки, как бы готовясь к объятиям. Инженер подошел и остановился рядом с Покотило.

— Что такое? — нахмурился в его сторону наказной атаман. — И сразу оба адъютанта, покотиловский и самсоновский, оттеснили инженера, чтобы тот обождал очереди и не лез.

Самсонов не вмешивался, но показал жестом: ждите, таков порядок.

— Эх, Александр Васильевич, — вполголоса пожаловался Покотило. — Вам хорошо среди азиатов, они уважают..... А тут кто мало-мальски завел предпринимательство, сразу волком на тебя глядит, как на персидского сатрапа. Устои, видите ли, его стесняют!

— А что, если мы последние? — спросил Самсонов. — Ведь мы — дети поместий и дворянской вольности. Что нам нужно? Добрый конь, послушный эскадрон да хорошенькая хозяйка. — Он усмехнулся и показал на паровоз, возле которого стоял кто-то замасленный, черномазый. — А сия огнедышащая машина? Ей нужны иные генералы. Тот инженер — новый помещик...

— Кто?! — воскликнул Покотило. — Он?! А вот! — и сжал могучий кулак рубаки. — Вот!

Но вот Новочеркасск позади. Не увидел он ни собора, ни Ермака, только повеяло в душу что-то горькое, прощальное. Не бывать тебе больше на Дону, Александр Васильевич! Не видать больше ни Ташкента, ни Киева, ни Петербурга, ни Елисаветграда, где тебе выпала судьба служить. И ждут тебя не минеральные источники, а восточно-прусские леса, пески и болота. Скоро, совсем скоро станешь ты командующим несчастливой второй армии.

А пока мчится поезд, плывут за окнами казачьи хутора, ползут арбы, запряженные волами, пылят по дорогам верховые, — и все это как будто пятьдесят и сто лет назад.

На столике стоит блюдо с вишнями. Красный сок

течет у Верочки по подбородку. Ее пальцы перемазаны розовым. Она щурится, выбирает большую вишню и дает ее брату.

Самсонов глядит на детей, на жену — он на вершине жизни, он счастлив.

Сперва Россию как бы приглашали задуматься о том, что Англия готова поддержать ее интересы. Военный агент Ермолов сообщил 1 января 1914 года генерал-квартирмейстеру Данилову:

«Доношу, что на днях меня посетил военный корреспондент газеты «Таймс» полковник Репингтон и сообщил следующее:

Английское общественное мнение, до сих пор по непониманию относившееся довольно равнодушно к вопросу о германской военной миссии в Константинополе, теперь начинает осознавать те многие невыгоды и опасности, кои связаны с этой миссией, не только для России, но и для Великобритании. Ближайшая опасность для Англии заключается в том, что так как Англия получает значительную часть своего ввоза продовольственного из южной России через проливы, то утверждение германского влияния на Босфоре приведет в конце концов как бы к тому, что, как выразился Репингтон, «германский генерал будет как бы держать в своих руках продовольствие Англии и в случае войны Англии с Германией будет иметь возможность угрожать Англии остановкой ее продовольственного ввоза, то есть просто голодом».

Помимо вышеизложенного, крайне для Англии серьезной опасности, отмечается еще и та, что германское влияние на Босфоре приведет к усилению Германии в Малой Азии и давлению Германии на английские сообщения в Индии».

Это был прозрачный намек; и Российский Генеральный штаб, и Министерство иностранных дел признали сообщение Ермолова очень важным, тем более еще памятен был убыток, понесенный Россией в 1912 году во время Балканской войны, когда из-за закрытия Проливов потеряли сто миллионов рублей от прекращения экспорта.

Правда, визит полковника Репингтона был неофициальным прощупыванием. Правительство же короля не собиралось заключать союза с Россией, и английский министр иностранных дел Грей намекал русскому послу Бенкендорфу, что России следует вывести свои войска из Персии, ибо это произведет огромное впечатление на англичан.....



Уже после саратовского выстрела русский посол в Берлине Свербеев встретился с английским послом и сообщил об этом в МИД.

«Я изложил моему английскому коллеге свою точку зрения и прибавил, что ввиду существующего в Германии убеждения в том, что в случае вооруженного столкновения между Германией и Австрией с одной стороны и Россией и Францией — с другой, Англия будет придерживаться строгого нейтралитета, тот или иной выход из настоящего положения всецело зависит от Англии. Если сэр Эдуард Грей ясно и категорически заявит в Берлине, что Великобритания твердо решила действовать совместно с Россией и Францией, — мир обеспечен. Английский посол мне ответил, что ему неизвестны намерения его правительства и, несмотря на все приведенные мною в защиту моего мнения аргументы, я не получил от него никакого удовлетворительного ответа».

Казалось, англичане не понимают, куда поворачиваются события, и хотят выжидать до последней минуты, чтобы обеспечить наибольшую выгоду решения.

10 июля русские перехватили и расшифровали секретную телеграмму Берхтольда послу в Петербурге Сапари. «...Князь Лихновский телеграфирует о сделанном ему Греем заявлении, что он не верит в военные осложнения по сербскому вопросу; во всяком случае нужно безусловно избежать всеобщего пожара. Он заключает из этого, что Англия даже в крайнем случае постарается воздержаться от всякого военного вмешательства».

Телеграмму читал Николай II, никаких пометок не оставил. Как можно было отнестись к вольному или невольному поощрению Англией Австро-Венгрии к развязыванию войны против Сербии?

В тот же день русский посол в Сербии Штрандман сообщил Сазонову:

«Только-только, в 6 часов вечера, австрийский посланник вручил ультимативную ноту своего правительства, дающую 48-часовой срок для принятия заключающихся в ней требований. Тиэль добавил на

словах, что в случае непринятия ее целиком в 48-часовой срок ему предписано выехать из Белграда с составом миссии».

Телеграмма поступила в Петербург утром, 11 июля. Сазонов прочитал ее и мрачно произнес: «Это европейская война».

Но почему война? Еще ни государь, ни Совет министров ничего не знали. Еще послы Германии, Франции, Англии — Пурталес, Палеолог, Бьюкенен спокойно занимались утренними делами. Еще Россия не готова ни к какой войне, ее Большая военная программа только-только принята...

Что двигало Сазоновым и в конечном счете Российской империей?

В австрийском ультиматуме не было ни одной строки, задевавшей русское достоинство, а самым тяжелым для Сербии было требование допустить для проверки расследования на сербской территории австрийскую полицию.

И не так давно, всего пять лет назад, Россия, понимая, что ее сил недостаточно, не противилась аннексии Боснии и Герцеговины, сохранила мир и жизни. Она могла уклониться от войны и сейчас.

Или ею двигало национальное рыцарство? Так же, как и под Плевной и на Шипке?

Оставим рыцарство для русофильной сказки. Проливы, вывоз товара — вот за что собиралась воевать империя и уповала на покорную русскую силу.

В три часа дня заседал Совет министров и положил:

I. ... снестись с кабинетами великих держав в целях побуждения Австро-Венгерского правительства к предоставлению Сербии некоторой отсрочки в деле ответа на предъявленное ей австро-венгерским правительством ультимативное требование, дабы дать тем возможность правительствам великих держав изучить и исследовать документы по поводу совершившегося в Сараеве злодеяния....

II. Посоветовать Сербскому правительству на случай, если положение Сербии таково, что она собственными силами не может защищаться против возможного наступления Австро-Венгрии, не противодействовать вооруженному вторжению на сербскую территорию, если таковое вторжение последует, и заявить, что Сербия уступает силе и вручает свою судьбу решению великих держав.



Первые два пункта были миролюбивы, зато следующими Совет министров делал шаг к войне.

III. Предоставить военному и морскому министрам испросить высочайшего Вашего императорского соизволения на объявление, в зависимости от хода дел, мобилизации четырех округов — Киевского, Одесского, Московского и Казанского, Балтийского и Черноморского флотов.

IV. Предоставить военному министру незамедлительно ускорить пополнение запасов материальной части армии.

V. Предоставить министру финансов принять меры к безотлагательному уменьшению принадлежавших финансовому ведомству сумм, находящихся в Австро-Венгрии.

Николай II согласился со всем этим, добавил только одно — готовить к мобилизации и Балтийский флот. В первоначальном документе о Балтике, поскольку она не граничит с двуединой империей, не упоминалось.

Зато Балтика граничит с Германией!

В 7 часов вечера в Министерство иностранных дел на Певческий мост прибыл германский посол Пурталес; он оправдывал Австро-Венгрию, доказывал необходимость защиты монархического принципа.

Сразу же за Пурталесом Сазонов принял Палеолога, француз без обиняков заявил: «Между нами полное согласие».

Итог этому дню подвела телеграмма из Белграда Николаю II:

«...Австро-венгерская армия сосредоточилась около наших границ и может нас атаковать по истечении срока. Мы не можем защищаться. Посему молим Ваше Величество оказать нам помощь возможно скорее. Ваше Величество дало нам столько доказательств своего драгоценного благоволения, и мы твердо надеемся, что этот призыв найдет отклик в его славянском и благородном сердце. Я являюсь выразителем чувств сербского народа, который в эти трудные времена молит Ваше Величество принять участие в судьбе Сербии. — Александр».

Мольба сербов мало трогала работников на Певческом мосту, но для народа, для сострадающих братушкам народа, она была как нельзя понятна. Ею не следовало пренебрегать.

Наступило 12 июля.

Сазонов в докладной записке Николаю II пишет:

«Персидские дела не внушают опасения, так как России и Англии, при взаимном желании придти к соглашению, нетрудно будет столковаться на этой почве... В настоящую минуту все касающееся Персии отступает на второй план перед осложнениями, вызванными обострением австро-сербских отношений.

...В случае дальнейшего упорства Австрии в таком направлении Россия не будет в состоянии остаться равнодушной. Нужно надеяться, что в таком случае Россия и Англия окажутся вместе на стороне права и справедливости и что бескорыстная политика России, единственная цель которой — помешать установлению гегемонии Австрии на Балканах, найдет энергичную поддержку со стороны Англии».

Сазонов до конца не уверен в сэре Грее. Наверное, поэтому в его словах больше предположений, чем доказательств.

В тот же день сообщение Бенкендорфа проливает свет на желания Лондона.

«Германский посол спросил, согласится ли Англия действовать в Петербурге в примирительном смысле. Грей ответил, что это совершенно невозможно. Он при этом добавил, что английские интересы затронуты лишь косвенно, но что он должен предвидеть, что австрийская мобилизация вызовет мобилизацию России и что с этого момента возникнет положение, в коем заинтересованы будут державы Антанты. Англия в этом случае сохранит за собой полную свободу действий».

Англия не собирается добиваться мира. Это становилось все яснее.

12 июля военный агент Ермолов сообщал в Генеральный штаб:

«Английский генеральный штаб уверен, что Австрию толкает на войну Германия, так как Берлин полагает обстановку благоприятной».

Телеграмма из Белграда от Штрадмана:

«Несмотря на крайнюю примирительность ответа на ультиматум, австрийский посланник только что, в половине шестого вечера, уведомил сербское правительство нотою, что он, не получив в установленный срок удовлетворительного ответа, со всем составом миссии покидает Белград...»



Начальник Генерального штаба Янушкевич сообщил членам комитета Генерального штаба, что государю императору было благоугодно признать необходимость поддержать Сербию, хотя бы для этого пришлось объявить мобилизацию и начать военные действия, но не ранее перехода австрийскими войсками сербской границы.

При этом из отпусков отзывались все офицеры.

Бенкендорф сообщал 13 июля Сазонову более определенно:

«...Англичан страшит не столько австрийская гегемония на Балканах, сколько мировая гегемония Германии».

Видимо, Лондон счел поставленную цель достигнутой, коль так прямо указал на своего главного неприятеля.

15 июля сербская миссия в Петербурге направила Российскому МИД памятную записку:

«Имею честь довести до Вашего сведения, что я только что получил от г. Пашича, председателя совета, весьма срочную телеграмму, отправленную из Ниша сегодня в 2ч. 10 мин. пополудни и составленную в таких выражениях:

«В полдень австро-венгерское правительство прямой телеграммой объявило войну сербскому правительству. — Пашич».

Извещая Вас об этом прискорбном акте, который великая держава решилась совершить по отношению к малому славянскому государству, едва вышедшему из длинной серии боев, столь же героических, сколько изнурительных, я позволю себе в этот момент, столь тяжелый для страны, выразить надежду, что этот акт, нарушающий мир Европы и в равной степени смущающий ее сознание, будет осужден цивилизованным миром и сурово наказан Россией, покровительницей Сербии... — М. Спалайкович».

Война началась в самом слабом месте Европы, и ей вслед сразу выстраивались предыдущие войны со своим наследством: Крымская, прусско-французская, русско-турецкая.

Сазонов передал поверенному в делах в Берлине Броневскому:

«Сообщение в Вену, Париж, Лондон, Рим.

Вследствие объявленной Австрией войны Сербии нами завтра будет объявлена мобилизация в Одес-

ском, Киевском, Московском и Казанском округах. Доводя об этом до сведения германского правительства, подтвердите отсутствие у России каких-либо наступательных намерений против Германии. Наш посол в Вене пока не отзывается со своего поста».

Палеолог посетил Сазонова и по поручению своего правительства заявил о полной готовности Франции исполнить, если понадобится, свои союзнические обязательства.

Франция помнила Седан. Без русского «парового катка», тяжеловесной военной машины, она никогда бы не смогла вернуть долг 1870 года.

Осталось обеспечить себя перед лицом истории.

В тот же день 15 июля германский император Вильгельм II направил Николаю II телеграмму:

«С глубоким сожалением я узнал о впечатлении, произведенном в твоей стране выступлением Австрии против Сербии. Недобросовестная агитация, которая велась в Сербии в протяжении многих лет, завершилась гнусным преступлением, жертвой которого пал Эрцгерцог Франц-Фердинанд. Состояние умов, приведшее сербов к убийству их короля и его жены, все еще господствует в стране. Без сомнения, ты согласишься со мной, что наши общие интересы, твои и мои, как и интересы всех монархов, требуют, чтобы все лица, нравственно ответственные за это подлое убийство, понесли заслуженное наказание. В данном случае политика не играет роли».

Если не политика, то что же играло здесь роль? Библейский принцип — око за око?

Но будь принято увещевание Вильгельма, и Россия не ввязалась бы в войну? Тогда наверняка Франция проявила бы миролюбие. А владычица морей, лишившись «континентальной пехоты», искала бы другие средства обеспечить свои восточные интересы.

Пусть даже ценой поражения Сербии мир был бы сохранен. А в конечном итоге Австро-Венгрия была бы вынуждена отступить.

Однако мало кто думал тогда о мирном пути. Европа еще мыслила феодальными представлениями и видела быстрые победы наполеоновскими стремительными ударами, — германцы за сорок дней собирались взять Париж, французы и русские — Берлин.

Никому не приходило в голову, что наступает время, когда войны не выигрываются.



15 июля русский посланник Демерик в Гамбурге доносил:

«Наш офицер при верфи в Киле сообщает через миссию морскому агенту в Берлине, что часть действующего флота прошла ночью в Данциг в боевой готовности».

15 июля начальник Генерального штаба Янушкевич направил телеграмму главнокомандующему войсками гвардии и Петербургского военного округа великому князю Николаю Николаевичу, наместнику на Кавказе Воронцову-Дашкову, командующим войсками Московского, Варшавского, Казанского, Виленского, Киевского, Одесского и Иркутского округов — Плеве, Жилинскому, Зальцу, Ренненкампфу, Иванову, Никитину и Эверту и наказному атаману войска донского Покотило:

«Сообщается для сведения: семнадцатого июля будет объявлено первым днем нашей общей мобилизации. Объявление последует установленною телеграммой».

Мобилизация еще только готовится, но главная пружина войны уже сорвала все стопорные устройства. Отныне начинает двигать страх оказаться менее готовым, чем противник. Страх подгоняет, ускоряя войну. Мира уже не спасти.

16 июля Сазонов телеграфирует в Париж послу Извольскому, тому самому Извольскому, который был его предшественником на посту министра иностранных дел и ушел с него пять лет назад после австрийского продвижения в Боснию и Герцеговину, когда военные решили, что Россия еще недостаточно сильна для войны.

«Срочно.

Сообщается в Лондон.

Германский посол заявил мне сегодня о решении своего правительства мобилизовать свои силы, если Россия не прекратит делаемых ею военных приготовлений. Между тем таковые стали приниматься нами только вследствие состоявшейся уже мобилизации восьми корпусов в Австрии и очевидного нежелания последней согласиться на какой бы то ни было способ мирного улаживания своего спора с Сербией.

Так как мы не можем исполнить желания Германии, нам остается только ускорить наши вооружения и считаться с вероятной неизбежностью войны».

Итак, война. Мир агонизирует, ничто не спасет его.

Но неожиданно утром, в девять часов тридцать минут, 16 июля в Министерство иностранных дел позвонил германский посол граф Пурталес и сказал начальнику канцелярии барону Шиллингу, что желает видеть господина Сазонова и передать ему приятное сообщение. Что за приятное сообщение, когда на Певческом мосту уже отвыкли от приятных сообщений из Берлина?

«В 11 часов С. Д. Сазонов принял гр. Пурталеса, который сказал ему, что Германия согласна продолжить делаемые ею попытки, чтобы склонить венский кабинет к уступкам, но просил, чтобы это было сохранено в тайне, так как разглашение подобных намерений германского правительства могло бы создать впечатление, будто взгляды Австрии и Германии в настоящем случае не вполне согласны. Кроме того, посол настойчиво просил, чтобы преждевременной мобилизацией у нас не было бы создано препятствия к осуществлению Германией желательного воздействия на Вену.

По уходе после означенного заявление обсуждалось министром с А. А. Нератовым, бар. Шиллингом и кн. Трубецким. При этом ставился вопрос, действительно ли Германия намерена оказать в Вене серьезное воздействие, или порученное гр. Пурталесу сообщение рассчитано лишь на то, чтобы, усыпив наше внимание, по возможности отсрочить мобилизацию русской армии и выиграть время для соответствующих приготовлений. Общее впечатление было таково, что если даже допустить искренность в данном случае Германского правительства, что все же приходится усомниться в достижимости этим путем практических результатов, так как Австрия зашла уже столь далеко без содействия или, по крайней мере, потворства Германии, то следует предположить, что влияние последней в Вене сильно упало, а потому и в данную минуту германскому правительству едва ли удастся многого достигнуть.

В три часа германский посол вновь приехал к министру и прочел телеграмму императорского канцлера, в которой говорилось, что, если Россия будет продолжать военные приготовления, хотя бы и не приступая к мобилизации, и в таком случае последует с ее стороны немедленное нападение. На это сообщение



С. Д. Сазонов резко ответил: «Теперь у меня нет больше сомнений относительно истинных причин австрийской непримиримости».

Гр. Пурталес вскочил со своего места и также резко воскликнул: «Я всеми силами протестую, господин министр, против этого оскорбительного утверждения». Министр сухо возразил, что Германия имеет случай на деле доказать ошибочность высказанного им предположения. Собеседники расстались весьма холодно.

Вскоре по уходе германского посла в кабинете министра в присутствии А. А. Нератова и бар. Шиллинга позвонил телефон: государь император лично сообщал С. Д. Сазонову, что им только что получена от императора Вильгельма телеграмма с убедительной просьбой не допустить дело до войны. С. Д. Сазонов воспользовался случаем, чтобы доложить Его Величеству о сделанном ему несколько минут перед этим заявлении гр. Пурталеса и при этом указал на то, как мало согласуются слова германского императора с данным им своему послу поручением. Государь сказал, что он тотчас телеграфирует в Берлин, чтобы получить объяснение означенного противоречия.

Его Величество разрешил С. Д. Сазонову безотлагательно переговорить с военным министром и начальником Генерального штаба по вопросу о нашей мобилизации.

К этому времени получено известие о начале бомбардировки Белграда австрийцами (из поденной записи министерства иностранных дел 16 июля).

Еще были колебания, какую мобилизацию назначить, — общую или частичную. Еще велась переписка Николая с Вильгельмом. Еще Пурталес встречался глубокой ночью с Сазоновым и запрашивал его, не можем ли мы удовлетвориться обещанием Австрии не нарушать целостности Сербии.

Но все это уже не имело никакого значения! Известие о полной мобилизации вызвало у русских министров восторг.

17 июля Австрия мобилизировала свои войска на русской границе.

19 июля (1 августа по новому стилю) Германия объявила войну России.

20 июля Франция объявила мобилизацию.

21 июля Германия объявила войну Франции.

22 июля германские армии вошли в Люксембург и Бельгию, чей нейтралитет гарантировался Россией, Францией, Англией. Дорога на Париж была спрямлена.

И вот Александр Васильевич Самсонов получил предписание ехать принимать вторую армию, долженствующую наступать на Восточную Пруссию. Он принял предписание спокойно. Все же это была не первая, а уже третья его война, и волноваться было нечего. Генералов не убивают на поле брани, а если такое случается, то в общем крайне редко.

Екатерина Александровна, помня японскую войну и свои переживания, спешно заказала ювелиру медальон с короткой надписью: «А. В. Самсонову. Мы с тобой». Что она еще могла? Спрашивала совета, где жить, в Ташкенте? Или вернуться в Елисаветград? Обещала строго следить за Володей, беречь Верочку. И все смотрела, смотрела на Александра Васильевича своими яркими ясными глазами, как будто снова превратилась в гимназистку. Но с каждой минутой уходил Александр Васильевич все дальше к неведомой армии, погружаясь в волны «Бородина», и освобождался от бренного обывательского мира. Он с радостью выходил в суровый мир войны.

Вечером накануне отъезда Екатерина Александровна услыхала голоса мужа и сына, доносившиеся из детской комнаты. Они пели:

— Всадники-други, в поход собирайтесь! Радостный звук вас ко славе зовет, с бодрым духом храбро сражаться, за Родину сладкую смерть принять.

У нее сжалось сердце. Зачем он это делал? Какое напутствие давал сыну? Куда звал?

Она вошла к ним, и они умолкли. Александр Васильевич улыбнулся.

Таким Екатерина Александровна запомнила его: большой, стриженный под короткий ежик, с сильной сединой на висках, чуть курносый, с мохнатыми черными, тоже с проседью бровями, черной бородой, большими печальными глазами.

— Знаешь, что я подумала? — спросила она. — Там ведь Жилинский. Это плохо.

Самсонов нахмурился, как будто она допустила бестактность, и ответил, что Яков Григорьевич — его



старый товарищ. Она почувствовала, что муж не намерен допускать ее в генеральский мир. Он был связан с этим «живым трупом» еще сильнее, чем прежде. Он хотел, даже жаждал убедить ее, что это единый, светлый, героический мир.

— Бог с тобой, — вздохнула Екатерина Александровна.

В Ростове на вторых железнодорожных путях казаки заводили по мосткам в вагоны лошадей. Рыжая кобыла дергала головой, норовилась вырваться, а казак бил ее нагайкой.

Самсонов с адъютантом вышли на перрон. Грузился какой-то второочередной полк, и на перроне негде было яблоку упасть; освещенные той внутренней свободой, которую всегда порождает военная община, лица казаков на все лады отражали одну и ту же вольную усмешку.

У Александра Васильевича мелькнула мысль о том, что станется с этими людьми, если вправду начнется война. Но он так же, как и они, ощущал себя частицей великой русской силы, поднимавшейся со всех сторон державы, поэтому не лежала душа печалиться, легко соединялась с народной душой.

На Александра Васильевича оглядывались, один маленький плечистый есаул вытаращился и рот раскрыл, словно собираясь что-то спросить, но тут кто-то крикнул:

— Генералу Скобелеву — ура!

Неужели Самсонова приняли за Дмитрия Михайловича? Или так был близок нынешний подъем тому, пятидесятилетней давности? Ведь и сейчас тоже шли на защиту славянства.

Самсонов вернулся в вагон и как будто был корнетом — снова молодая бескрайняя жизнь одарила его бесценной минутой.

— Ишь, разгулялись казачки! — кивая на окно, весело вымолвил адъютант. — Теперь им что Скобелев, что Стенька Разин.

— Стенька Разин? — спросил Самсонов.

Ему такое не приходило на ум. Но адъютант молод, для него важна не точность мысли, а эффект, и разбойник Стенька здесь ни при чем. Поезд подергался и поехал. Вокзал уплыл.

В купе заглянул знакомый инженер, попросил позволения войти. На сей раз его имя вспомнилось — Шиманский.

— А, господин Шиманский! — с облегчением произнес Самсонов, освобождаясь от груза забывчивости. — Значит, с нами едете?

Инженер сел на бархатный диван, закинул ногу на ногу, стал сердито говорить о мобилизации.

— Зачем нам воевать, Александр Васильевич? — спросил он.

Самсонова это задело. Во-первых, о мобилизации как о государственном деле не следовало говорить открыто, а инженер, которому даже не положено было о ней знать, не только говорил, но и осуждал; во-вторых, никакой войны еще не было.

— Мы не воюем, — сказал Самсонов. — С чего вы городите эту чепуху!

— Значит, если я с вами не согласен, то я горожу чепуху? — заметил Шиманский. — Вот так у нас всегда. Как только мы, промышленники, хотим что-то сделать на благо прогресса, вы все, у кого власть... неправильно это, Александр Васильевич! Неправильно и вредно для отечества. Какой интерес в том, чтобы промотать на войне народный труд?

— По-моему, вы не были социалистом. Я вас не понимаю, — возразил Самсонов. — Разве вы не заметили, какой подъем? Именно народная душа выплескивается в такие минуты... Мы заступимся за маленькую беззащитную Сербию, это наш долг!

— А проливы? — спросил Шиманский. — Никакой это не долг, а чистой воды помещичий феодализм толкает нас воевать ради хлебной торговли. И для отвода глаз — все эти общеславянские задачи, маленькая Сербия, историческое наследство на Востоке, какое, скажите на милость, у нас может быть наследство от Византии?

— А религия? — спросил Самсонов. — А сострадание славянам? Я знаю ваши штучки: промышленная выгода, прогресс! Какой был прогресс, когда ваш собрат из Владивостока Бринер и затем полковник Безобразов затеяли возню в Корее с лесными концессиями? Разве в России мало леса? Так нет же, полезли, столкнули нас с Японией. А что вышло? «Япошки-макаки, а мы — кое-каки». Вот ваш прогресс, Петр Иосифович! Россия жила сотни лет по-своему, ее вам не переделать.



— Напрасно вы не видите резона в моих словах, — сказал инженер. — Я тоже против войны. Нечего нам ни с кем связываться. Наша держава так велика, что ее рынок внутри огромен, продавай, что хочешь — все пойдет. А ради помещиков и хлебных спекулянтов начинать войну — зачем?

— Никто не начинает ради спекулянтов! — крикнул Самсонов.

— Да, разумеется, в газетах напишут что-нибудь патриотическое. А в основе — все в России до сих пор повернуто в прошлое. Будь у промышленников политическая сила, мы бы удержали страну от пагубного шага.

— Нет, — сказал Самсонов решительно. — Наибольшая для России опасность — растерять наши исторические идеалы, потерять живой религиозный дух. Без веры нет человека, без веры он — только умный зверь.

— И кончится страшным разгромом нашего хозяйства! — тоже громко произнес Шиманский. — Мы надорвемся! Никакая религия не спасет. И что печально, пострадают самые активные, образованные силы. Народ-богоносец вспорет им животы. А после — наступит средневековье.

— Плохой из вас пророк, Петр Иосифович! — буркнул Самсонов. — Не хочу с вами ссориться, помню вас совсем другим человеком. Большая с вами произошла перемена.

— Никакой перемены. Мы накануне войны, а война... — Шиманский не договорил, встал и на прощанье сказал: — Храни вас Бог, Александр Васильевич. — За ним закрылись двери купе.

— Шпак! — презрительно вымолвил адъютант. — Вот такие шпаки все и портят.

На сей раз адъютант был полностью прав. Но эти слова — о хлебных спекулянтах! Они перекликались с самсоновскими мыслями о причинах японской кампании, — как это увязывалось?

На третий день мобилизации Самсонов прибыл в Варшаву. Яков Григорьевич принял его незамедлительно во дворце Бельведер в парке Лазенки на берегу озера. Высокий старик с землисто-желтым лицом не был похож на старшего вахмистра Жилинского, совсем состарился Яков Григорьевич.

Война уже была объявлена, Самсонов узнал о ней в дороге, пережив волнение и нетерпение. Теперь в кабинете командующего Варшавским округом, а вернее — главнокомандующего Северо-Западным фронтом, Александр Васильевич был собран и спокоен.

В кабинете был начальник штаба фронта Владимир Александрович Орановский, высокий голубоглазый блондин, знакомый Самсонову еще с Маньчжурии, где полковник Орановский служил в штабе Линевича, своего тестя.

— Вспоминаете? — добродушно спросил Орановский, кивая на окно, за которым зеленели липы королевского парка. Владимир Александрович выказывал уважение к герою прошлой войны, свидетельствовал, что в Варшаве не забыли, что Александр Васильевич здесь служил дважды: первый раз — еще при старом Гурко, а второй — после Маньчжурии.

— Помню, как Гурко нас воспитывал, — сказал Самсонов. — Он за Горный Дубняк чувствовал свою вину... — И, не вдаваясь в воспоминания, спросил о частях своей армии и ее штабе.

Орановский на это ответил вполне удовлетворительно, но говоря о штабе второй армии, который создавался, как и штаб фронта, на базе штаба округа, Владимир Александрович взял чуть извинительную интонацию.

Еще бы! Самсонов понял: Жилинский оставил себе весь лучший кадр.

— Я бы предпочел сам сформировать свой штаб, — заявил Самсонов. — Ни Постовского, ни Филимонова я не знаю.

— В данную минуту твое пожелание неисполнимо, — сказал Жилинский. — И нечего об этом говорить.

— Почему же нечего? — удивился Самсонов. — Ты, Яков Григорьевич, должен понимать, какое значение имеет согласованность командующего со своим штабом. Коль я командующий, то я имею право выбрать себе соратников.

— Ты командующий, Александр Васильевич, верно. Но есть и главнокомандующий, и Верховный командующий, — скрипучим голосом высокомерно произнес Жилинский, осаживая Самсонова. — Я знаю Петра Ивановича Постовского. Владимир Александрович его знает. Отличный был генкварт. И Филимонов зарекомендовал себя в Новогеоргиевской крепости с лучшей стороны. Чем же ты недоволен?



Самсонов молчал.

— Владимир Александрович, к карте, пожалуйста, — посчитав обсуждение штаба армии завершенным, распорядился Жилинский. Он, очевидно, не сомневался в своем превосходстве над Александром Васильевичем.

Орановский подошел к столу с большой картой. Самсонов шагнул навстречу Жилинскому и негромко сказал: — Ты, Яков Григорьевич, старше меня годами, всегда был близок петербургскому свету, а я все по окраинам служу... И я не понимаю. Я подчиняюсь, но не понимаю.

— Не будем отвлекаться, Александр Васильевич, — ответил Жилинский. — Понимаешь или не понимаешь — не все ли равно. Нечего после драки кулаками махать. Мы не кадеты. Да, помнится, будучи кадетом, не я ли тебя учил фехтованию и рубке?.. Похвально, что ты подчиняешься старому товарищу.

Жилинский улыбнулся своей неживой улыбкой, обнажив длинные скошенные зубы.

Орановский стал показывать над Восточной Пруссией штабное умение водить по карте войска.

Самсонов поглядел: леса, озера, паутина железных дорог; его корпуса должны наступать в расходящихся, как растопыренные пальцы, направлениях по лесным дорогам, а это что? — первая армия генерала Ренненкампфа, того самого, что ходил в Маньчжурии с маузером в стрелковой цепи и дважды не пришел на помощь Самсонову, наступает с Севера в обход Мазурских озер, а вторая армия с юга. Это значит, что чем дальше углубляется армия, тем в более опасное положение она попадает; несомненно с фронта Алленштейн — Лаутенбург, к которому с запада тянется семь железных дорог, немцы нанесут фланговый удар...

— Что-то не пойму, — задумчиво произнес Самсонов. — Обстановка сложная, я должен поработать со своим начштаба, чтобы в ней разобраться. Пока корпуса моей армии подходят к районам сосредоточения, нам тоже надо подготовиться.

— Хорошо, готовьтесь, работайте со штабом, — сухо ответил Жилинский. — Жаль, что тебя не было на Киевской игре... Вот здесь первая, вот отсюда вторая. Здесь соединяетесь. Немцы в клещах.

— Слишком быстро, — недоверчиво вымолвил Самсонов. — Так они и будут ждать при наличии стольких дорог. Здесь сколько верст? По воздуху я их преодолею? С обозами? Нет, это — орешек непростой.

— Можно идти налегке, без обозов, — еще суше сказал Жилинский. — Ты в Туркестане оторвался от европейского театра, привык по-азиатски медленно...

— Медленно или как там еще, только мы неисправимы, методическая работа нам не по сердцу. Наш любимый герой — «навались, братцы!» — Самсонов явно возражал и дальше собирался возражать.

Он еще не понял, кто здесь главнокомандующий армиями фронта, и мыслил себя независимым туркестанским генерал-губернатором.

— Русские любят раздоры, — ледяным тоном сказал Жилинский. — Если вы, господин генерал, в прошлом достигали славы, не исполняя приказаний начальства, то нынче это следует отбросить. И только глубоко уважая и ценя вас, я допускаю между нами отношения старой дружбы. Но не надо ими злоупотреблять.

Он отчитывал Александра Васильевича, даже припомнил случай под Ляояном, когда Самсонов не отступил согласно приказу в августе девятьсот четвертого года, держался у станции Янтай-копи со своей дивизией целых два дня, благодаря чему три корпуса имели возможность отступить беспрепятственно по Мандаринской дороге. За тот бой Самсонов получил орден святого Георгия четвертой степени. Упрек в неисполнении приказаний был горек. Неожиданно помог Орановский, который тоже был под Ляояном:

— Яков Григорьевич! Александр Васильевич еще должен поработать в оперативном отделе, войти в обстановку.

— Ну, разумеется, — согласился Жилинский. — Чтобы потом нам не говорили — «Навались, братцы!» Мы должны разбить Германию, спасти Францию, и мы выполним наш долг.

В тот же день Самсонов познакомился со своим начальником штаба Постовским и генерал-квартирмейстером Филимоновым.

От Постовского веяло нервной энергией, строптивостью и нестойкостью. В штабе Варшавского округа



он имел прозвище «бешеный мулла» — не за облик, а за натуру.

Маленького роста, стриженный под бобрик, Филимонов помалкивал, крепко сжав узкогубый рот. А Постовский горячо разносил план Жилинского.

— Это просто фантастическое гуляние вокруг Мазурских озер, а не стратегическая операция! — заявил Петр Иванович и повторил самсоновскую догадку о возможном фланговом ударе немцев с фронта Алленштейн — Лаутенбург.

— Вы знаете, Александр Васильевич, — продолжал Постовский. — Еще в одиннадцатом году мы агентурным путем добыли сведения о военной игре германского генштаба. Они уже разыгрывали наше наступление в Восточную Пруссию. На наш удар в сторону Мазурских озер они отвечают ударом в наш левый фланг и тыл из района Остероде, Дейч-Эйлау.

— Жилинский знает? — спросил Самсонов.

— Яков Григорьевич все знает, — ответил Постовский. — У него другая точка зрения.

— Черт побери! — рыкнул Самсонов. — К чему же это приведет? По директиве фронта мы должны окружать германские силы, как будто они останутся неподвижны в течение всей операции. Но так не получится.

Постовский наклонил набок голову и заметил:

— «Вейротер думал, что моя армия останется неподвижной, как верстовые столбы на дорогах». Это Наполеон после Аустерлица.

— А что вы думаете о директиве? — спросил Самсонов.

— Честно?

На это Самсонов не ответил. Ему не хватало воздуха, он шумно дышал.

— Нарушено основное требование стратегии: у нас мало сил в направлении главного удара, — неуверенно сказал Постовский. — Вы согласны?

Снова промолчал Самсонов.

— У нас открытый левый фланг, — продолжал Постовский. — Это крайне опасно. Мы должны соединиться с первой армией, но в директиве нет указаний на время и район установления связи армий. Это не может не вызывать тревоги...

— «Не может не вызывать»! — гневно воскликнул Самсонов. — Да это почти исключает взаимодействие армий! Вы говорили об этом Орановскому?

Постовский вытянулся, напряженно глядел сквозь пенсне на Самсонова, как будто потеряв дар речи.

— Орановскому говорили? — повторил Александр Васильевич.

— Только в общем, — признался Постовский. — Директиву не принято обсуждать. Но, полагаю, нам надо довести наши соображения...

Стало видно, что начальник штаба армии в обстановке разбирается, но лишен начальственной воли, робок, несмотря на свою нервную энергию, и поэтому едва ли надежен. Что же делать?

— У вас есть дополнения? — обратился к Филимонову.

— Срок перехода в наступление выбран чрезмерно поспешный, — почти зло сказал генерал-квартирмейстер. — Придется войскам идти без обозов третьего разряда и тыловых учреждений.

Значит, наступать надо было налегке, впроголодь, с малым запасом снарядов. Снова заводилось вечное русское правило — не жалеть людей.

Что же это? Неужели не готовы к войне? Но не может этого быть!

И верил и не верил Самсонов, что не может этого быть, надеялся на то, что Жилинский, блестящий, первенствующий во всем с юных лет Яков Григорьевич, сумеет поправить свою неловкую директиву.

— Подготовьте записку, вечером буду докладывать главнокомандующему, — распорядился Самсонов.

— Но он знает... — заметил Постовский, явно считая замысел безнадежным.

— Выработайте наши предложения, — спокойно повторил Самсонов. — Смотрите правде в глаза.

Слава богу, хоть прибыл полковник Крымов. Самсонов встретил его возле дворца и обнял на радостях. Единственный близкий!

Крымов с дороги выглядел усталым, под глазами — отеки. На нем был свежий форменный китель с залежалыми складками, сапоги не очень блестели. И было видно, несмотря на гордый значок Академии Генштаба, что полковник — армейский служака по духу.

Самсонов велел своему адъютанту взять чемодан Крымова, а полковнику поручил идти к Постовскому



и заняться подготовкой записки, вернее сказать, — подстегивать. Правда, о подстегивании Самсонов не говорил, Крымов и так поймет.

В автомобиле Александр Васильевич подумал, что Крымов, наверное, хотел бы сперва умыться в гостинице и пообедать, но не намеревался сочувствовать полковнику. Что ж, война, надо готовиться, работать, чтобы потом не наваливать телами братских могил. Автомобиль поехал, и Варшава с ее гонором, красотой и славянской безалаберностью напомнила Александру Васильевичу холостяцкую молодость. Он отвлекся, читая вывески на русском и польском.

Европой веяло на каждом шагу в бывшей столице царства Польского. Вместо нашей ломовой мостовой — асфальт. И всюду — бритые гладкие физиономии, а не бороды, и кавярни-цукерни на каждом шагу. И даже огромный православный собор возле Саксонского дворца, сияющий золотыми куполами с византийским лукавством, не снижал, а лишь подчеркивал впечатление Европы. Беломраморный Ян Собесский на коне, попирающий турка, до сих пор звучал в душе Самсонова на пути от Лазенок до «Европейской».

Тридцатиоднолетним подполковником, штаб-офицером для особых поручений при командующем округом — вот кем был в эти минуты Александр Васильевич. Тогда Гурко любил проводить военные игры и учения, и один старик, не смогши ответить на его вопрос, просто сказал, что ляжет костьми на поле брани, но Гурко высмеял его, заметив, что России нужны не кости, а победы... А прекрасные полячки, Александр Васильевич? По одной ты сильно страдал, не любила она русских и не скрывала этого, и ее сероголубые глаза... Ну чего вспоминать! Было и быльем поросло. И все-таки дальше вспоминалось — сероголубые глаза манили, говорили о кохании, да только не суждено было переступить ни разделов Польши, ни взятия Суворовым Варшавы, ни крови Костюшко. Александр Васильевич пытался поведать о другом — о Самозванце, Марине Мнишек, сожжении поляками Кремля — не верила прекрасная паненка. И Гоголю не поверила, единственно приняла Андрия, изменившего казацкому братству ради красавицы полячки. «Мы никогда не покоримся, — говорила она. — Это вам надо скорее избавляться от своего варварства».

Сладкую печаль оборвал Яков Григорьевич, ска-

зал, что русские любят раздоры. Но почему раздоры, Яков Григорьевич? Не любят их русские. Они любят покой, молитвы, свою веру.

Но и Жилинского оборвал страшный железный визг и крик впереди автомобиля.

— Человека задавило, — сказал шофер.

На мостовую кинулись люди, пересекая путь автомобилю. Какой-то старик остановился прямо перед радиатором и, подняв палку, погрозил.

Автомобиль сбавил ход, затем остановился, и Самсонов послал адъютанта посмотреть. Тот вернулся бледный, с мученической гримасой: отрезало ногу рядовому лейб-гвардии Литовского полка, — по желтым погонам «варшавской гвардии» адъютант определил полк.

Сквозь шум толпы послышалось ржание лошади, к несчастному подгоняли коляску.

Александра Васильевича тянуло выйти, но он не вышел. Надо было заниматься своим делом, а там была полиция, она все устроит.

— Глупый народ, лезет под колеса, — заметил шофер. — А колеса-то железные!

Александр Васильевич вернулся в штаб фронта, потребовал с Постовского порученную записку. На удивление, она была составлена толково и смело. То ли Крымов надавил, то ли Петр Иванович перестал робеть.

Жилинскому готова была правда. Пусть прочтет, а там посмотрим.

Никакой спешки! Наши войска недостаточно сильны, чтобы занять весь фронт от Мазурских озер до Млавы. Надо оторваться от озерной полосы, вести наступление западнее, не строя иллюзий о связи с первой армией, и оперировать против района Дейч-Эйлау, Остероде, откуда мог ожидаться удар германцев. Самсонов пошел к Жилинскому один.

Яков Григорьевич выслушал его, казалось, сочувственно, не обнаруживая силы своей властности. И угрозу удара из района Дейч-Эйлау-Остероде оценивал серьезно, и необходимость учесть невеликую скорость движения обозов по сыпучим пескам тоже воспринял как надо.

Самсонов чувствовал — Жилинский неожиданно помягчел. Назавтра Александр Васильевич отбывал в Волковыск, где пока будет находиться его штаб-квартира и штаб армии. Последняя встреча была с Жилинским.



— Думаешь, я не знаю? — спросил Яков Григорьевич укоризненно. — Тобой движет узкое соображение только о твоей армии, хотя я тебя вполне понимаю, Александр Васильевич, но ничего нельзя поделать, завтра первая армия должна перейти границу. Посмотри сюда... — Он показал на карте короткий путь германским войскам через Бельгию на Францию. — Вспомни записку Данилова о вероятных планах наших противников. Вспомнил? То-то же. У нас не только обязательства перед союзниками. Если мы не поддержим их в минуту наибольшего для них напряжения, даже путем перенапряжения наших сил, мы упустим прекрасную возможность разгромить немцев в Восточной Пруссии и потом идти прямо на Берлин.

Нет, ничего Яков Григорьевич не пожелал принять из доводов Самсонова, лишь более дипломатично повторил свою директиву.

— Но нельзя наступать с завязанными глазами, — сказал Александр Васильевич. — Почему они будут сидеть неподвижно за озерами? У них дороги. Они перебросят части, а наш удар — по воздуху. А этот фланг? Отсюда (всей ладонью провел от Дейч-Эйлау на восток) ударят — и катастрофа, Яков Григорьевич?!

Жилинский вздохнул, подошел к окну, повернувшись спиной.

— Я хотел видеть тебя во главе второй армии, — с волнением произнес он. — Я знаю тебя, ты можешь... От твоей армии ждут подвига...

Искреннее сочувствие звучало в обычно бесстрастном голосе Якова Григорьевича, оно задело Самсонова, он молча ждал, что дальше скажет главнокомандующий фронта.

Жилинский повернулся, тоже молча поглядел на Александра Васильевича, как будто что-то искал в его глазах.

— Ты давно был в училище? — спросил он.

— Давно, — ответил Самсонов.

— А я был... Видел твой портрет среди георгиевских кавалеров... Музей Лермонтова, ты знаешь, замечательный музей, — бюст замечательной работы, картины, акварели... «И умереть мы обещали...» — Жилинский покачал головой. — Сколько наших — я, ты, Брусилов Борис, Мартос Николай, Торклус Федор, Мищенко... А были юнцы! Как вспомнишь разводы с церемонией в высочайшем присутствии, восторг и трепет...

— На Николу вешнего я вспоминал училище, — сказал Самсонов.

— И я вспоминал, — вымолвил Жилинский. Сейчас Якову Григорьевичу предстояло объяснить однокашнику смысл жертвы, он собрался с мыслями и решительно произнес: — Становитесь на точку зрения Франции и интересов союза, надо со всей определенностью:

— действовать против Германии по наружным операционным линиям, угрожать немецкой территории, приковать к себе значительные ее силы...

— обеспечить Франции при ее столкновении с главной массой врага наиболее выгодное для нее численное соотношение...

— но такой путь требует больших жертв и самоотвержения.

Голос Жилинского возвысился и задребезжал от напряжения.

— Прости, Александр Васильевич. Ищи себе опору в трудности подвига, недаром у тебя имя Суворова. Директива утверждена Верховным, ее одобрил государь.

Если бы Яков Григорьевич сказал только о подвиге и не упоминал высочайших начальников, то Самсонов прекратил бы свои попытки. Но Яков Григорьевич считал высочайших начальников мнение — самым крепким доводом.

— Суворов тщательно готовил все свои операции, — по-деловому заметил Самсонов. — А мы его именем чаще всего пользуемся, чтобы успокоить себя: мол, «пуля — дура, штык — молодец».

— Директива утверждена, — повторил Жилинский. — Я тебе напомню суворовское: «Кого из нас убьют — царство небесное, живым — слава, слава, слава».

— Значит, армии предлагается героическая гибель? — прямо спросил Самсонов. — Это не стратегия, а самоубийство. Я не могу согласиться с направлением Мышинец — Хоржеле. Готов сдать командование.

Он вытянулся, скрестил руки на золоченом эфесе шашки и сурово глядел на главнокомандующего, понимая, что рушит свою воинскую карьеру. Жилинский отрешит его от армии, потом его как ненужного опозоренного генерала зачислят в распоряжение военного министра, и сгинет Самсонов. Но что ж, наши кости не нужны Отечеству, иного выхода нет.



— Стыдно, Александр Васильевич! — холодно произнес Жилинский. — Такой робости не ждал... Не желаю слышать ни о какой сдаче командования.

Жилинский прошел мимо Самсонова и сел за стол. С минуту они ничего не говорили, потом Александр Васильевич сказал, что повернет фронт наступления в направлении Ортельсбург — Нейденбург.

Почему Ортельсбург — Нейденбург, а не Остероде — Дейч-Эйлау, как предлагал раньше?

Потому что понимал — Жилинский, если уступит, то немного, а новое направление все-таки опаснее для германцев и к тому же позволит хоть часть армии базировать на железную дорогу Новогеоргиевск — Млава.

Яков Григорьевич смотрел ясными льдистыми глазами, не говорил ни да, ни нет.

Только что оборвалась нить товарищества. Что тут скажешь? Но главнокомандующий армиями фронта на предложение командующего армией был обязан отвечать. Жилинский молчал.

***

**Приказ**

**войскам 2-й армии Северо-Западного фронта**
**№ 1 гор. Варшава**

23 сего июля я прибыл в распоряжение высочайше вверенной мне 2-й армии Северо-Западного фронта и вступил в командование ею.

Моя штаб-квартира и место нахождения штаба вверенной мне армии с 24 сего июля будет находиться в городе Волковыск. Командующий 2-й армии генерал от кавалерии Самсонов.

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Войска шли к границе.

Шел на Млаву первый армейский корпус генерала от инфантерии Артамонова, старого маньчжурца, знатока религиозных книг. Шел на Нейденбург пятнадцатый корпус генерала от инфантерии Мартоса, тоже маньчжурца, однокашника Самсонова по гимназии и академии. Когда-то занимал Мартос должность ко-

мандующего войсками Приамурского округа, но что-то там у него не получилось, и все три года он был в Варшаве корпусным.

Шел на Виленберг тринадцатый корпус генерал-лейтенанта Клюева, тоже самсоновского однокашника по академии и тоже знавшего Восточную Пруссию, ибо до того служил в Варшавском округе начальником штаба.

Шел на Ортельсбург шестой корпус генерала от кавалерии Шейдемана.

Командиры корпусов, начальники дивизий и бригад — все это были члены одной военной семьи, давно знавшие друг друга по учению, по службе, а главное — чувству если не родства, то соседства, как будто соседи-помещики, которые связаны старинными знакомствами отцов и дедов.

Вот какой приказ по первому корпусу издал Артамонов:

«Возгревайте в самих себе и в ваших подчиненных твердую веру в Бога, ибо современный бой ужасен: армия, лишенная религиозного настроения, такого боя не выдержит. Требую строгого и точного соблюдения при всех обстоятельствах вечерней и утренней молитвы и обязательно молитвы перед боем, как то исстари устанавливалось обычаем в нашей христолюбивой армии.

Станьте сердцем вплотную к солдату. Никакой начальник не должен сам отдыхать и принимать пищу, пока не убедился, как будут укрыты и как накормлены подчиненные ему люди и лошади...»

Отцы вели за собой чад своих, нижних чинов. С Богом, с упованием на бессмертие в небесах, на сознание неизменности жизни, на защиту командира в походе. И чада этой нижней семьи тоже представлялись тысячеголовым единым терпеливым великаном, способным вынести любую тяжесть.

Уже третий переход завершал лейб-гвардии Литовский полк. По узкой песчаной дороге шагали рота за ротой с белесыми от пыли лицами, конные упряжки везли кухни, ротные и батальонные хозяйства. Отдельно шла пулеметная команда под началом пожилого штабс-капитана тридцативосьмилетнего Ивана Шпигелева.



Трое нижних чинов, отставшие от сопровождаемых ими кухонь, равнодушно смотрели, стоя на обочине, на штабс-капитана. Тот их не заметил, и они сели в жидкой тени молодой сосны, развязали мешки и принялись закусывать мясными консервами и сухарями.

Двое из них были русскими — Мартын Кононов и Роман Задонов, третий — поляк, Антон Рудик.

Разбитной Рудик уговорил съесть ранцевый запас, который они не имели права трогать.

— Ниц нэ бэньдже, — усмехаясь, сказал он. — Юж можно.

В полку было много поляков, Кононов и Задонов понимали польский. Выйдя из казарм, из-под присмотра, солдаты вдохнули лесного воздуха и захмелели от близкой свободы.

Война была, но еще не наступила. «Юж можно» — уже можно было. А что можно? Бог ведает.

— Слыхали, Шпигелева судить хотели офицерским судом? — спросил лобастый Кононов, обводя круглыми глазами товарищей.

— То не Шпигелева, але подпоручика Шпигеля, — поправил Рудик.

— Велят не пить сырой воды, — осуждающе вымолвил Задонов, допив воду из баклажки. — Где ж брать переваренную?

— Пущай Шпигеля, — согласился Кононов. — Деньги стащил, а оно и обнаружилось.

— Ни, ниц не тащив Шпигель, так не было, — сказал Рудик. — То у офицеров — гонор. Я пытав нашего капеллана...

— Вот кабы винца, — возмечтал Задонов. — Винца и задрыхнуть. Придем к немцу, непременно винца найду.

С дороги послышался шум автомобиля, все трое насторожились.

— Тржеба сховатысь, — сказал Рудик и встал. — То пан командир.

— Не, командир вперед уехал, — уверенно вымолвил Задонов. — Садись!

Шум приближался. Идущие по дороге солдаты прижимались к обочинам и оглядывались.

Темно-синий, сияющий блестящими накладками автомобиль остановился напротив молодой сосны. Открылась дверца, выпрыгнул офицер, стукнув шашкой но ступеньке, и крикнул: — Эй, вы!

Кононов и Задонов втянули головы в плечи и стали прятать за спину жестянки.

— Эй, вы, под сосной! — Офицер быстро подошел к ним. — Кто такие?

Нижние чины поняли, что попались, но браво вытянулись, показывая строевую выучку.

— Рядовые третьей роты, сопровождаем кухни, — отрапортовал Кононов.

— Это что? — спросил у него офицер.

— Это? — переспросил Кононов, глядя на жирную жестянку.

— Ранцевый запас сожрали? — сказал офицер. — Следуйте за мной, оглоеды несчастные.

Из автомобиля сквозь распахнутую дверцу лысый строгий барин с генеральской фуражкой на коленях, начальник дивизии Сирелиус, спокойно-казнящим голосом спросил у офицера, что за люди?

— Грустная картина, — выслушав ответ, сказал он. — Громадное количество отсталых. Полное безобразие... Людей этих строго наказать, не останавливаться перед крайними мерами.

Через минуту автомобиля уже не было, только белая пыль облаком ползла над дорогой.

— Попили винца, — буркнул Задонов. — Что ж ты, окаянный, нас на консерву подбивал?

— То генерал, — сказал Рудик. — То як ойчец.

Когда они дошли до ротного бивака, командир роты, штабс-капитан Бородаевский был сильно разгневан. Унтер-офицер Комаровский подвел к нему всех трех и встал у дверей.

— Почему отстали? Почему сожрали запас? — спросил Бородаевский, сидя на лавке у окна.

Под потолком хаты жужжали мухи. От глиняного пола веяло прохладой, пахло крестьянским жильем. Нижние чины молчали, покорно ожидая суда. — Два часа с полной выкладкой, — сказал Бородаевский. Это означало — в шинели, с винтовкой, с шанцевым инструментом, патронами и полным мешком стоять навытяжку не шелохнувшись.

— Ваше благородие, а нельзя ли нас поучить? — жалобно попросил Задонов. — Так оно было бы доходчивей.

— По морде, что ли? — спросил Бородаевский. — Хочешь, чтобы я, твой командир, с которым ты через день-другой примешь бой, бил тебя?



— Поучил, ваше благородие, — повторил рядовой. — Полной выкладкой я за два часа силы потрачу. Не по-хозяйски будет. А поучить — и убытка нет, и доходчивей.

— Убирайтесь вон! — сказал Бородаевский. — Комаровский, исполняй.

Троица с унтер-офицером вышла во двор. Вечерело. Денщик штабс-капитана болтал с полькой-хозяйкой, она сидела на низенькой скамейке и ощипывала курицу, проворно работая пальцами с налипшим белым пухом. За загородкой хрюкали — рычали свиньи.

Возле колодца-журавля умывался голый по пояс, обмотанный по животу полотенцем подпоручик Муравьев. С соседнего двора несло дымом солдатской кухни, там стояло отделение и доносились вольные веселые голоса солдат.

— Не уважает нас командир, — с тоской произнес Задонов. — Что ему? Жалко съездить мне в ухо? Разве я рассыплюсь?

— А я не позволю себя бить, — вдруг сказал Рудик. Задонов остановился и сильно толкнул его в плечо.

— Ты, чума, подбивал нас и еще выкобениваешься! — возмутился он. — Али барин какой?

Наказание командира роты посчитал обидным и Кононов. А Рудик был доволен по причине своей католической отдаленности от понятных русским солдатам законов большой семьи.

Войска шли, останавливались, снова шли.

Утром горнисты протрубили зорю, и полк встрепенулся, из всех хат и стодол на белый свет высыпали мужики. Почесываясь, зевая, они быстро принимали солдатский облик, но под ним у многих, бывших еще недавно запасными, явно проглядывал мирный крестьянин.

Люди выстраивались у кухонь, получали в крышку котелка порцию гречневой размазни с салом и со здоровым, веселым аппетитом завтракали. Потом, расколов во дворе полено или оторвав слабо прибитую доску, разжигали костры и варили в котелках чай.

Они знали, куда идут: в полках взяли у них адреса для завещаний и полковые священники в серых рясах отслужили молебны. Но несмотря на безостановочное

утомительное движение, приближающее людей к гибели, они были бодры и далеки от уныния. Наоборот, явно ощущалось что-то огородившее их от мысли о смерти и дающее веру в необходимость творящегося дела.

Германские аэропланы с черными крестами на загнутых назад крыльях, облетавшие на рассвете места ночлегов и днем, — походные колонны, никого особенно не настораживали. Завидев аэроплан, батальонная колонна останавливалась, и начиналась беспорядочная пальба, пока он не превращался в черную точку. После этого колонна выравнивалась, двигалась дальше.

Было приказано разъяснить нижним чинам различие между нашими и германскими аппаратами, чтобы не обстреляли своих же: на поверхности крыльев наших аэропланов помещались отличительные знаки — трехцветные круги национальных цветов.

Пятнадцатый армейский корпус шел походным маршем без дневок, спеша выйти к границе восьмого августа.

Германия была все ближе. Но не выдерживая походного движения, отстали обозы, куда-то запропастились хлебопекарни и фуражиры, и забеспокоились, затеребили вышестоящих начальников войсковые командиры. Что за безобразие? Чем кормить солдат?

Начальники дивизий Торклус и Фитингов доложили командиру корпуса генералу от инфантерии Мартосу, что обозы сильно отстали. Мартос рассвирепел, вызвал корпусного интенданта. Но судьба берегла интенданта, его не нашли, и весь норов Мартоса ударил в начальника штаба Мачуговского.

— Где продовольственные транспорты, черт вас подери! — закричал Мартос, выкатив бешеные глаза. — Вы не начальник штаба, вы бестолковая баба! Как воевать с голодными частями? Завтра они станут мародерами. Их надо будет расстреливать! А вы что, останетесь в стороне? Позор! Позор!

И напрасно начальник штаба, бедный Мачуговский, пытался объяснить, что транспорты отстают по причине...

Нет, никаких причин не желал знать Мартос. Он уничтожил Мачуговского, тот подавился своими объяснениями и умолк, позеленевший от унижения. Да что он мог сказать? Разве Мартосу не ведомо, что недостает более трети повозок, что вместо парных были получены одноконные?



— Еду к обозам, — решил Мартос. — Я там наведу порядок.

Выехал на автомобиле в сопровождении казаков, уверенный, что до начала боевых действий самое важное — сохранить в корпусе дисциплину и стройность.

Августовское солнце поднималось навстречу автомобилю, тени от деревьев быстро укорачивались, рессоры поскрипывали. Мартос торопил шофера, время от времени тыча жестким кулаком в шею. Проезжали придорожные кресты, украшенные расшитыми полотенцами и увядшими цветами.

Крестов было много — и каменные, и деревянные. Десятки полотенец, одни белые, новые, другие посеревшие, превратившиеся в тряпки, свисали с них, напоминая, должно быть, Господу о крестьянских молитвах.

За лесами открывались скошенные поля с мелкими копешками ржи; встречались крестьянские базы, полные таких копен, и в окна долетал сухой запах хлеба.

В одной деревне под колеса с лаем кинулась собачонка, но шофер объехал ее, втянув голову в плечи, боясь нового тычка.

— Не бойся, сынок, — сказал генерал. — Незачем собаку давить.

И через минуту настиг его ушей жалкий визг — казаки затоптали дворняжку.

— Чужое не жалко, — объяснил адъютант. — Простота и варварство. Дети степей.

— Печенеги! — буркнул Мартос.

Проехали деревню. Возле моста автомобиль остановился, генерал вышел, закурил, прошел мост пешком, и адъютант шагал следом, рядом с поломанными перилами.

Вода журчала у свай, на берегу гагакали уцелевшие после прохождения войск гуси.

Мартос перешел мост, за ним переехал автомобиль и конвой. Шофер открыл дверцу, но генерал продолжал курить, строго глядя на казаков.

— Подъесаул, обывателей обижаете? — спросил он сердито. — Делаю вам замечание!

— Кто обижает, ваше высокоблагородие? — с лукавым простодушием ответил рыжеватый крепконогий подъесаул, поглаживая ладонью холку разгоряченной

лошади. — Недосуг нам по сторонам глазеть, мы за вами летим...

— Печенеги и есть! — бросил Мартос. — Не сметь обижать.

Поехали дальше по нескончаемой песчаной дороге, тянущейся, как ей вздумается, — и наехали на новую деревню с такой же лающей собачонкой, с нижними хатами, крытыми серой соломой, выглядывающими из-за углов крестьянками.

Снова взвизгнула попавшая под копыта или под казачью плеть глупая собачонка. Но Мартос не шелохнулся: дважды повторять — только себя терять; переделать же казаков он не мог.

И вдруг наехали на зеленую армейскую повозку, стоявшую прямо на дороге. Обоз! Несколько нижних чинов стояли и глядели, как выпрягают лошадей.

Мартос выпрыгнул из автомобиля и, увязая в сыпучем песке, двинулся к повозке, обгоняемый слева и справа адъютантом и подполковником-интендантом. Однако раскормленному подполковнику нелегко состязаться с порывистым Мартосом, отстал подполковник, а генерал, как коршун на цыплят, налетел на ездовых. Зачем выпрягли? Там войска без хлеба! Где не проходят? Я вам покажу, как не проходят, сразу все пройдет!

Схватив кнут, Мартос огрел по руке подставившего руку ездового, который пытался что-то объяснять.

Ездовой почесал ушибленную руку и продолжал твердить свое. Выглядывая из-за морды лошади, второй солдат с любопытством, но без испуга разглядывал генерала. Двое других нижних чинов поворачивали головы и повернули их, задрав носы к небу.

Послышался какой-то треск, который мешал Мартосу слушать, и Мартос невольно посмотрел вверх. Там летел аэроплан, — непонятно чей. Здесь, на земле, застрял в песках обоз, а в небесах парила железная птица.

С аэроплана могли кинуть бомбу или обстрелять, но помочь обозу никак не могли.

В голове Мартоса промелькнуло воспоминание детских лет, времен Киевской военной гимназии, где он учился вместе с Самсоновым, — привиделись пещеры Печерского монастыря и калеки-солдаты с медалями за Крымскую войну, поющие возле пещер Бога ради.



Подскакали казаки, сорвали винтовки с плеч, чтобы палить по аэроплану.

— Не стрелять! — крикнул Мартос. — Только по моей команде.

Что на крыльях? Но не разобрать, что там на крыльях.

И еще мелькнуло у Мартоса, что вот сейчас он ударил ездового, а ведь ездовой догадлив: только двойной тягой идет повозка по этим пескам.

Теперь Мартос, выходит, виноват? Командир корпуса, у которого таких нижних чинов сорок тысяч, — перед одним рядовым?

— Вот, ребята, — сказал Мартос, нацелив на аэроплан кнутовище. — Там такие же, как мы, люди сидят. А вы — что? Завязли? Стыдно, ребята!

Трехцветные круги российского флага — белый, синий, красный — стали видны на крыльях.

Казаки замахали винтовками, закричали печенежскими голосами. Ездовой радостно улыбнулся и, скинув фуражку, тоже замахал. Без фуражки он сразу сделался похож на мужика, только стриженного.

— Ну, давайте, — поторопил подполковник. — Надо соответствовать, сами видите. Давайте-давайте!

И ездовые повели лошадей назад, оставив повозку, к другой ожидающей их за версту отсюда повозке, чтобы тащить ее вперед.

Войска шли, обязаны были идти, несмотря ни на что — ни на пески, ни на малые силы людей и животных.

К восьмому августа пятнадцатый корпус подошел к русско-германской границе, и именно в этот день, в два часа пополудни, должно было произойти солнечное затмение, о чем во всех полках было оповещено в соответствующих приказах для разъяснения нижним чинам.

Казачья разведка, урядник и два рядовых казака, скрытно вошла в приграничный лес и, ориентируясь по немецкой карте, двинулась опушкой.

Прусская сторона не отличалась от нашей, все такое же, как у нас, — малиновый, сильно отцветший снизу кипрей и густой ольшанник. Однако казаки шли настороженно, опасаясь хитростей, на которые горазды колбасники. Прошли около версты, кони были спокойны, никакой злокозни не чувствовалось.

Открылась большая поляна с отросшей отавой. Урядник поднял руку, остановились, прислушались.

— Коль сено косят, жилье близко, — сказал Топилин, невысокий налитый страшной силой молодой казак. — Айда!

— Цыть! — поднял плеть урядник, сухощавый, широкий в кости, с щербатым ртом.

Третий казак, Алейников, сутуловатый белобрысый парень с вислыми плечами, молча потянул за повод, уводя лошадь в глубину кустов.

— Ихняя пограничная стража тут косила, — пояснил урядник.

Обошли поляну, вышли на заросшую, едва приметную дорожную колею, и снова остановились.

— Топилин, айда, скачи, — велел урядник. — Никуда не ввязывайся. Разведай вперед на две версты.

Топилин вскочил в седло, дал шенкеля своими чугунными ножищами, и конь, шелестя ветками, выпрыгнул из кустарника на дорогу.

Он прошел рысью около двух верст, наехал на небольшой хутор с красной черепичной крышей и стал наблюдать. Людей не было видно. Донеслось куриное квохтанье, потом из-за каменного сарая высунулся до половины большой теленок. Из ворот вышла с велосипедом какая-то баба, покатила в сторону от хутора.

Топилин обождал еще полчаса и убедился, что там еще есть люди. Он снял винтовку, перевел затвор, положил ее поперек седла и поехал, не боясь, к хутору.

Там была одна дряхлая старуха — полька. Расспросив ее, Топилин оглядел дом, на чердаке нашел висевший на распялке германский мундир, забрал его. Потом заглянул в резной дубовый буфет, взял бутыль самогонки. В кладовой снял с крюков два круга колбасы и окорок, увязал все в тюк. Старуха твердила одно и то же:

— То шахрайство! — И еще: — Пшекленты казак!

— Не журись, старая, я не все забрал, — успокоил ее Топилин и тут заметил на ее руке кольцо. — Давай сюда! — сказал он, схватив старуху за руку. — Не скупись.

Она вырывалась, дернулась раза два-три, но он держал ее, как курицу, и скручивал с пальца кольцо.

Старуха от боли закричала, стала валиться на пол. Топилин упал рядом с ней, ушибив колено о заплетшуюся



между ног шашку, и в сей миг старуха укусила его. — То не злато! — крикнула старуха. — Злата нима!

Топилин встал, вынул шашку и опустился на колени, ловя левой рукой старухин палец.

Она взвизгнула, стала сама срывать, издавая горлом плачущие звуки. Топилин отвел шашку, ждал.

Ободрав с пальца кожу, старуха сорвала-таки кольцо и разрыдалась.

Топилин зажал его в кулак, сунул шашку в ножны и, надев кольцо на первую фалангу мизинца (дальше оно не налезло), вышел с тюком во двор.

Августовское солнце уже разогрело землю. Он с удовольствием вдохнул теплые запахи хлева, приторочил к седлу тюк. Можно было вертаться назад.

Топилин выехал на знакомую колею, хлестнул коня и полетел, веселый, к поляне.

Возле опушки, где он хоронился, разглядывая хутор, что-то громко хлопнуло, ударило его в плечо, и Топилин куда-то провалился.

Из-за куста вышла рослая баба в платке с револьвером. Из-под длинной юбки выглядывали солдатские ботинки. Она подбежала к лежавшему казаку, перевернула его на спину, обшарила карманы, сняла винтовку.

Топилин застонал и открыл глаза.

— Rusisch Schwein, — мужским голосом произнесла баба и стала вытаскивать из ножен топилинскую шашку. Казак поднял здоровую левую руку, приподнялся и почти было схватил бабу за горло, но она ускользнула. Он успел схватить ее за кисть руки, вынимавшей шашку. И вдруг в его кулаке остался только обжигающий, режущий пальцы клинок. Он понял, что сейчас будет конец. Он вскочил на колени и поднимался на ноги, когда что-то острое вонзилось в горло, с хрустом сломав хрящи. Топилин схватился за горло, захрипел, и все кончилось, не стало молодого казака.

Убивший Топилина переодетый германский солдат несколько мгновений глядел на то, как, агонизируя, дергается тело и как, брызжа кровью, из рассеченного горла с сипением рвется воздух, потом бросил шашку, взял винтовку и пошел в лес. Там возле корней старой сосны он открыл спрятанный телефонный аппарат, позвонил и сказал, что русские переходят границу. После этого германец снял аппарат и уехал на велосипеде.

А урядник с Алейниковым дожидались Топилина, вполголоса беседовали о том, что на Дону уже пшеницу кончают убирать, и о том, что немецкие молотилки, которые делают в Ростове, хорошие штуки, да только можно и без них обойтись, все равно урожай весь не продашь. Они глядели на дорогу, урядник говорил, что после войны германцы будут, наконец, покупать у нас хлеб по настоящей цене и тогда надо будет заводить молотилки.

Урядник был семейный человек, понимал в жизни, а в молодости он любил погулять, с чего и лишился верхнего зуба.

— Надо было тебя послать, — сказал он, скучая. — Топилина за смертью посылать. Что там? Позырил и айда обратно! Чего расчухиваться?

Прождав часа два, казаки, догадываясь, что с Топилиным стряслось неладное, выехали вслед за ним.

Сперва они встретили его коня с притороченным у седла тиком, потом нашли и самого Топилина. На нем уже сидели мухи, и вокруг ран с почернелой кровью копошились муравьи.

— Эх, казуня, — горестно вымолвил урядник. — Зарезали тебя, как барана. Что ж неудалый такой?

Потом вдруг стало темнеть, потянуло ветром, зашумели деревья, затрещали ветками и затрепетали листья. Солнце закрывалось тенью и гасло.

Лошади сбились в кучу, прижимая уши и вскидывая головы.

— Вот оно! — оказал урядник и перекрестился.

— Затмение, — с деланной бодростью ответил Алейников. — Зараз пройдет.

Тьма сгустилась до грозовой свинцовой синевы. Ветер стих, все замерло, как будто приготовилось к страшной буре.

— Крестись, казуня, — сказал урядник Алейникову. — Кажись, не к добру все это.

— Спаси, Господи, люди твоя... — нараспев произнес Алейников. — Спаси, Господи!

Первобытный ужас перед грозным и неведомым рвался из его горла. Это было солнечное затмение. Знак дурной.

Кто вел войска? Войска вели начальники, и каждому начальнику, чем больше он был, казалось, что он видит глубже и вышестоящие должны глядеть на вещи



его глазами. Но у вышестоящих было свое видение, и если командир роты видел и должен был думать о каждом нижнем чине, то начальник дивизии или командир корпуса не ведали забот об отдельных людях, но должны были взвешивать цены сотен и тысяч жизней на своих тяжеловесных весах. Однако задачи дивизий и корпусов, пускай достижение их и должно было оплачиваться кровью, были понятны всем офицерам, всем нижним чинам. Как ни страшна была жертва, она привычно принималась.

Над всеми начальниками было Отечество, был Бог. И пред ними все были равны.

Ранним утром пятого августа штаб второй армии перебазировался в Остроленку, ближе к войскам, средства связи, аппарат Юза и искровая станция были перевезены накануне, телефоны установлены.

И с первых минут после прибытия в Остроленку Самсонова настиг выговор Жилинского. Командующий фронтом сделал вид, что ничего не знает о перемене направления движения армии на более западное, и обвинял Александра Васильевича в таких выражениях: «Вы растянули ваш левый фланг до Жабоклик, благодаря чему фронт трех корпусов 2-й армии растянут при подходе к границе на 60 верст, что считаю чрезмерным».

В телеграмме еще напоминалось, что первый корпус является резервом Верховного главнокомандующего, и рекомендовалось выдвигать в первую линию не его, а вторую пехотную дивизию, ту самую дивизию, которая нынче, как знал Самсонов, влачилась по пескам без обоза, и снаряды везли на обывательских подводах, завернутыми в жгуты соломы.

Самсонов прочитал телеграмму и вопросительно поглядел на Постовского.

Начальник штаба мялся, покусывая губу. Самсонов посмотрел на Крымова. Полковник, не задумываясь, отрубил:

— Нам надо брать еще западнее!

Самсонов не знал, что случилось у Якова Григорьевича, и телеграмма не давала никаких косвенных объяснений, но он ясно видел, и видели Постовский с Крымовым, что произошли какие-то перемены. Какие же?

Однако власть Самсонова на штаб главнокомандующего фронта не распространялась, тут он был бессилен.

Военные действия еще не начинались, еще шло сосредоточение и развертывание войск, то есть шахматные фигуры предстоящей войны только расставлялись. И от того, как они станут, куда будут повернуты, зависела цена побед.

Александр Васильевич сказал, что пока не надо ничего изменять, и распорядился собрать оперативное совещание.

— Через час, — сказал Постовский. — А лучше через полтора. Людям надо устроиться.

Самсонов не согласился. Он не хотел отпускать ни на минуту управление армией, а тем более после загадки Якова Григорьевича.

— Хотя бы чаю выпейте, Александр Васильевич! — упрекнул Постовский с зажегшимися в глазах нервными бесенятами.

— Вы можете выпить чаю, Петр Иванович, — ответил Самсонов. — Если хотите чего-то поплотней, — на здоровье.

— Я о людях пекусь, — проинформировал Постовский. — Что за час может случиться?

Самсонов тяжело посмотрел на него, испытывая неудовольствие от прозрачного намека на то, что он, командующий, понапрасну дергает подчиненных.

— Может, вправду позавтракать, Александр Васильевич? — предложил Крымов. — Естество требует... Я купил в Варшаве английского чая...

И, хотя Крымов предлагал то же, что и Постовский, в его словах Самсонов услышал не упрек, а ободрение.

— Ну коль английский чай... — согласился командующий. — Что ж.

Он повернулся к окну, теперь можно было взглянуть на Остроленку, которую он помнил молодым.

Внизу по площади тянулась тень от костела, а за костелом в ясном утреннем небе поднималось утреннее солнце. Лучи вырывались из-за костела и доходили до окна, ложились на белый подоконник, на правую руку Александра Васильевича. Возле лавки с красно-белой вывеской женщина мыла щеткой и мылом тротуар, пенистая вода стекала на брусчатку. Тогда тоже мыли. И ничего как будто с той поры не изменилось: тот же костел, каменные дома, деревья. Только Самсонов постарел, стал понимать о себе, что не он вечен, а вечна империя, вечна вера.



— Прекрасное утро, — сказал он. — Август... Почему-то мне везло в августе — и с турками, и с японцами.

— В августе — Куликовская битва и Бородино, — вспомнил Крымов.

— А Крымская кампания? — спросил Постовский. — Как она вписывается в вашу хронологию?

— Хм, — произнес Крымов. — Не люблю. У вас отрицательный склад мысли, Петр Иванович.

— Не привык обольщаться легендами, — ответил Постовский. — В наших легендах все чересчур возвышенно. А я должен помнить о дурных дорогах да отсталых обозах. В Крымскую-то кампанию материалисты англичане с французами поучили нас, идеалистов...

— Пойду Купчику скажу, чтоб самовар ставил, — объявил Крымов, больше не поддерживая разговора об августовских победах.

Вскоре пили чай в кабинете Постовского. Место выбрал вестовой Самсонова, донской казак Купчик — трубач 11-й конной артиллерийской батареи, решивший, наверное, сделать приятное Петру Ивановичу. Он расстарался, и на расшитой, как рушник, скатерти были свежие булочки, масло, сливки, ветчина.

— Та чего там, — ответил Купчик на расспросы Постовского. — Пошел та прикупил. Грошей они дали.

Постовский недоверчиво покачал головой, словно посчитал, будто ловкий казак не хочет говорить правду.

— Аль не верите? — изумился Купчик. — Може, думаете, на шармачка взял?

Постовский отвернулся, почувствовав несоответствие с ним, и сказал Самсонову:

— Мы вот роскошествуем... — Он не договорил, но было понятно, что недосказанная часть фразы касалась полуголодных войск.

Смутный человек был Петр Иванович! Недаром прозвали его «бешеным муллой», что-то в нем было неверное.

— Наливай, — распорядился Самсонов. — Приятного аппетита, господа.

Он наблюдал за тем, кто как ест, и, доверяясь чутью, оценивал этих малознакомых людей, которые являлись его ближайшими помощниками и от которых

он во многом зависел. Постовский ел с гримасой озабоченности. Филимонов — решительно и с удовольствием. Начальник оперативного отделения, полковник Вялов — с мужественным достоинством. Начальник разведывательного — полковник Лебедев — весело и легко. Его сотрудник, штабс-капитан Дюсиметьер, — с грациозной небрежностью.

Самсонов вспомнил иную трапезу, гусарскую, в Болгарии, после жаркой стычки.

— Прямо в поле вырыли две канавы, одна от другой на расстоянии вытянутой руки, ноги свесили — и как за столом сидишь. Вино было и хлеб. Веселей того угощения не помню. А только что дрались, и потери были. Но ничего. Все знали, приносим жертву во имя славянства. И солдаты знали. Сильнее мысли, чем национальная, нету. Особенно на войне,

Александр Васильевич поведал о своих чувствах восемнадцатилетнего корнета и не стал проверять их современной политикой, хотя, конечно, сейчас знал, что, как и тогда, идея славянства опиралась на жажду отыграться за Крымскую войну, так и нынче державе нужно доделать начатое предками — выйти к Проливам, утвердиться в византийском наследстве. Правда, жертва легко совершалась только во имя единоверцев — болгар, но не во имя Проливов.

После завтрака началось оперативное совещание, а штабс-капитан Дюсиметьер отправился в авиаотряд тринадцатого корпуса, стоявшего в окрестностях Остроленки.

Уже было известно, что первая армия вчера перешла границу, с боями продвинулась до линии Вилупен, Дегезен, Бильдевейген, Мельмекен, Дубенинкен, Ковален (указка полковника Вялова скользит над подкрашенной картой за чуть синеющими Мазурскими озерами), захвачены у Бальдервейгена пленные, два пулемета, семь орудий, двенадцать зарядных ящиков (на лице Постовского кислое выражение); сегодня армия продолжает наступать.

— Наше развертывание, — продолжает Вялов.

Ясно, что вторая армия не успевает к назначенному сроку.

— Что в районе Млавы? — спросил Самсонов, и в этом простом вопросе всем открылась его тревога.

— По донесениям нашей конницы, до дивизии пехоты, — ответил Вялов. — Вчера мы телеграфировали



Артамонову, чтобы он двигался на Млаву и чтобы со второго перехода он шел на одной высоте с пятнадцатым.

Указка полковника прочертила от крепости Новогеоргиевск через Насельск, Цеханов до Млавы путь первого корпуса под командованием генерала от инфантерии Артамонова.

— Наши соображения основываются на особой важности для армии нашего левого фланга, — вымолвил Постовский.

Самсонов кивнул. Об этом он докладывал Жилинскому.

— В основе наших соображений — веские правильные доводы, — продолжал начальник штаба нервной скороговоркой. — Сейчас немцы отступают перед первой армией, мы можем перехватить пути их отхода только западнее... вот здесь — Млава, Сольдау, Остероде... Иначе они успевают проскочить прежде нашего удара, и мы ударим по воздуху.

Об этом тоже было ведомо самсоновскому окружению, но все слушали Петра Ивановича с большим вниманием, ибо он повторным описанием стратегической обстановки как бы сплачивал всех перед опасностью, которая таилась в телеграмме Жилинского. Самсонов спросил:

— Насколько отдаляется срок нашего соединения с первой армией?

Постовский не смог ответить, повернулся к Филимонову. Генерал-квартирмейстер нахмурился, выпятил подбородок, тоже молчал.

— А надо ли соединяться? — спросил командующий. — Может быть, наступать прямо с юга. Перерезать коммуникации по кратчайшему пути. Что вы на это скажете?

Постовский и Филимонов не торопились отвечать. Было ясно видно, что предложение Самсонова на сей раз полностью противоречит директиве Жилинского, от которой и так отклонились.

— В таком случае нам нечего опасаться за свой левый фланг, — заметил Вялов. — Кроме того, в директиве фронта срок соединения армий не указан, — думаю, потому, что назвать его затруднительно. Соединение вообще может ни к чему не привести. Как сказал Петр Иванович, можно ударить по воздуху.

— Значит? — спросил Самсонов, усмехнувшись.

Он хотел, чтобы штаб до конца почувствовал освобождение.

— Александр Васильевич, уже поздно поворачивать фронт, — оборвал его мечтания Постовский. — Войска выходят к границе. Их не повернешь без потери времени, правофланговые корпуса неизбежно отстанут.

Он взял с края карты циркуль и промерил оба расстояния. Начальник штаба не мог освободиться от власти директивы вышестоящего начальника.

А кто мог? Александр Васильевич?

Самсонов не обольщался — невозможно было освободиться от высшей власти, от директивы Якова Григорьевича, несмотря на то, что был иной путь.

— Да и правый наш фланг в таком случае — открыт, — заметил Самсонов, окончательно отступая.

Что это в нем вырывалось? Что за борьба с Жилинским? Солдат должен подчиняться и верить. Что будет, если каждый начнет сомневаться в приказах?

И Самсонов, дойдя до наилучшего стратегического решения, отступил.

Вялов продолжал доклад, поднимая указку все выше, куда в зелень лесов и синеву озер нацелились корпуса. Впрочем, у полковника не имелось полных данных.

Самсонов приблизился к окну и снова поглядел на костел и площадь. Краем площади ехала длинная польская телега, шел сутулый еврей в ермолке, стоял у витрины офицер, еврей обходил офицера, как стену.

«Якову Григорьевичу надо личное письмо послать», — подумал Самсонов, возвращаясь к прежним мыслям.

Через три с лишком часа вернулся штабс-капитан Дюсиметьер с отличной разведкой — немцы очистили Млаву, двумя длинными колоннами идут на север; в районе Нейденбурга и Сольдау — биваки дивизий.

Млаву следовало незамедлительно занять. Полковник Лебедев, гордый добытыми сведениями, улыбался, а Дюсиметьер разглядывал распоротый рукав кожаной шведской куртки, в которой он летал.

— А вы наши части видели? — спросил Самсонов.

— Наши меня обстреляли, — усмехнулся Дюсиметьер с удовольствием от недавно пережитой опасности.



— Должно быть, первый корпус, — предположил Самсонов и решил занять этим корпусом Млаву.

А что штаб фронта? Верно, Жилинский не хочет выдвигать первый корпус, так как корпус является резервом верховного командования и придан армии только для поддержки. Вот пусть и поддерживает из Млавы! Снова вступал в спор Александр Васильевич. Но разве штаб фронта — это австрийский гофкригсрат, мешавший Суворову. Тайна войны — в сообщениях, а не в послушании.

Самсонов продиктовал телеграмму адъютанту Бабкову:

«Гродно.

Главнокомандующему фронтом.

Вследствие очищения Млавы противником и выяснившегося сосредоточения его значительных сил в районе Нейденбург, Сольдау задерживаю («вот и обеспечу фланг», — мелькнуло у Александра Васильевича) первый корпус, чтобы он стал уступом по отношению других корпусов...

— Надо сразу сказать и о второй дивизии, — подсказал Крымов, опережая Постовского и даже оттесняя его своей сильной фигурой. — Просите разрешить задержать корпуса для устройства тыла.

— С кем мы воюем? — опросил Постовский. — Со своим штабом или с германцем? Не надо раздражать Якова Григорьевича. Он не простит.

— Бог простит, — улыбнулся Самсонов. — Записывайте: ...Вторую дивизию, подтягивающуюся артиллерию и обозы выдвину в первую линию только при разрешении задержать на сутки перволинейные корпуса; между тем вами приказано перейти границу 6 августа. Самсонов».

Постовский снял очки, прищурившись, поглядел на Крымова, как будто был Жилинским, а Крымов — Самсоновым.

— Петр Иванович, — распорядился Самсонов, — дайте Артамонову приказание.

— Да, Александр Васильевич, — нехотя ответил начальник штаба. — Но я вас предупреждал. Я с Яковом Григорьевичем служил, он не простит.

— Хорошо, хорошо, Петр Иванович, — вымолвил командующий. — Нам бы с германцем управиться. И, кстати, пора как-то остановить этот варварский обстрел нашими наших же авиаторов.

Вечером к Александру Васильевичу приехал командир тринадцатого корпуса, генерал-лейтенант Клюев, ровесник Самсонова и однокашник по Академии Генерального штаба. Клюев был умный, образованный генерал скорее европейского, нежели российского толка, был достоин командовать армией, но ему мешала, пожалуй, его явная европейскость, там, где следовало слепо верить, он желал доказательств. Однако Николая Алексеевича уважали за знания и твердость, с какой он не таясь жил согласно своим взглядам. До войны он был начальником штаба Варшавского округа, сменив там Самсонова, когда тот стал наказным атаманом войска Донского; а Постовский был у Клюева тогда генерал-квартирмейстером.

Александр Васильевич принимал Клюева без подчиненных. Один только расторопный Купчик в начале беседы присутствовал, незамечаемый, впрочем, генералами, и готовил самовар.

— Что делать, Александр Васильевич? — сразу спросил Клюев, почти минуя старосветские речи о житье-бытье. — Покойник Шлиффен все предвидел. Мы безостановочно идем прямо к катастрофе.

— Почему к катастрофе? — Самсонов стал объяснять, что поворот фронта к более западному направлению, чем первоначально предлагалось, уже есть большое достижение.

Но Клюев не хотел внимать доводам командующего, он знал Восточно-Прусский театр и военную игру германского Большого штаба.

— На что мы надеемся? На великую русскую терпеливость? Что солдатик все вынесет?

— Николай Алексеевич! — произнес Самсонов, поглядев на вестового, чтобы Клюев сообразил.

— Ну да, — сказал Клюев. — Я тоже, как все: не замечаю. Я шел с корпусом. Войска своих обозов не видят, дневок не делают, невтянутые в поход запасные разбалтываются.

— Я попросил у Якова Григорьевича дневку.

— Это хорошо! Но даст ли? «Живой труп» не любит уступать. — Назвав так Жилинского, Клюев показал предельную степень противостояния командующему фронтом.

— Николай Алексеевич! — снова упрекнул Самсонов. — С таким отношением к начальству нам побед не видать.



Он сдерживал корпусного командира от того, что тот повторял его собственные опасения. И должен был сдерживать! Иначе сверху донизу утвердится в армии своемыслие и скептицизм.

— Скажите, Александр Васильевич, давно спросить хочу, была ли та пощечина Ренненкампфу? — напомнил Клюев легенду маньчжурской поры. — Это правда или выдумка журналистов «Нового времени»?

— Выдумка, — ответил Самсонов. — Эти господа хотели представить нашу армию скопищем неврастеников. Вы сами знаете, что это выдумка... Давайте попьем чайку...

Они стали пить чай и недолго разговаривали об учебе в академии, о Драгомирове и Леере — начальниках ее в ту пору. Недолго — потому что Клюев снова дал волю раздражению, начал предсказывать перемены в русском солдате под влиянием европейского прогресса.

— Скорострельная винтовка превращает солдата в личность, — сказал Клюев. — А мы, как феодальные рыцари, верим в кроткого, богобоязненного и всегда готового выполнить наш приказ нижнего чина.

Самсонову показались несвоевременными эти умозаключения, тем более они исходили от командира корпуса, в составе которого были славные полки — Софийский, Невский, Каширский, — их помнил Александр Васильевич еще по войне с Турцией, где они показали себя беззаветно храбрыми.

— Я тоже в известном смысле феодальный рыцарь, — сказал Самсонов. — И вы, пожалуй. Внешне наш идеал — не подвижные под огнем и неостановимые под огнем колонны, а внутренне — это нарисованный вами тип солдата. Тоже в конце концов неподвижный... Нас уже не переделаешь.

— Значит, вы понимаете, что наши отставшие обозы, наша поспешность...

— Не продолжайте, Николай Алексеевич. Будем исполнять наш долг и сделаем все, что от нас зависит.

— Вы не хотите смотреть правде в глаза, Александр Васильевич. Мне остается изложить мои соображения в письменной форме.

Самсонов промолчал. Клюев собирался делать то же, что и он сам, обращаться к вышестоящему начальнику. Что на это ответишь? Пусть обращается, если от этого станет легче.

— Помните, Николай Алексеевич, академический пример? — спросил Самсонов. — Как на Бородине неподвижная колонна пехоты остановила драгун Мюрата. Они скачут, а наши стоят с ружьями у ноги и не шевелятся... Может, пример не из новейших, но мы пока мало изобрели нового.

— Понятно, — сказал Клюев. — Я могу привести иной пример. Как мы воевали с пруссаками. Под Цорндорфом, если угодно. Стоять под огнем артиллерии только потому, что генералы не учли возможность маневра Фридриха? И ценой крови безропотного и безгласного солдата сманеврировать под огнем и напугать Фридриха? Это просто какая-то Персия времен царя Дария! Единственного нашего полководца Суворова, который-то побеждал потому, что тщательнейшим образом готовился к сражениям, мы низвели до шута горохового. Прибаутки — вот что оставили.

— Наболело у вас, — сказал Самсонов. — Ваши опасения мне понятны... Левый фланг укрепляем, туда выдвигаем первый корпус...

И подумал о Суворове. Надо же, какое совпадение! Клюев говорит ему то же, что он сам высказал Якову Григорьевичу. А Яков Григорьевич, что же он? Тоже все понимает и мало что может изменить. Или окаменел в героической неподвижности? Нет у Самсонова ответа.

6 августа 1914 г. Остроленка. Генералу Самсонову.

6171. Задержка в наступлении 2-й армии ставит в тяжелое положение 1-ю армию, которая уже два дня ведет бой у Сталупенен. Поэтому ускорьте наступление 2-й армии и возможно энергично развейте ее операции, выдвинув, если для сего потребуется, и первый корпус. 1209. Жилинский.

6 августа 1914 г. Гродно. Главнокомандующему.

1209. Армия наступает со времени вашего приказания безостановочно, делая переходы свыше 20 верст по пескам, почему ускорить не могу. 7-го головы двух корпусов переходят границу. 6206. Самсонов.

Не давал Яков Григорьевич ни часа передышки. Надо было во что бы то ни стало наступать.

Вечное наше — «во что бы то ни стало» — толкало армию вперед.



## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Первая русская армия перешла границу раньше второй, как и следовало по директиве штаба фронта.

Восточная Пруссия, родина германских императоров, колыбель прусской монархии и символ несгибаемости Германии, оказалась под угрозой. Призрак русского «парового катка» навис над Кенигсбергом, маленькими уютными городами, поместьями и хуторами. Русские казаки уже пролетели по приграничным городам и разбросали «Объявление всем жителям Восточной Пруссии». В нем говорились ужасные вещи!

«Всякое сопротивление, оказываемое императорским войскам Российской армии мирными жителями, будет беспощадно караться, невзирая на пол и возраст населения.

Селения, где будет проявлено хоть малейшее нападение или оказано мирными жителями сопротивление войскам или их распоряжениям, немедленно сжигаются до основания...»

И ужас пронесся над Восточной Пруссией, достиг Берлина, встревожил ставку в Кобленце. Чувство патриотизма взывало к Большому генеральному штабу, противоречило его планам — великая нация не желала отдавать свою святыню, что бы там ни думали генералы.

По военным соображениям защита Восточной Пруссии была второстепенным делом и не могла идти ни в какое сравнение с западным театром, где развивалось молниеносное наступление на Париж. Вот кто должен был горевать — французы! Они были в безнадежном положении, ни Англия, ни Россия не успевали им помочь, и в отведенные по плану сорок дней Франция должна быть разгромлена.

Так стоило ли ради этой грандиозной задачи перебрасывать войска с западного театра в Восточную Пруссию?

«Безусловно стоит» — требовали немецкие газеты, руководимые патриотическими чувствами. — Не отдадим врагу наших земель!» — «Ни за что! — считали генштабисты. — Мы совершим роковую ошибку».

Замечено, впрочем, что именно военные чаще всего драматизируют обстановку. На самом же деле, что следует даже из академических правил, действия каж-

дого военачальника происходят в воображаемой им обстановке и в неведении относительно реальных сил противника.

Итак, первая русская армия под командованием Ренненкампфа наступала, а восьмая германская под командованием Притвица отступала.

После авангардных боев под Гумбиненом и Сталупененом, закончившихся победой русских, воодушевление охватило штаб Северо-Западного фронта. Разгром 17-го германского корпуса, попавшего под прямую наводку русской артиллерии, захваченные пленные, пушки, пулеметы, зарядные ящики — это затуманило головы. Восточная Пруссия уже виделась завоеванной.

Но при внимательном изучении обстановки Жилинский и Орановский забеспокоились: наш 3-й корпус понес тяжелые потери, 28-я пехотная дивизия была выведена из строя на ближайшие дни, но это было бы еще терпимо, если бы не очевиднейший стратегический просчет — разновременное введение в дело первой и второй армий давало Притвицу возможность разбить армии поодиночке. К тому же штабу стало известно, что возникает угроза Варшаве — у Петрокова обнаружена германская кавалерийская дивизия с пехотой, а со стороны Серадзя — пехотная дивизия. И все это — малочисленность первой армии, отставание второй, опасность на левом берегу Вислы — вынудило Жилинского изъять из армии Самсонова гвардейский корпус, поставив его перед Варшавой, и заставить вторую армию наступать, несмотря ни на что, а спустя двое суток передать первой армии еще один корпус из состава второй.

Перед Яковом Григорьевичем Жилинским, закаменевшим в исполнении приказов «Живым трупом», простиралась огромная часть Российской империи, по сравнению с которой Восточная Пруссия была как флигель в помещичьем доме. А над Жилинским, над его фронтом властвовал верховный командующий великий князь Николай Николаевич, и для верховного вторая армия не всегда была и видна.

Выше Ставки никого не было. Дальше — государь и Господь, но это уже иные величины.

Выше могли быть не интересы России и ее вожди, а интересы и требования войны. И значит — надо было думать о судьбе Франции. Уже 23 июля Па-



леолог воззвал к Николаю II: «Я умоляю, Ваше Величество, приказать вашим войскам немедленное наступление. Иначе французская армия рискует быть раздавлена».

Пятого августа Бенкендорф сообщал Сазонову: общественное мнение Англии с нетерпением ожидает вступления русских войск в Германию; Китченер хотя и разделяет это мнение, но считает необходимым, чтобы русское наступление осуществлялось массами, подавляющими своей численностью, и поэтому предпочитает запоздание поспешности.

Седьмого августа Игнатьев телеграфировал из Парижа: «Французский военный министр совершенно серьезно полагает возможность для нас вторжения в Германию и движения на Берлин со стороны Варшавы».

И ни слова об отставших хлебопекарнях, артиллерийских парках, корпусных обозах, армейских транспортах. Этого из Парижа, Лондона, Петрограда невозможно увидеть. Этого как будто и нет. Есть только «массы, подавляющие своей численностью», есть невидимая жертва, есть кровавый опыт...

Итак, две русские армии вошли в Восточную Пруссию по лесным дорогам и шоссе, влача за собой обозы, как скифские повозки. Германцы в ночь с 7 на 8 августа вышли из боя и заспешили на запад, оторвавшись от осторожного, как бы на ощупь шарящего продвижения корпусов Ренненкампфа; Притвиц опасался еще одной русской армии, третьей по счету.

Ее не существовало. Не существовало и свежих резервов. Однако генералу в голову не приходило, что можно вести наступление в составе всего шести-семи пехотных дивизий при слабой артиллерии, чем в действительности располагал Ренненкампф. Притвиц верил в военную науку. Он разыгрывал за русских наступление и видел эту армию, эти резервы. Для подтверждения ему хватило данных воздушной разведки, сообщившей, что с юго-востока к Пилькалену тянется пехотная колонна русских. И воображаемая сила получила реальные очертания.

На самом деле немецкий летчик пролетел на «Таубе» над Малоярославским полком, догонявшим свою дивизию, был обстрелян и ничего, кроме этого полка, не встретил.

С этой минуты Притвиц ждал хитроумной комбинации русского командования. К тому же наступление второй армии воображалось им в направлении на Дейч-Эйлау, железнодорожные коммуникации перерезались, защита на рубеже рек Алле и Пассарги делалась невозможной, надо было оставлять Восточную Пруссию.

Пруссию, с ее ухоженными мелиорированными землями, образцовыми фольварками, прекрасными городами? Оставлять грубой силе безграмотных гуннов?

В Кобленце — тревога. Начальник Большого генерального штаба Мольтке, племянник великого фельдмаршала Мольтке, звонит Притвицу, звонит раз, другой, третий, уговаривает не спешить, напоминает военные игры, давшие такие блестящие результаты. И Вильгельм II, на которого в этот час глядит вся Германия, должен что-то ответить народу, ведь это катастрофа — отдать Восточную Пруссию.

Но что может Притвиц? Он военный, а не политик, и его задача — сберечь армию, не отдавать ее на бесцельный разгром во имя химер национальной гордыни.

Тем не менее с утра восьмого августа в печальной обстановке Притвицу сообщают: Наревская армия Самсонова наступает севернее Дейч-Эйлау в полосе Млава — Фридрихсгоф, и из этого следует, что если успеть сосредоточиться на левом фланге русских, то можно будет ударить им во фланг и тыл. Надо ждать. А вдруг вся русская армия действительно идет восточнее Млавы? Надо сосредоточиваться и ждать. Может быть, не все потеряно. Может быть, есть шанс. Неужели повторится разыгранная еще Шлиффеном ситуация?

У Притвица под рукой железные дороги и скорость. Неужели русские не идут на Дейч-Эйлау? Только Бог не дал Притвицу увидеть результата. Мольтке не простил ему нерешительности и сместил вместе с начальником штаба. И, чтобы надежно защитить восточно-прусскую землю, решил снять с западного фронта два корпуса и кавалерийскую дивизию для усиления 8-й армии.

Никто еще не ведал, какая стратегическая ошибка совершена ради сокрушения самсоновской армии.

Катастрофа германского наступления во Франции и гибель второй русской армии уже были предопределены.



Пятнадцатый корпус генерала Мартоса беспрепятственно вошел в Янов. Пехота дивилась сгоревшим и еще дымившим домам. Витрины магазинов были разбиты, белые осколки рассыпаны и блестели на солнце. Золотой шпиль лютеранской кирхи, увенчанный золотым петушком, весело сиял.

Солдаты крутили головами во все стороны, словно приценились к пограничному прусскому городу. Он был чистенький, несмотря на погром отступающими немцами, и легко можно было догадаться, как он выглядел вчера. Из некоторых окон трехэтажных домов свешивались белые простыни и полотенца, но жителей не было ни души, только какой-то старик в безрукавке и шляпе стоял на площади у ратуши и отвечал офицерам:

— Вшистко спалили, пшекленты!

Рядовые Полтавского пехотного полка Токарев и Байков шагали рядом, и оба радовались, предвкушая близкий отдых. Токарев при этом бранил немцев за то, что не пожалели город, а Байков их одобрял, правда, одобрял из корыстных соображений, ибо так ему было легче урвать вскоре что-нибудь и для себя.

Токарев, носатый, большой, важный солдат, имел, несмотря на молодость, жену, двух детей, свое хозяйство. Его уважали взводный и ротный, знал даже батальонный.

Байкова никто не знал, он держался подальше от начальства, а приказания исполнял неохотно, притворяясь тупым.

Сейчас он нес в мешке ополовиненный свинной бок, напоминавший о себе жирными мухами, которые приманивались теплым сырым запахом.

— Не оставляют нас в городе! — сказал Байков, когда миновали городские дома и без привычных российских пустырей и свалок потянулся вдоль шоссе луг и стали видны каменные крепкие, но все же сельские постройки. — Другим добро достанется!

— Да у тебя мешок занят, — ответил Токарев насмешливо, не давая ему даже в мыслях заниматься непотребным делом.

— Ладно, — сказал Байков. — Не последний город.

На ночевку остановились в польской деревне. Токареву и Байкову повезло, их определили на постой в хату, а многим выпало — просто под открытым небом, а ночи уже холодные.

В польской деревне еще было и поспокойнее. Про германские предупреждали — там воду травят, стреляют в спину, поодиночке безоружными не ходить.

Разместились кое-как, и всюду заскрипели журавли, затрещали поленья, задымили кухни.

Токарев в ожидании еды раздобыл колоду, налил в нее воды, стал мыться. Войны он не чувствовал и поэтому чуть удивлялся, спрашивая себя с тревогой: какая же она? От мучений, смерти никто не мог избавить, и он думал не о них, а о том, как сохранить опору среди надвинувшейся вольной злой стихии. Опору для души могло дать умиротворение перед черной бедой. Все в руках Господа, думал Токарев, от судьбы я не уйду, поэтому надо делать то, что хорошо для души, и мне будет опора.

И он выполнял свои обязанности — как перед командиром, так и перед собой: работал, молился, содержал себя в чистоте.

Вымывшись, Токарев стал стирать рубаху и портянки, стараясь подольше сберечь маленький кусочек серого мыла. Оно едко пахло, и этот запах напоминал Токареву, что он один среди тысяч совсем чужих ему людей, и перед ним вставали образы его жены и детей. Было жалко их, себя, несобранного урожая. Хотя он знал, что сельское общество поможет, хотелось убедиться, хорошо ли помогли.

Пока он стирал, у него перед глазами мелькал Байков, настраивавший посреди двора костерок. Потом потянуло дымом и мясным прижарком. Вокруг Байкова стали собираться солдаты, кто с пучком соломы в руках, кто с щепкой, кто так, без ничего.

Токарев закончил стирать, тоже подошел к костру. С мяса текло расплавленное сало, трещало на огне. Он, как и все, с утра ничего не ел, сгрыз на ходу только один сухарь, и сейчас глядел на поджаривающуюся свининку с большим желанием.

— Что, Федор? — спросил Бойков. — Хочется? А консерва у тебя есть?

— Есть, — сказал Токарев. — Да разрешения нету.

— Вот убьют тебя, а все разрешения не будет, — усмехнулся Байков; сам-то он давно слопал свой запас, как и многие солдаты.

— Смерть не угадаешь, — ответил Токарев. — Может, твоя смерть далеко, моя близко... Что ж теперь? Я должен потерять человеческий облик?



— Так мы серая скотинка, — подзадоривая, вымолвил Байков. — Идем за смертью. А нам грехи отпускают, поят и кормят. Да коль худо кормят, то я могу на ихнее разрешение накласть свой прибор. Могу аль не могу?

— Ну можешь, чего там, — сказал Токарев. — Только тогда ты вроде откалываешься от мира, я так понимаю. Выходит, ты говоришь миру: ты худой, я без тебя проживу...

Солдаты с уважением слушали его, ощущая в нем очень нужную им силу, которая одновременно и закрепощала, и укрепляла их.

— А ты, Байков, не дашь ему мясца, что он запоет? — спросил жилистый, со сломанным носом солдат Ужаков, такой же, как и Байков, бесхозяйственный в прошлом крестьянин, перед мобилизацией работавший на фабрике.

— Чего ж не давать? — возразил другой солдат. — Надо всем разделить.

— Всем, всем, — решили остальные.

— Всем, так всем, — легко согласился Байков. — Я ведь тоже, когда новую свинку добуду, — со мной, выходит, германцы поделятся.

Солдат с кривым носом засмеялся. Остальные не поняли, чему тот смеется, поняли лишь одно, что Байков собирается тащить и дальше.

— Пойди, Федор, к хозяйке, попроси хлебца, — сказал кривоносый. — Ты ласковый, она тебе все даст, что ни попросишь.

Хозяйка, пожилая тетка, сидела на скамеечке у дверей хаты и строго глядела на солдат.

Токарев подошел к ней и увидел в ее глазах ожидание какой-то беды.

— Хозяйство, — сказал он, поводя рукой в сторону скотного сарая. — И у меня есть хозяйство.

— Ниц нима, — ответила она,

— Двое деток, — показал Токарев. — Жена, мать, отец.

— Ниц нима, — сердито повторила хозяйка.

— Ты не бойся, — сказал Токарев. — Не бойся. Мы переночуем и дальше пойдем... Вот только хлеба у нас нет...

Из хаты вышел хозяин, крепкий мужик в белой рубахе, что-то неодобрительно сказал жене и пригласил Токарева:

— Пан жолнеж, проще.

Он дал ему каравай хлеба и бутылку водки.

— То бимбер, для жолнежей, — объяснил хозяин с наигранным добродушием.

Токарев вернулся к костру, понимая, что получил дары потому, что хозяева боялись. Наверное, на их месте он тоже боялся бы. Но он их не обижал.

— А ты не промах! — сказал Байков, как бы сравнивая его с собой. — Улестил бабенку с одного раза. Дай-ка бутылку.

Токарев отдал бутылку и хлеб и, довольный собой, присел на корточки,

— Тоже люди, — сказал он, — я ей про своих говорю, что-де семью имею, деток, отца с матерью... Вижу — боится меня. А чего бояться? Мы не звери, у нас закон есть,

— Ну попробовали бы не дать, — заметил кривоносый.

В эту минуту во дворе появился подпоручик Кошелев, огляделся и направился к солдатам.

— Все, погуляли, — буркнул Байков, отворачиваясь и ставя бутылку на землю.

Кошелев подошел и бодрым начальническим голосом пошутил:

— Варите суп из топора?.. Где хозяева, ребята? Кликните.

Один солдат побежал исполнять приказание, а подпоручик, вздохнув запаха, взял щепочкой огня и прикурил папироску.

— Овес у них есть? — спросил он. — Надо лошадей кормить, а овса нету.

— В сарае надо поглядеть, — сказал кто-то. — Скотину держат. Должно быть.

— Это что? — спросил Кошелев. — Дай-ка... Самогонка?

— То растирка, ноги растирать, чтоб не пухли, — сказал Байков. — За день так намахаешься, пухнут и пухнут.

Кошелев улыбнулся и стал выливать водку на землю.

— Нельзя, ребята, сами понимаете.

— Некому нас пожалеть, — буркнул Байков. — Серая скотинка.

Но Кошелев уже отошел, а если и слышал, то пропустил мимо ушей.



В том, что случилось потом, Токарев надеялся не участвовать, ибо подпоручик, осмотрев сараи, ушел, а затем позвали ужинать. Но после ужина во двор стали заезжать повозки, и Токареву велено было наравне с другими выносить мешки с овсом. От них пахло пыльным мучнистым запахом, навевавшим воспоминание о родине, от которого сдавливало в груди.

Хозяева молча сидели на скамеечке, скорбно глядели на жолнежей, управлявшихся с чужим добром. Хотя офицер и заплатил за овес рублями, это не было покупкой, а было насилием, принимавшим вид добровольной торговли. Это была война. Повозки уехали, и солдаты легли спать.

Полковник Крымов был послан Самсоновым в Млаву, в первый корпус генерала Артамонова. Артамонов был известен обоим еще по Маньчжурии, где он командовал дивизией и ничем себя не показал, разве что слишком боялся окружения. Еще он был известен как знаток церковного богослужения и многих молитв.

Крымов на автомобиле в сопровождении вестового без приключений добрался до Млавы и подъехал к железнодорожной станции в то время, когда с западной стороны, освещенный закатом, плыл в небе германский цеппелин с отчетливо видными черными крестами. Увлеченный жутковатым зрелищем этой громадной рыбы, Крымов велел шоферу ехать за ним.

На станции затрещали ружейные залпы и зататакал пулемет. Цеппелин навис над железнодорожным вокзалом, сбросил несколько бомб, они гулко взорвались.

С земли были заметны неторопливые эволюции цеппелина, повернувшего в обратном направлении. Уходил. Он и должен был уйти, ибо с такими чудищами мы еще не умели бороться.

Крымов провожал его взглядом, и цеппелин плавно пошел вниз, словно устал летать. Подбили? Нет, не может быть? Но почему идет вниз?

По дороге мимо крымовского автомобиля поскакали два взвода казаков с пиками. Чубатые, азартно гикавшие всадники оставляли впечатление какой-то игры, будто хотели догнать и проткнуть пиками шарик.

— Веселая у казаков служба, — заметил вестовой с самостоятельным задумчивым выражением. — Вот

вы, Алексей Михайлович, казачьим полком командовали — разве плохо? А нынче трясемся на таратайке, волю командующего исполняем.

Крымов смотрел по сторонам, примечая разбитые в нескольких местах окна и витрины. Речь вестового позабавила его. Тот расценивал должность генерала для поручений примерно как адъютантскую, а полковник Крымов был на самом деле ближайшим командующему человеком.

Ну, слава Богу, наконец доехали до штаба корпуса. Артамонов принял посланца Самсонова незамедлительно и, пожав руку, стал расспрашивать о самочувствии, о трудностях дороги, угощать чаем. От Артамонова исходило радушие помещика-хлебосола, и весь он, с бородой, животом, лучащимися глазами, несмотря на мундир, казался отцом семейства, а не боевым генералом, И к тому же еще на лестнице полковнику почудился сладкий дух горячего теста.

Крымов вручил генералу директиву командующего, в ней приказывалось: наступать на линии Ослау — Сольдау; при слабости противника — немедленно энергично атаковать.

Артамонов и его начальник штаба, болезненного вида генерал Ловцов, принялись изучать карту, озабоченно переговариваясь.

На желтом паркетном полу ярко светились квадраты солнечного света, пахло старой мебелью, скипидаром, пирожный дух сюда не пробивался. Над столом висела большая картина, написанная тяжелыми крепкими красками, изображала охоту на кабана.

Крымов пил чай за маленьким столиком, вспомнил цеппелин и мысленно увидел фантастическую карту полета русских помещиков-генералов верхом на такой рыбе.

Артамонов, Клюев, Мартос, Кондратович — все они были ровесники Самсонова (только Мартос, правда, на год старше, 1858 года рождения, полтавский помещик), и во всех, даже в Александре Васильевиче, было что-то от старосветских помещиков.

— Капитан, — обратился Крымов к присутствовавшему капитану со значком Академии Генерального штаба. — Сейчас над станцией подбили, кажется, цеппелин. Прикажите узнать.

— Какой цеппелин? — ахнул Артамонов. — Почему я ничего не знаю? Капитан Шевченко, немедленно все узнайте. Немедленно!



Крымов допил, стал ждать ответ на директиву,

— Еще чайку, Алексей Михайлович? — любезно предложил Артамонов.

— Нет, спасибо.

— Вы знаете, Алексей Михайлович, корпус очень ослаблен, — сокрушенно вымолвил Ловцов. — Восемьдесят шестой Вильманстрандский полк и девяносто шестой Омский мы оставили для прикрытия Варшавы. А казачий полк из Олиты до сих пор не прибыл... Тяжелое положение.

Крымову почудилось, что Ловцов не вполне понимает, что уже начались военные действия.

— Вы завтра должны взять Сольдау, — сказал Крымов.

— Мы постараемся, — совсем не по-военному ответил Ловцов.

— Да, да, нелегкое положение, — ласково произнес Артамонов. — Я готов лично возглавить атаку, даже лечь костьми, коль потребуется, но я должен сказать вам всю правду, чтобы вы донесли ее до Александра Васильевича... Нельзя было ослаблять корпус. Два полка — это целая бригада! А случись, не приведи господь, неблагоприятный поворот, кто виноват? Артамонов?

— Ваше превосходительство, — сказал Крымов, — из Августова прибывает третья гвардейская дивизия... Директива должна быть выполнена во что бы то ни стало. От вашего корпуса зависит успех всей армии.

— Два полка забрали, — пожаловался Ловцов. — А в Сольдау целая дивизия. Нужного перевеса у нас нет.

Хотят сидеть на месте, как Ильи Муромцы, подумал Крымов, начиная испытывать сомнения в том, что командование корпуса осознает важность задачи.

Артамонов поднял к груди руки, потер ладони и прищурился на Крымова с хитрецой:

— Может, Мартоса вперед продвинуть? У Николая Николаевича сил больше.

— Ваше превосходительство, скажите мне прямо: директиву исполнить не можете! — Крымов даже прикрикнул на генерала.

Артамонов покачал головой, словно удивлялся явной бестактности полковника, заметил:

— Суров Алексей Михайлович. Молод.

Крымов увязал в артамоновской старосветской не-

подвижности и едва сдерживался. Но он сказал себе, что не для того приехал в Млаву, чтобы злиться на генералов; надо просто повиснуть на них, как бульдог, тогда они зашевелятся.

— Будете готовить приказ? — требовательно спросил Крымов.

Артамонов закряхтел, повернулся к Ловцову. Тот страдальчески посмотрел на Крымова, точно говоря ему: «За что ты нас мучаешь?»

— Приказ на Сольдау, — добавил полковник. — Я должен сегодня увидеть приказ — это пожелание командующего.

Помещики скисли, Артамонов засопел, подошел к карте, взял циркуль, потом бросил его обратно.

— Ангелы вопияша! — сказал он с горечью. — Хорошо, будет вам приказ.

— Благодарю, ваше превосходительство, — ответил Крымов. — Разрешите покинуть вас. На рассвете я должен выехать к генералу Мартосу.

— Прошу задержаться, Алексей Михайлович. Вы мой гость, мы вместе поужинаем. — Артамонов кивнул на картину, написанную тяжелыми красками, будто обещал угостить кабанами.

Вошел адъютант, доложил, что казаками захвачена команда подбитого цеппелина, — об этом минуту назад доложили по телефону.

— Не верю я этим телефонам! — воскликнул Артамонов. — Распорядитесь доставить сюда кого-то из команды.

Пленного привезли быстро, но, по-видимому, везли поперек седла, как мешок, и он выглядел изрядно помятым. Он был коренастый, темноволосый, смотрел угрюмо. Артамонов спросил его по-немецки, кто он такой.

— Капитан Эрнест Георг Гринер, — ответил пленный.

— Где ваши квартиры?

— В Генрихсдорфе, герр генерал.

— А в Сольдау были?

— Нет, в Сольдау не был.

— Какие части в районе Сольдау.

— Там части ландвера, около двух полков.

— Вы лжете, капитан. Это нехорошо. Нам известно, что в Сольдау — дивизия,

— Не думаю, что дивизия, герр генерал. Два полка.



Артамонов махнул рукой, отвернулся от германца, показывая взглядом Ловцову и Крымову, что они могут допрашивать дальше.

— Зачем вы бомбардировали станцию? — тоже по-немецки спросил начальник штаба.

Это было равносильно тому, чтобы спросить «Почему вы призваны в армию», то есть вопрос в данных обстоятельствах бессмысленный. Пленный пожал плечами, потом сказал:

— Железнодорожная станция... Приказ...

— Понятно, — с многозначительным видом произнес Ловцов. — А как вооружен цеппелин?

— Два пулемета и бомбы... Нам просто не повезло, повредило руль, иначе мы бы от вас ушли.

— От нас вы не уйдете! — сказал Ловцов.

— По нашим сведениям, мы сильно бьем французов, — продолжал пленный. — Не ожидали, что они так плохо дерутся. Но мы весьма воодушевлены и рады войне и деремся с удовольствием и за наше существование.

Ловцов ничего больше не говорил.

Крымов попросил дать чистую карту и велел германцу показать маршруты цеппелина и расположение полков у Сольдау.

— Мы не ожидали, что русские будут так энергично наступать и так устойчивы, — сказал Гринер, разглядывая карту. — Вот здесь и здесь. — Потом показал расположения полков.

— Ценят нас немцы, — по-русски произнес Артамонов. — То ли еще будет?.. Пожалуй, я приглашу его на ужин, пусть почувствует нашу силу. Как вы думаете, Алексей Михайлович?

— Он уже почувствовал, — ответил Крымов, не поддерживая генеральской блажи.

Полковник помнил о Сольдау и предстоящей поездке в пятнадцатый корпус к Мартосу. Что ему застолье да еще с пленным?

На рассвете казачья разведка, высланная из-под Янова, прошла по шоссе до Нейденбурга и обнаружила по дороге полное безлюдье, хутора и дворы оставлены, скот, птица, домашнее добро брошено.

С холма открылся в легкой туманной дымке Нейденбург, небольшой, сразу охватываемый взглядом. Не-

сколько высоких каменных построек в его середине делали его похожим на крепостной замок. Казаки вглядывались, потом спустились с холма и пошли рысью к городу. Есть там войска, нет ли — надо было убедиться, подставив себя под выстрелы.

Они подскакали на расстояние выстрела и остановились. Было видно, что улица перегорожена баррикадой, но из двух-трех окон свисали белые простыни с крестами. То ли защищаться хотели германцы, то ли сдавали город — не поймешь,

Урядник Пивнев, тот самый, который был в первой разведке, когда убили Топилина, скомандовал трем казакам пойти поглядеть на баррикаду вблизи. Эти казаки помялись и тут же, загораясь удальством, хлестнули коней.

Вот уже рядом баррикада. Прицельсяя — и нет пригнувшихся к холкам казаков. Но пока тихо. Вот совсем рядом баррикада. Один вдруг спешивается, подходит к ней, начинает что-то тащить. И другие двое тоже спешиваются, помогают.

Урядник, с облегчением крякнув, послал лошадей вперед, а за ним пошли остальные.

Раскидав шкафы, повозки, ящики, они двинулись по улице к центру. Нейденбург сдавался.

— Ой, богато живут, — сказал Алейников, глядя на витрину, в глубине которой царили облаченные в костюмы и шляпы манекены.

— Ой, дывысь, шо там? — обрадованно воскликнул казак Тараканов. — Кажись, граблять!

Возле дома стояла подвода с узлами, а из дома двое мужчин выносили длинный узкий ящик. Увидев казаков, они сунулись обратно, один скрылся в дверях, а второй не успел. Тараканов, как коршун, вцепился в него, ящик со звоном и грохотом упал.

Задержанный был плотный, рыжеватый немец, от страха он начал икать.

Тут же вытащили и второго, молодого парня. Они были похожи, наверное, отец и сын.

Тараканов повернул ящик стеклом вверх, оказалось — часы. И жалко ему стало загубленного добра.

— Своих граблять! — зло вымолвил он и с размаху протянул плетью по спине икающего немца.

— Брось его! — сказал Пивнев. — На конь!

— У, курва, — снова замахнулся казак. — Мы воюем, а он — своих? Я б казнил таких.



Немец кинулся к уряднику, чуя от него защиту, но Пивнев усмехнулся и без замаха легонько тоже огрел его.

— Будешь знать? — крикнул Тараканов, садясь в седло. Алейников хлестнул немецких коней, они понеслись, казаки порысили назад, к своим.

Крымов прибыл в Янов к семи часам утра, когда пятнадцатый корпус четырьмя колоннами, побригадно, в образцовом порядке начал движение на Нейденбург.

Измученный лесной дорогой полковник вышел из автомобиля и смотрел на проходившие войска. Он не знал, какое положение у Нейденбурга. Может быть, через три часа эти люди будут в бою, но они спокойны и уверены в себе. Тяжелое впечатление, оставленное Артамоновым, развеивалось. Перед ним была отлаженная, крепкая, бодрая человеческая масса, то, что и есть самая армия, — сплоченные вооруженные люди.

Крымову попался на глаза большой носатый солдат с высоко поднятой головой, выделявшийся из общей массы. И Крымов подумал, что его мысль о сплоченных командирами людях слишком узка без национального и религиозного чувства.

«А какое у этого солдата дело в Восточной Пруссии, для которого требовалось национальное и религиозное чувство? — спросил себя Крымов. — Ведь нет такого дела. А он идет, как на крестном ходе».

Значит, было что-то другое. И он еще подумал почти с ужасом: «Это последний, он внук суворовских солдат. Артамонов — не просто старосветский генерал, а тоже внук Суворова и Кутузова... Все связано».

Крымов добрался до штаба корпуса в хорошем настроении после увиденных колонн. То смутное ощущение последнего окончательно развеялось при встрече с Мартосом: Николай Николаевич сообщил — Нейденбург свободен.

Мартос ни на кого из генералов не был похож — худощавый, быстро шагающий, странный. Рядом с ним начальник штаба Мачуговский выглядел подавленным.

— Нет, я недоволен! — ответил Крымову Мартос. — Они разболтались в походе. Вчера был просто дикий случай: канонир одной батареи стрелял в своего

фельдфебеля. Если и дальше мы не додадим нормального снабжения, придется двинуть за войсками полевые суды.

— Почему стрелял? — спросил Крымов,

— Строгий фельдфебель и голодное брюхо, вот почему. Кстати, вы, должно быть, не завтракали? Потерпите, позавтракаем в Нейденбурге. Не будем терять времени.

— Может, угостим полковника хотя бы чаем? — предложил Мачуговский.

— И так тучный, — сказал Мартос. — Потерпит.

Крымов был несколько обескуражен тем, что его встретили так сухо, он почувствовал, что с Мартосом придется сложнее, чем с Артамоновым.

Мартос подошел к карте, помолчал над ней, созерцая расходящиеся веером направления корпусов.

— Ваше превосходительство, — сказал Крымов. — Генерал Артамонов сомневается в исходе боя за Сольдау. Ваша задача — поддержать его, двинув колонну с востока, вот отсюда.

— В директиве об этом не упомянуто, — заметил Мартос. — Он, что, вкусно угощал вас и разжалобил?

— Если вы не поддержите Артамонова, — начал было Крымов.

— Вижу, полковник, — перебил Мартос. — Тогда Сольдау повиснет у меня на фланге. Вы это хотели сказать? Не уговаривайте, все я вижу... Что вы предлагаете? — обратился он к Мачуговскому.

— Решайте сами, Николай Николаевич, — ответил начальник штаба без всякого выражения, как будто боялся выразить свое мнение.

— «Решайте?» — передразнил его Мартос. — Что за кисляйство? Надо помочь Артамонову, будь он неладен!.. Пошлите на разведку авиатора и казаков... Вы удовлетворены, полковник?

— Благодарю вас, — ответил Крымов.

Командир корпуса, конечно, не был старосветским помещиком, понял полковник, и в войне разумел толк, да вряд ли его кто-нибудь любил, хоть одна душа.

К полудню командир корпуса добрался до Нейденбурга, обогнав колонны. С холма был виден красивый город, многие здания, при рассмотрении в бинокль, оказались иллюминированы флагами Красного Креста.

— Уходят, — сказал Мартос. — Все бросают и уходят. Заманивают, что ли?.. — и улыбнулся Крымову: — Будем ждать ключей от города? Или пошлем разведку?



Послали казаков и пеших разведчиков. Мартос ходил вдоль обочины, расспрашивал Крымова о жизни Самсонова в Туркестане, потом спросил, как Александр Васильевич ладит с Жилинским.

— Они однокашники, — ответил Крымов, не желая сплетничать.

— Все мы однокашники, — сказал Мартос. — Яков Григорьевич светский человек, а мы армейские служаки. Тут разница непреодолимая... Что говорит Александр Васильевич о наступлении? Вспоминает военную игру Шлиффена? Должен вспоминать! А Жилинский — вспоминает? Сильно сомневаюсь. Мы воюем полками и дивизиями, а Яков Григорьевич — соображениями.

Крымов со вчерашнего дня ничего не ел, и ему было скучно. Он думал о том, что из Нейденбурга надо возвращаться к Артамонову, подталкивать его вперед, — и еще думал о том, что должны испытывать голодные люди.

Потянуло дымом. Мартос и Крымов оглянулись — за крымовской машиной шофер с вестовым подвешивали на рогульке котелок, не дожидаясь нейденбургского обеда.

— Сейчас поедем, зря стараетесь, — сказал генерал.

— Не, ваше высокоблагородие, еще не скоро. Как раз успеем чаю напиться.

— Почему ты так считаешь?

— Потому, ваше высокоблагородие. Вы сперва казаков послали, после солдатиков пошлете, а вот тогда и сами пойдете. Без солдат вам не резон идти.

— Попью и я с вами, — сказал Крымов.

— Скифы! — насмешливо вымолвил Мартос. — Печенеги!

— Такая наша доля, ваше высокопревосходительство, — с виноватым видом, скрывающим лукавство, произнес вестовой. — У этого германца ничем не разживешься. Вот у нас на этом месте рос бы кипрей, а они все выкосили. Другой раз нечем будет и чаек закрасить.

Мартос нахмурился, недовольно сказал Крымову:

— Распущенный у вас вестовой?

— Пока не жалуюсь, — возразил полковник. — Он и кашу из топора сварит...

За спиной Мартоса Мачуговский укоризненно покачал головой, словно говорил: «Не спорьте вы с ним, ради Бога!»

И в один миг образцовые колонны солдат, этот забитый Мачуговский и грубость Мартоса — все соединилось в одно целое.

— У вас будет возможность разочароваться в нем, господин полковник, — резко сказал Мартос. — Я не одобряю вольностей для нижних чинов, от этого падает дисциплина.

Крымов промолчал. «Такой же барин, — подумал он с сожалением. — И тоже внук Суворова и Кутузова».

— Помните, господин полковник, картину Верещагина «Апофеоз войны»? — спросил Мартос. — Половина жертв на войне — от нашего бескультурья. А неуважение солдата к порядку — это главный грех бескультурья. Вы согласны со мной?

Чего добивался командир корпуса? Чтобы Крымов покаялся и больше не перечил генералу?

— Согласен, Николай Николаевич, — коротко сказал Крымов.

— Вот и хорошо. Скоро будем в Нейденбурге.

Однако в Нейденбург они попали нескоро. Вернулись казаки, доложили, что их только что обстреляли из окон и трое ранено. Докладывавший казак с бастонами старшего урядника на погонах возмущенно рассказывал о коварстве жителей; от него горячо пахло лошадиным потом; перегнувшись набок, казак вынул из кармана шаровар несколько германских монет и показал на ладони Мартосу как доказательство, но доказательство чего — непонятно.

— Так! — воскликнул Мартос. — Вот вам и ключи. Ну я им покажу за Янов и Калиш. Попомнят, как жечь города! — И он распорядился живо послать за артиллерийским дивизионом, чтобы по одной батарее обстреляли Нейденбург с двух сторон.

— Николай Николаевич, остановитесь, — попытался помешать ему Мачуговский. — Зачем разрушать город?

— Вы тюхтей? — бросил Мартос. — Я не намерен понапрасну лить русскую кровь. И никому не позволю.

— Я не тюхтей, — обиженно сказал Мачуговский. — Я не позволю!



— Ладно, ладно, ничего, — произнес Мартос. — У них там баррикада, оборона — парочка хороших залпов не помешает.

Мачуговский подошел к Крымову, просительно на него смотрел. Полковник пожал плечами, окликнул вестового:

— Степан! Как чаек?

— Эх вы! — вздохнул Мачуговский.

Крымов подошел к костерку, велел Степану взять жестянку с английским чаем и окорок.

Степан расстелил на траве попонку, поверх же — полотенце и поставил медные кружки.

— Николай Николаевич! — пригласил Крымов.

Мартос отмахнулся пренебрежительно, Мачуговский отвернулся.

— Ну как хотите, — вымолвил Крымов и присел на попонку. — Садись, Степан, садись, Михаил.

Вестовой и шофер замялись, робея перед генералами.

— Мы — там, — Степан кивнул за автомобиль, явно желая укрыться.

Что оставалось Крымову? Он встал с попонки и с равнодушным видом показал Степану, что не будет закусывать, сейчас некогда.

Горе побежденным!

После обстрела мелинитовыми гранатами Нейденбург в нескольких местах задымил. Ответного артиллерийского огня не последовало. Город молча ждал. С железнодорожной станции отходил поезд. Немцы уезжали, поляки оставались. В городском госпитале оставалось четверо раненых германцев вместе с врачом и сестрой.

И русские вошли в город.

Как сказано в Писании: «Горе тебе, Вавилон, город крепкий!»

Жители стояли вдоль домов, смотрели равнодушно, а один старик поклонился Крымову.

Солнце горело в окнах, добавляя к запаху дыма, доносившегося с окраин, тревожное впечатление огромного пожара. Это был первый в крымовской жизни европейский город, в который он входил с наступающими войсками, и Крымов чувствовал величие вековых традиций. «Что ж, мы тоже весьма воодушевле-

ны, — подумал он, вспомнив слова капитана Гринера. — Поглядим, что будет завтра дальше».

Штаб корпуса занял дом ландрата, и конвойцы, осмотрев все помещения, вывели на площадь повара в белом колпаке и еще трех слуг.

— Где господин ландрат? — спросил адъютант Мартоса.

Не было никакого господина ландрата, исчез. Зато в подвале сидят человек тридцать добропорядочных немецких хуторян, — по секрету доложили слуги. Зачем сидят? Хотели ограбить дом господина ландрата.

— О? — воскликнул Мартос, — А свалили бы на нас! — Гнать взашей к чертовой матери... Назначить коменданта города, взять из городских запасов всю муку, напечь хлеба.

Он распоряжался, не думая ни с кем советоваться. После решительности, проявленной при входе в Нейденбург, Мартос так же твердо распорядился о хлебопечении.

— Возьмите этого колбасника, — показал он на повара. — Он должен знать все хлебопекарни.

Повар взволнованно стал говорить, что у него готов обед для господ офицеров, который предназначался господину ландрату, а теперь его надо рассматривать как трофей.

— Конечно, возьмем, — по-немецки сказал Мартос. — А ты не бойся, мы тебя не съедим.

— Да, да, — закивал головой немец, улыбаясь. — Меня есть не надо, я уже старый, у меня кислое мясо.

Мартос показал жестом адъютанту: вперед, некогда болтать. Адъютант с несколькими казаками бросился в дом, следом за ними пошел Мартос, Мачуговский, штабные,

Итак, Нейденбург согласно директиве Самсонова был занят. Все были довольны успехом, возможностью получить награду, ибо, что ни говорите, за взятый город всегда положены ордена. И Крымов тоже думал об ордене, а потом вспомнил: Сольдау! Однако искровая команда еще не подошла, послать искровую телеграмму по радиоволнам было нечем.

В представлении Крымова вчерашний день у Артамонова отдалился настолько, что нынче казалось, словно то происходило почти на японской войне.

Вокруг полковника царила суета, бегали вестовые, казаки, адъютанты, устраивали свои службы. Крымов



вошел в зал, поглядел на картины, написанные крепкими красками, на охотников в шляпах с перьями, породистых собак, клыкастых кабанов и зубастых медведей. Двое немцев застлали стол скатертью и принялись выставлять из шкафа посуду. Все-таки обед должен состояться! Мартос был великолепен. Вот где апофеоз войны.

Крымов пошел на пункт связи, где телефонисты разворачивали полевую станцию. Там был Мачуговский. Полковник написал телеграмму, в штаб первого корпуса и попросил Мачуговского, как только придет искровая команда, сразу отправить ее.

— Шифровать надо? — спросил Мачуговский.

— Не надо. Неужели они способны узнать, что в эту минуту мы посылаем радио?

— Все-таки предосторожность... Я, честно говоря, не представляю, как это передается по воздуху? — Мачуговский взял полковника под руку. — Давайте выйдем, мне надо с вами поговорить.

Вышли в коридор.

— Умоляю вас! — шепотом воскликнул Мачуговский. — Нет больше сил! Так и скажите Александру Васильевичу. На любую должность согласен. Куда угодно, лишь бы не с этим!

— Я передам, — ответил Крымов.

— Боже мой, — подумал он, выходя из дома. — До чего довел человека...

На улице уже все было армейское. Не найдя ничего похожего на коновязь, казаки привязали лошадей прямо к липам, насорили сеном и овсом. Лошади поливали каменные плиты журчащими струями.

В автомобиле сидел один шофер, вестового не было. Крымов залез на сиденье, вытянул ноги и закрыл глаза.

— Что тут делается? — спросил он.

— Степан побежал хлебца добыть. Говорит, пока штабные расчухаются, можно пошарпать немца.

— А еще?

— Больше ничего. Ночуем здесь?

— Найдем, где ночевать, не переживай. Сейчас поедем город смотреть.

— Степан! — вдруг крикнул шофер и щелкнул дверцами. Крымов открыл глаза — к машине бежал вестовой с белым свертком, а за ним — казачий офицер, придерживая шашку. Полковник тоже отворил дверцы со своей стороны.

Вестовой подбежал, сунул сверток шоферу и повернулся к казаку. Тот поглядел на Крымова, нагло улыбнулся, пожав плечами: мол, не успел догнать, ваша взяла.

— Садись, — бросил вестовому Крымов. — Поехали.

Тронулись. Степан раскрыл дорожный погребец и, рассказывая, как раздобыл ковригу, через минуту дал Крымову ломоть свежего хлеба с куском окорока.

— Теперь пора и закусить, — заметил он, как будто знал, что полковник решил не обедать с генералом. — Им бы только командовать!

— Кому командовать? — строго спросил Крымов, готовый одернуть вестового.

— Да казакам, кому же еще! — слукавил Степан.

— Так я тебе и поверил, — сказал полковник. — Ах, как пахнет, черт возьми!.. Прощаются все твои грехи.

Наконец-то он мог поесть!

Шофер даже оглянулся, чтобы посмотреть, как полковник жует бутерброд.

— На дорогу гляди! — весело рыкнул Степан.

Автомобиль доехал до высокой стены замка, зеленевшей снизу пятном мха, повернул в узкую улицу. Мелькнула вывеска госпиталя, две простыни с красными крестами свисали из окон. Вскоре Крымов увидел впереди солдата, который стоял на плечах другого солдата и заносил ногу на подоконник.

— Тоже хлебца захотелось, — заметил шофер.

Автомобиль остановился прямо под окном. Но солдат уже соскочил с подоконника вглубь квартиры, а его товарищ, оставшийся внизу, встрепенулся и вытянулся, таращась на Крымова.

— Позови его, — велел полковник. — Живо!

Под ногами хрустнули стеклянные осколки.

— Эй! — пискнул солдат, потом громко заорал: — Эй, Байков! Вылазь!

— Чего? — отозвался голос. — Погоди.

— Вылазь, Байков! — заорал солдат. — Тут господин полковник!

— Пошел ты со своим полковником...

Солдат повернулся к Крымову и, продолжая таращить круглые дураковатые глаза Иванушки-дурачка, доложил:

— Не вылазить, ваше высокопревосходительство... Я пойду, мне пора.



— Стой. — Крымов велел Степану взять одну из прислоненных к оштукатуренной синеватой стене винтовок и выстрелить вверх.

Вестовой выстрелил, передернул затвор, и гильза запрыгала по брусчатке.

— Байков, они осерчали! — закричал солдат.

Наконец этот непокорный Байков высунулся по грудь и свесил наружу для обозрения толстую темно-красную колбасу, перевитую тонкими веревочками.

— Кидай сюда! — крикнул Степан и прислонил винтовку к стене.

Байков посмотрел на Крымова, чуть покачал головой, точно удивляясь, откуда здесь взялся автомобиль с полковником, и ни страха, ни уважения к офицеру не было на его курносом плутовском лице.

Крымов жестом приказал: немедленно слезай!

Байков улыбнулся и бросил вестовому колбасу. Она ударилась о вытянутые руки Степана, скользнула у него по груди и плюхнулась на камни.

— Не сметь! — сказал Крымов, глядя на вестового.

Степан замер.

— Немедленно слазь! — размеренно произнес полковник с холодным выражением командирского гнева.

Байков посмотрел на плиты, потом, оглянувшись вправо и влево, сел на подоконник, повернулся и стал сползать, елозя носками сапог по стене, повисел на руках и спрыгнул.

Перед Крымовым стоял маленький, плотный человек с тупым лицом, как бы говорившим, что я, мол, забитый нижний чин, виноват во всем и уповаю на милость господина полковника.

Но Крымов прекрасно понимал цену этому.

— Какого полка?

— Двадцать девятого пехотного Черниговского полка третьей роты рядовой Байков, ваше высокопревосходительство!

— Ты, Байков, знаешь, что тебе за грабеж положен полевой суд?

— Никак нет, ваше высокопревосходительство. Я не грабил. Немец сам все бросает.

— Ступай в полк, доложи дежурному офицеру, что тебя задержал за грабеж полковник Крымов. Ясно?

— Ясно, ваше высокопревосходительство: доложить дежурному офицеру.

Крымов приказал сделать то же самое второму солдату и сел в автомобиль, борясь с глухим чувством бессилия.

— А колбаса? — тихо спросил вестовой.

— Ты меня хочешь кормить этой поганой колбасой? — рявкнул Крымов. — Поехали!

— Хорошая колбаса, — проворчал Степан. — Мы с Михайлой...

Шофер не трогался, медлил, словно ждал чего-то. Крымов двинул его кулаком в плечо:

— Поехали! — Только после этого двинулись.

Можно было и позабыть про того Байкова, посчитать грабеж единичным случаем, и Крымов уже был склонен так думать, как вдруг на соседней улице они увидели трех солдат, выбивавших окно.

Остановились, повторилась та же процедура: какого полка, пойди в полк, доложи... Что еще мог полковник? Стрелять на месте?

Когда в третий раз Крымову на глаза попали промышляющие грабежом солдаты, он не стал останавливаться.

9 августа Жилинский телеграфировал Самсонову: «Верховный главнокомандующий требует, чтобы начавшееся наступление корпусов 2-й армии велось энергичным и безостановочным образом. Этого требует не только обстановка на Северо-Западном фронте, но и общее положение. Данную на 9 августа диспозицию признаю крайне нерешительной и требую немедленных и решительных действий».

Вечером 9 августа Самсонов телеграфировал Жилинскому: «Сольдау занято 9 августа 7 часов вечера. Противник ушел направлении на Остероде, жители бежали; Нейденбург горит. Ожидаю его занятия 15-м корпусом. Необходимо организовать тыл, который до настоящего времени организации не получил. Страна опустошена. Лошади давно без овса. Хлеба нет. Подвоз из Остроленка невозможен».

Возвращались уже в сумерках, и Крымов, вспомнив о госпитале, велел заехать туда. Это оказалось трудно — все подъезды забиты фурами дивизионного



лазарета. Нейденбург полностью накрыло волной войск.

Крымов взял вестового и пошел пешком мимо лошадей, повозок и ездовых. Пахло конским потом, кавалерийской вольностью. И, как старый кавалерист, Крымов чуть-чуть отмяк душой. На ходу он перемолвился с ездовыми: раненых почти не было. Да и откуда им быть, если бои по-настоящему еще не начались.

В окнах госпиталя горело электричество, простыни исчезли: перед дверями стояла кучка то ли санитаров, то ли возчиков, слушали офицера в пенсне.

Подойдя ближе, Крымов различил подполковничьи погоны — значит, это был начальник лазарета.

Все происходило в привычном порядке: подполковник выпроваживал возчиков на ночевку за городскую черту, куда уже ушла часть повозок, а возчикам не хотелось куда-то убираться.

Сейчас все части корпуса устраивались на новом месте, и вряд ли хоть в одной обходилось без неувязок.

— Извините, господин полковник, — сказал подполковник совсем невоенным тоном, каким только что с отеческим добродушием разговаривал и с нижними чинами.

Через минуты три Крымов увидел пустую палату, где было электричество, умывальник, четыре железные кровати.

— Хорошо, культурно, — отметил начальник лазарета с некоторой гордостью. — В следующей — казаки, а в конце — германцы.

— Германцы? — переспросил Крымов.

— Да, тяжелые. Я установил там контроль. Но там еще германский врач и сестра, люди, по-моему, приличные. — Подполковник был доволен и германцами.

Из комнаты справа в коридор открылась дверь, и в прямоугольник яркого света вышел человек в белом халате с русой бородкой.

— Это доктор Исаев, — представил подполковник. — Старший врач.

— Мы пьем чай, приглашаем, — сказал доктор. — Германские коллеги нас угощают.

— Я бы предпочел поговорить с германскими ранеными, — ответил Крымов. — Есть офицеры среди них?

— Есть, но, наверное, он спит. — Доктор мягко

улыбнулся, точно сожалел о том, что не может отвести Крымова к немцу.

— Ничего, разбудим, — сказал Крымов. — Какие-нибудь бумаги у него есть?

— Как разбудите? — снова улыбнулся доктор. — Подождите до утра, утром можно поговорить.

— Лучше сейчас. Бумаги у него есть?

— Какие бумаги? — воскликнул доктор Исаев, с упреком обращаясь к подполковнику. — Я не обыскивал его! Может, прикажете выбросить раненых на улицу?

Из-за дверей слева донеслось негромкое задумчивое пение. Пели знакомую Крымову казачью песню:

Ой да разродимая ты моя сторона,
Ой да не увижу больше я тебя...

— Я вас понимаю, доктор, — сказал Крымов. — Но война, ничего не могу поделать. Ведите меня к немцу.

Доктор развел руками и, что-то буркнув, пошел по коридору.

— Позвать германского доктора? — спросил начальник лазарета.

— Обойдемся сами, — сказал Крымов. — Идемте.

Раненый немец лежал один в темной палате, где пахло тем особым запахом медикаментов и крови, который всегда держится в палатах тяжелораненых. Доктор не включил света, слабая коридорная лампочка оставляла посреди палаты неяркую полосу, была видна голова на подушке и закрытое простыней тело. Раненый дышал хрипло, с трудом.

— Извините, камрад, — обратился по-немецки Крымов. — Нам надо поговорить.

— Спит, — сказал доктор.

— Включите свет, — велел Крымов.

При свете он увидел бледное, чуть влажное лицо с блестевшим желтым лбом, приоткрытый сухой рот, обметанный щетиной подбородок и выражение угасающей жизни.

«Прости меня, Господи, — подумал полковник. — Злая судьба — вот так умирать».

— Пошли, — вымолвил он. — Хотя постойте... — Открыл тумбочку, выгреб оттуда офицерскую сумку и вытащил из нее тонкую книжицу.

В документе указывалось, что капитан Франц Бреме служит в двадцатом германском корпусе.



Доктор осуждающе смотрел на Крымова, не мог понять, что перед ликом смерти может быть существенного в какой-то офицерской книжке.

Утром 10 августа по прекрасному шоссе Нейденбург — Сольдау Крымов домчался до Сольдау, стоявшего на берегу реки, тоже именуемой Сольдау. На реке лежала тень от моста, и тянулась по воде прядь исчезающего тумана. Освещенные солнцем с русской стороны краснели шпили католического костела, золотились окна — все как будто целые.

На сырых утренних улицах уже вовсю проявлялось присутствие действующей армии, но не было видно ни разрушений, ни пожарищ. Артамонов взял город чисто.

— В первом корпусе нас по-человечески принимали, — с удовольствием заметил вестовой, словно приветствуя генерала-хлебосола.

Ненадежен был командир первого, а ведь и Крымов сейчас испытывал что-то подобное Степанову настроению — с Артамоновым было легко, он осознавал, что задача Крымова — толкать, а его задача — выполнять указания представителя командующего; все было просто и понятно.

На площади перед ландратом, где стоял большой автомобиль и у временной коновязи — оседланные кони, Крымов вышел. Городок напоминал Нейденбург, только никаких госпиталей не было видно. Возле коновязи вертелся черно-белый котенок. Часовые-пехотинцы четко откозыряли полковнику, а казак-конвоец, случайно оказавшийся у дверей, — с лихой небрежностью.

В штабе Артамонова не было, да и штаб был не корпусной, а 22-й пехотной дивизии генерал-лейтенанта Душкевича. Пятидесятидевятилетний Душкевич принадлежал к разряду второстепенных генералов, не окончивших Академии Генерального штаба и поэтому обреченных на вечную провинциальность. Он принял Крымова сердечно и, без приукрашиваний, усмехаясь в рыжевато-седую бороду, поведал, что никакой заслуги в занятии Сольдау у него нет: германцы уступили город почти без боя. Его начальник штаба, однокашник Крымова по академии полковник Пфингстен, вообще раскрыл хитроумный прием Артамонова, прика-

завшего двигаться на город, но не атаковать, терпеливо ждать.

Конечно, корпусной командир своеобразно исполнил самсоновскую директиву атаковать без промедления, и стало ясно, что здешний успех нужно отнести за счет планомерного отступления германских войск.

— Сколько было у немцев? — спросил Крымов. — Дивизия была?

— Два ландверных полка, — ответил Пфингстен. — Впрочем, могли обороняться... А они оборонялись только для видимости, так — постреляли немножко... Но даже не взорвали мосты. Как будто знают, что мы с каждым днем истощаем последние запасы.

— Пленных взяли? — еще спросил Крымов.

— Не взяли, — сказал Пфингстен. — Была попытка порчи нашего телефонного кабеля. Казаки виновных повесили.

— Да, приходится, — повел бровью Душкевич. — Есть случаи — стреляют из-за угла...

В облике генерала тотчас проступила сквозь сердечность властная натура. Он показывал Крымову, что одобряет казаков, что только строгостью можно добиться порядка.

Крымов не возражал. Если обыватели начинают впутываться в военные действия, их надо карать.

— Какое у вас впечатление о противнике? — спросил он Душкевича.

— По-моему, они умышленно затягивают нас в глубину, — сказал генерал. — Посудите сами, даже мосты не взорвали. О чем это говорит? А ведь мы не торопили. Тут одно из двух: либо они решили вовсе оставить Восточную Пруссию, либо затягивают вглубь...

— Поеду к Роопу, — сказал Крымов, имея в виду 6-ю кавалерийскую дивизию генерал-лейтенанта Роопа, обеспечивающую фланги. — У него должны быть пленные.

— Зачем вам пленные? — возразил Душкевич. — Лучше найдите рооповского подрядчика, потолкуйте с ним. Он где-то здесь. Это еврей. Я бы его назначил вместо главного начальника снабжения фронта, мы бы горя не знали.

— В турецкую войну тоже были евреи-маркитанты, — скептически заметил Крымов.

— Но этот молодец. Он уже наладил молотьбу



и помол германского зерна. А наши интенданты только и знают, что стонать.

— Ладно, поеду. — Крымов встал с бархатного дивана, посмотрел на висевшую картину — портрет Фридриха Прусского в охотничьем костюме и загадал: если в следующем городе увидит изображение охоты, то война закончится для него хорошо.

С площади донесся звук подъехавшего автомобиля. Приехали Артамонов с Ловцовым.

Пфингсен пошел их встречать, а Крымов снова сел на диван.

— Вот вы вспомнили турецкую кампанию, — сказал Душкевич. — А ведь я участвовал, да... Будто вчера было... Александр Васильевич как? вспоминает турецкую?.. Большой был в народе подъем. Сейчас меньше.

— Меньше? — переспросил Крымов, вспомнив свои мысли о последнем солдате. — Кто же виноват?

— Нет, они будут умирать героями, — сказал Душкевич.

В зал вошел командир корпуса.

Душкевич не договорил, шагнул навстречу Артамонову, они обнялись и троекратно расцеловались.

Расцеловал Артамонов и Крымова, с удовольствием, произнеся: — С победой вас!

Он потребовал подробного рассказа, как Мартос взял Нейденбург, и, когда Крымов поведал, как стояли перед городом и выдвинули артиллерийский дивизион для устрашения, Артамонов засмеялся.

— Нейденбург пал, потому что первый корпус надавил на Сольдау!

— Вы уверены? — спросил Крымов. — Может быть, есть другие причины?

— Какие там причины! — отмахнулся Артамонов. — Мы готовы были лечь костьми, — эту нашу готовность нельзя сбрасывать. Непременно сообщить командующему о высоком духе войск. Я уже послал донесение, а вы подтвердите: нам противостояла целая дивизия...

— Прошу прощения, — заметил Душкевич. — По нашим сведениям, в Сольдау были два полка. Я об этом доложил Алексею Михайловичу.

— Что? Откуда два полка? — удивился Артамонов. — Помилуйте! Нет, я совершенно определенно

знаю — дивизия! Разведка перехватила германский телефонный провод. Вот он подтвердит. — Артамонов поглядел на Ловцова.

— Да, дивизия.

Крымова покоробила покорность Ловцова, с которой тот врал.

— Ну так что? Дивизия или все же два полка? — спросил Крымов у Душкевича.

— По нашим сведениям, два полка, — повторил Душкевич.

— В данном случае это не очень важно, дивизия или два полка, — примиряюще произнес Ловцов. — Еще будет возможность это выяснить.

— Надо выяснить! — сказал Крымов, сдерживая себя. — Я еду к Роопу в Генрихсдорф... Кстати, там базировались цеппелины. Помните? Пленный капитан говорил, что в Сольдау два полка?

Он показывал, что не верит Артамонову, даже больше — что Артамонов врет. В этом не было сомнений — мелко, бесцельно врет, лишь бы преподнести движение корпуса почти как битву народов. Все поняли смысл и, главное, суть крымовских слов. Артамонов расставил руки, наклонил голову набок и с досадой улыбнулся, раскрыв рот, словно говорил: «Э-э!» Ловцов с безучастным видом отвернулся. Душкевич взял Крымова за руку, стал советовать не ехать автомобилем, а взять лошадей и в сопровождение двух-трех конвойцев.

— Я провожу господина полковника, — сказал Пфингстен. Крымов вышел из зала и вымолвил вполголоса:

— Ну каков Мальбрук! Ты, Пфинготен, где-нибудь еще видывал таких?

10 августа, когда все корпуса второй армии беспрепятственно продвигались в глубину Восточной Пруссии, начиная верить в повальное бегство германцев, у деревни Орлау передовой полк пятнадцатого корпуса, 29-й Черниговский, натолкнулся на сильное сопротивление.

После полудня полк стал занимать лежащую в лощине деревню и после небольшой перестрелки с германским арьергардом без труда занял ее.

Командир третьей роты штабс-капитан Соболевский с надеждой смотрел на остаток дня. Нужно было дать людям отдохнуть, напечь каких-нибудь лепешек, ибо в Нейденбурге полк не успел разжиться хлебом. И еще — раненых было мало, три человека с царапинами.



Соболевский вызвал артельщика и фельдфебеля отдать необходимые распоряжения.

Денщик во дворе разогревал самоварчик; в комнате было чисто и уютно. Солнце ярко освещало все углы, поблескивало на резных дверцах дубового буфета с толстощекими жизнерадостными фигурками купидонов. Артельщик вернул Соболевскому ротные суммы, которые тот давал на сохранение перед боем, командир вынул из бумажника две двадцатипятирублевые кредитки — на покупку муки.

— Не у кого, все поутекали, — сказал артельщик, беря деньги.

— Чтоб муку достал, — велел Соболевский. — Хватит нам ждать манны небесной. Не достанешь — пойдешь в строй.

— Достану, Николай Иванович, — уверил артельщик.

— Теперь ты, — продолжал Соболевский, обращаясь к фельдфебелю. — Брать из имущества жителей без разрешения офицеров безусловно воспрещаю. Солдат — не разбойник. А мародеров — полевому суду. Все спиртные напитки немедленно выливать, посуду — разбивать.

— Так точно, ваше благородие! — ответил фельдфебель. — Не допустим.

Вошел денщик Соболевского, с усмешкой сообщил, что к ним приехал полковой священник.

— Чего смеешься? — спросил командир. — Пойди приведи отца Георгия... Нет, я сам встречу. А вы — ступайте.

Он вышел во двор без фуражки, с расстегнутым воротом, по-свойски.

Из самоварной трубы бойко валил уютный дым. Вдоль красной кирпичной стены скотного сарая порхала бабочка-траурница, то поднималась, то опускалась.

Он мимолетно вспомнил Полтавский кадетский корпус, тихую Ворсклу, окруженную длиннокосыми вербами, белые косынки хохлушек.

Из сарая доносилось мычание. Простая жизнь, по-

хожая на российскую и все-таки совсем чужая, окружала Соболевского в этом чистом дворе с кирпичными постройками.

Отец Георгий благословил его крестным знамением, улыбался. Все любили полкового священника, уже старого и лысого, за добрую душу, звали Батей; был Батя азартным картежником, играл в гарнизонном клубе в штосс и еще сильнее увлекался садоводством в своем саду.

— Здравия желаю, батюшка, — сказал штабс-капитан. — Заходите, чаю попьем, сегодня же воскресение.

— У тебя сухари? — спросил Батя. — От сухарей у меня зубы болят.

— Бисквитами угощу, — пообещал Соболевский. — Что новенького, отец?

Он вдруг поморщился, а священник втянул голову в плечи — в воздухе засвистела граната и разорвалась где-то рядом.

— Что это такое? — спросил Батя. — Как с тобой чай пить, ежели у тебя война идет?

— Это случайный, — ответил Соболевский. — Или наши батарейцы прицел не тот поставили.

Священник посмотрел в небо. Вновь было тихо, бабочка-траурница все порхала во дворе.

И тут снова — свистит, еще свистит, загудело со всех сторон, задрожала земля. Черный фонтан вырос за спиной священника на улице, и комья земли застучали по двору, обдав Соболевского и отца Георгия гарью и пылью.

— Живы? Скорей в дом! — крикнул Соболевский.

Вестовой подхватил самовар, заслонив его спиной. Соболевский взял фуражку, бинокль, шашку и снова выскочил во двор. Гремели разрывы, стоял черный дым и до неба поднималась серая пелена.

Обстреливали с высот, окружавших деревню. Соболевский понял, что надо спасать людей, и побежал по улице, придерживая одной рукой фуражку, другой — шашку. В голове крутились разные мысли. То он думал о лепешках и артельщике, то о невыпитом чае. Он видел, что скорее всего его убьет, но, благодаря воспитанной привычке быть готовым к смерти, не позволил страху овладеть собой.

Кто-то толкнул Соболевского в спину, он упал, в ушах зазвенело, и грохот стал доходить будто сквозь



вату. Потом его подбросило, ударило по руке. По лицу и шее потекло мокрое. Пощупал, посмотрел — кровь. Перед ним лежала сморщенная человеческая рука. Соболевский отвернулся, встал и побежал дальше. Рота потеряла четверть состава, а Черниговский полк остался без командира — погиб полковник Алексеев. Тем не менее на пять часов вечера была назначена атака на укрепленную позицию немцев. Задержка у Орлау не предусматривалась.

Соболевского назначили командовать в этой атаке своей и четвертой ротой, командир которой был тяжело ранен в голову. Одновременно по правую сторону шоссе должны были выступить первая и вторая роты, а дальше — Полтавский полк.

Штабс-капитан смотрел на заходящее еще высокое солнце, на темные сосны, возле которых тянулись германские окопы, и снова думал о лепешках. Теперь было ясно, что лепешек испечь не удастся, что сейчас многие заплатят жизнями за то, чтобы оставшиеся в живых двинулись дальше.

Это была первая атака, и чем меньше оставалось времени, тем бодрее и тверже делался голос Соболевского, отдававшего последние приказания.

Вся местность впереди не имела укрытий, поэтому решили атаковать быстрым, насколько возможно, движением, дабы не дать противнику возможности пристреляться. Ну с богом! Пошли!

Соболевский бежал рядом с хорошим солдатом Токаревым и унтер-офицером Анисимовым. Звякал котелок у Токарева, топали сапоги. Сколько еще они пробегут, прежде чем немцы спохватятся?

Недолго спохватывались, едва подумал — засвистело. Перелет! Разорвалось за цепью.

Снова звякает котелок, топают сапоги. Жарко. Не хватает воздуха. Засвистело. Перелет!

Сколько еще будет перелетов? Один? Два? А до окопов — бежать и бежать. Господи, сейчас ты совсем рядом со мной, ты охраняешь меня и моих людей, спаси меня, если можешь, ты спасешь, я знаю!

Бело-розовые облачка шрапнели разрываются в небе, заслоняя бегущую цепь от глаз господа.

Перед цепью встает земляная стена от гранат. Недолет! Ну что же ты? Сейчас накроет! Не можешь? Не хочешь? И как будто крючья впились в левую ногу, рванули. И правую рванули. И левый локоть

крючьями рвануло. Соболевский остановился. На бриджах, на рукаве среди расползающихся мокрых пятен — краснело. Но он не упал и спустя мгновение побежал дальше.

Черная стена выросла среди цепи. Упал унтер-офицер Анисимов, стал сворачиваться калачиком. А Токарев бежал и звякал котелком.

Вот уже шагов двести остается. Виден бруствер, бойницы, стволы винтовок. Артиллерия умолкла, чтобы не задеть своих. Сейчас — в штыки!

— Ура! — крикнул Соболевский.

Ударило в левое плечо, как будто проткнули железным пальцем. Он снова закричал, не остановился.

Вот уже бруствер. Крича, с раззявленным ртом задыхаясь от бега, Соболевский ступил на песчаную горку бруствера и от страшного удара, от которого раскололась голова, рухнул навзничь...

Атака сорвалась, но Соболевский уже не видел, как падают его солдаты, сраженные ружейным огнем, штыками и прикладами. Рукопашный бой длился около минуты. Штабс-капитан пришел в себя от озноба. Правая рука лежала в какой-то луже, он поднял руку — она вся в крови, а лужей, где она лежала, — была кровь. Изо рта текла кровь. Соболевский пошевелил языком, выплюнул обломки зубов, и ощутил, что у него раздроблена вся правая половина верхней челюсти и выбито три зуба в нижней. Пуля попала в рот и вышла в затылок.

Он лежал рядом с окопом, откуда доносились голоса. Рядом кто-то стонал. В окопе выругались, кто-то, кряхтя, полез на бруствер, раздались хрупающие удары приклада по костям. Стоны стихли.

«Сейчас и меня», — мелькнуло у Соболевского, и ужас от того, что он не погиб в бою, а будет забит, как животное, охватил его. К нему кто-то приблизился и сказал:

— Здесь офицер.

— Подожди, я сейчас, — отозвался другой голос. Над Соболевским склонился германский офицер, смотрел с любопытством.

— Помогите мне, — попросил штабс-капитан. Германец промолчал, вынул какой-то кортик и присел. Соболевский напрягся, стараясь отползти.

— Стыдно, стыдно! — сказал офицер, покачав головой. Он срезал у штабс-капитана погон, положил его



в карман и ушел. Твердый, укоряющий звук немецкого слова «Schade!» звенел в ушах.

Потом снова появился этот офицер, а с ним был еще один, с повязкой Красного Креста, — наверное, врач. Врач поднял голову Соболевского, и кровь изо рта и затылка потекла сильнее.

— Он сейчас умрет, — громко произнес врач и опустил голову на песок.

Первый офицер взял Соболевского за правую руку и сказал, прощаясь по-французски:

— Adio, katmrad!

Рядом германские солдаты оттаскивали трупы русских подальше от окопа к лесу.

Соболевский закрыл глаза, сознание оставляло его. Он еще почувствовал, как его тянут за ноги, и потерял сознание. Должно быть, Соболевский попал в ад, ибо когда он открыл глаза, то увидел, что над ним в сумеречном свете копошатся три темные фигуры, тормошат его и толкают. Зачем чертям нужно было вынимать у него из кармана бумажник, срезать шашку, револьвер, бинокль, офицерскую сумку и часы, срывать шейную цепочку с образками Николая-угодника и Спасителя? Распоряжался немецкими чертями старший унтер или ефрейтор. Соболевского затошнило и стало рвать. Унтер срезал у него с пояса флягу.

— Оставьте флягу, я хочу пить, — простонал штабс-капитан.

— А, ты хочешь пить, русская свинья! — воскликнул унтер и ударил его каблуком в нос. — Добей его!

Что-то ударило Соболевского по шее, снова все померкло. Очнулся он уже ночью. Шел дождь. Он промок насквозь, и мучительно хотелось пить. Над землей стояла темень, шуршали капли.

«Почему я не умираю? — подумал Соболевский. — Для чего же ты меня бережешь?»

Он попробовал ползти, скользя правой рукой и отталкиваясь коленями. Левая рука была совсем разбита, а плечо и локоть распухли.

Штабс-капитан прополз шагов семь и потерял сознание. Дождь равнодушно шелестел, было по-прежнему темно. Сколько времени Соболевский пролежал в беспамятстве? Он снова пополз.

— Господи, спаси люди твоя, — говорил раненый,

едва шевеля распухшими губами и слыша вместо слов стон и мычание. Но все равно, Он должен был слышать.

Снова штабс-капитан забылся и потом снова очнулся. Так он прополз шагов триста, пока не наступило утро. Он лежал в канаве на краю картофельного поля. Наши были еще далеко, дальше германцев. Надо было ждать ночи. Если он доживет до ночи, то поползет... К нему подошел отец, наклонился и спросил:

— Ты готов?

— Готов, — ответил Соболевский.

— Еще рано. Смотри!

Тридцать шесть барабанщиков отбили первые такты марша «Охотник», и соединенный оркестр полков сильно и звучно подхватил, наполняя душу любовью и отвагой.

Пехота проходила побатальонно, глядя на государя. Шел тридцать третий пехотный Елецкий, за ним тридцать шестой Орловский и девятая артиллерийская бригада. В Елецком когда-то служил отец Соболевского, был в турецкую войну с полком на Балканах. Но ведь ко времени приезда государя в Полтаву, отца уже не было в живых...

— Смотришь? — спросил отец. — Видишь, вот и ты стоишь, сынок.

Кадеты стояли в оцеплении на три шага один от другого, а в самых людных местах стояли мальчики десяти лет.

Соболевский хотел разглядеть себя среди старших кадетов, но тут началась ружейная трескотня и светлый майский день погас.

Штабс-капитан услыхал русскую брань, звяканье котелков, топот. Повторялась атака. Начинались боевые действия. Значит, он остался жить.

## ГЛАВА ПЯТАЯ

10 августа после полудня генерал Мартос из сообщений первой бригады восьмой дивизии и офицеров связи знал, что на линии деревень Орлау — Франкенау неприятель значительными силами занимает укрепленную еще в мирное время позицию.

Части пятнадцатого корпуса двигались из Нейденбурга и должны были с ходу вступать в бой, чтобы



очистить себе путь дальше в направлении Гогенштейна. Но как вступать без артиллерийской подготовки, без резервов, не зная глубины германской обороны?

Корпус накатился на преграду и отхлынул. Тридцатый пехотный Полтавский полк в беспорядке отступил, а говоря солдатским языком — бежал.

Услышав о позоре полка, носящего имя родного города, Мартос поехал на передовую. Он еще был во власти наступления и не мог терпеть, когда автомобиль задерживали заполняющие дорогу, прижимающиеся к обочинам колонны. Обгоняя, генерал раздраженно смотрел на бригадный обоз: патронные двуколки, санитарные линейки, походные кухни, провиантские повозки. Мелькнули серая ряса полкового священника рядом с белой косынкой сестры милосердия как неразличимые образы войны...

Провинившийся полк, потерявший к тому же своего командира, стоял понурившись. Первые шеренги смотрели устало, тускло.

— Полтавцы! — крикнул Мартос громким фальцетом. — Позор! Черниговцы не дрогнули, а вы — позор вам!.. У черниговцев тоже убит командир, полегло немало... Я вам верил! Держал ближе всех к моему сердцу. А вы первыми дрогнули! Можно ли отныне вам верить?

Мартос умолк и долго высматривал в лицах огонек раскаяния и воодушевления. Подполковник с перевязанной головой возле автомобиля рыкнул:

— Ну?!

— Верить! Верить! — раздалось два-три голоса.

— Боитесь? — спросил Мартос. — Смерти боитесь, полтавцы?.. Да! Многие из нас сложат свои кости, но без этого нельзя. А свое возьмем. Возьмем непременно... Разные пушки бросают шрапнели и бомбы, они убивают мало, а страху на малодушных наводят много. Пускай немец боится. А ты попривыкни и не бойся! Спроси у бывалого в боях. Что самое грозное? Пехотная пуля и штык! Штык в руках русского солдата — божья гроза. Все сметет, разнесет. Царь и Россия скажут спасибо... Не бойся, ежели много врага. Против вашего полка — два полка, что за беда? Русский солдат, да еще умный, да ловкий, всегда справится с двумя немцами. Одного побьет, другой со страху сбежит. Главное, нагони страху, а сам не поддайся страху. Ты — русский солдат, великая сила Русской

земли!.. Так верить ли вам, полтавцы? — Мартос снова замолчал, ждал ответа.

— Ура! — крикнул подполковник.

— Ур-ра! — отозвались полтавцы.

Генерал увидел воодушевление, какое желал увидеть. Они верили, что они великая сила, и были готовы снова идти под ружейные и шрапнельные пули.

Командир корпуса вернулся обратно в Нейденбург к своему штабу в приподнятом настроении, довольный поездкой.

Когда стало темнеть, с корпусной искровой станции принесли радиограмму: сосед слева, вторая пехотная дивизия генерала Мингина, подверглась панике и спешно отступает к русской границе.

Над пятнадцатым корпусом нависала угроза охвата с левого фланга, наперерез движению. Это означало только одно — переходить к обороне, а то даже и отступить. На всякий случай, руководимый больше инерцией наступления, чем сомнениями в правильности радиограммы, Мартос велел запросить штаб Мингина.

Ответ был такой — подобной депеши не передавали, в дивизии все благополучно, и она расположилась на ночлег в указанном ей приказом по армии пункте, деревне Кляйн Кослау.

Мартос с облегчением перекрестился. Теперь прояснилось: радиограмма была сфабрикована немцами. Они либо ждали прибытия подкреплений, либо хотели беспрепятственно отступить, для чего желали оттянуть атаку.

— Не выйдет, колбасники! — воскликнул Мартос в яростном воодушевлении. — Я не дам вам ни минуты, — и приказал атаковать на рассвете одиннадцатого августа, без подготовительной атаки артиллерии.

Напрасно Мачуговский вместе с инспектором артиллерии убеждали дождаться выхода на позицию мортирного дивизиона, Мартос настаивал на скорейшей атаке.

— Почему, Николай Николаевич, вы остановились перед Нейденбургом, а здесь не хотите подождать? — спросил Мачуговский с надрывом. — У нас и без того расстроены два полка. Зачем ненужные потери?

— Ненужных потерь нет! — отрезал Мартос. — В войсках порядок и готовность продолжать наступление.



— Но зачем в лоб?! — чуть не закричал Мачуговский. — Давайте дадим телеграмму Клюеву, пусть ударит на левый фланг немцев, не может ведь у них быть с тыла оборонительной линии!

— Чтобы потом все говорили, что мы не могли сами справиться? — спросил Мартос. — Карту!

Он сдвинул с зелено-голубого квадрата карты лежавший на озере Омулеф карандаш и прочертил пальцем линию от деревни Яблонкен до Орлау — вышло совсем близко. Потом проверил циркулем — дальше не стало.

— Видите? — спросил Мачуговский. — Если Клюев ударит...

— Дайте ему искровую телеграмму, — сказал Мартос. — С вами славы не добудешь.

Телеграмму послали.

Одиннадцатого августа в предрассветной темноте полки пятнадцатого корпуса подошли вплотную к германским окопам и с первыми лучами солнца бросились в атаку.

На протяжении двенадцати верст завязался упорный кровопролитный бой. Сходились на расстояние броска ручной гранаты, падали в волчьи ямы, повисали на колючей проволоке, — на порыв русских германцы ответили стойкостью.

Мартос выехал в линию атаки и, раздражая и дергая командира шестой дивизии генерал-лейтенанта Торклуса, доехал с ним в автомобиле чуть ли не до германских окопов, крича в упоении.

Только к десяти часам немцы стали отступать, Мартос мог торжествовать.

Он ехал по проселку вдоль развороченного картофельного поля и смотрел на следы сражения, смотрел с любопытством и горечью. Это был первый настоящий бой, и, несмотря на внешнюю победу, Мартос уже знал, что лично он никакой победы не одержал и что немцы отступили из-за клюевского маневра. (Клюев сообщал, что развернется против фланга и тыла немцев к девяти часам утра, то есть в разгар боя пятнадцатого корпуса.) На отсутствие победы указывали и незначительные трофеи — всего две пушки, захваченные Симбирским полком, и сто пленных. Немцы просто осадили назад.

Мартос смотрел на картину остывающего сражения, усеянную трупами и снаряжением землю. По по-

лю шли санитары, то и дело наклонялись, как будто искали уцелевшую жизнь. — Вот, справа! — вдруг произнес адъютант.

Мартос повернул голову и увидел стоящий на четвереньках труп русского офицера с обугленной дырой вместо головы.

— И туда смотрите, Николай Николаевич. Правее.

Там брело стадо свиней, непонятно откуда взявшееся. Огромный боров быстро бежал вперевалку и, добежав до погибшего от гранаты офицера, вдруг кинулся на него, стал топтать, рвать зубами.

— Стой! — крикнул Мартос. — Стреляй! — и, вынув револьвер, не дожидаясь остановки, выстрелил.

Следовавшие за генералом казаки-конвойцы мгновенно повскидывали винтовки и уложили борова. Они громко смеялись, повернувшись к Мартосу, уверенные в безусловной победе.

Из Остроленки становилось все труднее управлять войсками, корпуса удалялись, сведения запаздывали. Надо было и армейский штаб подвигать на территорию Восточной Пруссии.

Командующий не мог помочь каждому полку, не мог протолкнуть обозы, но он мог другое.

Самсонов все сильнее стремился повернуть фронт западнее, чтобы глубже охватить неприятеля и лучше базироваться на железной дороге Млава — Сольдау. Германцы то ли бежали, то ли затягивали наши корпуса, старались уйти от соприкосновения с ними, раствориться среди лесов. Разведка доносила, что они оставляют подготовленную заранее шпионскую сеть со средствами связи, а наши войска не успевают осматривать занятое пространство. Повсюду перед армией, на всех шоссе и железных дорогах, которые были доступны воздушной разведке и деятельности немногочисленных резидентов, было заметно непрерывное передвижение колонн и эшелонов. Что-то непонятное творилось за зеленой завесой лесов, что-то настораживающее, грозное.

И Самсонов запросил у Жилинского разрешения переориентировать наступление на фронт Алленштейн — Остероде. Он как будто снова отказывался от принципиального изменения, а предлагал Якову Григорьевичу компромисс.



Это было около полудня десятого августа, когда в Остроленке еще не было известно об остановке пятнадцатого корпуса.

После полудня аппарат Юза отстукал страшную в своей противоречивости ленту: «Германские войска после тяжелых боев, окончившихся победой над ними армией генерала Ренненкампфа, поспешно отступают, взрывая за собой мосты.

Перед вами, по-видимому, противник оставил лишь незначительные силы. Поэтому, оставив 1-й корпус в Сольдау и обеспечив левый фланг надлежащим уступом, всеми остальными корпусами, энергично наступайте на фронт Зенсбург, Алленштейн, который предписываю занять не позже вторника, 12 августа. Движение ваше имеет целью наступление навстречу противнику, отступающему перед армией ген. Ренненкампф, с целью пресечь немцам отход к Висле. 3004. Жилинский».

Телеграмма противоречила сведениям штаба армии о противнике. Осмотр убитых, допрос пленных и перехваченные кавалерией немецкие донесения указывали, что немцы стягивают силы к своему правому флангу. Что думал Жилинский?! Он тянул армию вправо, в тупик. Его слова «по-видимому, противник оставил лишь незначительные силы» дышали неуверенностью. И чуть ниже — самоуверенность римского патриция.

Самсонов пригласил Постовского, Филимонова, полковников Вялова и Лебедева и подполковника Андогского.

— Высказывайтесь, господа! Очевидно, что приказание главнокомандующего расходится с подлинной обстановкой. Надо наступать западнее, а не севернее. Вот сюда. На Алленштейн — Остероде.

Первым высказался начальник разведывательного отделения полковник Лебедев.

— Почему на Алленштейн-Остероде, ваше превосходительство? — возразил он. — Почему не западнее? Прямо в западном направлении? Вот здесь. — Он обвел район западнее Сольдау, против которого на карте значились флажки пятнадцатой и шестой кавалерийских дивизий. — Вот здесь, между Лаутенбургом и Гильгенбургом, летчики обнаружили биваки двух германских дивизий. По меньшей мере два корпуса сосредоточиваются у нас на левом флаге, а мы де-

лаем вид, что их нет? Не смеем верить собственным глазам!

Узкие голубые глаза Лебедева сузились в злые щелки, мелкие белые зубы ощерились в напряженной полуусмешке. Полковник явно превышал свои полномочия, показывая ошибочность предложения Самсонова.

— Благодарю вас, полковник, — сказал Александр Васильевич. — Какие соображения имеются у оперативного отделения?

Вялов с непроницаемым лицом молча провел линию от Дейч-Эйлау до Остероде, то есть показал тот участок фронта, который еще в самом начале войны хотел избрать для главного направления командующий армией. Он словно напоминал, как далеко в действительности отклонились войска и как заблуждается генерал Жилинский.

Всем это было непонятно: сосредоточение немцев нынче обнаружилось именно на дейч-эйлауском направлении, между Лаутенбергом и Гильгенбургом.

Жилинский вел армию окружать отступающих перед Ренненкампфом, а германцы сами готовились окружить окружавших.

— Считаю неудобным наше стратегическое положение, — сказал Вялов. — Наступать на Алленштейн по меньшей мере безыдейно.

— А я так не считаю! — прервал его Постовский.

— Не горячитесь, Петр Иванович, — попросил Самсонов. — Зачем давить на подчиненных? Продолжайте, полковник.

— Я думаю, малейший неуспех фланга — и мы на краю пропасти, — предупредил Вялов. — Надо решительно поворачивать корпуса на запад.

— Это немыслимо! — снова прервал Постовский. — Главнокомандующий неспроста приказывает занимать Алленштейн. Значит, у него есть на то основания. Или вы, полковник, лучше всех разбираетесь в стратегии?

— Петр Иванович! — сказал Самсонов.

— Да, Александр Васильевич! — ответил Постовский непримиримо.

— Этот максимализм — неуместен. Мы с вами прекрасно знаем, на что может согласиться Яков Григорьевич. Мы и так просили у него все, на что он мог согласиться.

— Стратегия выше нашего почтения к главноко-



мандующему, — невозмутимо произнес Вялов. — А там, как записано в Петровском военном артикуле, пусть меня судит великий государь и военная коллегия... Посмотрите, как идут корпуса? Вся линия фронта принимает форму выпуклой дуги, и нам предлагается наступать центральными корпусами еще дальше на север и северо-запад. А фланги? Первый корпус стоит на месте, нам не разрешено двигать его дальше Сольдау. Справа, шестой, отстает от тринадцатого, тринадцатый начинает висеть правым флангом в воздухе... Считаю, нельзя согласиться с телеграммой главнокомандующего. Надо доложить ему наши соображения.

Постовский отвернулся от Вялова, посмотрел на Самсонова, словно говоря: «Что он плетет? Разве мы не обращались?»

— Да, доложить наши соображения, — задумчиво вымолвил Александр Васильевич. — Может быть, и вправду надо поехать в Белосток и объяснить Якову Григорьевичу? Не исключено, что он поймет.

— Ехать к Жилинскому оспаривать его директиву? — воскликнул Постовский. — Это безумие! Я знаю главнокомандующего, да и вы, Александр Васильевич, знаете... Что будут говорить о нашем штабе? Это позор! Лучше сразу в отставку...

— Да, полной ясности о силах немцев у нас нет, — сказал Самсонов. — Мы во многом вращаемся вокруг общих фраз и предчувствий. Придется принимать направление на Зенбург — Алленштейн...

— И послать в Белосток генерал-квартирмейстера! — подхватил Постовский с облегчением, так как спихивал всю ответственность на штаб фронта и отчасти на Филимонова.

— Согласен! — решительно произнес Самсонов и, обращаясь к Филимонову, который молча, с обычной злой напряженностью в лице слушал споры: — Николай Григорьевич, потрудитесь сегодня же подготовить записку и выехать.

После этого всем стало ясно — командующий уступил начальнику штаба.

Лебедев и Вялов поглядели друг на друга, отвели взгляды, как будто сказали, что отныне иллюзий нет.

Александр Васильевич поблагодарил офицеров, чувствуя перед ними вину. Сейчас он подпишет ошибочную директиву, и тысячи солдат пойдут дальше,

веря в отцов-командиров и твердя молитву об Отечестве. А потом?

Генерал-квартирмейстер Филимонов прибыл в штаб фронта ранним утром. Его принял рослый дежурный офицер. Жилинский и Орановский еще спали.

Дежурный офицер был свеж, выбрит, пах цветочным одеколоном Брокара. Сорокавосьмилетнему Филимонову было неприятно с ним разговаривать, глядя снизу вверх. Он потребовал доложить о себе генерал-майору Леонтьеву, генерал-квартирмейстеру штаба фронта.

— Безотлагательно! — решительно произнес Филимонов.

Против опасений Жилинский принял его скоро. Может быть, и не спал старик и дежурный просто врал.

Зато Орановский и Леонтьев, сцепив зубы, боролись с зевотой. Допоздна, что ли, сочиняли свои нелепые директивы?

Жилинский читал без очков, самсоновское письмо держал далеко от глаз. Его бледно-серое лицо было каменно-спокойно, нижняя губа чуть оттопырена, темнела бородавка на гладко выбритом сильном подбородке.

— Вы там забываетесь! — вдруг, не поднимая глаз, скрипучим голосом сказал главнокомандующий. — Вам же ясно говорится — перед вами совсем мало германских войск. Чего вы испугались? Откуда у генерала Самсонова такая осторожность?

Филимонов похолодел от злости, но молчал.

— Армия уже непростительно отстала! — продолжал Жилинский. — Генерал Ренненкампф гонит разбитых тевтонов прямо в клетку, вам остается только захлопнуть дверцы... Что вам поручено передать на словах? — Главнокомандующий посмотрел на Филимонова. — Александр Васильевич что-нибудь говорил?

— Он обеспокоен, — ответил Филимонов. — На левом фланге скапливают значительные силы.

— Чепуха! — сказал Жилинский. — Передайте своему командующему: видеть противника там, где его нет, — трусость. А трусить я не позволю генералу Самсонову и требую от него продолжить наступление. Немедленно возвращайтесь и передайте, что я сказал, слово в слово! Пусть о себе поменьше печется.



Когда возле деревень Орлау и Франкенау отгремел кровопролитный бой, возле деревни Линиау части второй пехотной дивизии двигались по узкому шоссе среди леса. Пехота шагала с обеих сторон, а посередине — восьмиорудийная конная батарея с зарядными ящиками. Пушки и повозки обгоняли роты, батарейцы глядели сверху вниз на пехотинцев, пехотинцы снизу вверх на батарейцев, и те, и другие искали что-то в незнакомых физиономиях, будто хотели узнать, как случайным соседям, легче или тяжелее?

К передку второго орудия был привязан большой гусь, который зло шипел и гагакал, а вся пехота махала на него, дразнила.

— Кавалерия! — крикнули впереди.

И как ветер по траве пронеслось по цепочкам, — головы вытянулись, рты приоткрылись, брови насупились.

— Кавалерия! — Все замерли и тотчас кинулись бежать. Батарея бежать мешала.

— Давай! Рысью! — кричали сзади. — Рысью! Где кавалерия? Откуда? А если бы и была, то могла бы на узком шоссе двинуться не больше чем по два в ряд! Но кто об этом думал!

Батарея развернулась, пошла рысью, прислуга взлетела на передки, на зарядные ящики, а пехота мчалась по обеим сторонам. То один бросался с правой стороны на подручных лошадей, и ездовые нагайками безжалостно сбрасывали его, то другой кидался на лафет орудия и падал под колеса, переезжавшие его и отбрасывавшие под копыта следующего передка, то третий пытался залезть на зарядный ящик, где едва держались на багаже сами хозяева, и батарейцы сбрасывали пехотинца вниз.

Сзади выстрелили, снова выстрелили. Никто не понимал, откуда стреляют, где кавалерия. Отчаяние несло людей. Да это уже были и не люди — безумцы...

Полковник Крымов был с кавалерийской дивизией возле деревни Фалькгейм, когда прискакал запыленный казак и доложил, что пехота просит немедленной помощи.

Крымов пытался вытянуть из гонца какое-нибудь объяснение, но тот отвечал:

— Там трошки поперепуталось.

Крымов полным ходом бросился в Линау.

Паника уже выдохлась. Люди сидели и лежали на

земле среди раненых и раздавленных. Разбитый зарядный ящик с вывороченными колесами соседствовал с лошадиным трупом. Улыбаясь застывшей улыбкой, глядел в небо молодой бородатый батареец.

Скорбь и отчаяние охватили Крымова при виде этой картины самоуничтожения. Неужели так сильно натянута жила?

К полковнику подошел подполковник, командир батареи, его глаза были как у рыбы, он хотел, чтобы Крымов объяснил какую-то внутреннюю причину паники.

Крымов ответил, что не знает, и проехал дальше. Прислонившись спиной к сосне, силился встать пехотинец с потным, искаженным страданием лицом. На нем не было заметно ни одной царапины.

Крымов послал к нему на помощь казака, тот вернулся и сказал, что у мужика ноги перееханы.

И Крымов больше не смотрел по сторонам, поехал в Скотау, к генералу Мингину, сообщить о несчастье.

— Но почему же так легко здесь лопнула жила? — недоумевал полковник. — Почему катастрофа так близко от удачи?

Он вспомнил вчерашнюю неразбериху при переправе кавалерии у Грушки, брошенные жителями деревни, загадочную пустоту, куда входила армия, и тянувшиеся вдоль озер за Лаутенбургом германские колонны, — все это вызывало и в нем тревогу. Но Крымов заглушал ее, находил объяснения... Может быть, предчувствие п о с л е д н е г о передавалось серым героям?

От Линау до Скотау — около пяти верст, а там дальше — Франкенау и полоса пятнадцатого корпуса, где утром был бой.

Крымов увидел малый результат этого боя на перевязочном пункте Нижегородского полка в Скотау. Ранеными был устлан весь двор, они шевелились, стонали, выли; из дома изредка выходил врач, и тогда санитары заносили кого-нибудь в дом.

А рядом под крышей тока на виду у всех желтели кучи соломы, но никто эту солому не взял, и раненые оставались на голой земле.

Врачи, сестры, санитары, казалось, ничего не замечают и не слышат. Они действовали в каком-то замкнутом круге, не собираясь выйти за его пределы.

Крымов вызвал начальника пункта и указал ему на солому. Тот безразлично вымолвил:



— Это не нужно. Сейчас жарко. Не застудятся.

Крымов возмутился, прикрикнул на него, но из этого ничего не вышло.

— Не мешайте нам работать, господин полковник, — попросил начальник пункта. — Разрешите идти!

Как ни был тяжек общинный, ратный труд войны, но в сравнении с тем, что выпадало на долю раненых, он был светлым праздником. Как ни опаздывали хлебопекарни и обозы, как ни подводило живот, но солдат знал: положенные ему месячные полтора рубля, хлебные рубль три копейки, положенные на ночлеге три с лишком фунта соломы на подстилку, щи, каша, забота ротного командира, молебен полкового батюшки, поддержка равных товарищей, — все это создает мир, пригодный для жизни. А раненому — горе горькое!

Крымов остановился возле голого человека. Человек смотрел словно из-под засохшей кровавой корки, голова была разрублена, и кусок кожи вместе с волосами свисал комком.

— Что с тобой? Кто тебя раздел? — спросил Крымов.

— Дай напиться, — без привычного титулования попросил раненый. Вестовой отстегнул флягу и нагнулся над ним. Вода забулькала; полилась по подбородку. Раненый давился ею.

— Оставь глоточек! — взмолились рядом. — Ну оставь, ради бога!

Крымов велел Степану и казакам принести ведра.

— Спаси Христос, ваше благородие, — произнес раненый. — Лежишь тут и жить неохота... Все терпишь, терпишь... Я был в головном дозоре с тремя товарищами. Они бросили меня. Начали мы подъезжать к опушке леса, а там скрывались «его» главные силы. Открыл «он» по нам огонь. Лошадь моя пала, я пустился бежать за товарищами, но куда за ними поспеть? Остался один на поляне... Налетает на меня эскадрон конницы и атакует меня. Тут я получил первую рану. Вот, в левое плечо... Связали мне руки назад, привязали к уздечке и потащили. Тащили, пока не оборвался. Начал я вставать, в это время шашкой и разбили мне голову. Я и повалился. Тогда меня еще

ударили пикой в левый бок, около подмышки. В сердце метили, да не попали, я остался жив. Видят, что я жив, снова бьют пикой, в другое плечо. Я ткнулся носом в землю, лежу, не шевелюсь. Как вдруг два выстрела. В правую руку, вот — ниже локтя. Я сознания и лишился. Только к вечеру пришел в себя, не знаю, где нахожусь, чувствую себя слабым. В скором времени проходит одна наша пехотная рота, солдатик заметил меня, подбежал, раздел донага, хотел перевязать, как тут «он» открыл огонь, пехота побежала, я и остался голым... Все, терпение мое кончилось. Я решил скорее умереть и пошел по линии фронта. Но ни одна пуля не задела меня, хотя и осыпали, как градом. Видать, предел наступил. Так я брел неведомо куда, а утром меня подобрали... Вот опять смерти жду.

Этот раненый кавалерист тоже был из последних. Чем мог ему помочь Крымов?

— Сейчас я скажу доктору, — пообещал Крымов, понимая, что этого мало.

— Эй, санитары! Сюда! Живо! — крикнул он.

— Жалеете вы нас, ваше благородие, — сказал раненый. — И других надо бы скорее. Прикажите им...

— Как тебя зовут? — спросил Крымов. — Тебя представят к кресту.

— Михалушкин Никита Бонифатьевич.

— Прощай, Никита Бонифатьевич. Даст бог поправишься, еще послужишь.

Филимонов вернулся в Остроленку, когда в штабе армии уже несколько часов было известно о трудном (неожиданно трудном!) бое у Мартоса и помощи со стороны Клюева. Поэтому вчерашний спор, принимать или не принимать директиву Жилинского, теперь утрачивал неопределенность. Отныне к угрозе слева, от Лаутенбурга-Гильгенбурга, прибавлялась угроза, и тоже слева, силою до полутора корпусов! Филимонов докладывал командующему с глазу на глаз, передал выражения Жилинского дословно, как и было велено.

Александр Васильевич покраснел, задышал часто и шумно. Дремлющая в нем астма стала приподнимать его широкую грудь, полезла наружу.

Филимонов уже знал об изменении обстановки, но молчал, не намеревался говорить никаких слов сочувствия.



— Он нас подстегивает, — сказал Самсонов. — Благодарю вас. Можете идти.

Филимонов не уходил.

— Что еще? — спросил командующий.

— Мне ведомо, что генерал Мартос самовольно приостановил движение своего корпуса.

— Да, бой был тяжелый.

— Я думаю, он хочет облегчить неизбежный поворот армии к западу, — сказал Филимонов. — Но если Яков Григорьевич на такой поворот не согласится?

— Тогда все мы будем должны обратиться за ответом к своей чести! — резко произнес Самсонов.

Командующий армией ждал ответа из штаба фронта. Ни у кого, даже у Постовского, не было сомнений, что сейчас надо требовать и требовать. Однако в телеграмме Жилинскому решительных выражений не было, Самсонов не хотел обострять до крайности. Да и что в конце концов, неужели Яков Григорьевич не понимал угрозы, нависающей над армией?

Самсонов торопил: нет ли ответа, и один раз сам вышел в аппаратную. Ответа все не было.

В приемной Самсонов заметил на столе яркие плакаты, остановился, стал разглядывать. На одном плакате был изображен донской казак на коне — розовые щеки, черные усы, красные губы, смоляной чуб. На другом — кухонная полка, где были нарисованы в карикатурном виде все участники европейской войны и сбоку напечатаны стихи, довольно забавные:

На полке буфетной,
Лишь вечер настал,
Сосискою венской
Был поднят скандал.
Прижал ее с кашей
Наш РУССКИЙ горшок:
«Подвинься, сестрица,
Хотя б на вершок».
Вскричала сосиска:
«Обид не снесу!»
На помощь позвала
К себе колбасу.
А та отвечала:
«Помочь нелегко,
Сама я прижата
Бутылкой с Клико».

Тут дружно с сестрицей,
Приняв грозный тон,
На помощь позвали
К себе макарон.
Английский же ростбиф
За всем наблюдал,
Строптивым сестрицам
Он грозно сказал:
«Лишится, братцы, последня вершка,
Коль РУССКАЯ каша пойдет из горшка».

И нарисован большой горшок, из которого лезет каша, а отдельные ее кусочки — маленькие ладные человечки в пехотной форме.

Самсонов улыбнулся и сказал:

— А что? Забавно... Только почему он сестриц называет братцами?

— Да, — ответил есаул, — завтра прибывает английский представитель...

— Не хватало нам англичан, — проворчал Самсонов. — Ничего хорошего от них не жди. Вот ему такая русская каша, конечно, придется по вкусу.

Еще минуту назад плакат нравился, но поглядев на него глазами англичанина, он увидел глупое бахвальство, шапкозакидательство, вечную готовность жертвовать людьми. Вспомнил, что из Ставки уже наезжали союзные представители, восторгались порядком у Мартоса и — торопили.

— Убрать? — спросил понятливый адъютант.

— Не надо. Англичане знают нас. Какие есть, такие и есть. — Самсонов вернулся к себе, стал читать поступившие донесения и при этом не забывал об англичанине. Наверное, будет подгонять во имя союзнических интересов? Пусть теперь русские поработают и за союзников, не так ли?

Но полевая записка от Крымова, датированная вчерашним днем, отвлекла Александра Васильевича и вернула к делам собственным — Крымов сообщал как раз о бахвальстве Артамонова и вообще о ненадежности командира первого корпуса. А что касается грубости Мартоса и забитости Мачуговского, то Самсонов только усмехнулся, прочитав об этом. Мартос — один из лучших генералов, его Самсонов знает с детских лет, поэтому туда нечего вмешиваться, само как-нибудь утрясется.

Отдельно лежало письмо, подписанное острым твердым почерком Екатерины Александровны.



И от киевских юных лет, когда в Днепре водились русалки, перелетел Самсонов в жаркий мусульманский Ташкент, к семье.

«Каждый день начинаю молитвою об Отечестве, — писала жена. — Да хранит тебя Господь! Тебя здесь часто вспоминают, а в связи с 50-летием покорения напечатали в «Турк. ведомостях» много статей, в них есть и про тебя... Я вспоминаю японскую и не нахожу себе места. Неужели и эта будет такой долгой? Целый год дети не увидят отца!

Володя говорит, что война принесет тебе еще большую славу. Он поставил у себя на столе твою фотографическую карточку. Читает «Историю» Карамзина, выискивает связь с прошлым и заботится о моем душевном состоянии, читает мне о подвигах русских и поет «Вещего Олега». Верочка еще ничего не понимает.

Я начинаю подумывать о возвращении в Елисаветград, где нам когда-то так счастливо жилось. После войны ты вернешься, мой любимый полковник, к своей пани-коханке, и мы снова будем вместе».

Она как когда-то называла его любимым полковником. И вот он заглянул в ту невозвратимую пору — где там мы с тобой, Катя, пани-коханка?

Самсонов спрятал письмо в карман, подошел к окну. Близился вечер, в бледно-голубом небе летали стрижи. Он посмотрел на костел, к которому шли несколько женщин, и, обращаясь к жене, подумал: «Поддержи меня!» Потом он вызвал Бабкова и справился о телеграммах. Но Жилинский молчал.

Только поздно вечером, в десять часов, Самсонов приказал позвонить в Белосток. К аппарату подошел Орановский.

— Вы получили нашу телеграмму, Владимир Александрович? — спросил командующий.

— Получили, Александр Васильевич. Но обстановка усложняется...

— Повторяю нашу обстановку. Неприятель силою в три дивизии после боя с пятнадцатым корпусом и обхода его тринадцатым отошел в направлении на Остероде. Для выполнения директивы можно, оставив заслон против него, двигаться в направлении Алленштейн и Зеебург, но тогда нельзя будет преследовать отступивший неприятельский корпус, почему прошу испросить указания главнокомандующего, могу ли от-

ступить от директивы. К этому добавляю, что корпусные командиры указывают на большое утомление и недостаток в хлебе и соли.

— Александр Васильевич! Мы не возражаем, если вы отступите от директивы. Приказ получите позднее... Высылаем вам сводку. Первая армия потеряла соприкосновение с противником. Вы меня поняли?

— Понял, Владимир Александрович. Благодарю.

— До свидания.

Сообщенная Орановским новость была тревожной, а может, даже и катастрофической. Исчезнувшие германцы могли оказаться в любом месте Восточной Пруссии в течение нескольких часов; не исключено, что они уже перебазировались по своим железным дорогам. И что Самсонов в таком случае мог сделать?

Александр Васильевич снова собрал штаб и с горечью поведал новость. После этого дремлющая штабная машина ожила: решено было переезжать в Нейденбург ближе к войскам, немедленно направить стрелковую бригаду из Новогергиевской крепости на укрепление левого фланга, а также из Млавы — третью гвардейскую дивизию и тяжелый дивизион.

Сделав все это, составив соответствующие приказы и телеграммы, штабные чины не испытывали удовлетворения. При помаргивающем электрическом свете лица у всех казались одинаково старыми. Постовский с брезгливой гримасой смотрел в окно, где на полоске света между неплотно задернутых штор сердито билась толстая ночная бабочка. Полковник Лебедев поправил штору, все стихло.

— Ваше превосходительство! — сказал полковник Вялов. — Разрешите быть до конца откровенным?

— Слушаю вас.

— Считаю своим долгом... У нас связаны руки: мы не можем распоряжаться своими фланговыми корпусами. Почему нам приказывают выделить шестой корпус к Пассенгейму? Нам говорят: для прикрытия правого фланга? Вот здесь?! — Вялов провел карандашом над линией озер. — Здесь достаточно и одной бригады — как реплики против конницы. А выдвигать целый корпус — стратегический нонсенс! Преступно расходовать наши ограниченные силы для второстепенной пассивной задачи!

Вялов был прав, но излишне горячий тон его и резкость формулировок вызывали чувство противодействия.



— Давайте сохранять корректность, — заметил Постовский. — Недопустимо в подобных выражениях отзываться о распоряжениях начальства.

— Извините, ваше превосходительство, мою несдержанность, — ответил Вялов. — Но нам платить за разбитые горшки. Я полагаю, надо просить штаб фронта распоряжение о шестом корпусе отменить. И еще — разрешить нам первый корпус двинуть дальше Сольдау. Пока не поздно!

— Первый корпус можно стронуть только с разрешения Верховного, — сказал Самсонов — Но вы правы, полковник. Надо действовать, а потом... — Он улыбнулся. — А потом пусть судит великий государь и военная коллегия... Петр Иванович, — обратился он к Постовскому, — свяжитесь по прямому проводу с Белостоком. Доложите наши предложения.

И снова должен был решать Яков Григорьевич, на этот раз — судьбу Самсонова. Зачем он назвал Самсонова трусом? Среди старых товарищей это не принято. И не заслужил Самсонов такого обвинения. Но, может быть, Яковом Григорьевичем руководил злой случай или вышестоящие силы, и он вымолвил слово в запальчивости минуты? А с другой стороны, откуда у него запальчивость, когда он весь закостенел?..

Но если Самсонов связывал свою судьбу со старым товарищем, опираясь в мыслях на чувство братства, то молодые члены его штаба, Вялов, Лебедев, Андогский (наверное, и Крымов), — все они были подвержены сомнению относительно этого патриархального чувства, стремились противопоставить ему универсальный закон. Они были «младотурки» — как метко окрестили молодых выпускников Академии Генерального штаба, зараженных буржуазным свободомыслием. Понятнее было бы назвать — «декабристы», но это отдает бунтом, а значит, уводит в сторону от сути дела. Нет, они не бунтари, не революционеры, они — какие-то новые русские.

И тут Самсонов вспомнил ростовского инженера с польской фамилией (Ши?.. Шема?.. Шиманский!), который говорил, что России эта война не нужна, вернее, нужна только сельским хозяевам ради хлебного вывоза через Проливы. Так ли это? Неизвестно. Армия не рассуждает, армия воюет, и у нее есть идеал... Уже было за полночь, когда Постовский позвонил в Бело-

сток и сообщил, что Самсонов считает необходимым переехать в Нейденбург, так как при дальнейшем наступлении связь с корпусом станет еще менее возможной, а связь автомобилем и летучей почтой — совсем недоступной.

Постовскому отвечал Леонтьев — возражал, ибо с Нейденбургом не было прямой связи.

— Мы можем установить промежуточную станцию, — сказал Постовский. — Боюсь, мы совсем потеряем сообщение с армией во время боев!

— Здесь присутствует начальник штаба, — ответил Леонтьев. — Он говорит, что требование устройства прямого сообщения исходит от Верховного. Следовательно, мы не имеем права разрешить переезд до устройства прямого сообщения.

Самсонов встал, уперся кулаками в стол и приказал Постовскому:

— Пусть зовет Орановского!

Постовский кивнул, сказал, что требовалось, но трубки не передал, дожидаясь чего-то, наверное, голоса Орановского, и Самсонов чуть ли не силой отобрал ее.

— Владимир Александрович! — сказал командующий. — Может, из Белостока начнете управлять моими корпусами?

— Это категорическое требование Верховного главнокомандующего, — ответил Орановский и, помолчав, добавил: — Если вы желаете от него отступить в зависимости от обстоятельств, то это ваше дело.

— Прекрасно, — сказал Самсонов. — В конце концов мне платить за разбитые горшки.

Они умывают руки, подумал он. Черт с ними, лишь бы не мешали! Закончив разговор, Александр Васильевич сказал, что все могут идти спать, а сам вышел в приемную.

Здесь, сидя на полу на попонке, дремал Купчик, упираясь лбом в поднятые колени. Услышав тяжелые шаги, он вскинул голову с нависшим чубом и встал.

— Что снилось? — спросил Самсонов.

— Да разное, — ответил вестовой. — Все больше — девки. Лучше казачек нет девок.

— Идем погуляем, казак, — позвал командующий. Во дворе было тихо, лежали темные тени, а вверху густым рассыпанным светом сияли августовские звезды. Выглянул часовой и снова скрылся в тени. Невидимые, близко переступали ногами лошади. Пахло се-



ном, дегтем, бензином. Автомобиль поблескивал звездами, как пруд.

За спиной хлопнула дверь, голос Бабкова негромко окликнул:

— Александр Васильевич, вы далеко?

И несколько казаков протопали по ступенькам охранять своего командующего.

Ночью двенадцатого числа поступила долгожданная новая директива. Надо было безостановочно наступать дальше, ни о какой передышке не могло быть и речи. Об усталости войск доносили командиры центральных корпусов, Мартос и Клюев.

Второго августа в 16 часов в штаб 2-й армии поступила следующая телеграмма: «11-й день непрерывных маршей, большое сражение вынуждают ходатайствовать дать дневку частям корпуса, иначе трудно поддерживать строгий порядок, который сохранялся до сего дня. Ожидаю следующем переходе снова боя. Все пункты района сильно укреплены. 55. Мартос».

Утром 12-го августа — телеграмма от Клюева: «Благодаря ночлегу на прежних биваках, сегодня утром удалось подвезти часть хлеба и сухарей, полагаю, что дня на три теперь обеспечены, а потом настанет опять нужда. При быстром движении вперед транспорты по невозможно плохим дорогам нагнать не могут, район корпуса исключительно бедный, буквально нельзя найти ни куска хлеба, что испытываю на себе лично. Полков, богато обеспеченных хлебом и сухарями, в корпусе нет. 81. Клюев».

Утром Постовский пытался добиться у Орановского разрешения на дневку, но начальник штаба фронта отказал и не советовал с этим обращаться к Жилинскому. Однако по настоянию Самсонова Постовский попросил, чтобы Жилинскому тем не менее было доложено. Ответ главнокомандующего был суров.

Двенадцатого же августа полковник Лебедев организовал воздушную разведку и получил новые сведения о скоплении противника в районе Гросс Гардинен — Страсбург против левого фланга армии. Докладывая об этом командующему, он смотрел на него с дерзостью и верой, будто был готов, как гусар-корнет, кинуться с саблей на янычар.

Двенадцатого августа генерал Клюев прислал в штаб армии офицера с личным письмом Самсонову.

«Нельзя продвигаться с такой поспешностью, — писал командир тринадцатого корпуса. — Тылы не поспевают, снарядов хватит на один хороший бой, наладить связь и разведку — трудно. Зная хорошо Восточно-Прусский театр, военные игры старших начальников в немецком Большом генеральном штабе, я нахожу, что складывающееся положение опасно для нашего левого фланга, со стороны которого и надо ждать главного удара неприятеля, примерно в направлении на Нейденбург».

Двенадцатого августа подполковник Андогский связался со штабом фронта и доложил, что против первого корпуса на левом фланге «обнаруживается безусловно около двух немецких корпусов, а может быть, немного более». Подполковник передал просьбу генерала Самсонова: притянуть к Алленштейну шестой корпус. Спустя два часа, в восемь часов 15 минут, Орановский уступил:

«Главнокомандующий разрешает распорядиться 6-м корпусом по усмотрению ген. Самсонова, в зависимости от обстановки. Вместе с тем главнокомандующий обращает внимание на то, что 1-й корпус, вопреки категорическим приказаниям, выдвинут севернее Сольдау, и подтверждает, что севернее Сольдау он может быть выдвинут лишь с особого разрешения Верховного главнокомандующего, о чем испрашивается телеграммой. Орановский».

Увидев сей ответ, Александр Васильевич засмеялся:

— Слава богу, хоть правую руку развязали. Теперь развяжем левую. Как Илья Муромец, полежали-полежали, да и пойдем!

Неожиданно при явном нарастании тревоги Самсонов ободрился, стал напевать хохляцкую песню и подзадоривать Постовского:

— Вот поедем с вами, Петр Иванович, верхами на передовую линию, как вы?

— Сперва испросите дозволения, — мрачно отговаривался Постовский.

— А мы возьмем да махнем! — продолжал командующий. — Пусть потом ловят! Купчик едет, я еду, а вы?

Даже не подзадоривал, а поддразнивал Александр Васильевич своего смирного начальника штаба.

— Бедному собраться — подпоясаться, — отвечал Постовский.



Штаб готовился к переезду в Нейденбург. Туда, куда должен быть направлен удар немцев. Впрочем, авось это предвидение Клюева было вилами по воде писано. Здесь, в Остроленке, тоже головы на плечах имелись! Постовский, например, верил в силу формируемой в Варшаве девятой армии, которая вот-вот двинется на Берлин. Верил и поэтому чуть заскакивал вперед, словно Восточная Пруссия была уже за русскими. Ждать оставалось недолго, скоро все должно было разрешиться.

И в этот час, накануне главных событий, почуяв их приближение, в штабе появился англичанин в сопровождении полковника Звягинцова. Майор Нокс хотел составить себе представление о действиях самсоновской армии, но на свой английский манер, а не так, как маркиз Лагиш, сунувшийся в обход армейского штаба прямо в пятнадцатый корпус, где Мартос поразил его порядком. Ну и что же? Француз был в восторге.

Нокс, конечно, желал другого, и порядок в войсках и вольтижировка казаков его мало интересовали, как и полагалось военному агенту, он знал, что русские любят парады.

Самсонов принял англичанина с любопытством и простотой, хорошо понимая, что этот моложавый британец с подстриженными по-солдатски усами представляет стародавнего российского противника, владычицу морей.

Постовский любезно рассказывал гостю об успешном наступлении, но о тягостях похода не говорил, разворачивая лишь армии во всем блеске.

Филимонов глядел на Нокса со своим обычным хищноватым выражением и явно думал, что читалось по его глазам: «Только тебя нам не хватает!»

Нокс слушал, смотрел в карту, поворачивался к Звягинцову, который дважды подводил начальника штаба к вопросу о скорости, потом сказал:

— Это хорошо. В Ставке я слышал, что вам нелегко. Но вы продемонстрировали понимание своего союзнического долга... Не надо подвергать ненужному риску обаяние русского имени. — Он чуть улыбнулся Самсонову: — Согласны?

Командующий вспомнил Туркестан. Это были слова из политической инструкции коменданту Керкинской крепости, и Нокс неспроста показал, что знает их.

Он словно предлагал: «Не надо строить иллюзий. Коль взялись вместе воевать — воюйте».

— Вы давно в России? — спросил Самсонов.

— Давно. С марта.

— И уже постигли обаяние русского имени?

— Англичане всегда чувствуют русское обаяние, особенно в Персии и Афганистане, — ответил Нокс. — Пора и французам почувствовать. А то бедные наши французы отступают к Парижу и молятся только на вас.

Британский майор был уверен в себе, говорил прямо и, по-видимому, обладал веселым нравом.

— Приглашаю вместе пообедать, — предложил Самсонов. — А пока займемся делами... С вами будет мой адъютант, есаул Бабков.

Полковник Звягинцов чуть заметно расправил плечи и напомнил, английскому военному агенту хотелось бы познакомиться со стратегическими принципами командующего.

— Вот на обеде и познакомится, — сказал Самсонов. — Вы видели там плакатик? Русская каша, — видели?

— А! — понял Нокс. — Тогда я понимаю, почему на обеде.

— Но может, сейчас в двух словах? — предложил Звягинцов. — Для знакомства.

— Разрешите, Александр Васильевич? — хищно высунулся Филимонов. — Для знакомства надо бы вспомнить военные игры германского генштаба. И письмо Клюева!

— При чем тут письмо? — возразил Постовский, с быстрым блеском в пенсне повернувшись к Филимонову. — Это наши мелочи. Не обязательно о всех мелочах сообщать союзникам.

— Да пусть знают, Петр Иванович, — сказал Самсонов. — Что скрывать? От нас не убудет. Генерал Клюев, командир тринадцатого корпуса, сегодня прислал доклад... — И командующий объяснил, в чем дело.

— Наверное, генерал Клюев ошибается? — спросил Нокс.

— До войны генерал Клюев занимал должность начальника штаба Варшавского округа, — заметил Филимонов. — И ошибаться ему затруднительно. Он просто прав.



— Но вы не отступаете? — воскликнул Нокс. — Вы наступаете! Вы не принимаете доводов генерала Клюева!

— У нас приказ наступать, — сказал Самсонов. — Но доводы генерала Клюева — серьезные. Об остальном вам расскажут в оперативном отделении.

Командующий твердо посмотрел на англичанина, словно хотел внушить ему чувство драматизма. «Я знаю, вы были моим противником, — говорил взгляд Александра Васильевича. — Обаяние русского имени для вас пустой звук. Вам нужна русская каша. Но эта каша — кровавая».

Взгляд Нокса ответил: «Иной она не бывает».

И они расстались.

Когда-то, то ли еще в Киевской военной гимназии, то ли в Николаевском училище, давным-давно, запомнилась Самсонову военная истина: по-настоящему храбр тот, кто знает, чего нужно бояться. Она была трудна для юного ума, зато теперь для немолодого генерала стала ясной. Конечно, легко в бою кричать, размахивать шашкой, но это какая-то нерусская храбрость, о чем заметил еще поручик Лермонтов. «И умереть мы обещали...». Это ведь разница огромная: умереть мы обещали или умереть нам приказали.

Завтра штаб переезжает в Нейденбург, на территорию Германской империи, чтобы победить или погибнуть вместе с армией. Гибель не исключалась. Генерал Клюев был прав, предупреждая об опасности.

Но сегодня еще можно было в последний раз все обдумать. Велика опасность на левом фланге? Да, велика. Только уже поздно поворачивать армию и наносить удар на район Гильгенбурга — Лаутенбурга, поздно, ибо это потребовало бы отступления большинства корпусов. Это была бы уже другая операция, может быть, более удачная, даже стратегически более оправданная. А та операция, главной идеей которой являлось быстрое наступление, чтобы заставить германцев отвести часть корпусов из Франции, та операция осталась бы незаконченной.

Клюев вопиял об опасности. В штабе этот вопль нашел поддержку и отражался горестным эхом в душах штабных чинов, да впрочем, наперекор чувству самосохранения, как удар молнии свыше, с высоты, неподвластной разумению отдельного человека, было

решено продолжать первоначальное движение, подчинив интерес отдельных людей, отдельных корпусов, отдельной армии интересу войны.

Тем временем, пока в кабинете Самсонова решался вопрос жизни и смерти, штабс-капитан Дюсиметьер развлекал Нокса захваченными бумагами, дневником и письмами командира батальона Бессера из германского первого резервного корпуса.

Ноксу хотелось расспросить о Самсонове, но Дюсиметьер твердо держал нить разговора, с галльской легкостью обходил возражения британца.

— Вот об отступлении, например, — сказал штабс-капитан и начал читать: — «Наше отступление по направлению на Кенигсберг после больших успехов произвело на солдат, а еще больше на население неблагоприятное впечатление. Русские занялись по большей части сжиганием всех казенных имений. Все дороги были запружены бегущими жителями, что производило печальное впечатление...» А вот что о русских...

— Но это очень длинно, — сказал Нокс.

— Нет, я сокращаю. Это будет интересно... Вот: «В общем русские очень трусливы, однако они имеют лучшие карты и очень хорошее снаряжение... Русские казаки рыщут везде, но лихости у них нет никакой. Вообще русские могли бы уже наводнить Восточную Пруссию, если бы у них не было столько страху. Но зато они умеют отлично прятаться, их укрытия совсем нельзя заметить. Один батальон 33-го полка они подпустили к себе близко, вдруг открыли стрельбу пулеметами из домов и фабрики, так что мы понесли довольно большие потери. Во всяком случае война против Франции даст лучшие плоды...»

Нокс, услышав последнюю фразу, засмеялся:

— Русские трусы? А плоды — во Франции?

— Он просто юморист, этот немец, — согласился Дюсиметьер. — Когда пишет, каких уродов ему прислали из запаса, — один смех. Хотите прочитаю?

— Нет, благодарю, — сказал Нокс. — Я бы желал узнать о скоплении германцев на левом фланге.

— Я об этом и рассказываю! — возразил штабс-капитан. — Первый резервный корпус сейчас именно там, у Лаутенбурга.

— Они могут в любой момент ударить вам во фланг? — спросил Нокс.



— Мы это учитываем и подкрепляем наши части, — ответил Дюсиметьер. — Здесь любопытная психологическая деталь. Этот немец пишет...

— К черту вашего немца! — не выдержал Нокс. — Неужели у вас нет более содержательных вещей?

— Вам будет интересно, — улыбнулся Дюсиметьер. — Я не сомневаюсь... Вот. Это уже из писем к немцу: «Ты совершенно прав, что не допускаешь никакого снисхождения, к чему? Война это война, и какую громадную сумму денег требует содержание в плену способных к военной службе людей! И жрать ведь тоже захочет эта шайка!

Нет, это слишком великодушно. Если русские допускали такие ужасные гнусности, как ты видел, то нужно этих скотов делать безвредными! Внуши это также своим подчиненным! Очень жаль, что в твоем подчинении состоят люди, которых нужно револьвером выгонять из окопов!» — Штабс-капитан оторвался от бумаг, чуть прищурил ярко блестевшие нагловатые глаза и добавил: — И еще советуют нашему вояке: «Возьми же себе у русских пальто. Харди тоже не имел с собой пальто, а теперь взял у русских». — Как вам это нравится, уважаемый сэр?

Нокс пренебрежительно махнул рукой и спросил:

— Зачем это мне? Я понимаю — война, аморальность, жестокость... Но я не журналист. Не надо угощать меня пряностями... Генерал Самсонов оставляет сильное впечатление, согласны?

— Это медведь, — ответил Дюсиметьер. — На нем висит свора собак.

— Его штаб?

— Нет, не штаб. Я не имею в виду людей, уважаемый сэр. Самсонов — кавалерист. В любой стране кавалерия — наследница самых консервативных традиций. Она в своей сущности феодальна. Хотите прочитаю, как немцы описывают казаков?

— Капитан, вы неисправимый шутник. Но что-то в вас чертовски привлекательное. Может, вы сами сочиняете за немцев эти истории?

— Это мой секрет, майор. Я догадываюсь, — вам нужны стратегические откровения, но у меня такого нет. Вы разочарованы?

— Вы знакомы с генералом Клюевым, капитан? — спросил Нокс, сделав рукой поощряющий жест. — Он тоже феодальный медведь?

— Скорее, он европейский бульдог, — усмехнулся Дюсиметьер. — Если у вас на уме его письмо командующему, то поверьте, он писал его с холодной головой. Вы прибыли подталкивать нас? Вам письмо Клюева помешает. Знаете, он телеграфирует, что у него в войсках жрать нечего?

Нокс покачал головой и произнес фразу о героизме и самопожертвовании во имя общих целей, потом спросил, знает ли капитан о том, что немцы уже прорвали французский фронт и движутся на Париж?

Двенадцатого августа, накануне отъезда штаба второй армии в Нейденбург, главнокомандующий армиями Северо-Западного фронта генерал Жилинский позвонил в Ставку и сказал начальнику штаба генералу Янушкевичу, что вторая армия обречена. Жилинский понимал, что, сообщая об этом, он уже мало что может изменить, но желал хотя бы на краткий миг сбросить давившую его глыбу. Отступающие французы, бедный толстяк Жоффр, необходимость гнать русские корпуса на бойню — все это куда-то провалилось перед воспоминанием о юношеской короткой дружбе с юнкером Самсоновым. Закостеневший, знающий все законы службы, самоуверенный генерал потерял уверенность и, как тогда, в Варшаве, во время первого разговора с Самсоновым, хотел найти опору в том, кого посылал на жертву. Но теперь, накануне решающих событий, было ясно, что в любом случае Самсонов останется героем, а обвинят Жилинского.

Яков Григорьевич, поняв, что его руками приносится в жертву старый товарищ, не выдержал и обратился прямо вверх. Он забыл, что обвинял Самсонова в трусости, чтобы посильнее подстегнуть. Впереди была пропасть, слова уже ничего не значили.

Двенадцатого августа Яков Григорьевич нарушил закон службы, которому следовал десятилетиями, и предложил сберечь вторую армию наперекор мнению Ставки о безостановочном наступлении. Его омертвевшая душа стала оживать, ему сделалось больно.

Он доложил Янушкевичу правду — в полках нет хлеба, мало снарядов, войска слишком разбросаны. И самое главное — нельзя смотреть на Восточно-Прусский театр, как на второстепенный и уменьшать его силы, нельзя воевать со связанными руками!



Янушкевич ничего не оспорил, лишь попросил расшифровать «связанные руки».

— Первый корпус генерала Артамонова! — ответил Жилинский. — Самсонов только с особого разрешения Верховного может двинуть его... Почему? Потому что Ставка хочет перебросить корпус в Варшаву и открывать новое оперативное направление, на Берлин?

— Французы настаивают, — пояснил Янушкевич. — Наш посол в Париже сообщает — положение там тяжелое. У нас французские представители просто стонут, чтобы мы наступали быстрее.

— Я предоставляю генералу Самсонову право приостановить движение на Алленштейн до полного устранения опасности на левом фланге, — сказал Жилинский.

— Не думаю, что это понравится великому князю, — заметил Янушкевич. — Я доложу ему ваши соображения, Яков Григорьевич.

Разговор закончился, и что могло быть дальше, зависело уже от других, Жилинский свое дело сделал.

Яков Григорьевич хотел перекреститься, по привычке поднял глаза в правый угол, но в аппаратной никаких икон не было, и он не перекрестился, только произнес первые слова молитвы: — Спаси, Господи, люди твоя.

Он не знал, как распорядятся Янушкевич и Верховный в Барановичах, поймут ли его или прикажут продолжать начатое.

В это время в Барановичах Янушкевич поручил генерал-квартирмейстеру Данилову продумать возможность приостановки наступления, а Данилов стал возражать, ссылаясь на известные обстоятельства.

Они не пришли к согласию, ибо каждый считал свою линию спасительной для России. Янушкевич хотел укрепить самсоновскую армию в соответствии с переменившейся обстановкой, а Данилов — гнать армию вперед, удовлетворяя просьбы маркиза Лягиша.

— Спасая Францию, мы избавляем себя от нашествия миллиона германских штыков, которые сейчас во Франции, — сказал Данилов. — Что по сравнению с этим трудности одной армии?

— Я тоже за спасение Франции, — возразил Янушкевич своему генерал-квартирмейстеру. — Почему мы

делаем вид, что с первого дня военных действий никаких перемен не произошло? Наши армии вошли в Восточную Пруссию и наверняка уже отвлекли на себя все, что немцы могут выделить.

Этот спор не разрешился двенадцатого августа в Барановичах, а через дипломатического директора при Ставке Кудашова был передан в Петроград министру иностранных дел Сазонову. О нем узнал и французский посол Палеолог, и государь. Судьба Самсонова была решена.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

Тринадцатого августа решение окончательно определилось. Данилов вызвал к аппарату начальника штаба фронта Орановского и продиктовал:

— Сообщаю, Верховный главнокомандующий ставит первостепенной задачей первой и второй армий покончить поскорее с Восточной Пруссией. С этой точки зрения считает крайне нежелательной приостановку движения на Алленштейн. Великий князь предоставляет в полное распоряжение генерала Жилинского собранные в районе Сольдау части первого корпуса, одобряет остальные соображения генерала Жилинского, но желает сильного и энергичного удара против немцев. Вместе с тем находит безусловно необходимым уже теперь найти возможность и способы скорейшей переброски хотя бы одного корпуса — безразлично какого — в Варшаву.

Это был приказ, и Орановскому стало ясно, что время колебаний и обсуждений миновало. Генерал поднял голову, поглядел в правый верхний угол, потом потеребил русую бороду и направился к Жилинскому.

Впрочем, приказ Ставки, неважно, каким он был — верным или ошибочным, уже опоздал.

Немцы нанесли удар еще двенадцатого, после обеда, у города Лаутенбурга, на самом краю левого фланга второй армии, охраняемом пятнадцатой кавалерийской дивизией. Это был пробный, пристрелочный удар, чтобы только прикоснуться к воротам русской крепости. Если бы новый командующий восьмой немецкой армией генерал Гинденбург знал, что Жилинский не позволял Самсонову видеть здесь противника



под страхом обвинения в трусости, то двенадцатого августа он бы улыбнулся. Немцы отбили Лаутенбург, ворота содрогнулись.

Жилинский и Орановский, будучи в неведении, обсуждали последствия приказа и расстановку сил в Ставке. Их совесть была чиста, и наступление продолжалось.

Взвод казаков был в охранении перед Лаутенбургом в маленькой польско-литовской деревне и, когда со стороны Страсбурга появились освещенные послеполуденным солнцем германские драгуны, казаки по своей тяге к засадам решили и на сей раз спрятаться за заборами и на крышах. Они уже устраивали такое в одном брошенном поместье, куда вошла на ночлег немецкая рота, и остались очень довольны своим геройством.

Драгуны приближались, покачивались их пики, и блестели остроконечные каски.

Казак станицы Луганской Платонов залез на дуб, угнездился там покрепче, положил винтовку на развилку. Он видел, как с опаской оглядываются немцы, и ждал, выбрав себе драгуна на муругой сильной лошади. Немцы доехали до околицы, остановились.

Выбранный Платоновым драгун посмотрел прямо на дуб, на казака, и Платонов не утерпел. Треснуло еще несколько выстрелов. Немцы повернули и ускакали. Остался только платоновский крестник возле убитой лошади, да и тот пустился бежать.

Не удалась засада. Казаки повылазили из укрытий, побежали до коней, а Платонову закортило отличиться. Он не думал, что за драгунами может идти большая часть. Он вылетел на дорогу, нахлестнул коня и, опустив пику, погнался за убегающим немцем.

Но сзади засвистели свои, а впереди выскочил из рощи эскадрон, а то и больше германцев.

Это двигалась бригада генерала Мюльмана стучаться в русские ворота. Германцы погнались за казаком, начали палить, но Платонов пригнулся к холке и уходил.

Уходил, да не ушел. Ранило коня, и пришел черед Платонову задуматься о смерти, ибо в плен немцы казаков не брали, сильную ненависть к ним питали.

Как только конь сбился с шага и потерял прыть,

Платонов стал горячо соображать, куда бы укрыться. Казаки уже ускакали, он остался один, но не сомневался, что удастся спастись.

Платонов оглянулся — драгуны вошли в деревню. Он соскочил на землю и побежал во двор. И пропал казак. Он забежал в сарай, закрутился волчком, готовый хоть в землю врыться, потом влез в бричку и затаился. Нужно было дождаться ночи, а там пусть немцы лучше сторожат своих коней.

Но пропал Платонов, еще до ночи.

В сарай кто-то зашел и стал звать казака. Это был деревенский мужик, наверное, хозяин. Он залез в бричку, что-то говорил. Платонов понял — немцы ищут его.

Он скинул сапоги, шаровары, гимнастерку. Хозяин принес широкие штаны, белую рубаху без воротника, и Платонов переоделся, потом потрогал свой казацкий чуб и показал, что надо остричь.

«Иди за мной!» — показал мужик, и они побежали в хату. В сенях, как в казачьем курене, пахло крестьянским жильем. На лавке возле лестницы, ведущей на чердак, стояла цебарка с яблоками, Платонов схватил одно, потом другое, сунул в карман. Хозяин хлопнул его по спине, что-то сказал, мол, спеши. Хозяйка, синеглазая, невысокая, с мягкими руками, взяла Платонова за чуб и большими ножницами стала кромсать эту кудрявую казачью красу, ворчливо приговаривая что-то про русских.

Со двора донесся скрип. Хозяин повернулся к окну, а Платонов как будто случайно прижался плечом к женской груди.

— Герман! — сказал хозяин и потащил казака в сени, к лестнице.

Платонов залез на чердак, сел за печной трубой, прислушиваясь. Голоса пошумели, потом притихли. Платонов съел яблоки, бросил огрызки на земляную засыпку и пожалел, что больше есть нечего. Потом снова послышались голоса, властный и веселый немецкий и писклявый хозяйский. Кто-то полез по лестнице. Что-то сказал по-немецки. Немцы!

Платонов спрятался за трубой и слышал, как они приблизились. Сбежать было некуда, он подумал, что сбежит позже, когда его выведут отсюда.

Стали спрашивать. Русский? Русский. Казак? Нет, не казак. Драгун.



Повели вместе с хозяевами куда-то в управу. Платонов почесывал голову, непривычно сократившуюся в размере без казацкого чуба.

Потом, в управе немцы стали кричать на хозяина, что-то требовать и грозить. Он застонал, заплакал. Его стали уводить. Но немец, который говорил по-польски, произнес что-то сочувственно-объясняющим тоном, и мужика пока оставили. Зато другой немец, улыбаясь, спросил о платоновском мундире, спросил по-русски, дружелюбно, как будто Платонов ради шутки спрятал форму, а теперь надо ее найти.

— Я не знаю, — ответил казак.

Немцы больше не спрашивали, но взялись за хозяина, повели его во двор. Другие немцы, те, что остались, подошли к окну, и Платонов тоже подошел, увидел, что мужика поставили на огороде, а сами выстраиваются с карабинами напротив. Жалко, что хозяин пропадал. Видно было — сейчас расстреляют.

Рядом с Платоновым сердито закричала баба, которая до сей поры помалкивала, и кинулась к двери. Солдат у дверей растопырил руки. Она толкнула его и вырвалась.

Эта баба погубила Платонова, она принесла его синие шаровары с красными лампасами, гимнастерку. Теперь стало ясно, кто он такой.

— Казак! — сказал доброжелательный немец и сделал над головой жест, будто приминал чуб.

— Какой казак? — возразил Платонов. — Драгун я.

— Нет, ты казак. Волосы резал... Нехорошо. Нашим женщинам грудь резал, пальцы резал... Сейчас будешь наказан. — Немец провел себе по горлу и что-то скомандовал.

Платонова крепко схватили за руки, но он не вырывался, надеясь, что еще успеет обмануть немцев.

Его повели по улице, довели до того дуба и стали накидывать на сук тонкую лощеную веревку. Несколько желудей стукнулись на землю под ноги Платонова. Он поднял голову, посмотрел на солнце. Оно было еще высоко, не меньше чем в три дуба над горизонтом. С востока доносилась горячая перестрелка, там шел бой.

Петлю спустили, подтолкнули казака в спину, он повернулся и вдруг заулыбался солдату. Ему почудилось, что это как кулачный бой в станице, когда молодые парни и взрослые казаки уже намахались и с крас-

ными мордами сейчас начнут посмеиваться друг над другом. Но солдат снова толкнул его в грудь.

Через несколько минут Платонов был мертв, и только его красный мокрый прокушенный язык блестел живым страшным блеском.

Утром тринадцатого августа штаб второй армии должен был выехать в Нейденбург, чтобы начать новую волну наступления. О щипке в Лаутенбурге уже знали, ибо ночью из Сольдау от Артамонова прибыл с докладом Генерального штаба капитан Шевченко. Впрочем, Самсонов воспринимал положение на левом фланге как достаточно надежное, о чем свидетельствовала и последняя телеграмма, полученная в полночь, от командира первого корпуса: Артамонов решил при наступлении противника отвечать атакой. Поэтому до встречи с капитаном Самсонов жил еще вчерашним днем.

После встречи, выслушав доклад русоволосого, с малороссийским выговором капитана, Самсонов сказал Постовскому, что надо задержать наступление центральных корпусов.

— Давайте пригласим оперативное отделение, — посоветовал Постовский. — Не надо спешить, Александр Васильевич.

Самсонов почувствовал, что начальник штаба думает по-другому и хочет переубедить его. Что ж, пусть пробует.

Пригласили Филимонова, Вялова и Андогского. Они вошли, как три богатыря — злой Филимонов, храбрый Вялов и быстроумный Андогский.

Постовский стал было объяснять положение первого корпуса, но командующий остановил его, взял управление в свои руки.

— Наступать в центре или повернуть все силы и ударить немцу в тыл и фланг? — подвел итог Самсонов, возвращаясь к той мысли, которую все они еще в Варшаве считали главной стратагемой. Но нынче он остался один!

Первым начал говорить полковник Вялов, он был за продолжение наступления, только предлагал сделать первый корпус более устойчивым, придав ему в помощь все прибывающие в Млаву части — третью гвардейскую дивизию, первую стрелковую бригаду и тяжелый артдивизион.



Вялова поддержали Филимонов и Андогский, а затем Постовский сказал, что мы не позволим дать себя загипнотизировать и оторвать от главной задачи — скорейшего наступления ради высших интересов державы.

Кому не позволим? Самсонову? Немцам? В словах Постовского прозвучало много задора. Александру Васильевичу не давал покоя упрек Жилинского в трусости. И он тоже стал думать не о положении своих корпусов, не об угрозе левому флангу, а о таких вещах, которые подчиняли его, командующего армией, абстрактным мыслям.

В самом деле, размышлял Самсонов, мы усиливаем Артамонова почти вдвое, подчиняем ему две кавалерийские дивизии, разве он не справится?

А трезвая мысль уступала абстрактным доводам. И еще не прибывшие войска, долженствующие входить в бой разновременно, пачками, и растянувшийся на двадцать верст фронт, который при движении центральных корпусов грозил растянуться еще на двадцать пять верст к северу вслед за уходящей вперед дивизией, — эти конкретные обстоятельства словно тушевались перед державным интересом.

«Артамонов должен справиться», — подумал Самсонов, вопреки всему, что знал об этом генерале раньше и вопреки мнению Крымова.

— Передайте генералу Артамонову, что ему на усиление поступают свежие части, — сказал Самсонов капитану Шевченко.

— Корпус должен удерживать Сольдау во что бы то ни стало! Верю, даже много превосходный противник не сможет сломить вашего упорства.

Пути назад не было.

Еще вчера опасность левому флангу была устранена сильнодействующим безотказным средством — отпиской в оперативном приказе, что ее вовсе нет, и сегодня ее тоже устранили.

Можно было выезжать в Нейденбург, взятый четыре дня назад генералом Мартосом.

Перед отъездом поступила телеграмма из Харбина, адресованная Самсонову. Она растрогала его, он покачал головой и показал ее Постовскому и Ноксу.

«Ваше превосходительство настал великий момент когда на защиту родины поднялись все верные сыны России Мы корнеты окончившие в прошлом году Ели-

саветградское училище и служащие первом заамурском конном полку который имеет счастье числить вас в своих списках мы оторванные от родного отечества из далекой Маньчжурии шлем вам бывшему начальнику родного училища свою просьбу умоляем устроить нас в действующую конницу — корнет Пявко Доценко корнет Майгуренко».

В раннюю утреннюю пору, когда Генерального штаба капитан Шевченко подъезжал к Остроленке, на позициях первого корпуса уже гремел жестокий артиллерийский бой.

Полковник Крымов проснулся от звуков далекой канонады, долетающей до Сольдау со стороны Уздау, с запада. Еще не зная, что произошло, он подумал о немцах. В дверь негромко постучали. Крымов крикнул: — Это вы, подполковник? Я не сплю.

Вошел командир батареи Девяткин, уже одетый, затянутый портупеей, и, увидев сидящего на кровати в одном белье Крымова, извинился и сказал:

— Мне пора, Алексей Михайлович. Слышите? Это у нас. Это «чемоданы». Я еду. Спасибо за приют, не поминайте лихом.

При рассеянном свете была хорошо видна спокойная милая улыбка подполковника, с которой он извинялся, что разбудил Крымова — в неурочный час, и прощался, наверное, навсегда.

У русских не было тяжелой артиллерии, следовательно, «чемоданы» могли принадлежать только противнику, обрушившему их в эти минуты на позицию возле Уздау, куда и собрался в свою батарею подполковник Девяткин.

— Погодите! — сказал Крымов. — Сейчас оденусь.

Он познакомился с ним вчера в штабе корпуса, обратив внимание на мягкий и одновременно мужественный облик артиллериста, в котором как бы соединялись важнейшие национальные черты. Узнав, что подполковник приехал из-под Уздау в казначейство за деньгами для батареи и еще не знает, где переночевать, Крымов пригласил его к себе. Подполковник оказался из торгово-промышленной семьи, понимал о пружинах войны больше Крымова, во всяком случае говорил, что англичанка-союзница заманивает русских Проливами, но потом может обмануть и выпихнуть



лопоухого мужика из Средиземноморья. И французам не доверял Девяткин, и германцам, с которыми мы дружили еще до учреждения Антанты. Ни от кого он не видел России снисхождения.

Крымов надел галифе и обулся, пошел провожать артиллериста. Девяткин спешил умирать, не подозревая, что наступление идет ради отвлечения от Франции немецких молодцов.

Крымов пожал ему руку и сказал, что сегодня будет в Уздау, может, там и встретимся. Девяткин посмотрел с простодушной искренностью и попросил:

— Вы передайте генералу Самсонову — русских всегда губит недоверие к своим силам.

Вчера он сердито говорил, что Россия единственная страна, которая ради других идет на жертвы, а сегодня — торопился под обстрел тяжелых орудий.

Девяткин залез в бричку, колеса скрипнули, лошадь цокнула подковами — и вот уже нет Девяткина, остался только грозный гул.

Вскоре Крымов был в штабе корпуса и забыл об артиллеристе. Пока немцы вели сильный артиллерийский огонь севернее Уздау, где стоял Выборгский полк с дивизионом легкой артиллерии и взводом гаубиц. Но что должно последовать дальше? Никто этого не ведал, все были спокойны, и даже болезненный Ловцов говорил, повторяя бодрую интонацию Артамонова, что корпус будет стоять, как скала.

Крымов зашел в аппаратную, где в эти минуты телеграфисты держали непрерывную связь со всеми дивизиями, и в галдеже нескольких голосов попытался уловить главный звук обстановки. Все было спокойно, лишь прервалась линия с Выборгским полком — наверное, перебило провод.

В аппаратную заглянул адъютант Артамонова и задорно объявил Крымову:

— Сейчас выезжаем! Командир корпуса собрался на автомобиле объехать войска, чтобы укрепить их дух.

Крымов пошел за возбужденным адъютантом, думающим, наверное, что Артамонов сейчас проведет Бородинское сражение.

— Ну где вы пропадаете? — добродушно воскликнул Артамонов. — Наконец-то они атакуют. Мы едем?

— Куда, ваше превосходительство? — спросил Крымов.

— В Уздау!

— А если он двинется со стороны Лаутенбурга? — возразил Крымов. — Лучше подождать.

Поручик вскинул голову, как молодой петушок, и осуждающе поглядел на него.

— Достаточно послать офицера связи, — сказал Крымов.

— Значит, вы не едете? — чуть обиженно удивился Артамонов.

— Я попозже, ваше превосходительство. Там ведь рвутся тяжелые снаряды и все живое зарывается в землю. Это не турецкая и даже не японская война, чтобы подобно Скобелеву или Куропаткину выезжать на белом коне...

— По-вашему, я должен бросить свои войска в решающий момент? — спросил, разводя руками, Артамонов.

— Ну благословите их по телефону, а штаб корпуса не покидайте, — ответил Крымов. — А то поедете да будете только мешать командирам. Наше место здесь.

Артамонов повел седоватой, коротко стриженной головой в сторону, поглядел на петушка-адъютанта, который явно ждал, что генерал устроит Крымову жестокую распеканцию, и закряхтел, посмеиваясь:

— Вот они, младотурки! Все им подавай по науке, по логике. А души солдатской — не желают признавать.

На распеканцию самсоновского посланца у него не хватило воли, он предпочел стерпеть и закончить дело миром.

Крымов вытащил хронометр и сказал, что пойдет к себе на квартиру попить чаю, ведь все равно часов до восьми ничего не произойдет.

Командир батареи подполковник Владимир Евграфович Девяткин под звуки продолжающегося обстрела доехал до фольварка, где располагался батарейный резерв.

— Слава богу! — сказал он, когда увидел знакомый домик и сохнущее на веревке офицерское белье.

Он почувствовал себя дома. Здесь, позади позиции, он располагался со всем батарейным хозяйством: здесь была даже маленькая банька. Справа на холме располагался наблюдательный пункт, внизу, в лощине,



стояли орудия, а дальше, в окопах пехоты, тоже сидел наблюдатель из артиллеристов.

В небе зашелестело, загрохотало, как будто приближался нацеленный прямо на подполковника железнодорожный состав. Выло, сотрясало небесную твердь и стискивало сердце ужасом неотвратимой смерти. Это летел «чемодан».

Вестовой спрыгнул с брички и упал на землю, закрывшись руками. Лошадь присела на задние ноги, как испуганная собака. «Сейчас понесет», — подумал Девяткин и, не выпуская из рук портфеля с деньгами, тоже выпрыгнул и потянулся подхватить вожжи. Но земля качнулась под ногами, подполковник застыл на месте с протянутой рукой и прижатым к боку портфелем, а лошадь с бричкой неслись в горы вниз, в лощину.

Девяткин опомнился при виде переворачивающейся брички и глядел на полускрытые зелеными кустами орудия, определяя, целы ли они. Ничего не разобрав, он пошел к домику.

Снова зашелестел по небу железный змей, снова замер подполковник, борясь с невыносимым ужасом. «Чемоданы» били впереди батареи, по окопам пехоты. Черные грибы дыма вздымались выше деревьев.

Навстречу подполковнику выбежали из домика старший офицер батареи штабс-капитан Рыксин и поручик Гулинокий. «Кто дежурный на батарее?» — крикнул Девяткин.

— Я, господин подполковник, — ответил Гулинский.

— Да как же так, Коля? — упрекнул его подполковник. — А ребята одни, без офицера?

— Так вышло, Владимир Евграфович, — виновато произнес поручик. — Утро тихое... думал чайку попить да побриться...

— Вам необходимо немедленно быть на батарее, — сказал Девяткин.

— Здесь от «чемодана» тоже не спасешься. Хоть и не можем достать их огнем, но оставлять своих орудий не будем.

— Но посмотрите, Владимир Евграфович, если надо — я мигом.

— А что думают там номера? Что господа чаек распивают и никого на батарее нет? Идите, Коля... Погодите, я тоже с вами. — Девяткин сунул Рыксину портфель и пошел по протоптанной тропинке вдоль

забора. Подполковник понимал, что сейчас никакие офицеры не могут спасти нижних чинов от обстрела, но знал, что в трудную минуту офицер должен быть со своими солдатами, и следовал этому правилу, а остальное — как Господь решит.

Земля ходила ходуном, когда он спускался в лощину и сапоги скользили по росе. Он добежал до артиллерийских окопов, спрыгнул вниз и был счастлив, увидев улыбку на лице лучшего наводчика батареи Протопопова, смуглого, как цыган, с серьгой в ухе.

— Как, Протопопов? — спросил подполковник. — Небось испугался?

— Кто испугался, ваше благородие? — крикнул наводчик. — Сидим и ждем, когда он по нам жахнет. А он все грозит да грозит. Аж заморились! — Девяткин прошел дальше к ячейке телефониста, где маленький щуплый телефонист сидел, зажмурившись, возле желтой коробки аппарата. Он тронул его за плечо, и солдат уставился бессмысленным взором, словно не командир стоял перед ним, а черт хвостатый вознамерился утащить его в пекло.

— Звони к пехоте! — велел Девяткин. — Проверь линию. — Телеграфист не пошевелился. Кругом звенело, бухало железной дубинкой в огромный барабан.

— Не бойся, — сказал Девяткин. — Это с непривычки. — Солдат судорожно зевнул и механически перекрестил рот.

— Встать! — скомандовал Девяткин и встряхнул его. Тот опомнился и испугался подполковника больше «чемоданов», что и требовалось. — Лезь наверх! — велел подполковник. — Живо!

Телефонист встал на банкет, высунулся над окопом и жалко оглянулся на командира, словно спросил: куда ты гонишь меня?

Но Девяткин не дал себе увлечься жалостью, ибо должен был заботиться не о маленьком телефонисте, а о всей батарее, и здесь жалеть кого-то одного значило губить всех.

— Наверх! — повторил подполковник.

Телефонист подпрыгнул, заелозил сапогами по земляной стенке окопа и с трудом вылез.

— Постой-ка там, — сказал Девяткин и обратился к двум номерам, которые сидели согнувшись на банкете и тусклыми глазами наблюдали за ним: — Скучно



без дела? Или смерти испугались, орлы? — Один из них что-то ответил — из-за грохота неслышное. — О себе не жалей! — крикнул Девяткин. — Так легче!

Поняли, закивали согласно. Девяткин велел телеграфисту спуститься, звонить к пехоте, где был оставлен в окопах офицер батареи. Телефонист сполз на животе вниз и с бодростью схватился за трубку. Потом поднял голову и, угасая, поглядел на командира. «Обрыв?» — подумал Девяткин. Ему не хотелось посылать этого щуплого человека на смерть, а если был обрыв провода, то посылать надо было.

— Молчит, — кисло сморщился телефонист. — Надо идти.

— Вызывай снова!

— Нет, ваше благородие, надо идти.

Снова загремело и засвистело в небе. Телефонист сжался.

— Ну иди, — сказал Девяткин. — С богом.

Телефонист с окаменевшим лицом поглядел на подполковника. Что-то с ним произошло, укрепило. А что именно, Девяткин не знал и не имел возможности узнать: он не жалел телефониста, и тот теперь был согласен, что его не надо жалеть.

Прибежал поручик и, ничего не поняв, стал с воодушевлением подгонять телефониста.

— Не надо, — сказал Девяткин. — Он все сделает, как надо.

Вот здесь, на этом солдате, кончалось право командира разделять с ними судьбу. Дальше — они со своими верой и страхом должны идти сами.

Обстрел тяжелыми снарядами продолжался, и можно было догадываться, какое пекло сейчас кипит впереди у Выборгского полка. Уцелеет ли там хоть кто-нибудь?

Прошло минут двадцать — солдатик не возвращался. И полчаса прошло, и час. Не вернулся телефонист. Послали другого.

В девять часов вдруг запищал вызов телефона — началась атака немцев.

Девяткин перекрестился и с легкостью выбрался из осточертевшего окопа. Наконец-то!

И пошли команды фейерверкерам, наводка по прицельному плану — на дорогу у двух сосен, кладбище, мельницу.

Вечная память тому солдатику, линия работала,

передавала сообщения с пехотных позиций и наблюдательного пункта.

В пехотном окопе подпоручик Луков был придавлен обвалившейся землей, но пока держался и указывал цели.

На дубе, на оборудованной площадке, находился поручик Русевич, передавал оттуда, что видит скопление неприятеля за кладбищенской оградой и в кустах слева от мельницы; а по дороге у двух сосен колонна разворачивалась в цепи.

Девяткин скомандовал произвести одиночные пробные выстрелы по всем указанным целям с последующим ускорением до беглого огня.

Рукояти казенников отвернулись, снаряды легли в казну, затворы вдвинулись и заперли казну.

Наводчик Протопопов глядел в прицел с неподвижной улыбкой, подкручивая маховик.

— Давайте, Коля, — сказал Девяткин Гулинскому.

— Первое орудие! — скомандовал поручик.

Протопопов дернул шнур, пушка бухнула, ствол отодвинулся назад, вытягивая из люльки маслянисто блестящую трубку накатника, потом вернулся обратно, а колеса подпрыгнули.

Вслед за первым открыли огонь остальные семь орудий, отбивая немецкое наступление.

Девяткин оставил Гулинского за старшего, вызвал лошадей и поехал на пригорок к дубу, на котором сидел Русевич. Ему не терпелось увидеть работу батареи. Весь мир соединился в небольшой участок позиции от двух сосен до кустов за мельницей, где серые фигурки с ранцами за плечами шли цепями в три линии. Их густота, твердость движения вызывала уважение и ярость. Белые облачка шрапнели разворачивались над ним одно за другим, и в бинокль было видно, как целыми десятками ложатся наступающие, но цепи не останавливались. Эта храбрость немцев не оставляла в душе Девяткина никакого снисхождения и порождала охотничий азарт.

Заметив, что на кладбище сосредоточивается около роты немцев, он скомандовал на батарею:

— Угломер ноль-ноль, соединить к правому два! — И огонь всех орудий соединился в одной точке, вымолачивая из-за надгробных памятников маленькие фигурки с ранцами, как недавно «чемоданы» долбили окопы выборжцев.



С дощатой площадки наблюдательного пункта в девятикратный бинокль было видно далеко в глубину, как из синеватой неразличимости от горизонта выплывают неприятельские колонны, ползут полевые кухни, скачут крохотные всадники. Вблизи серое и синеватое сменялось зеленым цветом, по которому темной полосой прочерчивались ломаные звенья окопов, разбитые там и сям инженерным гением немецкой тяжелой артиллерии.

На мгновение у Девяткина мелькнула мысль: «Кому только не платим мы кровавого налога, чтобы прилепиться к Европе!»

В тот же день чуть севернее, там, где располагалась вторая дивизия под командованием генерал-лейтенанта Мингина, в промежутке между первым и пятнадцатым корпусами, также гремел жестокий бой. Вторая дивизия обошла с запада и востока озеро Ковнаткен, выбила немцев из деревни Турау и двинулась на Зеевальде лавиной — кавалерия, пехота, орудия, лазаретные повозки. Разгоряченные боем, голодные солдаты свирепо перли на запад, надеясь, что после Зеевальде дадут передохнуть. Перед деревней Ревельский полк стал разворачиваться, и тут на него обрушился с фланга, со стороны фольварка, сильный пулеметный огонь. Должно быть, место было заранее пристреляно и только ждали подхода русских.

Но ревельцы не останавливались, полковник и офицеры чувствовали настроение полка — солдаты вошли в состояние самоотверженности и ничего не боялись. Полковник повернул против фланга роту штабс-капитана Амелунга, а три батальона двинул на Зеевальде.

Лихо выскочили перед цепями четыре орудия, развернулись на прямую наводку и засыпали германские окопы беглым огнем. Белые облачка поплыли над околицей.

Засвистели свистки в атаку, ревельцы кинулись в штыки и захватили первую линию окопов. И здесь остановились, уже не слыша призывов, срывали с убитых ранцы, искали консервы и сухари. Напрасно офицеры подгоняли солдат ворваться на плечах убегающего противника в деревню, — видно, не судьба была Ревельскому полку довести бой до победы.

Когда высунулись из окопов, захрюкали, зашелестели железные сверла «чемоданов» и разрывы стали вздымать на воздух и бесследно разметывать целые отделения. Огромные осколки с зазубренными краями перерубывали людей пополам. По воздуху носились целые деревья.

Ревельцы повернули, но слева, там, где охраняла рота штабс-капитана Амелунга, появились густые цепи немцев, шли уничтожать потрясенный полк.

Зато обстрел, слава Богу, прекратился! Можно было погибать по-божески, в бою. И горстки, оставшиеся от рот, в мрачном забвении, в тишине, подбадриваемые редкими возгласами офицеров, повернулись лицом к немцам и пошли им навстречу, опустив штыки. Из чьей-то измученной души, вздрогнувшей перед смертной минутой, вырвалось хриплое пение гимна:

— Спаси, Господи, люди твоя... — И соседняя душа отозвалась, повторив слова этой молитвы за Отечество:

— Спаси, Господи, люди твоя...

И все живые души поднялись над потрясенным, погибающим седьмым пехотным Ревельским полком, сливаясь в пении. Полк перестал существовать.

Пока слева оборонялся Артамонов и безуспешно наступал Мингин, в центре корпус Мартоса продвигался вперед и к часу дня тринадцатого августа дошел до линии Шведрих, Надрау, Вамплиц. Вторая армия и побеждала, и погибала. Взятый без подтягивания тылов быстрым напором ход все еще продолжался.

Мартос послал на помощь Мингину в направлении на деревню Мюлен Нижегородский полк с артиллерийской батареей, и полк ударился об эту деревню, оказавшуюся сильно укрепленной, и под обстрелом с трех сторон, с фронта и флангов, ведущегося из дренажных канав, из-за заборов и фольварков, завяз в тяжелом бою.

С этого боя корпус неожиданно, что не соответствовало штабной директиве, но соответствовало расположению сил противника, стал поворачивать фронт на запад. Предчувствие победы витало над пятнадцатым корпусом. Германские войска наконец-то были настигнуты.



Первый корпус, от которого зависела судьба армии, сотрясался под ударами, но стоял прочно. Выборгский полк не отступил.

К полудню немцы обрушились на его соседа — Иркутский полк, повторив обстрел тяжелыми снарядами, вздымающими над окопами стены огня и дыма и доводящими человека до безумия. Иркутский полк дрогнул. Германская пехота пошла вперед. Это был один из ударов в лоб, сотрясающих русскую оборону мощным грубым натиском.

Иркутский! Куда же ты? Но молчит Иркутский полк, одуревший от грохота. Оглохли солдаты.

Тогда начальник 24-й дивизии Рещиков велит Красноярскому полку подниматься, и красноярцы поднимаются. Идут стенка на стенку. Под ногами трещат кусты, приминается земля, осыпаются кромки дренажной канавы.

Красноярский! Иркутский! Пошли, ребята.

Но по шоссе из-за немецких цепей выехал черно-синий блиндированный автомобиль и стал водить хоботами пулеметов, отражая штыковую атаку. Как неодолимое чудище ехал броневик все дальше, загоняя молодцев-красноярцев в бегство.

И словно не было порыва. Натолкнувшись на машину, они побежали назад. Разорвалась оборона между Выборгским и Иркутским. Пришлось закрывать дыру лейб-гвардейским Литовским полком.

В тот день первый корпус не только оборонялся, но и успешно наступал. Вторая бригада 22-й дивизии, Нейшлотский и Петровский полки атаковали Генрихсдорф и заняли Гросс Ленск. На этом день тринадцатое августа закончился. Наступила ночь. Назавтра корпус должен был удержаться на своем правом фланге и нанести удар на левом. От Млавы прибывали свежие части, гремели цепями зарядные ящики, скрипели патронные двуколки, походным порядком шла пехота навстречу санитарным линейкам и бредущим в тыл раненым. Одна сила, избитая и изнуренная, уступала место новой. Что они могли поведать друг другу?

На рассвете, часа в три ночи, генерал Артамонов объезжал на автомобиле позиции правого фланга и, доехав до фольварка, где разместился штаб первой бригады, вызвал генерала Сивицкого, ожидающего атаки, и по-отечески благословил его. Чем еще мог

помочь командир корпуса? Сивицкий сказал, что ввиду необеспеченности правого фланга возле Фредау, откуда отвели в резерв Петровский полк, ему трудно будет удерживать позицию. Ему не было дела до того, что Петровцы пригодились у Гросс Ленска; он отвечал не за Гросс Ленск, а за эту вспаханную «чемоданами» долину, где нельзя было ни отступать, ни обороняться. Тогда Артамонов предложил Сивицкому отступить.

Да, отступить, не теряя времени, ибо уже нечем было закрывать разрыв.

— Нет, — возразил Сивицкий. — Лучше погодить до утра, а то будет похоже на бегство.

— В трех верстах есть прекрасная позиция, — сказал Артамонов. — Высота и отрытые окопы. Полагаю, там можно задержаться. Впрочем, действуйте по обстоятельствам. — Командир корпуса пошел к темнеющему у забора длинному поблескивающему автомобилю. Сивицкий провожал его, чувствуя недоумение. Артамонов перекрестил его и уехал.

Если бы Артамонов приказал лечь костьми на этом месте, Сивицкий со своими людьми стоял бы до последнего. А теперь?

В воздухе пахло бензиновой гарью. Небо уже светлело, тысячи звезд холодно искрились, навевая мысль о вечном покое. Над западной стороной всплыла зеленовато-белая ракета и покатилась, как падучая звезда. Сивицкий закурил, подумал о солдатах в окопах, поправляющих в эти минуты козырьки и ходы сообщения. «Хуже, чем было, не будет», — подумал он, решив оставаться на месте.

В пять часов тридцать минут начался обстрел с фронта и с правого фланга. Это значило, что за ночь немцы уже заполнили разрыв и поставили там батареи. И эти батареи посылали снаряды вдоль окопов, выламывая целые звенья, разбрасывая куски тел. Полк, вжавшись в землю, не двигался.

Через полчаса Сивицкому доложили, что адъютант лейб-гвардии Литовского полка передал приказание об отступлении.

Сивицкий велел перепроверить в штабе корпуса: верно ли это? Но штаб молчал.

Сивицкий решил не отступать, ждать немцев. Вот пойдут, как вчера, — а там поглядим.

И вскоре артиллерийский огонь стал вестись по выборжцам и слева, оттуда, где стояли гвардейцы.



Выходило, гвардейцы отошли. Полк доблестно погибал под огнем.

Сивицкий вспомнил о высоте в трех верстах с отрытыми окопами и решился на приказ отступать.

Только не было в трех верстах никакой высоты, лишь песчаный холм с тесным окопчиком на один взвод попался на глаза Сивицкому, и негде было занимать оборону. Однако в тот же час в другой стороне генерал Душкевич, неторопливый старый начальник 22-й дивизии, наступал решительно. Он приказал только что прибывшему стрелковому полку атаковать Генрихсдорф с фронта, а сам ударил со стороны Гросс Ленска.

И когда противник запаниковал и его батареи подхватились на передки и заметались, когда надо было еще чуть-чуть надавить, Душкевич получил приказ отступать. Генерал отказался его выполнять. Ведь победа уже обозначилась! Что это? Недомыслие? Оплошность? Путаница?

Командир саперной роты, тот, что поддерживал телефонную связь со штабом корпуса, доложил, что ошибки нет, он узнал голос передававшего телефонограмму, тоже саперного офицера.

И Душкевич отступил. Вместе с Пфингстеном он поехал в Сольдау объясняться с Артамоновым и по пути встретил своего посыльного, возвращающегося из штаба корпуса.

Что за насмешка судьбы! Офицер передал слова Артамонова, что на сей час все войска крепко держатся на своих местах. К чему же было отступать?

— Это я виноват! — воскликнул Душкевич и толкнул шофера в спину. — Гони!

Пфингстен и офицер-сапер, принявший злополучную телефонограмму, дернулись от рывка мотора.

Но как бы они ни гнали, как бы ни искали, кто виноват, догнать победу было невозможно, а виноватых не обнаружилось.

Артамонов был в штабе вместе с начальником штаба Ловцовым и инспектором артиллерии Масальским. Душкевич, задыхаясь, стал докладывать:

— Ваше превосходительство! Ваше приказание об отступлении кем-то злонамеренно искажено. Не исключаю измену. Не снимаю с себя вины за срыв блестяще идущего наступления. Вот штабс-капитан, он подтвердит, что приказание было от вашего имени...

— Сейчас недосуг разбираться, — преспокойно возразил Артамонов, и штабс-капитан, набравший полную грудь воздуха, так и выпустил весь этот воздух, ничего не подтвердив. — Конечно, я никакого приказания вам не передавал, это у вас напутали. Да Бог с ним, поезжайте-ка вперед, задерживайте все части, что идут из-под Уздау.

— Что? Уздау оставлен? — спросил Душкевич.

— На то воля божья, — вздохнул Артамонов.

— А где Крымов? — снова спросил Душкевич, словно полковник мог вмешаться и еще что-то изменить. Крымов был там, впереди Сольдау...

По штабу армии молниеносно пролетело: первый корпус стоит как скала!

Только что Постовский разговаривал с Артамоновым, и еще Артамонов просил передать командующему, что Александр Васильевич может на него, генерала Артамонова, полностью положиться.

На этом телефон замолчал, искровой телеграф тоже не получил ответа. Впрочем, главное уже было донесено, свалилась гора с плеч!

Теперь положение определялось явно в пользу русских: на левом фланге немцы остановлены, в центре оба корпуса, пятнадцатый и тринадцатый, наступают, причем сегодня в полдень уже занят Алленштейн, а на правом фланге — все спокойно.

— А я-то, грешный, вчера приуныл! — говорил Постовский Самсонову. — Да и вы, Александр Васильевич, невеселы были.

Вчера, действительно, у командующего случился приступ грудной жабы, а причиной этому было бегство Эстляндского полка. Эстляндцы из 2-й дивизии Мингина, бежали до самого Нейденбурга, и Самсонов случайно встретил эту тысячную толпу потрясенных солдат, клокотавших страхом и злобой. Он успокоил их, вспомнил, как доблестно сражались эстляндцы еще в турецкой кампании, когда он сам был юным корнетом, пристыдил упавших духом и затем велел выдать им хлеб из корпусного продовольственного транспорта и поставить в резерв для короткого отдыха.

Известие об успехе первого корпуса оживило Самсонова, а Постовский просто торжествовал, ибо это он в противоположность командующему стоял за продолжение наступления, несмотря ни на что.



— Поздравляю вас, Петр Иванович, — с чувством произнес Самсонов. — Давайте оперативный приказ на завтра. Будем смотреть правде в глаза.

Постовский тоже хотел смотреть ей в глаза. Назавтра надо было повернуть налево почти на девяносто градусов оба центральных корпуса — во фланг и в тыл атакующим Артамонова германцам.

Петр Иванович легко соединил давнишний, еще варшавский, замысел с нынешней обстановкой, свел мечту с явью.

Для Самсонова, который уже давно разрывался между своим замыслом и требованием фронта и Ставки, это выглядело долгожданным решением. Командующий даже не поглядел на карту — все было ясно и так. Артамонов сдерживает натиск трех немецких корпусов, а Мартос с Клюевым молотят по этой наковальне.

Поэтому Самсонов не спросил, сколько верст надо пройти Мартосу и Клюеву и способны ли они на молниеносный бросок.

Над Александром Васильевичем нависал гнев Жилинского и великого князя Николая Николаевича — командующий и сам был между молотом и наковальней.

И он одобрил главную идею оперативного приказа. Однако если бы Самсонов взял циркуль и измерил расстояния? Если бы забыл о давлении начальства? Если бы избрал путь не жертвы, но здравого смысла?

Тогда бы он отступил, был бы за это отрешен от командования. Впрочем, стратегическая угроза Восточной Пруссии сохранилась бы и продолжала сковывать германское командование.

Только мог ли Самсонов пойти этим путем? Гусар, не отступавший даже после приказа об отступлении? Скорее мог пойти в сабельную атаку на пулеметы. С оружием дворянским против оружия новейшей поры. Но эта готовность вовсе не означала, что он победит.

За обедом командующий был весел, вспоминал, как в японскую кампанию, во время кавалерийского набега на Инкоу, в одной деревне японцы оставили приглашение русским кавалеристам встретить Новый год вместе и что из этого вышло.

Нокс тоже вспомнил случай из той поры, как русские пленные обманывали японцев и каждый день напивались пьяными и пели песни.

Британец с усмешкой перечислил все действия японцев, чтобы воспрепятствовать русским получать алкоголь, и, перечислив, обвел взглядом русских собеседников, спросил:

— Как вы думаете, господа? Где же ваши соотечественники брали водку?

— Покупали у охраны! — сказал Постовский.

— Нет, — ответил Нокс.

— Проносили в одежде? — предположил Вялов. — Например, в грелке?

— Нет, полковник. Они вообще не проносили в себе ни грамма.

— Гнали самогонку? — спросил Вялов. — А?

Нокс засмеялся, хлопая в ладоши:

— Гениально!

— Прохвосты, — улыбнулся Самсонов. — Мне Крымов рассказывал, как у него казаки опорожнили две бутылки вина, не откупоривая. Угадайте, майор!

Нокс хмыкнул.

— Просверлили в донышке маленькие дырки и высосали! — сказал командующий.

— Россия-матушка! — с удовольствием произнес Нокс. — Вы уникальны, господа!

Всем было приятно слышать похвалу русским достоинствам, и даже командующий, знающий цену англичанам, тоже поддался славной минуте.

— Я знаю, в чем ваша тайна, — продолжал Нокс. — По крови вы не вполне русские. Вы татары, поляки, немцы, датчане. Вы всех переварили.

— Нет, дело в вере, — сказал Самсонов. — У нас никто не глядит, какой ты крови, в нашем паспорте записывается только вероисповедание. Тут никакой тайны.

— А если я мусульманин? — спросил Нокс, слегка выказывая восточные интересы. — Я знаю, в ваших войсках, кроме попов, есть и ксендзы, и пасторы, но нет мулл. Почему?

Над этим Самсонов никогда не задумывался и затруднился ответить. Ему помог Филимонов, рубанувший со своей обычной прямотой:

— Да у нас же христианская армия! А надо будет — заведем и мулл. И этих — кто там в Индии — будд!

Нокс понял, что лучше не развивать дальше восточную тему. Командующий простер над столом могучую руку и зычно, прерывая возможные голоса, заявил:



— В молодости я отбывал ценз в Лубенском гусарском полку, а там, господа, в золотую пору нашей славы служил небезызвестный герой Яков Петрович Кульнев. Так вот, знаю из полковой истории: Кульнев был наполовину турок и самолично гнал у себя на квартире водку. А посему вывод: будь кем мать тебя народила и служи России. Россия, майор, это не одни русские. Хотя и русские — тоже.

Нокс невозмутимо улыбнулся. Впрочем, что Нокс? Обед закончился, надо было заниматься делами. Самсонов перешел в комнату оперативного отделения, словно нырнул с головой в пучину.

Постовский протянул для подписи свою полевую книжку с написанным приказом:

«14 августа. В 3 ч. 30 мин. Из Нейденбурга. Ожидаю от 13 корпуса самой энергичной атаки совместно с 15 корпусом».

Подпись Постовского была зачеркнута.

— Лучше вы, — сказал Петр Иванович.

Самсонов подписал синим карандашом. Снова мечта была приписана к действительной обстановке.

На закате дня в Нейденбург вошла 6-я конная бригада, два полка с артиллерийской батареей, под командованием генерал-майора Штемпеля.

Потрясенный Самсонов выслушал доклад Штемпеля о полном отступлении первого корпуса на Млаву, посмотрел на побелевшего Постовского и покачал головой. Не хотел верить этому запыленному коренастому кавалеристу. Постовский стал переспрашивать, уточнять. Самсонов отвернулся. Запах лошадиного пота породил какую-то странную мысль вернуться назад, в молодость. Резкий грубый голос Штемпеля, повторявший горестное известие, вызывал раздражение. Как же так? Артамонов четыре часа назад доносил, что корпус стоит как скала. Врал! Врал, зная, что платить за вранье будут кровью. Недаром Крымов предупреждал...

— Отрешаю Артамонова! — сказал Самсонов.

— Надо бы запросить Якова Григорьевича, — вымолвил Постовский. — Командир корпуса, полный генерал. Имеем ли мы право?

— К черту! Где ваша книжка?

Постовский вытащил из кармана книжку в сером матерчатом переплете.

— Пишите, Петр Иванович! Генералу от инфантерии Артамонову. 14 августа, шесть часов тридцать минут. Из Нейденбурга. Удаляю вас от командования корпусом, предписываю вам сдать командование им генерал-лейтенанту Душкевичу. Командующий второй армией генерал от кавалерии Самсонов... Записали? Давайте подпишу!

Книжка легла перед Александром Васильевичем. И на сей раз подпись была в два раза длиннее, чем прежняя, как будто рука размахнулась и не смогла удержаться в привычных рамках. Да и какие теперь рамки! Все переворачивалось, победы не было, была гибель.

— Идите, генерал, — сказал Самсонов Штемпелю. — Вам следует прибыть к генералу Мингину. И передайте ему на словах, что нам отныне не остается ничего другого, как ложиться костьми. Коль не умеем воевать, так покажем хоть умение лечь костьми!

Штемпель ушел, придерживая шашку и грузно ступая пыльными сапогами.

— Что, Петр Иванович? — спросил Самсонов. — От Уздау до Нейденбурга двадцать верст, дорога к нам в тыл, по сути, открыта.

— Успокойтесь, Александр Васильевич! Ради бога, успокойтесь! — попросил Постовский. — Еще не все потеряно. У нас там достаточно сил, чтобы организовать оборону, только успокойтесь.

— Да что вы заладили! — отмахнулся Самсонов. — Я спокоен. — Он посмотрел на раскрытую полевую книжку.

В книжке еще было записано: «На фронте первого корпуса бой шел весь день, много было дано категорических приказаний не уступать ни шагу, что пока и выполнено. Отражая атаки огнем, части корпуса на левом фланге переходили в наступление. Большую помощь оказал подошедший дивизион тяжелой артиллерии...» И запись обрывалась. Видно, события опередили начальника штаба, дальше писать не имело смысла.

— И замените в первом корпусе начальника штаба, — сказал Самсонов. — Все, Петр Иванович! Я думаю завтра ехать к Мартосу. Я должен все видеть сам!

Постовский вздохнул, не отзываясь ни словом на небывалое заявление командующего. Бросать командный пункт, откуда руководил войсками, и мчаться очертя голову на передовую? Это было необдуманно.



Остынет — сам поймет, что он не эскадронный. Дверь отворилась, вошел Вялов.

— Ваше превосходительство! — решительно произнес он. — Сообщение из шестого корпуса. Корпус отошел.

— Бог с вами, полковник! — воскликнул Постовский. — Там у немцев и сил-то нет никаких.

— Слышите? — усмехнулся Самсонов. — Дайте-ка телеграмму! Прочитал: — «После боя 13 августа у Гросс Бессау севернее ст. Ротфлис 6-й корпус отошел к утру сего дня в район Нейендорф — Пфафендорф — Менсгут. Потери в людях довольно значительны... Оставлено (еще не выяснено сколько) несколько орудий и пулеметов. Обозы во время боя были нагромождены у самой позиции... Войска перемешаны с обозами...»

Постовский тоже прочитал и раздраженно спросил Вялова:

— Это что же? Они берут нас в клещи?

— Скоро выяснится, — ответил Вялов. — Во всяком случае Мартос и Клюев могут оказаться в сложном положении.

— Предлагаете отступать? — еще более раздражаясь, спросил Постовский.

— Выбор у нас небольшой, Петр Иванович, — невозмутимо вымолвил Вялов. — Возможно, придется. Но если б нам успеть повернуть центральные корпуса, мы бы тогда еще посмотрели, кому надо отступать.

Самсонов слушал и вспоминал, как на Янтайских позициях пехотная дивизия побежала было, но его кавалерийские офицеры остановили ее и повели вперед. Потом вспоминалась ночная атака на ханшинный завод ради спасения французского лейтенанта. Это было странное совпадение: тогда положили за тело Бюртена трех убитыми и два десятка ранеными, а сегодня тоже спасали, на сей раз всю Францию.

Командующий перешел к карте и переставил флажки, обозначающие дивизии шестого корпуса, между озерами в точку Пассенгейма. Здесь они должны встать и в узком озерном дефиле лечь костьми, но не пропустить врага.

Снова дверь отворилась, подполковник Андогский попросил разрешения войти. Вид у него был бодрый.

— Только что взяли Мюлен! — объявил он, улыбаясь.

Прорвали-таки! Вот Мартос, и тиран, и заездил свой штаб, а колотит германцев, спасает армию.

Постовский хлопнул в ладоши, шагнул навстречу Андогскому и забрал телеграмму.

— Кто подписал? Мартос? — спросил Самсонов.

— Полковник Панаш, — ответил Постовский. — Скромен наш Николай Николаевич! У него не «взят» Мюлен, а всего лишь «занят», точно без боя... Ну слава богу!

Блеснула надежда.

Как все сошлось! Позорный отход Артамонова, конфуз Благовещенского, порыв Мартоса.

— Завтра к Мартосу! — приказал командующий. — На месте разберемся, как быть дальше.

— Но, — возразил Постовский, — как же поддерживать связь с корпусами?

— Никаких «но»! Едем в Надрау, — велел Александр Васильевич. — Положение у нас пиковое. У немцев, я думаю, — тоже. Все решается завтра. Я должен быть в войсках!

Это было сказано угрожающим тоном, и Постовский замолчал и стал нервно сгибать бумажку телеграммы.

— Вы свободны, господа, — произнес командующий.

Что ж, наступала решающая минута, ради которой и живет офицер. Если суждено завтра Самсонову погибнуть на позиции, он погибнет, как погибли многие... а самым первым однокашник Данилевский, давным-давно, еще в Турецкую. Александру Васильевичу вспомнилось, как юный старший вахмистр Яков Жилинский испытывал на нем свою силу. Потом всплыл в памяти туркестанский штабс-капитан Головко, разбившийся на лошади в Николин день по вине самого Александра Васильевича... За Головко пришли на ум Екатерина Александровна, Володя и Вера на гремящем от оркестровых маршей вокзале в Минеральных Водах, и все глядели на него по-разному — со слезами, с гордостью, с благоговением.

Самсонов написал Екатерине Александровне краткое письмо: он здоров, дела идут хорошо, скучает...

После письма к нему напросился Нокс, и к той поре подоспела еще одна телеграмма от Артамонова, так что больше не было времени мечтать о прошедшем.

Артамонов лукавил и на сей раз. Текст был такой: «14 августа. 7ч. 25 м. из Сольдау. После тяжкого боя



корпус удержал Сольдау. Противник занимает охватывающее положение, но остановился. Переправы мои обеспечены. В этом районе опасно держать большие силы в виду артиллерии, особенно гаубиц. Связи все нарушены. Потери огромны, особенно офицерами. Настроение войск хорошее. А войска послушны, проявили выдающуюся выносливость, оставаясь без горячей пищи и воды более двух дней. Держать у Сольдау большие силы затруднительно. Удерживаю город авангардом из остатков разных полков. Для перехода в наступление надо прилив новых сил. Все прибывшие уже понесли большие потери. Приведу все части корпуса в порядок наутро и перейду в наступление. Генерал Артамонов».

Замечательно сочинил депешу генерал Артамонов! Сам отступал, а твердил о наступлении. И притом в каждой строчке и бравость, и безнадежность, — на любой вкус. Кто захочет атаковать, найдет подтверждение для атаки: кто захочет обороняться, тоже найдет доводы в свою пользу, — вот до чего искусен в вождении войск командир первого корпуса.

Вошел Нокс, спросил, как понимать завтрашний отъезд штаба? Вопрос не имел военной опоры — был чисто нравственный.

— Потому что верю в успех, — ответил Александр Васильевич. — Вам же ехать вовсе не обязательно.

Но британец хотел ехать. И дело не в служебном долге, нет, Самсонов почувствовал, что Нокс при внешнем хладнокровии не уклонится от боя, это был военный человек, пусть и англичанин, и как военный он был близок Александру Васильевичу.

— Ваша воля, — оказал командующий. — Но если возникнет опасность, я вас отошлю. Вы уж не обессудьте, майор.

— Хорошо, — согласился Нокс и стал спрашивать о положении фланговых корпусов, о которых он уже знал от кого-то из штабных чинов.

Самсонов не хотел говорить дурное об Артамонове, ведь это все равно что себя мазать грязью. Он припомнил давний случай из русской истории, как в осажденном поляками Смоленске долго и доблестно выдерживал осаду небольшой гарнизон под началом воеводы Шеина, и как поляки, утомленные безрезультатным сидением, предложили пропустить изнуренных голодом защитников вместе со всем оружием, и как защитники ушли, сохранив жизнь и оружие, но за

допущенное бесчестие воеводе Шеину затем в Москве отрубили возле Кремля голову — не за военные ошибки, их-то не было, а за своеволие; воевода Шеин должен был лечь костьми в Смоленске, а рядиться с врагами и ронять честь русского царя ему не было дозволено.

— Поляки поступили по-рыцарски, — ответил Нокс. — Мне кажется, вы не знали рыцарства, его условностей. Еще Наполеон жаловался на вас за отсутствие рыцарства. А вот Лев Толстой в «Войне и мире», этом учебнике для нас, иностранцев по предмету р у с с к о е о ф и ц е р с т в о, говорил примерно те же вещи.

— Может, и говорил, — сказал Самсонов. — Но со времен Наполеона много воды утекло. Не сомневайтесь, мы не намерены останавливать наступление. Вы в этом убедитесь сами.

Нокс спросил о подкреплениях и помощи со стороны первой армии Ренненкампфа. Наверное, ему хотелось, чтобы командующий убеждал его более весомыми доводами, но Самсонов не мог ничего сказать ни о подкреплениях, ни об ускорении первой армии, потому что ничего этого не было. А было только то, что Александр Васильевич уже сказал — завтра наступление продолжится.

— Скажите, господин генерал, в Елисаветградском училище были строгие порядки? — спросил британец, видно, решив подъехать с другой стороны. — В прошлый раз вы показали телеграмму из Маньчжурии...

— Порядки были строгие. Каким им еще быть в военном училище?

— Но вы обрадовались телеграмме. Вы любили своих юнкеров?

— Я старался, чтобы они стали хорошими офицерами.

— Я знаю, что такое военное училище, — сказал Нокс чуть насмешливо, словно предлагал не удаляться в сентиментальные дали.

— В любом закрытом заведении заводится бессмысленная жестокость, старшие издеваются над младшими, а как только становятся старшими, отыгрываются на новичках. Это происходит везде. Я не спрашиваю, господин генерал, было ли это в Елисаветградском училище, когда вы им командовали. Мне надо узнать, почему они не забыли вас?

— А вы своего начальника училища не помните? — усмехнулся Самсонов.



— Это ужасные воспоминания, — ответил Нокс.

— У меня — тоже ужасные, — вздохнул командующий. — Ничего мне не удалось. Вы думаете, я был хороший начальник? Черта с два! Знаете, что такое цуканье?

— Что?

— Это юнкерское самоуправление, майор. В моем училище было четыре роты. Первую называли жеребцами, вторую — стервами, третью — шлюхами, четвертую — гнидами. Всеми заправляли жеребцы. Они брали дань с младших деньгами, котлетами, работой. Сопротивляться жеребцам было бесполезно. Подробности расправ мне не известны, но одними избиениями не кончалось. — Самсонов замолчал, посмотрел на большую картину, изображавшую охоту на кабанов, и с горечью признался: — Толстой сюда не заглядывал! А это — тоже наше российское явление. Храбро умирать и изводить ближнего.

— Ближнего всюду изводят, — заметил Нокс.

— У нас — по-особенному. Ночью в спальне тесно сдвигали кровати, оставляли один проход. В конце прохода — трон. Вокруг трона музыканты с трубами, барабанами, свистками. Бунтовщика вели к трону, заставляли кланяться и били ремнем... Это будущие офицеры! Дошли до того, что заставляли глотать живых лягушек. И думаете, я смог пресечь это глумление над идеей трона, эти издевательства? Нет. Кое-кого убрали, но цуканье осталось. Вот вам, майор, ответ, почему меня не забыли. Я пытался что-то изменить. Всего-навсего пытался.

Увлеченный расспросами британца, Александр Васильевич отдалился от тревожной действительности и очутился в подполье русской души, о чем выпытывал Нокс, не ведая, что в жизни не только величие толстовских героев, но и елисаветградское цуканье составляет это явление. Да, в подполье, где рычат шутовские трубы, трещат барабаны и скачут лягушки. А там, над подпольем, возвышается вера, самопожертвование, любовь к Отечеству. Господи, неужели это все неразрывно связано?

— Вы откровенный человек, господин генерал, — сказал Нокс. — Я ценю вашу откровенность. Вы объясняете мне то, что никакие книги не восполнят для меня образ русской армии.

— Нет, майор! — возразил командующий. — Толстой в тысячу раз глубже. Если бы вы смогли перейти

на русскую службу, вы увидели бы много грубого и безнравственного, но понадобится — они умрут за Отечество.

И Александр Васильевич тоже привел этот довод — умение умирать, который терпеть не мог в других, в том же Артамонове, будь он неладен!

Во втором часу ночи от командира первого корпуса поступила новая телеграмма: «Прошу как милости о предании меня военно-полевому суду за мои действия. Корпус получил задачу, честно исполнил ее до конца, полег костьми, а потому если достигнутые результаты при создавшейся для меня обстановке неудовлетворительны для общего дела, виноват только я. Генерал от инфантерии Артамонов».

Эту телеграмму, полную отчаяния, доложили Самсонову только утром перед отъездом, однако она не тронула его. Военно-полевой суд или суд Божий — сегодня это было все едино перед лицом решающих событий. Он увидел горе старого генерала, но разве с ним могло сравниться горе тех, кто должен был нынче погибнуть? Донесение Мартоса заставило командующего забыть об Артамонове. «15 августа. 4 ч. 30м. Неверно было донесено, что деревня Мюлен очищена. Сегодня, 14-го, 6-я дивизия поведет снова на нее наступление... Потери, бои с непрерывными маршами до крайности истомили войска, а потери лучших доблестных офицеров и начальников и нескольких тысяч лучших бойцов значительно ослабили боевые способности корпуса...»

Самсонов перечитал текст, заметил, что Мартос ошибся, ведь сегодня уже не четырнадцатое число, а пятнадцатое, и понял, что время для Мартоса слилось в неразличимый поток. Неужели Мартос дрогнул?

Но Александр Васильевич не мог верить в неудачу пятнадцатого корпуса, наоборот, сейчас он выезжает туда, чтобы склонить удачу на свою сторону, и знает, что еще ничего не потеряно.

Еще Мартос доносил: «Положение на левом фланге корпуса, где находится совершенно расстроенная 2-я дивизия, лишает корпус правильных сообщений, установившихся через г.Нейденбург, а отсутствие надежной кавалерии заставляет действовать вслепую!» И Николай Николаевич просил дать передышку. Не будет передышки, генерал Мартос!



В семь часов пятнадцать минут из штаба армии была отправлена последняя телеграмма в штаб фронта: «1-й корпус, сильно расстроенный, вчера вечером, по приказанию ген. Артамонова, отступил к Иллово, оставив арьергард впереди Сольдау. Сейчас переезжаю в штаб 15-го корпуса в Надрау для руководства наступающими корпусами. Аппарат Юза снимаю. Временно буду без связи с вами. 6376. Самсонов».

Все. Теперь он сам увидит и решит.

В штабе царила суматоха переселения. Перед домом на площади уже стояли моторы, и чубатые конвойцы с пиками о чем-то гутарили с шоферами, будто сошлись два столетия — девятнадцатый век с двадцатым. В темно-синих полированных боках автомобилей отражались лошадиные хвосты и ноги.

Самсонов задержался у окна, глядя, как вестовой Купчик укладывает вещи и за его спиной блестит сигнальная труба. Потом один конвоец протянул руку, а Купчик повернулся, снял через голову трубу и резко сыграл повестку к заре.

Что-то сдвинулось в душе Александра Васильевича от звуков привычной военной музыки, сопровождавшей его всю жизнь. Откуда-то из темных углов стали выходить гусары в синих доломанах, блестели серебряные шнуры офицеров, вахмистр читал приказ по полку, и потом над целым миром вслед за певучей кавалерийской зарей в наступившей тишине запели «Отче наш» и «Спаси, Господи».

Самсонов улыбнулся воспоминанию. «Что ж нам хитрить? Пожалуй, к бою...» Слова поручика Лермонтова отдались в его сердце горячей волной.

Выехали из Нейденберга по шоссе на запад, и меньше чем через час были возле Орлау, которую недавно взял корпус Мартоса. Солнце светило в затылок, золотились медные стволы сосен, впереди краснели сквозь зелень черепичные крыши. В поле еще плавали белесые клочья тумана.

Самсонов ехал вместе с Ноксом и рассказывал о туркестанских делах, о том, как незадолго до войны задержали английского резидента, а майор в ответ на это припомнил известную записку Скобелева о походе в Индию, и оба засмеялись, как будто признали, что туркестанские и индийские дела нынче отошли на задний план.

— По-моему, Скобелев ссылается на вашего полковника Кери, начальника штаба Мадрасской армии, —

сказал Самсонов. — Это примечательное умозаключение. Если не ошибаюсь, оно звучит так: «Нет благоразумного человека, который бы сомневался, что русские дойдут до Индукуша. Неужели непонятно, что в Азии все держится скорее обаянием, чем силою, и что прикосновение к Индии будет равносильно гибели Англии».

— Это мы сами себя пугали, — отозвался Нокс. — Ведь ваш «белый генерал» потом сам заявил, что не верит в индийский поход в ближайшем будущем.

Самсонов знал, что высказывание Скобелева, сделано им после штурма Геок-Тепе, как раз тогда, когда Александр Васильевич готовился поступать в Николаевскую академию Генерального штаба. Скобелев ссылался на трудности перевозок, но добавлял, что русские могут ударить «шаром в шар» и так, что англичане не устоят. Наверное, и Ноксу это было ведомо, ибо записка обнародована. Проехали Орлау. Вблизи были видны воронки, сломанные деревья, снесенные заборы, свежий холм братской могилы.

— Русские уже не впервые здесь? — сказал Нокс. — Это ваш регион. Мы вам всегда поможем...

— А мы вам поможем в Персии и Афганистане, — усмехнулся командующий. — Согласны?

— Разве вам мало, что мы разделили с вами зоны влияния? — примирительно произнес Нокс. — Честно говоря, мне бы не хотелось после войны снова начинать с того места, где мы остановились.

— Мне тоже, — ответил Самсонов.

В эту минуту автомобиль затормозил, и вперед вырвался конвой, живо нахлестывавший лошадей.

Навстречу штабной колонне шла на рысях большая группа всадников.

— Что это? — хладнокровно спросил британец. — Новое донесение?

— Надеюсь, что не немцы, — сказал Александр Васильевич. Дурное предзнаменование почудилось в этой группе. Что-то случилось у Мартоса? Нет, не должно, ведь от него уже поступило донесение. Значит, от Благовещенского? Но вчера у шестого корпуса уже был тяжелый бой...

Это был взвод драгун Новотроицкого-Екатеринославского полка, из шестого корпуса. Коренастый смуглый штаб-ротмистр вперевалку подошел к автомобилю командующего и вручил пакет.

Александр Васильевич пробежал донесение и спросил штаб-ротмистра:



— Вы были очевидцем?

— Так точно, ваше высокопревосходительство.

— И что, сильно пострадала четвертая дивизия?

— Сильно пострадала, ваше высокопревосходительство. И физически, и морально. Корпус отступил в беспорядке за Ортельсбург.

— За Ортельсбург, — повторил Самсонов, вспоминая, что вчера распорядился занять корпусу озерное дефиле у Пассенгейма. Значит, не успели занять.

Штаб-ротмистр Дейнека, выехавший в два часа ночи из Фольварка Грамен, проделал шестьдесят верст в седле, был от усталости бледен, но глядел твердо. Есаул Бабков разворачивал на горячем капоте автомобиля карту. Все штабные чины потянулись туда, как будто забыли, где Пассенгейм и Ортельсбург.

Самсонов тоже подошел к карте, ничего не сказал. Пахло машинным маслом.

Постовский переговаривался с Филимоновым и Вяловым о том, можно ли еще удерживать район Ортельсбурга.

Самсонов промолчал и продиктовал Бабкову приказание генералу Благовещенскому:

— Удерживайтесь во что бы то ни стало в районе Ортельсбурга. От стойкости вашего корпуса зависит успех наступления тринадцатого и пятнадцатого корпусов...

Он еще верил в наступление, хотя здравый смысл подсказывал ему, что при обоих сбитых флангах и неустойчивости в центре лучше не искушать судьбу. Но ничего, скоро он будет у Мартоса. Не надо спешить. Не было ль примеров, когда через терпение и жертву достигали победы?

Бабков подозвал усталого штаб-ротмистра и вручил ему пакет.

— Как можно быстрее! — сказал есаул. — Постарайтесь, ротмистр. Я вижу у вас значок Елисаветградского училища, так вы уж не подведите.

— Не подведем, — ответил штаб-ротмистр Дейнека. Самсонов повернулся к елисаветградцу, всмотрелся в серые смелые глаза и спросил:

— Какой выпуск?

— Девятьсот восьмого года, ваше высокопревосходительство.

— Ну с Богом, братец. Верю — не подведешь.

И драгуны ускакали. Самсонов отвел Нокса в сторону и сказал:

— Майор, считаю своим долгом осведомить вас, что положение моей армии стало критическое. Мое место — при войсках, но вам советую вернуться, пока это возможно. Сейчас все моторы вернутся назад. Вы — с ними. Мы поедем верхом.

Нокс возразил, что его долг — быть с армией, но Самсонов не дослушал, перебил:

— Я не знаю, что принесут ближайшие часы. Нейденбург уже под угрозой. Жаль расставаться. Надеюсь, еще увидимся. — Он протянул Ноксу руку.

— Почему вы сами не возвращаетесь? — спросил британец. — Зачем вам так рисковать?

— Ничего, майор... Прощайте.

Александр Васильевич снова подал ему руку и пошел обратно к автомобилям, на ходу жестом подзывая Бабкова и Купчика.

— Эй, всадники-други, — услышал Нокс зычный командирский голос генерала, — в поход собирайтесь!

Нокс медленно пошел за Самсоновым, с грустью глядя на его могучую фигуру, прощаясь, может быть, навеки.

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Ночью с четырнадцатого на пятнадцатое августа генерал Мартос не спал. Поступивший вечером приказ по армии заключал в себе явное недоразумение, ибо тринадцатый корпус никак не мог к утру подойти из Алленштейна, осилив тридцативерстный переход. В распоряжении Николая Николаевича была только бригада клюевского корпуса, подошедшая раньше. Но одной бригады для прорыва было мало. К тому же Мартоса беспокоили разъезды немецких драгун, появившихся в тылу, на дороге к Янову, там они перерубили телефонный кабель.

Ночь была холодная, в лощинах и над озером тянулся туман. Громко разносилось треск одиночных выстрелов. А над туманом, высоко в небе сияла луна и светили щедрые августовские звезды, напоминая Николаю Николаевичу летнюю роскошь полтавского лета и гоголевских русалок в пруду.

Мартос возвращался из расположения бригады тринадцатого корпуса, двух старославных полков, Нарвского и Копорского, и мысли его то взлетали в поисках опоры к воспоминаниям детских лет, то опускались к грозным приметам сегодня, и он начинал думать об отступлении.



То, что весь день штурмовали Мюлен, дошли до окраины, потеряли тысячи людей, а все-таки деревни не взяли, говорило Мартосу, что ударная сила корпуса иссякает.

Взлетела над озером белая светящаяся ракета и, вытягивая за собой яркую полосу, вспыхнула голубоватым огнем. Мартос посмотрел на нее, приостановил лошадь, и его спутники тоже посмотрели. Что-то печальное было в этом одиноком огне, плавно спускающемся на затянутое белесой полосой озеро.

С нашей стороны донеслось тарахтенье полевой кухни, напомнило о хлебе насущном.

Эта бессонная ночь тянулась долго. К полуночи всякая стрельба стихала, воцарялась глухая тишина, и каждый звук, звяканье уздечки или фырканье лошади, казался громким. Мартос проехал на правый фланг в Вальсдорфский лес, откуда вечером Алеексеевский и Кременчугский полки выбили немцев, пробыл там около часа, выпил чаю, покурил и вернулся обратно к лощине у Ваплица.

Туман совсем сгустился, и снова из глубины начался треск выстрелов, отдававшийся эхом в лесу. Стрельба усиливалась. Почему? Что за ней должно было последовать? Прорыв по лощине?

Мартос распорядился перетянуть к лощине бригаду полковника Новицкого и приказал инспектору артиллерии поставить здесь мортирный дивизион и ближайшие батареи. После этого Николай Николаевич уже никуда не отлучался, стал на холме вместе со штабом, ждал рассвета, нахохлившись, в накинутой шинели. Адъютант время от времени доставал из своей сумки коробку с папиросами «Пушка» и подавал ему. Неподалеку сидел начальник штаба Мачуговский. Дальше — офицеры, казаки, вестовые.

Мартос спрашивал мнение Мачуговского, чем усиливать оборону, если Новицкий не справится, а Мачуговский сонным хриплым голосом отвечал, что тогда надо снять справа, из Вальсдорфского леса, вторую бригаду: конечно, это риск, но другого не видно. Вот если бы раньше повернули фронт наступления!

Вчера Мартос так разругался по телефону с Постовским, что в сердцах отказался от командования.

Да, прошлого теперь не вернешь.

И Мачуговский задремал.

Вспыхивали голубоватыми светом ракеты, отбегали длинные тени, медленно приближалось утро.

На рассвете немцы все-таки прорвались в лощину и густыми цепями вышли из леса прямо перед холмом, где стоял Мартос.

Батареи открыли огонь, выпустив первые шрапнели. Германцы не останавливались. Между вспышками бело-розовых разрывов было видно бегущую пехоту. За ней — несколько всадников с обнаженными шашками. Ползли, извиваясь, раненые, то выныривая из тумана, то погружаясь в него с головой. Огонь стал беглым, перешел в ураганный. По воздуху пролетела задняя часть лошади.

Мартос повернул бинокль — еще и с северной стороны шли стройные колонны. Сколько их? Сейчас прицелы на батареях уменьшаются, скоро перейдут на картечь, а там и вовсе прекратится огонь, чтобы не побить своих.

Но пока мясорубка мелет безостановочно.

Угадал Николай Николаевич, они здесь не пройдут!

Подскакал артиллерийский горнист с маленькой медной трубой за плечом, передал донесения полковника мортирного дивизиона — атака отбита!

Канонада стихает, два-три отдельных выстрела еще бухают порознь.

В бинокль было видно, как бегут навстречу друг другу немцы и русские. В штыки! Люди теснили друг друга. Стлался туман и желтый дым.

Мартос торжествовал, курил папиросу за папиросой, требовал от Мачуговского сведений с других участков. А здесь он разбил германцев.

К десяти часам вдоль холма стройной колонной в сопровождении казаков шли пленные, и Мартос смотрел на них, любуясь и считая идущих впереди офицеров. Восемнадцать офицеров! И тысяча солдат.

Они двигались маршем по шоссе на Нейденбург заканчивать свою войну в лагерях военнопленных, неся в Россию весть о славном пятнадцатом корпусе.

Мгновения торжества окрасились для Мартоса еще и удовольствием от того, что к нему на командный пункт прибывал Самсонов.

Николай Николаевич потребовал лошадь и быстро спустился вниз, на восточную сторону. И действительно, мимо германцев, теснимых казаками к обочине, в сопровождении конвоя ехал могучий широкоплечий генерал с белым георгиевским крестиком на груди.



Мартос сдавил бока лошади, послав ее рысью.

Из бородатого, немало поседевшего, тяжеловесного человека на Мартоса будто выглянул мальчик Саша Самсонов из киевской военной гимназии, добродушный силач.

Николай Николаевич, волнуясь, стал докладывать боевую обстановку, и радующую, и тревожащую, но Самсонов остановил его.

— Это что? — спросил он, показывая на пленных.

— Это ихняя атака, — ответил Мартос.

Самсонов качнулся в седле, подъехал вплотную к Николаю Николаевичу и обнял его.

— Только вы один нас спасаете, — вымолвил он, поразив Николая Николаевича возлагаемой на него надеждой.

— А новые резервы? — спросил Мартос, — неужели их нет?

— Резервов нет, — сказал Самсонов. — Только что я получил известие от Благовещенского. Он в беспорядке отступил за Ортельсбург. Я приказал ему удерживать район Ортельсбурга, но надежда маленькая. Про Артамонова нечего повторять. Я его отрешил. Судьба армии решится здесь, у тебя, Николай Николаевич.

— Эх, Александр Васильевич! — воскликнул Мартос. — Да что же вы мне говорите такое? У меня сердце кровью обливается от горя! Вам бы раньше повернуть меня и Клюева, мы бы не допустили беды у Леонида Константиновича.

Он назвал Артамонова по имени-отчеству, будто не захотел осуждать его, не захотел сводить лишь к одному виновнику, зная, что на деле так никогда не бывает, а только потом находятся сочинители истории и врут как удобно вышестоящему начальству.

— Да, — согласился командующий. — Роop и Любомиров извещали нас о скоплении немцев против Артамонова, я докладывал Жилинскому. Мне платить за разбитые горшки!

Он опустил голову и отъехал от Николая Николаевича очень опечаленный.

Мартос сильно потянул повод, резко повернул лошадь и, обгоняя Самсонова, взъехал на вершину. Теперь ему было ясно: надо немедленно отходить. Он бил германцев у Орлау, Гогенштейна, Ваплица, не отдал ни одного боя — и должен отступить?

Да, надо было сохранить корпус, а потом, Бог

даст, еще не один бой возьмет со своим славным пятнадцатым.

Когда поднялся командующий, Николай Николаевич без околичностей потребовал приказа на отступление.

Самсонов не ответил. Постовский стал горячиться, говорить о победе, которая еще может быть достигнута с подходом тринадцатого корпуса.

— Отступать будет трудно, — вымолвил, наконец, Самсонов, и в памяти всплыло узкое дефиле у Шведриха и проход не шире двух саженей по плотине на перешейке между озерами.

Мы израсходовали все резервы, — сказал Мартос. — Корпус ведет бои уже третий день. Не сомневаюсь, тринадцатый корпус после шестидесятиверстного перехода из Алленштейна будет крайне утомлен.

— Вы пессимистично настроены, — заметил Постовский.

— Я?! — воскликнул Мартос. — Вы упрекаете меня? Вы что, забыли, как вчера утром с вами разговаривал полковник Панаш и просил от моего имени ради успеха всего срочно повернуть Клюева вместо движения на Алленштейн на присоединение к моему корпусу? Вы забыли свой ответ? А сейчас пеняете мне? Не могу принять ваш упрек, Петр Иванович! Не могу! Как ни горько, а надо отступать. Иначе — катастрофа.

— А тринадцатый бросить на произвол судьбы, так по-вашему, Николай Николаевич? — язвительно спросил Постовский.

Самсонов молчал. Ему нечего было сказать, ибо он тоже вчера, правда, еще не зная об отступлении Артамонова, приказывал Мартосу на сегодня двинуться к Алленштейну на соединение с тринадцатым корпусом, но Мартос уперся и, мотивируя, что неприятель непрерывно усиливается и что части корпуса ведут жаркий бой, отказался выполнять приказание, даже предложил сдать командование корпусом.

Но вчера — это вчера; вчера Александр Васильевич еще был во главе победоносной армии, а нынче она накануне краха.

— Вышлите навстречу Клюеву офицера связи, — произнес за спиной Самсонова сердитый голос Филимонова.

Услышав его, командующий вспомнил, как посылал Филимонова в Белосток и как тот привез обратно слова Жилинского, что никому не позволит трусить.



Несколько часов оба штаба, армейский и корпусной, бездействовали, и в это время качались незримые весы, решалась судьба всех этих людей, собравшихся на холме перед озерной лощиной, где вдали синел угол озера и чернел лес. Доносился треск ружейных выстрелов, стрекот пулеметов, молотьба пушек, сражение еще продолжалось; но здесь уже не царила жажда победы. Ждали и глядели на север и прислушивались, не идет ли тринадцатый корпус?

И тринадцатый корпус пошел, только это была насмешка судьбы, потому что это были те два полка, Нарвский и Копорский, приданные войскам Мартоса еще раньше, а не основные части. Эти два полка, начав наступать, были потрясены сильным артиллерийским огнем и побежали.

— Вот и Клюев! — решил Постовский, глядя на беспорядочное отступление пехоты.

Его самообман был очевиден. Все молчали, глядя в бинокли.

Какой-то всадник шел к холму размашистой рысью.

— Они драпают! — зло вымолвил Постовский и опустил «цейс».

Всадник был офицером корпусного штаба капитаном Федорчуковым. Он ловко спрыгнул с лошади, блестевшей влажным боком, и вперевалку подбежал к Самсонову с рапортом.

— Остановить! — приказал командующий.

Ему надо было что-то предпринимать, и как раз подвернулись эти два полка, заняв все его внимание простой задачей. Остановить, послать офицеров, водворить порядок.

И офицеры были посланы — полковник Вялов, полковник Лебедев, подполковник Андогский, есаул Бабков, штабс-капитан Дюсиметьер, поручик Кавернинский — все, кто был при нем, кроме двух генералов.

Глядя на грузного Андогского, Самсонов подумал, что подполковник — автор многих статей в «Военной энциклопедии», а он его посылает как простого корнета.

Что-то не то делал Александр Васильевич!

Он по всем законам должен был оставить Мартоса и немедленно возвращаться к руководству армией. Только бросить Мартоса он уже не мог. Дойдя до переднего края, Александр Васильевич довел армию до предела и с ней должен был оставаться. Уже не

военные соображения двигали им, а предчувствия и старые традиции — Цорндорф, Смоленск, необходимость лечь костьми.

Самсонов отошел с Мартосом в сторону, в мелкий березняк, откуда выскочил, застегивая штаны, чубатый конвойный.

— У, засранцы! — выругался Мартос. — Печенеги!

— Ты хорошо дрался, Николай Николаевич, — сказал Самсонов. — Почему я упорствовал, гнал тебя без тылов, без хлеба? Немцы возле Парижа. Мы должны отвлечь их. Все меня подталкивают. Яков Григорьевич подталкивает, Ставка подталкивает. Я доказываю, что нельзя так гнать войска, а меня слушать не хотят.

— Люди выдыхаются! — вымолвил Мартос. — А они думают, что все солдаты — толстовские Платоны Каратаевы?.. Спасать Францию! — воскликнул он и, ударив рукой по ветке, сделал несколько быстрых шагов вперед и натолкнулся еще на одного нижнего чина, сидевшего за кустом в позе орла.

— Ой! — сказал нижний чин, выпучившись на генерала.

Мартос отвернулся, пошел обратно.

— Спасать Францию! — крикнул он Самсонову. — Надо было послать их к чертовой матери! А то ради нее Яков Григорьевич не жалеет тебя, ты — меня, и все мы — на убой! — Мартос снова ударил руками по воздуху. — На убой!

Командир корпуса выходил за рамки, и Александр Васильевич сказал:

— Мы выполняем долг.

— Пусть долг, — согласился Мартос. — Но почему еще вчера Постовский гнал меня на Алленштейн, хотя корпус уже повернул в противоположном направлении? Почему допустили сосредоточение германцев против Артамонова? Это ради Франции? Коль начал разговор, Александр Васильевич, то объясни!

— Хорошо, — ответил командующий.

Но что мог объяснить? То, что ему не хватило воли направить наступление в ином направлении? Что ему не дали повернуть фронт на Остероде — Дейч-Эйлау?

Самсонов подумал, потом сказал:

— Ты прав, Николай Николаевич. Моя вина.

— Кто Богу не грешен, царю не винен? — смягчаясь, произнес Мартос. — Только не верю я в твою вину, Александр Васильевич.



— За разбитые горшки платить мне! — возразил Самсонов.

— Не верю, — повторил Мартос.

— Другого ответа у меня не имеется, — поставил точку командующий.

Они вернулись к своим штабам, уже чем-то разделенные.

Вскоре прибыл артиллерийский полковник, командир дивизиона, приданного бригаде тринадцатого корпуса. Он потерял все орудия, ибо пехота бросила батареи. Его курносое загорелое лицо рассекал свежий, сочившийся шрам, то ли на сук напоролся, то ли достали в рукопашной. Вряд ли он был в чем-то виноват, но в его глазах, еще не остывших от смертельного боя, уже проступило цепенящее чувство вины. Он не должен был возвращаться без орудий, как некогда не вернулся корнет Велинский, зарубленный в ущелье между Новачином и караулкою Дербент. И полковник это знал, и все знали.

— Придите в себя, полковник, — сказал Самсонов. — Не сомневаюсь, вы еще послужите Отечеству.

Полковник нужен был живым. Не хватало, чтобы он сейчас застрелился в кустах. И много ли у Отечества образованных офицеров с серебряными значками Михайловской артиллерийской академии, как у этого полковника? Почему же мы так жестоки к ним?

Артиллерист горько усмехнулся.

— Вы были в рукопашной? — спросил Самсонов.

— Так точно, ваше превосходительство. Отбивались от ихней кавалерии, — просто сказал полковник. — Нас осталось мало.

Александр Васильевич ощутил, как надвигается страшная беда. Кто будет спасать? Не Францию, а вот этих людей?

Вопрос о спасении мучил его, пока не появились колонны Нарвского и Копорского полков вместе с армейскими штабными офицерами.

Он верхом спустился к построенным частям, объехал, замечая, что у некоторых солдат нет винтовок, а у других — фуражек, что от полков остались в лучшем случае батальоны.

Сразу после артиллериста — эти бежавшие с позиции люди. И главное, впервые Самсонову пришлось столкнуться с собственными разгромленными частями, до сих пор Бог миловал его части.

— Братцы, что же это?! — полным голосом спро-

сил командующий. — Нарвский полк никогда еще не бегал! Вспомните, нарвцы, какие сражения вы одолели! Вы вместе с Петром Великим одолели Нарву, сражались при Полтаве со шведами, сражались с немцами при Штеттине, Мекленбурне, Гросс-Егерсдорфе. Ваш полк уже брал Пруссию, бил турок у Очакова, бил Наполеона под Смоленском и на Бородинском поле. Вы входили в Париж, вы уже знаете дорогу на Царьград. Это все ваш Нарвский третий пехотный полк, это ваши знамена, ваши отцы и деды!

Остатки Нарвского полка молча, с загадочным солдатским терпением слушали командующего, который сердился на них. Нарвцы понимали, что совершили тяжкий грех, спасаясь от смерти, и что сейчас их снова отправят в бой, откуда им уже не вернуться. До них с трудом доходили слова генерала о славе предков. У них перед глазами еще вздымались черные взрывы и извивались разорванные тела.

Самсонов замолчал, глядя на изнуренное лицо командира полка.

— Знамена вперед! — скомандовал Александр Васильевич и отъехал от нарвцев к Копорскому полку.

Здесь повторилось: он вспомнил предания, Петра, Кутузова, Бородино, Дрезден и освобождение Болгарии, а они остались глухи. Тогда он сменил командира полка подполковником Жгиньцовым и тоже велел вынести знамена.

Знамена вынесли. Со стороны Гогенштейна доносились выстрелы.

— Клянитесь, что смоете темное пятно! — скомандовал Самсонов. — На колени!

Они повиновались и, очищаясь от страха, пали на колени перед шитыми золотом полотнищами, увитыми георгиевской и александровской лентами. Они покорились долгу и снова приготовились умирать.

Самсонов снял фуражку и перекрестился. Символы прежней жизни вызвали в нем горячее чувство утраты. Он распорядился поставить Нарвский и Копорский в резерв внизу у подножья холма, тронул повод и, опустив плечи, повернул лошадь.

Поднявшись на вершину, он грузно слез и, оглядевшись, заметил серую рясу военного священника и подозвал батюшку к себе.

— Здравствуй, святой отец, — сказал Александр Васильевич, — я хочу спросить вас, почему русский



человек чаще всего говорит Богу «Я есьмь» только в минуту смерти?

Священник задумался, несколько мгновений смотрел на него острым взглядом, нисколько не смущаясь, что перед ним командующий, потом сказал:

— Не всегда, ваше превосходительство. Я заметил, что во время богослужения в боевой обстановке людьми овладевает особое настроение. Истинно верующих молитва укрепляет, у них глаза светятся торжеством и радостью. Другие молятся, но, увы, не могут достичь успокоения, ибо боятся смерти и молятся лишь о сохранении жизни. Они забыли слова молитвы Господней: «Да будет воля твоя!» А большинство безучастно. Они верят в предопределение и переносят безропотно самые тяжелые испытания. Для них сложена поговорка: «Двум смертям не бывать, а одной не миновать». Вы кого имеете в виду — первых, вторых или третьих? Должно быть, первых?

— Нет, святой отец, — возразил Самсонов. — Я имею в виду безропотных. Это они прозревают только в час смерти.

— Они найдут утешение в своей жертве, — ответил священник. — Вы правы. Но кроме этого есть еще одно утешение всем воинам. Вы не бывали на Бородинском поле?

— Как не бывал! — ответил Самсонов. — Все там бывали.

— Помните, кто основал Спасо-Бородинский монастырь? Вдова генерала Александра Алексеевича Тучкова. Он как раз командовал бригадой, сейчас это ваши полки — Ревельский и Муромский. Погиб, когда поднимал дрогнувший Ревельский полк. Взял знамя и пошел, а французы обрушили на него всю артиллерию. И тела его не могли найти. Вдова его, Маргарита Михайловна, вместе со стариком-монахом бродили среди тысяч трупов — искали и не нашли... Но она потом осталась навек на Бородинском поле, служить памяти павших воинов. Вот наше земное утешение.

— Вы были в Маньчжурии? — спросил Самсонов, кивнул на ордена Анны и Св. Станислава на груди батюшки.

— Довелось побывать, ваше превосходительство.

Священник отошел. Александр Васильевич снова вернулся к мысли о тринадцатом корпусе, стал спрашивать Мартоса, где же посланный офицер, не случилось ли с ним чего?

Мартос не мог ответить. После отхода нарвцев и копорцев немцы стали наступать и от Гогенштейна, окружая корпус справа, и Мартос направил туда свои последние резервы, батальон Алексеевского полка, Кременчугский полк с одной батареей и даже роту саперного батальона с казачьей полусотней, конвоем штаба шестой дивизии. Остался только конвой штаба корпуса.

— Александр Васильевич, надо немедленно отступать, — сказал Мартос. — Еще немного — катастрофа.

— А как же тогда Клюев? — напомнил Самсонов.

Мартос не ответил.

— Как твоя семья, Николай Николаевич? — спросил командующий. — Я ничего о тебе не знаю. Последний раз мы виделись в Мукдене, а по-настоящему разговаривали в Елисаветграде, когда ты приезжал по мобилизационным делам. Тогда мы были холосты.

— Я женат. Три сына, — сказал Мартос. — Надо послать к Клюеву с указанием пути отступления.

— Я еще никогда не отступал. Теперь, видно, придется... Этот Нарвский полк! Тяжкий крест говорить речи перед бежавшими войсками. Только Скобелев мог воодушевить в таком положении. Под Плевной он заставил отступивший Эстляндский полк делать под турецкими пулями ружейные эволюции! Мы с тобой, Николай Николаевич, уже не пойдем с солдатами под пули. То время кончилось.

— Если надо — пойдем, — сказал Мартос. — Никто не запретит идти в передней цепи. Но это может помешать нижестоящему командиру.

Он, кажется, намекал Самсонову, что тот сковал его.

Александр Васильевич запомнил письмо Крымова о деспотизме командира пятнадцатого корпуса и подумал, что полковник прав. Николай Николаевич всегда был резок и не щадил никого. Может быть, поэтому, будучи помощником Приамурского генерал-губернатора, командующим войсками Приамурского военного округа и наказным атаманом Амурского и Уссурийского казачьего войска, он не усидел на этой должности?

— Все-таки надо дождаться Клюева, — повторил Самсонов.

Они дождались офицера связи, он прибыл один, без казаков, на немецкой рослой кавалерийской лошади, и сказал, что едва пробился сквозь неприятельские разъезды, рыщущие между корпусами. Генерал Клюев



доносил: корпус движется усиленным маршем на Гогенштейн, под Доротовом почти полностью погиб Дорогобужский полк, командир полка полковник Кабанов смертельно ранен.

Клюев подошел к Гогенштейну в ранних сумерках и открыл артиллерийский огонь. Город задымил, загорелся. Самсонов вглядывался в синеющую даль, смотрел на часы, шагал между деревьев, начиная задыхаться. Пожар разгорался. Артиллерийская канонада не стихала. Видно, корпус не смог с ходу занять Гогенштейна.

— Они не продвигаются, — заметил вполголоса генерал Филимонов, подрубая последнюю надежду.

— Ну теперь нужно ожидать беды! — громко произнес Мартос. — Александр Васильевич, надо решаться!

Напрасно командующий прождал целый день. Тринадцатый корпус не принес спасения армии.

— Петр Иванович, давайте приказ на отступление, — велел Самсонов.

— Надо отступать на Хоржеле, — предложил Мартос.

Хоржеле был городок восточнее Нейденбурга, через который начинал наступление Клюев.

Дали карту. Самсонов, Мартос, Постовский и другие чины обоих штабов изучали устаревшую на сейчас обстановку, гадая, взят ли немцами Нейденбург и свободен ли Хоржеле.

— Хоржеле занят немцами, — сказал Самсонов. — Должно быть, Преображенский отступил. Надо — на Нейденбург, там во всяком случае оборону держат бригада Штемпеля и Кексгольмский полк. Петр Иванович? — спросил он у Постовского.

Но начальник штаба не знал, что ответить. Видно, остановка Клюева и отверзшаяся вслед за этим пропасть потрясли Петра Ивановича.

— Значит, на Нейденбург? — снова спросил Самсонов.

Мартос чиркнул спичкой и закурил. Сквозь сизый табачный дым, царапающий горло, Александр Васильевич увидел мрачные глаза Николая Николаевича, как будто взывающие: «Решай!»

— На Нейденбург! — сказал Самсонов.

Стали писать приказ.

— Николай Николаевич, отойдемте-ка в сторонку, — предложил командующий и взял Мартоса под локоть.

Мартос отвел руку и затоптал папиросу. Они отошли на несколько шагов, и Самсонов сказал:

— Николай, на тебя последняя надежда. Прошу тебя поспешить в Нейденбург и принять все меры для обороны. Удержим Нейденбург — мы спасены.

— Ясно, Александр Васильевич, — ответил Мартос вполне официально. — После отдачи необходимых распоряжений по корпусу я направляюсь в Нейденбург.

— Николай! — сказал Самсонов, волнуясь.

— Я сделаю все возможное, — пообещал Мартос.

Александр Васильевич хотел услышать от старого товарища слова сердечной поддержки, но не услышал. Мартос будто окаменел. Может быть, он не простил командующему задержки или же просто был озабочен предстоящим отступлением — это осталось неведомым.

Самсонов больше не пытался вызвать в нем сочувствия.

Приказ написали, отправили офицеров к Клюеву и Мингину. Сумерки сгущались, слышались крики самсоновского конвоя, готовившегося к отъезду. Мартос опять закурил. Александр Васильевич закашлял и кашлял, хватая воздух раскрытым ртом, несколько минут.

Над холмом, ввинчиваясь и скрежеща, пролетел тяжелый снаряд. Он разорвался в лесу за холмом, за ним зазвенел новый. Немцы били из Гогенштейна по тылу пятнадцатого корпуса и по холму.

Три или четыре шрапнели разорвались перед холмом. Шрапнельные пули, гудя, секли кусты. По шоссе кинулись толпой Нарвский и Копорский. Их никто не останавливал.

— Вам пора, Александр Васильевич, — поторопил Мартос командующего

И Самсонов со штабом уехал, оставив пятнадцатый корпус, который до сего дня разбил три германских дивизии.

Обстрел продолжался. Пронзительно завизжала лошадь. Рядом с Мартосом упал толстый сук. Мачуговский нервно охнул, но не сдвинулся с места, подписывая распоряжения начальникам дивизий.

— Готовьтесь к отходу, — сказал Мартос. — Как получим подтверждения из дивизий — выступаем.

Он мог и сейчас покинуть холм, связные догнали бы штаб и на походе, но Николай Николаевич точно так же, как и Самсонов, дожидавший Клюева, руководствовался своим пониманием. Он не замечал ни пуль, ни раненых. Когда-то по заледенелым скалам в декабре семьдесят



седьмого года он прошел с Волынским полком в составе отряда старого Гурко через Балканы, замерзал, срывался и боялся, что кто-нибудь заметит, что ему страшно. В том переходе ему исполнилось девятнадцать лет. Теперь многое остыло и перестало обжигать. Тогда он с сочувствием воспринимал новость, что один юный подпоручик накануне штурма Плевны застрелился только из-за того, что товарищи могли заметить его волнение. А нынче все изменилось.

Даже то, что он почти дошел до Царьграда, стоял биваком на высотах у Константинополя, давно не волновало Николая Николаевича. Ему казалось, что сентиментальное время, когда Россия позволила себе роскошь воевать ради чувства сострадания, миновало.

Спустился Мартос с холма уже ночью. Было темно и душно. Обстрел утихал. Командир корпуса ехал спокойным шагом, опустив голову, и слегка подремывал. Судя по всему, ему предстояла еще одна бессонная ночь...

К Мартосу как будто подходил подполковник-артиллерист, говорил, что надо повернуть обратно и выручать орудия, потом башибузук в алой феске выглядывал из-за дерева, показывая на небо.

Николай Николаевич поднял голову, оглядел спутников. Штаб и конвой мерно двигались по шоссе.

Перед рассветом Мартос пересел в автомобиль и уснул. Спал он недолго, сперва до него донеслись голоса, о чем-то споривших, затем фраза, что Нейденбург занят немцами. Он открыл глаза и увидел, что уже светло, а автомобиль стоит в какой-то большой деревне, возле дверей незнакомые люди в форме пограничной стражи.

Мартос надел фуражку и сердито крикнул:

— Кто такие?

Ему доложили, что еще вечером Нейденбург взят немцами, а бригада Штемпеля и Кексгольмский полк отошли.

— Вот как? — раздраженно произнес Николай Николаевич. — Что за глупость вы болтаете?

Он вылез из автомобиля, поправил шашку с позолоченным эфесом («За храбрость») и стал выговаривать поручику пограничной стражи, что тот распускает панические слухи.

Мачуговский заметил, что это может быть и правдой, надо проверить.

— Вот поезжайте и проверьте! — обрезал его командир корпуса.

Мачуговский вздохнул, поджал губы.

— Немцы! — вдруг ахнул шофер, показывая на рысивших по улице всадников в серых зачехленных касках.

Мартос с грозно-презрительным выражением посмотрел туда, готовый уничтожить шофера, но там действительно был германский разъезд. В трехстах саженях.

— Это немыслимо! — сказал он. — У меня световые галлюцинации.

— Это немцы, — вымолвил Мачуговский.

Адъютант Мартоса и десятка полтора казаков с лихостью, будто затевали игру, живо повернули лошадей и, нахлестывая, с гиканьем поднялись навстречу разъезду, на ходу вынимая пики.

Больше адъютанта никто не видел, и командир корпуса вспоминал его целый день, ибо тот увез с собой его сумку с папиросами и припасами.

Вот только что генерал от инфантерии Мартос командовал одним из лучших корпусов и готов был сражаться, а что-то вдруг повернулось, и он уже без войск, даже без конвоя, почти все казаки куда-то подевались, и кругом Николая Николаевича лес, и спереди, и сзади грохочут орудия.

Судьба Мартоса была горестная, хуже, чем у Мачуговского. Мачуговский погиб от пулеметной очереди, выпущенной из засады, а Мартос, проблуждав целый день по лесу со своими немногочисленными спутниками, ночью попал в плен. Они вели обессиленных лошадей в поводу, держа направление по звездам на юг. Но звезды затянуло тучами. Одна лошадь пала. За деревьями послышался шум, словно шли войска. Лошади испугались, стали рваться в сторону, казаки их удерживали. Кто там шел? Наши, немцы? Послали казака на разведку, он не вернулся. И тут хлынул нестерпимый ослепляющий свет. Прямо на них был направлен полевой прожектор, и они остолбенели. Мартосу показалось, что он спит и все ему снится. Он еще успел залезть на лошадь и проскакать шагов сто. Почти в упор ударил залп, лошадь упала, и генерал очутился на земле, ударившись плечом. Грубые сильные руки придавили его.

Шестнадцатого августа вечером командующий со штабом и казаками под звуки недалеких шрапнельных и пулеметных очередей ехали по дороге на Мушакен,



Янов, к русской границе. Все было кончено. Катастрофа, напророченная Мартосом, явилась как всадник на бледном коне, и Самсонов стал искать себе оправдание.

Сперва его мучило удивление. После Мартоса Александр Васильевич побывал во второй дивизии генерала Мингина, которая согласно приказу об отступлении должна была прикрывать пути отхода центральных корпусов. Он прибыл в деревню Волька в час ночи. Там стоял на отдыхе конный отряд Штемпеля вместе с одиннадцатой конной батареей. Сияла луна среди расползшихся облаков. Пахло свежим навозом, как всегда на постое большой кавалерийской части. Купчик радовался, встретив односумов-батарейцев. Что с него взять? Он не ведал, что Штемпель должен был защищать Нейденбург. В Вольке командующий узнал, что немцы уже продвинулись от Сольдау за Нейденбург. Оставаться в деревне не было смысла, надо было найти генерала Мингина.

Но и Мингин не помог. Он вчера удержал позицию к западу от Франкенау, даже контратаковал и захватил свыше тысячи пленных и несколько орудий, но самого главного — отстоять Нейденбург — он не выполнил.

Что теперь искать виноватых? Сонный Мингин доложил, что он действовал согласно приказу Постовского «во что бы то ни стало удерживать позицию к западу от Франкенау» и никак не мог действовать южнее. Постовский начал с ним спорить, выгораживать себя. Самсонов прервал Постовского. Мингин продолжил доклад, и командующий был поражен еще одной картиной краха.

Правда, от разговора с Мингиным доныне прошло больше полусуток, и он уже притерпелся к горю.

Еще утром Александр Васильевич распоряжался на позиции впереди Орлау и попал под обстрел тяжелых орудий. Тогда мерный звук гигантской пилы испугал его, но он подавил мимолетный страх, зная, что от судьбы не уйдешь. А сейчас Самсонов подумал, что лучше бы его убило утром, все равно отход Мингина для армии хуже смерти.

Он и захотел вернуться к пятнадцатому корпусу, перед которым был виноват за отход Мингина, чтобы лично вывести части или погибнуть с ними. Постовский, Вялов и Лебедев отговорили его. «Вы нужны армии!» — твердили они.

И вот Самсонов отступал. Вокруг был лес, трещали выстрелы, и чудом неведомым трещала сойка.

Мысли о спасении Франции, о давлении Жилинского и Ставки, о возражениях Мартоса и Клюева — эти мысли не находили и не могли найти никакого решения, а только разжигали в душе Самсонова черный огонь.

— Эх! — сказал командующий с усмешкой, поворачиваясь к адъютанту. — Знаете, как командир Лубенского полка Мельников отличился на Варшавском смотре в присутствии императора Николая Первого?

Бабков спросил:

— Что, Александр Васильевич?

Конечно, ничего такого он не знал.

— Ладно, — махнул рукой Самсонов.

Долго объяснять. А история была поучительная, неспроста вспомнилась: Мельникова задергал командир бригады Шильдер, мешал построить полк, и Мельников разъярился и прогнал бригадного, огрев его плашмя саблей по спине.

Что за время такое было? Ведь Самсонов тоже из той поры. Сейчас то время кончалось.

А если бы он... Впрочем, поздно, ничего не воротишь. Ему платить!

Совсем близко со стороны Мушакена тявкнуло два разрыва. Через несколько минут колонна остановилась, и командующему доложили, что на околице Мушакена казачий разъезд обстреляли немцы.

Полковник Вялов вытащил карту и быстро решил поворачивать на лесную дорогу на деревню Валлендорф, оттуда — на Ретковен и далее на Саддек, параллельно немецкому охвату, и по лесу вырваться к нашей границе.

— А как же выйдут они? — спросил Александр Васильевич.

Вялов отвел взгляд. Полковник Лебедев сузил узкие голубые глаза и сказал:

— Они прорвутся!

Свернули в лес, ехали часа два, никого не встречая, проезжая одну за другой освещенные вечерним солнцем просеки.

А все-таки в чем была его вина? Он следовал приказу, бросил армию в наступление, не дождавшись развертывания тыла. Он доносил Жилинскому об опасности на левом фланге... Но сейчас ему любой скажет: разве Жилинский вел армию?



Русская каша! То-то замечательный плакатик. Каша вылезла из горшка и назад не вернется.

Изредка к Самсонову обращался Постовский с поверхностными вопросами, на которые можно было не отвечать, и только один раз сказал, что еще в Варшаве они подавали Жилинскому записку о перемене фронта наступления западнее и что, если бы Жилинский тогда с ними согласился... Вероятно, Постовский тоже искал виноватого.

— Мы с вами виноваты, Петр Иванович, — отвечал Самсонов. — И до конца дней своих нам теперь влачить «куропаткинское» существование. Алексей Николаевич Куропаткин вовсе не такой бездарный генерал, каким его выставили писаки из «Нового времени». И со Скобелевым был под Плевной, и погибал, и дельные работы написал. А вот поди — один виноват за японскую кампанию.

— Что же с нами будет, Александр Васильевич? — спросил Постовский.

— Где Филимонов? — осведомился командующий.

— С разъездом. Он и поручик Кавернинский... Вы думаете, все-таки отрешат?

Самсонов повернулся к Бабкову и спросил, что думает есаул о конвойцах, годятся ли они для прорыва.

В казачьей сотне были второочередные и третьеочередные казаки. Бабков не думал, что они сохранили лихость.

— Ну как Бог даст, — сказал Александр Васильевич. — Других все равно нет.

Впереди лес кончался. Там была деревня, и там дозор не обнаружил немцев. Колонна спешила. Что-то стародавнее, зовущее с открытого места спрятаться в лесу проснулось в людях. Казаки оглядывались на брошенные дома.

Уже показались верхушки сосен, когда Самсонов вдруг услышал пулемет. Засада! Прискакал урядник, доложил, что дальше хода нет. Полковник Вялов и штабс-капитан Дюсиметьер зарысили вперед, не дожидаясь указаний, своей волей решив, что им надлежит делать.

Самсонов дал лошади шенкеля и двинулся следом, словно отныне не он, а офицеры вели колонну. У него мелькнуло, что за несколько часов пути одни люди погасли, но другие, наоборот, воспряли духом, а Вялов — тот вообще становится атаманом.

На околице за кирпичным забором в кустах сгрудились казаки. Блеснул генеральский погон Филимонова. Вялов начал строить казаков для атаки, наклонился и ожег чью-то лошадь плеткой. Потом крутнулся на месте и выругался. Но казаки только переминались и старались в сторону полковника не глядеть.

— Казаки! — крикнул Самсонов. — Постыдитесь! Чем оправдаетесь на Тихом Дону? Какой позор ляжет на ваши станицы?

Дюсиметьер вынул шашку и на «ура» выскочил из-за стены вперед.

— Ура! — подхватил Вялов, бросившись за ним.

Поручик Кавернинский хлестнул лошадь и тоже кинулся на дорогу.

— А! Ар-ра! — закричали казаки и нестройной толпой, беспорядочно паля в воздух, понеслись на пулемет.

Известно, конная атака делает любого бойца бесстрашным, поэтому командующий не сомневался, что они собьют засаду.

Бил пулемет и, как всегда при кавалерийской атаке, — почему-то выше. Оставалось шагов сто.

Один казак упал. Потом еще двое. Казаки свернули влево и скрылись за подлеском.

— Орда! — сказал Самсонов.

— Бабы, а не казаки, — заметил вестовой Купчик. — Не постыдились.

— Сейчас их соберем, — твердо, с угрозой в голосе пообещал Филимонов. — Надо спешить цепь и атаковать с двух сторон.

Стали съезжаться казаки, появился Вялов и сразу принялся готовить вторую атаку, спешивая часть людей.

Но половина сотни не вернулась. Наверное, ушли.

Лошадь под полковником Лебедевым зашаталась, подогнула передние ноги и повалилась набок. Он едва успел высвободиться от стремян. Лошадь поднимала голову, тужилась встать. Грудь ее была залита кровью.

— Что ей мучиться, ваше благородие? — спросил бородатый казак, поднимая карабин. — Подыхаить!

Сухо стукнул выстрел. Лошадь дернулась, ткнулась головой в землю. Невидимая волна покачнула других лошадей.

Самсонов позвал Вялова и велел всем штабным офицерам оставаться при нем, пусть казаки готовят атаку сами.

Второй атаки все же не последовало. Самсонов



скомандовал сворачивать на север, выходить на шоссе Канвизен — Вилленберг. И Вялов не смог убедить его атаковать.

Командующий надеялся найти в Вилленберге части шестого корпуса, а были ли они там — кто знает?

Канвизен была свободна, ее обошли с юга, и перед Вилленбергом остановились, выслав дозор. А в Вилленберге выяснилось — там уже немцы с артиллерией и пулеметами. Должно быть, теперь на всех дорогах стояли заслоны.

Александр Васильевич слез с лошади, стал ходить взад-вперед, разминаясь. Было уже близко к вечеру. Солнце скрылось за тучами. Туч было много, обещалась темная безлунная ночь.

— Ну что, идем в открытый прорыв? — спросил командующий у Вялова. — Все пути перекрыты. Либо пробиваемся, либо крадемся.

— Посмотрите на них, Александр Васильевич, — ответил Вялов. — Мы поляжем, а они нас бросят.

Командующий поглядел на оставшихся казаков. Как маньчжурский священник рассказывал, так и выглядело самсоновское воинство: они боялись смерти и молились о сохранении жизни, лишь один казак да еще один спокойно покуривали и видом своим выражали безропотное терпение.

— Орда, — горько вымолвил Александр Васильевич. — Вы правы. Они нас бросят.

Все сузилось до задачи спастись. Остального не существовало. Что делалось в мире в этот день? Отогнали немцев от Парижа или напрасно погублена вторая армия — никто не мог сказать Самсонову. Оставалась непривычная малопочетная задача. Будто воеводa Шеин под Смоленском? Да, она самая. Выйти и — на казнь к своим.

На лесной поляне сидели под старыми соснами десять человек. Конвоя с ними не было, казаки были отпущены и растворились в лесу.

Самсонов подремывал на попонке Купчика. Пробившийся сквозь сосны солнечный луч мелькнул на погонах командующего.

Постовский заметил сияющий золотым шитьем зигзаг и сказал, что ночью под луной будут отблескивать погоны, их лучше бы снять.

Ему никто не ответил. Купчик, сидевший за спиной Самсонова, словно почуяв опасность, взглянул на По-

стовского. Ждали темноты, надеялись, что в темноте проскользнут мимо всех заслонов по лесным просекам.

Хотя перед всеми стояла одна цель, но теперь даже для вестового было ясно, что по выходе из окружения горше других придется Александру Васильевичу и некому будет защитить его.

Молодые офицеры Дюсиметьер, Бабков и Кавернинский вовсе не унывали, они почистили револьверы и вполголоса разговаривали о воздухоплавании. Никакой вины за ними не было. Что им горевать? Выйдут из переделки, еще прославятся. Все у них впереди. На остальных лежала вина.

Самсонов открыл глаза, повел могучими плечами, оглядывая людей, и крепким голосом сказал:

— Ведет колонну полковник Вялов. Замыкает поручик Кавернинский. Луны бояться не будем! — Он усмехнулся, издав глуховатый грудной рык.

В сумерках, на исходе восьмого часа, группа снялась с места и, перейдя шоссе, пошла к югу. Полковник Вялов с компасом шагал впереди.

Быстро темнело. Небо едва светлело на фоне сосновых верхушек, часто сливающихся в бесформенное целое. Лесной холодный воздух пах оврагом, грибами. Луны не было. Звезды изредка протыкались сквозь тучи. Винтовочные и пулеметные выстрелы трещали справа и сзади, оттуда, где должны были проходить пятнадцатый и тринадцатый. Как они выходили? С обозами, лазаретами, артиллерийскими парками...

Самсонов шел третьим, за есаулом Бабковым, и идти ему было нелегко. Тяжелые ноги командующего болели в икрах, в груди было тесно. Он шумно дышал.

Идущий следом генерал Филимонов приблизился к Александру Васильевичу и тихо сказал:

— Можете на меня опираться.

Командующий сначала отказался, но тело его становилось все чугуннее, словно земля уже не могла дальше нести его, и он стал опираться на плечо генерал-квартирмейстера.

Вялов остановился, спросил, не надо ли отдохнуть. Самсонов промолчал. Постовский стал торопить.

Зеленовато фосфоресцировал компас в руках Вялова, качалась острая стрелочка.

— Идемте, — сказал командующий.

Лес вышел к железной дороге, к мокрому от росы березняку. Наклонясь и отводя ветки, Самсонов добрел до насыпи, Бабков и Купчик взяли его под руки и помогли перейти на ту сторону.



— Сапоги скользят, проклятущие! — с чрезмерной бодростью выругался вестовой. — Еще расходитесь, Александр Васильевич. Это с непривычки.

После насыпи снова был скользкий откос, мокрый березняк, — и выбрались, наконец, на просеку.

— С направления не сбились? — послышался голос Постовского. — Кажется, раньше стреляли западнее?

— Жилу тянет, — бесстрастно заметил Купчик.

— Не отходи далеко, — попросил Самсонов, тяжело дыша. — Я совсем отвык. Ноги не держат.

На просеке сделали перекличку. Он подозвал Постовского и сказал, что надо проследить, чтобы в этот ответственный момент никто не мешал Вялову вести людей, а то кое-кем может овладеть паника.

— Или вы сами поведете, Петр Иванович? — спросил Самсонов.

Постовский отказался.

Пошли дальше, вытягиваясь гуськом. По-прежнему трещали далекие выстрелы, приблизительно в версте отсюда.

С правой руки Самсонова поддерживал вестовой, а левой командующий опирался на плечо Бабкова. Самсонов спотыкался, и тогда его семипудовое тело давило на Купчика и Бабкова. Теперь они шли последними. Кавернинский изредка оборачивался, что-то спрашивал шепотом, но Александр Васильевич из-за своего шумного дыхания не разбирал его слов.

Сколько он мог продержаться?

Это было еще одно испытание физическими страданиями и новыми душевными муками.

К счастью, впереди остановились; там было шоссе, надо было переждать, пока не пройдет германский дозор.

Самсонов сел на попонку, и к нему кто-то подошел. По голосу — Вялов.

— Здесь нам нельзя долго находиться, — сказал полковник.

— Разумеется, — согласился Самсонов, — до рассвета надо успеть.

— Как вы себя чувствуете, Александр Васильевич?

— Вполне сносно. Как запасной на марше — постепенно втягиваюсь.

Командующий нашел силы пошутить, чтобы рассеять вяловскую тревогу. Пусть не снижают скорости, а он еще попытается продержаться.

Минуты через три быстро пересекли шоссе. Самсонов зацепился за ветку, зажмурился от боли в глазу, потом долго шел и моргал слезящимся глазом.

Навстречу все попадались кусты, больших деревьев становилось все меньше и меньше. Потом появился болотистый запах, ноги стали увязать в земле. Болото! Этого никто не ожидал. Остановились.

«Это уж чересчур, — подумал Самсонов, обращаясь неведомо к кому. — Утонуть в болоте после всего пережитого?»

Снова подошел Вялов, спросил о самочувствии.

Командующий потребовал карту и при свете фонарика водил пальцем по немецкой карте, определяя местоположение. Нашел линию железной дороги, шоссе, деревню Гросс-Пивниц, фольварк Каролиненхоф.

— Болота не видно, — сказал Вялов. — Должно быть, небольшое. Обходим.

— Обходим, — согласился командующий.

Вялов пошел, оставив Самсонова, и сказал полковнику Лебедеву и подполковнику Андогскому, что командующий очень утомлен, но еще будет идти самостоятельно. Они понимали, какую беду может принести всем слабость генерала, и мысль о возможности плена обдала каждого тоской.

Но до рассвета еще было часов пять.

Вялов шел с вытянутой рукой, отводил ветки, время от времени сворачивал влево, нащупывая твердую землю. Хотел он или не хотел, а приходилось задумываться о Киевской военной игре, в которой он участвовал как оператор оперативного отдела Генерального штаба. Не хотелось вспоминать, что в апреле думал о быстром наступлении в Восточную Пруссию совсем легко. А теперь? Что нам Париж? Они там никогда и не узнают. И никто не узнает! — сказал он себе откровенно. — Этот расклеившийся командующий, эти голодные солдаты, эти подстегивающие приказы — все это останется за пределами славной истории. В конце концов, как и ты, оказался ничтожной тварью в руках державы. И каково же быть такой тварью? — спросил он себя. — Не знаешь?.. Нет, знаю, — ответил себе Вялов. — Об этом нельзя думать. Надо идти вокруг болота. Надо исполнить долг».

Сказав себе об исполнении долга, Вялов ответил и на вопрос, что делать с Самсоновым, когда тот не сможет идти. Тогда они понесут его на руках.

Неожиданно Вялов нащупал чуть возвышающуюся



твердость и посветил фонариком. Это была лесная дорога, по которой, видно, давно не ездили. Он погасил свет, прислушался. Вряд ли на такой дороге стоял заслон. «Проверь! — мелькнуло в мозгу. — Они могли заметить твой фонарик».

— Передайте: всем ко мне. И тихо! — скомандовал он Лебедеву.

Лебедев послал на разведку штабс-капитана Дюсиметьера, и все застыли в ожидании, ничего не различая перед собой, только слыша клокочущие вздохи Самсонова.

Каждый думал о командующем, ощущая горе и опасность, от него исходившие. Но несмотря на вину Самсонова, заведшего армию в окружение, несмотря на то, что никакой армии уже и не было, эти люди знали, что они по-прежнему находятся во власти этого изнуренного несчастного человека и ничего сейчас не может освободить их от нее.

Они стояли и ждали: то ли пулеметной очереди, то ли спасения.

Послышались шаги Дюсиметьера. Дорога, по-видимому, была свободна от немцев.

— Это дамба, а за ней — лес, — объяснил штабс-капитан осевшим голосом.

Так оно, слава богу, и оказалось. Перешли дамбу, вошли в сухой старый лес. Шагов через двести на полянке возле кучи валежника остановились на привал, и Вялов разрешил час сна.

— Сюда, Александр Васильевич, туточки повыше, я попону постлал, — сказал Купчик Самсонову, беря его за руку.

Прикосновение твердой руки казака напомнило командующему отцовское.

Он лег и закрыл глаза. Своего родителя Александр Васильевич помнил смутно, но сейчас отец явственно предстал перед ним в николаевском офицерском мундире, тучный, бородатый, верхом на сильном белом коне. Отец походил на покойного государя императора, которого запомнил Самсонов ясным сентябрьским деньком на параде в Новой Праге во время Бендерского лагерного сбора.

— Чего ты ждешь? — спросил отец.

Самсонов открыл глаза. До него доносилось ровное дыхание спящих. Он пощупал рукой край ворсистой попоны, потянулся дальше, ведя по мшистой земле рукой, чтобы отодвинуть сучья. Сучьев не было. Тогда он встал на колени. Правое колено чуть хрустнуло, как

это бывает, когда хрустят пальцами. Самсонов тихо набрал полную грудь воздуха, встал и пошел. Треснуло два выстрела, потом еще один за другим, почти сливаясь, два или три. «Чего ждать? — подумал он. — Они дойдут без тебя».

Самсонов поглядел на небо. Оно по-прежнему едва угадывалось над лесом, без луны и звезд. Никто не видел сейчас Самсонова.

Он прошел минут десять, пока ноги не заболели, поискал какой-нибудь куст, чтобы прилечь, сел под кустом, вытащил револьвер и взвел курок. Барабан, щелкнув, повернулся.

— Господи, прости меня! — пробормотал Александр Васильевич и выстрелил в сердце.

Еще оставалась армия, оставались корпуса, дивизии, полки, батальоны. И хотя она погибала, ее части сражались, потому что в каждой еще действовал всеобщий воинский закон. По этому закону ради спасения больших сил отдавались меньшие, бросались под артиллерийский удар батальоны и полки.

Тринадцатый корпус отступал по единственной возможной дороге через узкое озерное дефиле у деревни Шлага и заслонился Каширским полком и мортирной батареей. Корпус медленно переползал через узкую двухсаженную плотину между повитыми туманом озерами, а заслон терпел, обливаясь кровью, зная, что вряд ли спасется. Когда сил терпеть не оставалось, полковник Каховский взял знамя полка и повел каширцев в последний бой.

Заплатив полком и мортирной батареей подполковника Заянчковского, корпус вырвался из дефиле.

Потом был бой у деревни Шведрих, и батарея капитана Брыдкина вместе с двумя батальонами Софийского полка и отдельными ротами можайцев, каширцев и звенигородцев стояли насмерть.

Ночью на лесной дороге колонну встретили из засады картечью и пулеметным огнем; блистал луч германского прожектора, вынюхивавшего цель, метались тени, все запутывалось и должно было погибнуть, без командования, без единой воли. Воинский закон кончался, начиналась агония. Но нашелся офицер и догадался без шума выкатить два орудия прямо перед засадой, а еще два — на соседнюю просеку, ударил с двух сторон и сбил заслон.



Днем колонна снова натолкнулась на артиллерийскую позицию немцев, дожидавшуюся подхода погибающих. И снова под огнем подали вперед орудия, бросились в отчаянную штыковую атаку и прорвались.

Но сколько можно было прорываться сквозь пули и картечи? Из дивизий остались полки, из полков — батальон и роты. Второй армии не существовало. Пали на поле боя командир Дорогобужского полка полковник Кабанов, командир Каширского полка полковник Каховский; смертельно ранены генерал-майор Колюжный и генерал-майор Сайчук, умер от ран командир артиллерийской бригады полковник Христинич, ранены командиры полков: Невского — полковник Первушин, Нарвского — полковник Загнеев, Звенигородского — полковник Венецкий. А сколько полегло нижних чинов и младших офицеров? Их никто не считал.

Ночью шестнадцатого августа при следовании Звенигородского 142-го пехотного полка к плотине между озерами Гросс Плауцигер и Ставск в темноте отстали две роты, 11-я и 16-я, под командованием капитана Барскова и штабс-капитана Семечкина и команда разведчиков под командованием подпрапорщика Дремановича. Они не знали направления отхода, знали только то, что войска отступают, и, слыша отовсюду стрельбу, повернули навстречу наступающему противнику, чтобы уйти хотя бы от пуль своих.

Капитан Барсков, старый сорокалетний служака, и штабс-капитан Семечкин, получивший роту месяц назад, начали свой маневр. Патронов было по нескольку обойм, провианта почти не оставалось. У Штабиготтена в предрассветной лесной мути роты натолкнулись на походную колонну германцев.

Кавалерийский дозор первым заметил русских, и начался встречный бой, самый жестокий и кровопролитный. Пока колонна не развернулась, не выдвинула пулеметы, русские успели дать несколько залпов, но потом пулеметы прочертили границу, и четверо русских младших офицеров и восемьдесят шесть нижних чинов полегли на этой границе.

Роты скрылись в лесу, ушли от преследования и остановились на берегу безмолвного большого озера Ланскерзее. Вечером они двинулись на северо-запад, удаляясь еще больше от своих. Ни сухарей, ни консервов уже не было, патроны еще оставались. Но с заряженными винтовками надеялись дойти. Они дошли до маленького польского хутора, оставили там трех тяже-

лораненых и, не взяв почти ничего, чтобы не озлоблять хозяев, пошли дальше.

Шли шестнадцатого, семнадцатого, восемнадцатого, девятнадцатого августа, и в ночь на двадцатое между деревнями Модткен и Винцковен разведчики Дремановича обнаружили немецкий заслон, силой около батальона. Барсков и Семечкин стали совещаться: может, ударить по германцам, ведь русская земля уже совсем рядом?

— Многие полягут, — сказал Барсков. — Патронов мало. Вот ежели подойти и в штыки...

— Пойдем в штыки! — согласился Семечкин.

Можно было в штыки, да только капитан Барсков был ранен в плечо и рука его висела на подвязке, даже идти было ему нелегко, а что говорить о штыковом бое?

Но решили-таки в штыки.

Дремановнч послал Горелова, не ведавшего страха старшего унтер-офицера, снять часовых, и затем роты пошли.

В темноте оседали палатки, накрывали спящих, как будто брезентовыми саванами. Среди стонов и хрипов вскидывались отчаянные страшные крики. Потом треснул выстрел. И еще выстрел. Вспышки огня заблестели отовсюду. Все перепутывалось. Одни кололи, другие стреляли; на Семечкина налетела огромная тень, капитан отбил удар и сделал выпад, проткнув нападающего, но так и не понял, кто это был, — скорее всего, свой русский. Семечкин повернулся на близкую вспышку, какой-то ветер подул возле его щеки. Штабс-капитан ударил в мягкое, вырвал штык, отскочил и побежал дальше.

Днем двадцатого августа обе роты вышли к русской границе в полном порядке, поредевшие больше чем наполовину, в составе ста шестидесяти пяти нижних чинов и с одним оставшимся в живых офицером — штабс-капитаном Семечкиным.

Уже после гибели Самсонова выходили из окружения отдельные части и группы, наступали и даже снова заняли Нейденбург полки первого корпуса, которым стали командовать Душкевич и Крымов, прорвалась и дошла до Алленштейна кавалерийская дивизия Гурко из первой армии.

Но все это после гибели Александра Васильевича.



Общие потери были следующие.

В тринадцатом корпусе — 656 офицеров и 37 744 нижних чина. Ни один из генералов и начальников отдельных частей в Россию не возвратился. Из числа штабофицеров вернулись из пределов Пруссии лишь начальник штаба 36-й пехотной дивизии полковник Вяхирев, полковник Дорогобужского полка Климов и бывшие при обозах два подполковника Софийского полка. Вся артиллерия и все обозы корпуса погибли. Из числа знамен налицо оказались: Невского полка, отдельное от древка, оно спасено подпоручиком Игнатьевым и подпрапорщиком Удалых; Копорского полка, отдельное от древка, оно спасено подпоручиком Копочинским и подпоручиком Войтовским; Можаевского полка, оно спасено подпоручиком Тарасевичем; Георгиевское копье знамени спасено подпрапорщиком Гилимом.

Из пятнадцатого корпуса удалось пробиться тоже немногим. Погибла и почти вся 2-я пехотная дивизия. Только конный отряд генерала Штемпеля, состоявший из шести эскадронов 6-го драгунского Глуховского полка, трех сотен 6-го Донского казачьего полка и 11-й конной батареи, пробился с боем к русской границе, сохранив все орудия и зарядные ящики. Глуховские драгуны и встретили у деревни Монтвиц выходивший из леса самсоновский штаб, потерявший своего командующего.

Двадцатого августа в Млаве писари штаба лейб-гвардии Литовского полка черной тушью вписали в книгу приказов список нижних чинов, раненных и без вести пропавших в бою с четырнадцатого по восемнадцатое августа:

рядовой Стародомский Станислав (ранен 17 августа под Нейденбургом), рядовые: Кротла Павел, Комаровский Владислав, Шесяк Иван, Армаковский Иван, Суханов Петр, Рудик Антон, Малецкий Михаил, ротный горнист Маркелов Михаил, ротный горнист Эрдман Ян, ефрейторы: Фещенко Петр, Тамусек Янис, Макаренко Сергей (ранены 15 августа под Сольдау); рядовые: Иванишин Алексей (ранен 17 августа под Нейденбургом), Бабин Тимофей, Капканов Арсений, Михнер Дионисий, Рутковский Станислав, Дуб Ян, Кононов Мартын, Ковча Даниил; старший унтер-офицер Ольхович Казимир, рядовые: Кукла Франц, Задонов Роман (пропали без вести 15 августа под Сольдау)...

Всего убито, ранено, пропало без вести в Литовском полку девятьсот нижних чинов.

Ранены командир 3-й роты штабс-капитан Бородаевский (принял командование подпоручик Муравьев), командир 7-й роты штабс-капитан Петропавловский (принял командование поручик Акимов), командир 13-й роты капитан Полонский (принял командование поручик Римский-Корсаков), командир 16-й роты штабс-капитан Хованский (принял командование подпоручик Квашин-Самарин). Кроме того, ранены офицеры — Климович, Кононов, Красуский, Волков, Петровский, Меженинов, Абрамович I, фон Левиз оф Менар, Святополк-Мирский, фон Шмидт, Соболевский, Шпигель, Заремба-Рацевич II, Лобасов, Соловьев.

Писари исключали одни имена, ставили на довольствие новобранцев.

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Александр Васильевич Самсонов умер. А русское общество, те, кто толкует о смерти и решает, кому быть жертвой, скорбно и гордо поклонились памяти погибшего командующего, возвысив его имя до имени Отечества, и сказали, что Россия должна была пойти на это ради спасения Франции. Но что на самом деле спасло Францию — русская кровь, или борьба самих французов, или ошибка Германского Большого Генерального штаба, никто никогда не ответит. И никто не потребовал ответов и доказательств. Орел жертвы сделал неуместными такие вопросы. Остались другие, частные, — зачем Самсонов прервал связь со штабом фронта, почему генерал Артамонов не удержал левый фланг, почему генерал Ренненкампф не ускорил наступления своей армии, но эти вопросы не затрагивали главного.

В конце концов все свелось к Самсонову. И командование фронтом, и Верховное командование, и военный министр Сухомлинов, и министр иностранных дел Сазонов, и государь, и сотни других людей в Петрограде (уже переименованном), Барановичах, Белостоке решили, что отвечать за катастрофу должен покойный командующий.

Но Самсонов был героем и мучеником! Его невозможно было ни в чем обвинить, он и без того унес с собой все чужие грехи. Тогда разделили имя Александра Васильевича на две половины — Самсонова-рыцаря и Самсонова-генерала, и вознесли бесстрашие и мужество рыцаря, и осудили безрассудство генерала. Таким он и должен был остаться в истории, милым, благородным, немного жалким героем, в котором что-то от Иванушки-дурачка, что-то от Добрыни, что-то от ушедшей поры.



Родное Отечество воздвигло над безвестной могилой памятник виноватой жертве.

Тем временем с Юго-Западного фронта пришло известие о взятии Львова, а из Франции — об отступлении армий Клука и Бюлова после битвы на Марне.

Начальный период войны закончился.

Русские не овладели Берлином, немцы не заняли Парижа. О скором окончании войны быстрым наполеоновским ударом, на что надеялись в начале августа все ее участники, теперь нечего было думать. Новые имена страдальцев, убитых, раненых, пропавших без вести, ежедневно выбрасывались на страницы газет, и Александр Васильевич все больше отдалялся от живых.

История его жизни завершилась.

Но осталась одна человеческая душа, которая не могла считать Самсонова мертвым.

Она не знала, что делать, как искать следы мужа, верить или не верить соболезнованию государя. Она была еще очень привязана к живому Александру Васильевичу.

Екатерина Александровна переехала с детьми в Елисаветград, поступила сестрой милосердия в госпиталь Елисаветградской общины Красного Креста и убрала волосы под белую косынку с красным крестом.

Ей полагалась пенсия, однако Екатерина Александровна не подавала прошения и никаких денег из казны не получала. Она еще уповала на чудо.

Державная сторона жизни, на которую она привыкла опираться при муже, теперь отходила от нее, заменялась новой силой сострадания и долга.

Особенное впечатление произвел на Екатерину Александровну поручик Тельнихин, раненный в кисть левой руки и перенесший три операции — сперва ему отрезали кисть, потом руку по локоть, потом по плечо. И вот он смотрел на Екатерину Александровну с твердой улыбкой и спрашивал, не мерещится ли ему вновь гнилостный запах из-под повязки. Запах мог означать только распространение гангрены.

Тельнихин был первым, уходящим на ее глазах. Он еще надеялся, а она знала, что никаким его надеждам не сбыться.

Но она ведь тоже еще надеялась! И кто-то, наверное, тоже знал, жив ли ее муж или вправду его больше нет.

Кто это знал? Жилинский? Немцы? Или один Бог?

Гнилостный запах становился все ощутимее, и Тельнихин перестал спрашивать о нем. Однажды Екатерина Александровна промыла мокрую рану, наложила новую повязку и хотела уйти, он попросил, чтобы она посидела рядом с ним. Ей же было некогда, она стала шутливо отговариваться, невольно перенося на него свое ощущение здорового человека, у которого много времени для жизни. Круглое, гладкое, как у ребенка, лицо Тельнихина покрылось красными пятнами, глаза сузились, а рот разъявился и раздался крик. Поручик кричал, тряся единственной рукой, без слов, что-то звериное и вместе с тем понятное. Это кричала сама жизнь Тельнихина.

После этого случая он переступил черту и успокоился, сделался сосредоточенным. Екатерина Александровна видела, что скоро к нему придет священник. Взгляд Тельнихина светлел, наполнялся слезами.

Где-то лежали погребенные бойцы, мучились в лагерях военнопленные, и страдание все больше заполняло Отечество.

Екатерина Александровна подошла к поручику, когда он спал, остановилась и услышала какое-то бормотание, потом он вздрогнул и отчетливо произнес:

— Зорю, зорю играют!

Неужели военная музыка разливалась в эти минуты в угасающем сознании и он прощался с товарищами, вступая в вечность?

Екатерина Александровна тогда тоже жила словно на страшной черте и чувствовала гибельность этого огромного безжалостного священного начала, которое подавало ей знак «Кавалерийской зорей». Оно даже не требовало жертвы. Оно просто брало то, что ему принадлежало.

И Екатерина Александровна склоняла голову перед этим началом!

Медленная смерть Тельнихина обминала ее душу, вытаскивала из личного горя к милосердию.

Тельнихин умер, не разлучась со своими богами, и они остались с Екатериной Александровной.



Проходили дневные и ночные дежурства, звонили колокола десяти елисаветградских соборов, напоминая живым о вечности, привозили новые партии раненых. Осенние туманы клубились над темными водами Ингула.

После долгого молчания отозвался полковник Крымов, написал об Александре Васильевиче: «Он был благородный человек, каких мало. Чисто русский, отечестволюбивый офицер, о чем Вы должны сказать Вашему сыну Владимиру. Александр Васильевич роковым выстрелом взял на себя мужество отвечать за всех. Отечество и высшее руководство остались незапятнаны...»

Что она поняла из этого письма? Что с мужем поступили безжалостно? Она ощутила эту безжалостность, безысходность, кровь... Вспомнила, как он напевал старинный кавалерийский сбор, обратилась к сыну, чтобы он подсказал ускользающие слова, и Владимир прочитал без запинки:

Всадники-други, в поход собирайтесь!
Радостный звук вас ко славе зовет,
С бодрым духом храбро сражаться,
За родину сладкую смерть принять.
Да посрамлен будет тот малодушный,
Кто без приказа отступит на шаг!
Долгу, чести, клятве преступник —
На Руси будет принят как злейший враг..

В серых глазах подростка Екатерина Александровна увидела вызывающее упорство. Он как будто говорил всем тем, кто бросил его отца, что Александр Васильевич истинный герой.

Перед ней стоял живой Самсонов. И ее объял ужас — Владимир принадлежит тому жестокому и священному началу.

Сердце сказало ей: «Все, у тебя больше нет мужа, не надейся».

Екатерина Александровна тянула до декабря, потом решилась — поехала в Петроград.

Об Александре Васильевиче там никто не мог сказать, жив ли он, ибо никто не видел его убитым.

Она побывала у военного министра Сухомлинова, помнившего ее мужа еще по Академии, побывала у Жилинского, отставленного от командования и подчеркивавшего свою непричастность к трагедии, и узнала, что правительственная комиссия называет дейст-

вия Самсонова храбрыми, но не вполне соответственными. Они считают его погибшим, советовали обратиться к государю с просьбой о пенсии.

— Почему он погиб? — спросила Екатерина Александровна у Жилинского.

— Александр Васильевич спас Францию, — ответил Жилинский.

— Что Франция! — сказала она. — Вы забываете, Яков Григорьевич, что я не ищу цену за мужа. Хотя бы его тело верните, чтобы похоронить в родной земле. Или вам нужен даже прах?

Жилинский вздохнул, стал рассказывать о стратегии и воинском долге. Его хмурое непроницаемое лицо с твердым бритым подбородком, на котором почти посередине выступал бугорок бородавки, с вислыми, не очень густыми усами выражало терпение. С таким выражением врачи в госпитале смотрели на тяжелораненых.

— Я доложу государыне-императрице, — сказал он. — Может быть, через Красный Крест найдем...

— Умоляю вас, Яков Григорьевич! — воскликнула она.

Жилинский был близок ко двору матери-императрицы и, благодаря этому, когда-то оттеснил Самсонова от командования округа, но все генеральские должности не имели никакого значения.

— Да, да, я доложу! — с облегчением повторил Жилинский.

Что еще он мог?

— Господи! — сказал Жилинский. — Когда-то я был представителем на Гаагской конференции мира. Это был первый шаг молодого государя к жизни без войн. И сделала такой шаг Россия. Как мы надеялись и как были наивны! Нет, Екатерина Александровна, военные не имеют права быть наивными. Александр Васильевич был настоящим военным. Я всегда буду его помнить.

— Я должна найти его! — сказала она. — Кроме вас, некому помочь.

За Екатериной Александровной ничего не стояло, никакой силы, — только вдовья скорбь и вечная память, две жалкие сестры павших героев.

Склонив голову перед всесильной столицей, Екатерина Александровна писала:



«Ваше Величество Всемилостивейший Государь.

Мне невыразимо тяжело просить о пенсии, когда я ничего не знаю о судьбе моего несчастного мужа, но забота о двух несовершеннолетних детях, в трудном тяжелом материальном положении, заставляет меня беспокоить Вас, Государь, Всеподданнейшей просьбой обеспечить пенсией мое существование и детей моих, сына 15-летнего возраста, дочь до замужества.

Вашего Императорского Величества верноподданная вдова генерала от кавалерии

*Екатерина Самсонова.*

Петроград. 15-го декабря 1914 г.».

Ее прошение недолго лежало на столах делопроизводителей и быстро прошло, подталкиваемое будто самим именем Александра Васильевича. Екатерина Александровна вернулась в Елисаветград, не дожидаясь ответа.

После всеподданнейшего доклада последовал доклад по Главному штабу, в котором жизнь Самсонова блеснула на прощание.

«Высочайшим приказом 23 августа 1914 года исключен из списков убитых в бою неприятелем состоявший по Семиреченскому казачьему войску и числившийся в списках Генерального штаба командовавший 2-ю армиею генерал от кавалерии Самсонов.

Вдова названного генерала обратилась с всеподданнейшим ходатайством о назначении ей с детьми пенсии.

Справка. Генерал от кавалерии Самсонов на действительной службе 39 лет.

В течение службы занимал, между прочим, должности: начальника Елисаветградского кавалерийского училища, начальника Уссурийской конной бригады, начальника Сибирской казачьей дивизии, начальника штаба Варшавского военного округа, войскового наказного атамана войска Донского и Туркестанского генерал-губернатора и командующего Туркестанского военного округа.

Участвовал в походах и делах против неприятеля в 1877—78 и 1904—1905 гг.

За отличия в сражениях награжден орденами: Святого Великомученика и Победоносца Георгия 4 степени, Святого Станислава I степени с мечами, Святой Анны I степени с мечами, золотым оружием с над-

письмо «За храбрость» и произведен в чин генерал-лейтенанта.

Производилось содержание по должности командующего Туркестанского военного округа: жалованья 2 940 рублей, столовых 3095 рублей и на прислугу 240 рублей и по должности Туркестанского генерал-губернатора жалованья 11 982 рубля 50 копеек и столовых 11 982 рубля 50 копеек, а всего 30 240 рублей в год.

Семья генерала от кавалерии Самсонова состоит из вдовы, сына 15 лет и дочери 12 лет.

Сын воспитывается в гимназии.

Выслугою установленных сроков от кавалерии Самсонов представил семье право на пенсию из эмеритальной кассы в размере 2 145 рублей в год; определение же размера пенсии из государственного казначейства, согласно ст. 41 военно-пенсионного устава 1912 г., зависит от Высочайшего усмотрения.

При сем повергается сведение о пожалованных семействам генерал-губернаторов и командовавших войсками военных округов пенсий из казны с 1882 по 1914 гг. включительно.

Испрашивается Высочайшего вашего Императорского величества соизволения на определение размеров пенсии из государственного казначейства вдове с 2-мя детьми командовавшего 2-ю армиею генерала от кавалерии Самсонова.

Подлинный подписал

*Генерал-адъютант Сухомлинов*

*Скрепил: генерал от инфантерии Михневич».*

Особый Журнал Совета Министров

2 января 1915 года

Слушано:

2. ...Озабочиваясь пенсионным обеспечением семейства генерала от кавалерии Самсонова, Военный Министр вошел в Совет Министров с представлением об испрошении Всемилостивейшего Вашего Императорского Величества соизволения о назначении названному семейству пенсии из средств государственной казны.

Постановлено:

Обсудив настоящее дело и приняв во внимание боевые заслуги и выдающуюся административную и строевую служебную деятельность генерала от кавалерии Самсонова, павшего ныне на поле брани, Совет Министров признал соответственным повергнуть на



Высочайшее Вашего Императорского Величества благовоззрения о представлении его семейству пенсионного обеспечения в размере 10 645 рублей в год...

Государь Император в 17 день января 1915 года на сие всемилостивейше соизволил.

Исправляющий должность Управляющего делами Совета

*И. Лодыженский*

31 января 1915г.

Елисаветградский уездный воинский начальник телеграфировал, что семья генерала от кавалерии Самсонова пенсию желает получать из Елисаветградского казначейства.

Цена за спасенную союзницу была уплачена.

Екатерина Александровна, признав гибель мужа, теперь была обыкновенной вдовой. Ореол мученичества, сопровождавший ее, исчез.

Усталость от затягивающейся войны и разочарования поднимали в обществе странные настроения против героизма, против Отечества, которое не щадило своих людей.

«Спаси, Господи, люди твоя!» — гремело над фронтами.

А там, где управляли войной, где взвешивались жизни, генерал-квартирмейстер ставки Данилов прогуливался по снегу вместе с директором дипломатической канцелярии Кудашевым и обсуждал, как покрепче воздействовать на Румынию и Италию.

— Я серьезно подумываю предпринять что-нибудь с Перемышлем, — сказал Данилов.

— Это было бы замечательно, — ответил Кудашев.

Данилов со вздохом продолжал:

— Для нас это совершенно не нужно. Но, пожалуй, придется принести в жертву людей, чтобы подбодрить остальных.

— Увы, другого пути я не вижу, — вымолвил Кудашев. — Нужен большой военный успех. Тогда мы окажем воздействие на колеблющихся.

Оба понимали, что речь идет о блефе, поэтому испытывали неловкость, похожую на угрызения христианской совести.

Над Барановичами, над поездом ставки в темном январском небе слабо мерцали звезды. Полная луна,

окруженная белыми облаками, светила по мерцающему снегу, и ей вторили горящие окна вагонов.

Куда мчался этот поезд? Понимал ли кто-нибудь?

Шла первая военная зима, по России везли железные гробы, зарывали в мерзлый песок в подмосковном селе Всехсвятском на новом кладбище-памятнике солдатам и сестрам милосердия.

В елисаветградских соборах пели вечную память.

Сердце Екатерины Александровны отвердело, и она уже никого не винила в смерти Александра Васильевича.

Она много работала в госпитале, но еще — и в уездном земстве, собирала добровольные пожертвования с елисаветградских промышленников, помещиков, купцов, торговцев, типографов, православных священников, раввинов, мещан. Это были пожертвования, а порой отступное от чужого страдания, но как бы там ни было, мало кто был в силах отказать перед светлым холодно-лучистым взглядом вдовы генерала.

Она ожила в своем горе.

Ее дочь, маленькая гимназистка женской гимназии, в коричневом платье с белыми кружевным воротником, охватывающем тонкую шею, приходила в госпиталь, читала наизусть стихи о войне:

Возвышенно и даже празднично звучало:
Как собака на цепи тяжелой,
Тявкает за лесом пулемет.
И жужжат шрапнели, будто пчелы,
Собирая ярко-красный мед...[1]

Раненые офицеры любовались Верой и особо не вникали в смысл стихов. Она была из светлого чистого мира, которого уже не оставалось вокруг них. Даже Царьград грезился в ее чтении:

Надежды не обманут нас,
Не минет вещая награда,
Когда в обетованный час
Падут твердыни Цареграда[2].

Разгорался другой свет, который стала различать Екатерина Александровна в людях, прибывающих

[1] Николай Гумилев
[2] Георгий Иванов



с фронта. Особенно к лету, когда фронт начал отступать, теряя то, что было завоевано.

Еще не забылось мартовское торжество по поводу взятия Перемышля, а он уже оставлен. Оставлена Галиция, и Львов очищен русскими.

Что-то лопнуло.

Екатерина Александровна не знала, почему так получилось. Она надеялась, что это случайность. На самом деле никакой случайности не было, командованию было известно о подготовке австро-венграми и германцами наступления, но Ставка и Юго-Западный фронт пренебрегали этими сведениями, стремясь скорее прорваться через Карпаты в венгерскую долину. Не прорвались, заплатили сотнями тысяч жизней.

Над Россией реяло уже много теней — тени героев самсоновской армии, героев Перемышля, героев карпатской операции.

О наша тоска! О русские обреченные герои!

Перед Екатериной Александровной проходили эти богатыри. От некоторых остались какие-то записки и дневники, но большинство проходило молча.

В бумагах, оставшихся от умерших, она выделила записки гвардейского капитана, в которых рассказывалось только о стойкости, подвигах и геройстве. Капитан как будто смотрел на нее ясным прямым братским взглядом.

А по соседству с капитаном лежал прапорщик ускоренного выпуска Кравченко, бывший учащийся Быховского городского четырехклассного училища. В его дневнике одни насмешки, то веселые, то горькие. Офицеры и солдаты у него похожи на уездных мещан. Одни пьянствуют, ходят в публичный дом, заболевают трипером, потом, после прижигания ляписом, бегают по саду и вопят от боли. Другие просто пьянствуют. Третьи дуются в карты. А солдаты — те не любят патриотических песен, только думают о своей порции, воруют.

И все это была война: и крестьянская, и дворянская, и мещанская. И все они умерли. Все уже были там, где и Александр Васильевич.

К августу пятнадцатого года, годовщине восточно-прусской трагедии, русская армия отступала. Немцы штурмовали крепости Новогеоргиевск и Осовец. На

западном фронте наступило затишье. Англичане со страшными потерями высаживали десант на полуострове Галлиполи, на берегу Дарданелл (говорили, что первоначально десант планировалось провести вместе с русскими, но потом владычица морей решила вести дело сама, чтобы не упустить Проливов). Италия объявила войну Турции. В Турции шли гонения армян, младотурецкое правительство приговорило к смертной казни через повешение двадцать членов армянской социалистической партии, обвинив их в сборе средств для независимой Армении.

Газеты пестрели траурными известиями с фронта. «Русское слово» сообщало о размещении тысячи раненых в Зимнем дворце, в парадных залах, выходящих на Неву — Николаевском с Военной галереей, аванзале, Гербовом, Георгиевском. Вот куда подступала война.

Екатерина Александровна натолкнулась на два объявления о пленных. Надежд не было. И все же ее затрясло.

«Капитан Хэтчисон, пропавший без вести в августе месяце при отступлении от Монса, по частным сведениям от 14 ноября 1914 г. находится в плену. Возвратившихся из плена, имеющих сведения о нем, покорнейше просим уведомить — Еджертон Губбарт и компания. Николаевская набережная, д. 37. Петроград».

Неведомый Хэтчисон был связан с Александром Васильевичем, сражаясь во Франции. Судьба спасла его! Судьба спасла и многих русских. Кто-нибудь из них мог же знать о Самсонове!

«Нас просят сообщить, что находящиеся в плену в Германии нижние чины 3-й гвардейской артиллерийской бригады очень нуждаются в одежде, белье и табаке. Посылки можно адресовать: Дейчланд, Циккау, Гросс-Парич, 6, Гефандененлагер, на имя военнопленного И. Баклисского».

Третья бригада, объяснили Екатерине Александровне, — это из самсоновской армии.

Она думала про обещание хлопотать перед императрицей. Да где теперь Яков Григорьевич? Он — военный представитель во Франции, спасенной его войсками. Как его достать?

Екатерина Александровна была потрясена, когда в елисаветградскую общину пришла телеграмма с грифом «По обстоятельствам военного времени», которой предлагалось командировать в Петроград для ос-



мотра лагерей военнопленных в Германии сестру милосердия Самсонову. Господи, среди великих страданий человеческих Провидение выбирало ее, чтобы она могла исполнить свой долг жены! Екатерина Александровна почему-то представила, что ей придется переходить через передовые позиции, где ради ее миссии временно прекратятся военные действия. Потом она выяснила, что ее путь должен лежать через Швецию и Данию, то есть все будет по-другому, и она не увидит окопов.

Она увидела иное, то, что не могло пригрезиться русским сестрам — попечительнице Житомирской общины сестер милосердия Орженевской, старшей сестре Петроградской общины сестер милосердия имени Св. Георгия Казем-Бек и Самсоновой. В Копенгагене присоединились трое делегатов датского Красного Креста, все — командоры ордена Даннеберг: Хениус, фон Шлет и Твермос, пожилые господа. Датчане держались просто, как умудренные жизнью крестьяне.

Казалось, их ничто не может глубоко задеть, во всяком случае они не обнаружили большого сочувствия Екатерине Александровне, когда узнали, кто она. От их равнодушия ей стало досадно, будто ею пренебрегали.

Потом, после посещения первого солдатского лагеря, господин Эрик Хениус сказал ей, что передал германцам свою личную просьбу найти генерала Самсонова, и ему ответили, что такого генерала в числе военнопленных нет, есть другие — Клюев, Мартос, и что можно посетить их лагерь.

Екатерина Александровна видела, что датчане попрежнему не выражают сочувствия и действуют из чувства долга. Но это было не то, что владело ею, не такое чувство долга, даже вовсе не чувство!

Она обследовала лагерь за лагерем, погружаясь в неведомую русскую жизнь.

Одна грань этой жизни прочно сияла над германскими черепичными крышами, поражая ужасом и силой страдания.

Екатерина Александровна искала реальные отпечатки этой грани, но солдаты не заявляли претензий на немецких комендантов, следов жестокости не было.

Но русским сестрам была известна страшная история, случившаяся в каком-то лагере. Ее рассказал датчанам некий поляк, плававший матросом на датском пароходе и интернированный в начале войны. То,

что история случилась в прошлом году, может быть, объясняло ее ожесточение, во всяком случае в нынешних лагерях делегация не встретила ничего подобного.

По словам поляка и в передаче датчан, все выглядело так.

Однажды в лагерь были приведены четыре казака в шароварах с лампасами красного цвета. Их вывели во дворик, поставили шагах в двух от стены барака, и через щель в стене поляку все было видно. У первого казака положили правую руку на маленькую чурку и штыком-ножом отрубили по половине пальцев большого, среднего и мизинца, сделав из кисти какую-то рогульку. Обрубки отлетали и падали на землю, а немецкие солдаты их подбирали и складывали казаку в карман. Потом увели в барак. Второму казаку отрубили уши. Третьему ударом штыка сверху вниз отсекли кончик носа, который повис на кусочке кожи. Казак знаками попросил, чтобы отрезали повисший кусок, и тогда ему дали перочинный ножик, и несчастный горемыка сам отрезал собственный нос.

Про эти ужасы невозможно было слушать. Оржаневская закрыла уши. Но Хениус поднял кверху палец и сказал, что они обязаны знать, а там пусть судят, как хотят.

Привели четвертого казака, продолжал Хениус. Что хотели с ним сделать, неизвестно. Он выхватил штык и ударил одного германца и стал драться со всеми остальными пятнадцатью солдатами. И они его закололи штыками...

— Я думаю, это правда, — заключил Хениус. — Когда я был датским консулом в Одессе, я узнал русский характер. Вы очень своевольны.

— Он должен был терпеть? — спросила Казем-Бек с аристократической горделивой простотой.

— Но чего он добился? — тоже спросил ее Хениус. — Надо было подчиниться судьбе.

Впрочем, больше таких историй они не слышали, хотя читали в глазах военнопленных горький упрек. «Вы все равно уедете, а нам оставаться, — так понимала их Екатерина Александровна. — Мы не можем всего рассказать!»

Здесь были иные правила, иные законы управляли и спасали людей.

Лагерь Данциг-Тройль встретил делегацию Красного Креста духовым оркестром, исполнявшим «На сопках Маньчжурии». Сестры остановились, как вкопанные. Они помнили эти слова: «Плачет, плачет мать родная, плачет молодая жена...» Хотя играли одну музыку, скорбная молитва песни звучала в сердце.



Серые бараки тянулись унылыми рядами, словно застывшая тоска. Над церковным бараком возвышался крест, и сестры перекрестились, утешаясь видом православного символа.

Тучный комендант с бисмарковскими усами показал лагерь — бараки, лазарет, отхожие места, читальню, переплетную, сапожную мастерскую — и, показывая, давал понять, что ставит немецкую культуру выше всех.

Впоследствии Екатерина Александровна повидала другие лагеря, и везде: на Лебе, в Бютове, Гаммерштейне, Черске, Тухале, Арисе, Гайльберте, Прейсиш-Голланде — она сталкивалась с двумя культурами — комендантской и российской, которые существовали сами по себе. Она заходила в комнатки лагерных комитетов взаимопомощи, где кто-то, то ли солдат, то ли унтер-офицер, то ли вольноопределяющийся, каждый раз обещали разыскать кого-нибудь из второй армии, и каждый раз Екатерина Александровна испытывала чувство горечи и вины за то, что пережили эти люди. Но постепенно вырисовывалась картина, отодвигавшая страдания отдельного человека на второй план. В том числе и ее страдания.

Екатерину Александровну просили прислать книги для читален, ноты для оркестров, пьесы для драматических кружков, учебники для школ (были в лагерях и подростки), и хотя не везде были школы и оркестры, зато везде были комитеты взаимопомощи, и они отвергали важную жизненную опору, без которой Екатерина Александровна не мыслила человеческое существование. Им не нужно было геройство, они его презирали.

Еще в первом лагере комендант сказал, что главное уже сделано немецкими руками: немцы заставили пленных думать и заботиться о себе; это всегда было свойственно Германии по отношению к России.

Екатерина Александровна возразила, приведя для примера успехи в Средней Азии, где обаяние русского имени творило добро.

За комитетами взаимопомощи стояла традиция новгородского веча и крестьянской общины, не чуждая Екатерине Александровне, ибо она выросла в Акимовке, бок о бок с крестьянским миром, но все-таки неглавная, негосударственная. А сейчас взаимопомощь

заменяла им родину! Они сами произвели свою простонародную государственность.

В солдатских лагерях Екатерина Александровна узнала, что случилось с армией мужа, узнала о маршах по песчаным дорогам, последних сухарях, «чемоданах», боях в окружении. Только об Александре Васильевиче — ничего не узнала.

Она хотела поехать в крепость Кенигштейн, где содержался генерал Клюев.

Хениус сказал ей, что найдена могила Самсонова, возле Вилленберга, близ какой-то фермы, и что лучше поехать туда. А Кенигштейн — не по пути, далеко.

Она видела будто наяву — ночной лес, перекопанные, заваленные деревьями дороги и лезущих, как муравьи, солдат, вытаскивающих на руках пушки; ночную тьму резали прожектора, били пулеметы, но муравьи лезли, лезли, в штыки, из последних сил, две ночи не спали, три ночи не ели...

Датчане сказали о Клюеве, что нельзя его осуждать за сдачу в плен, потому что даже рыцари в безнадежных случаях ломали шпаги и отдавали их неприятелю.

— А ее муж застрелился! — гневно возразила Казем-Бек.

— Разве он этим принес пользу своей стране? — спросил Хениус. — Вы, русские, порой бесчувственны к смерти.

— Вы плохо знаете русских! — сказала Казем-Бек.

— Я много лет жил у вас, — возразил Хениус. — Я уважаю Россию, но есть вещи непонятные...

— Тогда не судите о них! — заключила Казем-Бек. — Теперь Клюев с его рыцарством навеки опозорил себя, а генерал Самсонов умер героем.

За прахом Самсонова поехала одна Екатерина Александровна в сопровождении пожилого немецкого майора, сухого службиста с огромной старинной саблей. Оржеховская и Казем-Бек обследовали большой недавно выстроенный лагерь в Прейсиш-Голланде и благословили ее.

Она проехала через Дейч-Эйлау, Монтово, Сольдау, Нейденбург, Мушакен, видела удлиненные, еще не разобранные платформы, предназначенные для выгрузки пехоты из вагонов, видела сломанные перила и стены вокзалов, посеченные щербинами; разговаривала с лютеранским пастором, поведавшим ей, что он был в Нейденбурге в те страшные дни и знает, что один немец бросил камнем в казака и был застрелен,



но это был единственный немец, который погиб при русских; майор спорил с пастором, говорил о жестокости русских, но священник отвечал, что берлинские газеты врали... Майор хотел втянуть Екатерину Александровну в спор о немцах и русских, но она не захотела и, сложив руки на коленях, опустила повязанную серой сестринской косынкой голову.

— Вы русская? — спросил с сочувствием пастор.

Она не ответила.

— Мы едем выкапывать тело ее мужа, — сказал майор. — Генерал Самсонов. Возможно, слышали?

— Нет, не слышал, — вздохнул пастор, выражая сочувствие вдове убитого. — Вы повезете его на родину, госпожа?

— Да, на родину, — вымолвила Екатерина Александровна. — У него есть родина, есть дети. Он вернется к себе.

— Это правильно, — согласился пастор.

Она подняла голову и вгляделась в неразличаемое прежде лицо, которое минуту назад как бы заслонялось черной сутаной. Это было обыкновенное скуластое простонародное лицо с курносым носом и карими круглыми глазами, оно не выражало ни глубокой мудрости, ни горячего сострадания, но в нем было понимание.

— Скорбные могилы воспитывают воинов, — буркнул майор. — Я считаю, что нельзя отдавать даже могилы... У меня три сына погибло, я даже не знаю, где они лежат.

— Вас объединяет скорбь, — сказал пастор. — То, что предстоит этой госпоже, заставляет сжаться любое ожесточенное сердце.

В Нейденбурге священник простился, а они поехали дальше, каждый со своим горем, как с тяжелой старинной саблей.

В Вилленберге, маленьком чистом городе с узкими домами, Екатерине Александровне вернули медальон мужа и сказали, что могила — в двух верстах от фольварка Каролиненхоф.

Она взяла потускневший медальон, прочитала выгравированную надпись «Помни о нас» и под взглядами майора и вилленбергского ландрата почувствовала упрек покойнику. Вот уж совсем рядом был Александр Васильевич, и ей полагалось скорбить, но скорби не было, Екатерина Александровна заканемела.

Ночью в холодном номере гостиницы, где еще

не топили печь, она вспомнила свою жизнь с Самсоновым и удивилась тому, как мало времени он уделял ей и детям, и снова упрекала его. Вот она девочка из Акимовки, а он — лубенский гусар в красных чакчирах и голубом доломане на могучем коне. А что дальше? «Вы замундштучили меня и полным вьюком оседлали...».

Ей привиделся яркий день на Николу Вешнего, казаки поют, джигитуют, и ротмистр Головко, поощряемый ее мужем, садится на разгоряченную лошадь.. Все сгинуло. И тот день, и муж, и бедный Головко! Что за слепая сила, которая брала людей и бросала куда хотела?

Серым холодным утром Екатерина Александровна поехала на фольварк Каролиненхоф. Майор сидел рядом с ней в коляске и, поставив саблю между колен, сонно смотрел на темные сосны. Позади коляски ехала телега, в ней постукивал большой ящик.

— Я вчера думал о вас, фрау Самсонова, — сказал майор. — За что погибли мои сыновья? За что погиб ваш супруг? Они погибли за Отечество.

Больше он ничего не говорил.

Она глядела на лес, на облетевший березняк на опушке, чувствовала приближение тяжкой минуты, и ей казалось, что где-то неподалеку томится душа Александра Васильевича.

Ей было холодно. Уже стоял ноябрь, третье ноября. Больше двух месяцев длилась поездка Екатерины Александровны. Теперь уже близко. Третье ноября — это, кажется, день преподобного Иллариона, схимика Печерского в Дальних пещерах. Александр Васильевич мальчиком бывал в Киевской Лавре, а в день киевского святого покинет чужую землю.

— Вы хотите наблюдать, как будут раскапывать? — спросил майор.

Она сразу ответила: да, — и ей сделалось страшно.

Майор вздохнул, вымолвил:

— Ну хорошо.

Она почувствовала, что этот мрачный немец как будто жалеет ее.

— Я должна увидеть его, — объяснила Екатерина Александровна.

— Хорошо, — повторил майор. — Я понимаю.

В Каролиненхофе он взял русских военнопленных с лопатами, одного большого носатого рыжебородого



по фамилии Токарев, второго невысокого жилистого по фамилии Байков, — оба из самсоновской армии, в плену с августа прошлого года. Но генерала Самсонова они никогда не видели.

Поехали по лесной дороге, и ехали версты две, пока не остановились возле холмика, сильно засыпанного желто-коричневыми листьями.

Екатерина Александровна отгребла листья, посмотрела на солдат и велела копать.

Невысокий солдат легким подсекающим движением снял первую лопату песчаной земли, вдруг остановился и сказал Екатерине Александровне:

— Загнали нас сюда!.. Должно быть, он самый ретивый был. А что теперь?

— Бог всех рассудит, — спокойно произнес большой солдат. — Подвинься. Наше дело простое.

— О чем они говорят? — спросил майор. — У них претензии?

— Они говорят о бренности нашей жизни и Боге, — ответила Екатерина Александровна.

— О Боге я тоже думаю, — сказал он.

Солдаты быстро копали, яма углублялась, притягивала жутким ожиданием. Они опустились в нее сперва по колено, потом по пояс, и приблизилась минута, когда тело Самсонова должно выйти из покоя.

Лопата стукнулась о гроб.

Вид Александра Васильевича был страшен. Но это был он, а не кто-то другой. Екатерина Александровна нашла его.

Она закрыла глаза руками, отвернулась и заплакала, тихо причитая, выговаривая запавшие с детства слова прощания:

— Сашенька ты мой дорогой, что же ты с собой сделал, на кого ты нас оставил...

Вся ее окаменелость распалась, война остановилась, русские солдаты и немецкий майор глядели на женщину с одинаковой скорбью.

Потом тело положили в обитый железом ящик, и Екатерина Александровна повезла его домой.

В конце ноября Александра Васильевича похоронили в родной земле, на погосте Акимовской церкви, и родина приняла его, своего героя и свою жертву, как всегда принимала тьмы своих сыновей, которые ничего не ведали ни о геройстве, ни о жертве. Господи, как печальна эта судьба!

П. А. Столыпин.
Эта фотография хранится в Бахметьевском архиве Колумбийского университета (Нью-Йорк), в фонде М. П. Бок — дочери Столыпина

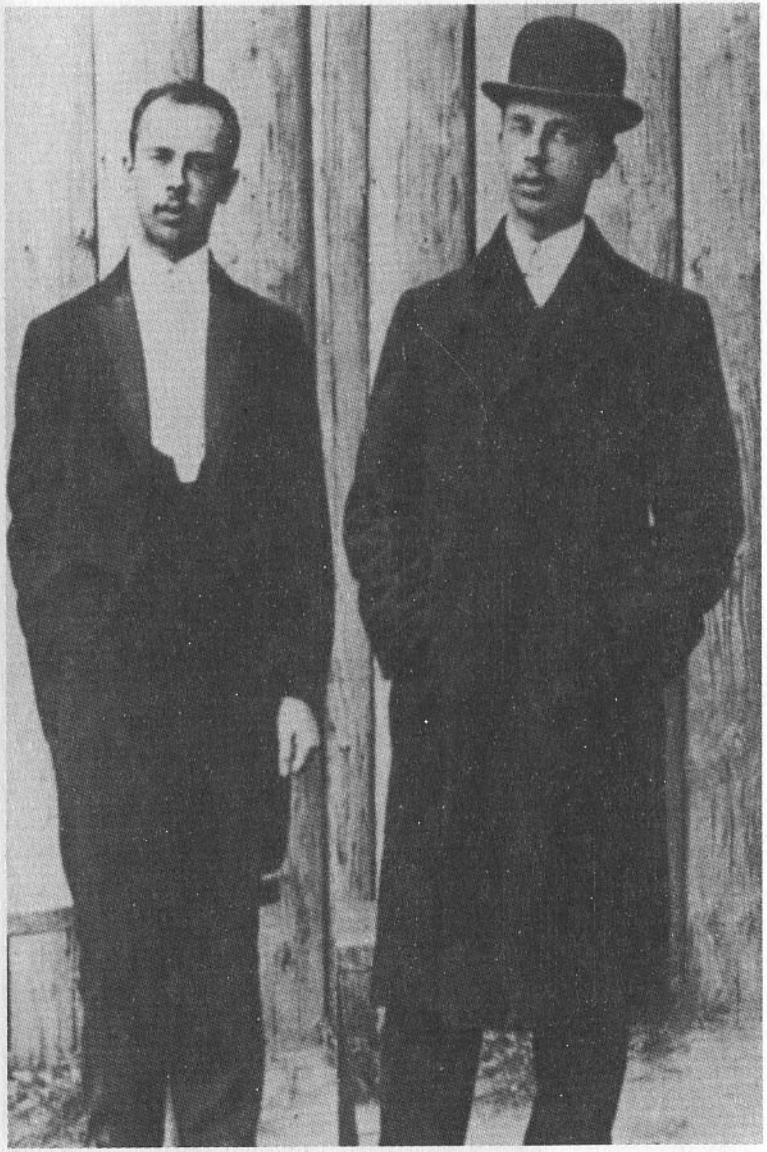
Столыпин в 23 года,
1885 год

В день покушения,
1 сентября 1911 года

Столыпин в кругу семьи

Дмитрий Богров — убийца Столыпина

Богров после покушения.
Раны на лице и рваный фрак — следы избиения в театре



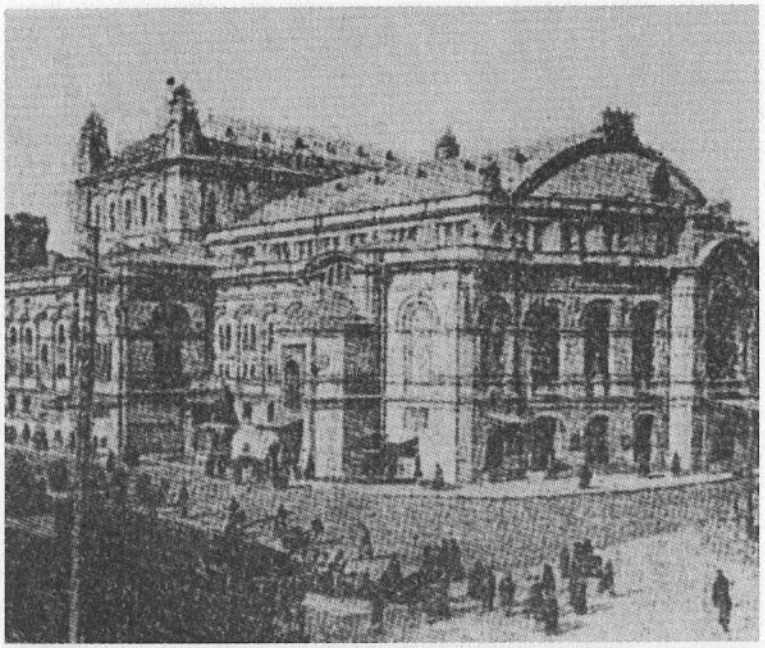
Богров во дворе тюрьмы

Помощник министра внутренних дел П. Г. Курлов,
дворцовый комендант В. А. Дедюлин,
начальник дворцовой охраны А. И. Спиридович

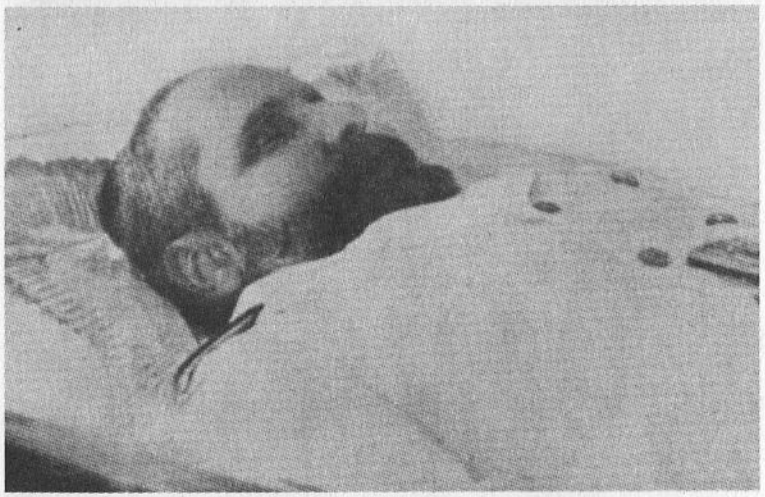
Николай II

Киев, 30 августа 1911 г. Открытие памятника Александру II

Петр Аркадьевич Столыпин



Киевский городской театр. В настоящее время Государственный академический театр оперы и балета им. Т. Г. Шевченко



П. А. Столыпин в гробу

Памятник П. А. Столыпину, открытый 1 сентября 1912 г. перед зданием Киевской городской думы.
Разрушен в дни Февральской революции

Дочь
П. А. Столыпина
Наташа

Аркадий Столыпин,
младший сын
Петра Аркадьевича

Генерал А. В. Самсонов

Летчик, штабс-капитан Петр Нестеров

Семья русского офицера.
Борис Николаевич Третьяков, кирасир,
его жена Ольга, дочь Ольга, 1916 год

Сестры милосердия Первой мировой войны